

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

||
1
||

НОВОБЫИ МИР

|| 1979 ||

1



1979



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 1

Январь, 1979 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Годы без войны, роман. Книга вторая	3
МУСТАЙ КАРИМ — Не бросай огонь, Прометей! Трагедия в шести картинах. Перевел с башкирского Александр Межиров	64
ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ — Не найдется ли у вас розового слова с голубыми ушами? Рассказ	116
ЮЛИЙ КРЕЛИН — На что жалуетесь, доктор? Повесть	137

В МИРЕ НАУКИ

Д. БИЛЕНКИН, В. ЛЕВИН — В поисках «экологического сознания»	210
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИЗ НАСЛЕДИЯ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ. Подготовил к печати М. Кораллов	225
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЮРИЙ КУЗЬМЕНКО — В конце века. Советская литература: годы восьмидесятые — девяностые	240
Е. СТАРИКОВА — Память	257

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	272
А. Бочаров. За живой мыслью.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.
276

Политика и наука

В. Семенов. Вечно живое учение.

КОРОТКО О КНИГАХ: Н. Макарова.—Вениамин Шалагинов. Кафа. Роман. ♦ Юрий Ляхов.—Натан Злотников. Морозное облако. Книга стихов. ♦ С. Смоляницкий.—А. Коган. Стихи и судьбы. Фронтальная тема в советской поэзии. ♦ Евг. Долматовский.—Николай Добронравов. Вечная тревога. Стихи. ♦ Е. Горбунова.—Альгимантас Бучис. Роман и современность. Становление и развитие литовского советского романа. ♦ А. Шифман.—М. Е. Шнейдер. Русская классика в Китае. Переводы. Оценки. Творческое освоение. ♦ В. Френкель.—И. В. Курчатов. Ядерную энергию — на благо человечества. ♦ С. Десятков.—Владимир Осипов. Британия глазами русского. ♦ И. Дрейцер.—Э. Г. Цыганкова, У истоков дизайна (Машины и стили)

280

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

288

АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ



ГОДЫ БЕЗ ВОЙНЫ

Роман

КНИГА ВТОРАЯ*

Часть первая

I

Весна по всей средней полосе России в шестьдесят шестом году была теплой и ранней. Уже в первых числах марта начали оседать снега, и к середине месяца поля покрылись черными пролысинами, очистились от наледей дороги и по обочинам вдруг неуловимо и нежно полезла трава. В апреле прошли ливни, и перед майскими торжествами и особенно после праздников все вокруг было зелено, сады отцвели и над березовыми рощами уже не нависали по утрам сиреневые дымки; наступила пора полевых работ и пора туманов, которые, скапливаясь по ночам в оврагах, над низинными лугами и речками, расплзались затем по полям и пашням, скрывая работающие на них тракторы. Весна радовала и торопила деревенских людей, вызывая чувство озабоченности и надежды, что труд их по осени будет вознагражден с той же щедростью, с какой они теперь (как и всегда вельсь у мужика) принимались за дело; несмотря на научную организацию труда, несмотря на ежедневные сводки погоды, на установки и рекомендации, спускавшиеся сверху, что, впрочем, давно уже было для них делом привычным и естественным, по утрам их поднимала все та же сила жизни, какая поднимала крестьян во все минувшие времена и выводила в поле. Эта же неизживная крестьянская сила будила по утрам и старого Акима Сухогрудова, отчима Галины, бывшей жены Арсения. Как все старые люди, Сухогрудов спал беспокойно и мало и с первыми признаками зари, едва только в окне начинало светлеть, надевал сапоги, меховую безрукавку и выходил во двор.

За огородом сейчас же открывался овраг, и за оврагом виднелось поле озимой пшеницы. Когда, пройдя тропинкой по огороду и забрызгав сапоги обильной росой, Сухогрудов подходил к оврагу, овраг словно молоком был еще заполнен густым белым туманом. Он спускался в этот туман, утопая сначала по грудь, по плечи, затем с головою скрываясь в нем, и когда выходил на противоположную сторону, утро уже было в той поре, что вот-вот должно было брызнуть солнце, и по всему убежавшему к пригорку озимому клину, как иней на

* Первая книга напечатана в нашем журнале в 1975 году №№ 4—6.

малахитовой зелени, светилась роса. Из оврага, как из чаши, выплескивался туман и, перекатываясь клочковатыми и редевшими хлопьями, застилал поле. Туман этот то отставал, то догонял Сухогрудова, и ему доставляло удовольствие то вновь входить по пояс в это белое молочное море, то выходить из него; одежда постепенно делалась влажной, но под меховой безрукавкой было тепло, сухо, как тепло и сухо было ногам в сапогах, и это ощущение теплоты и ощущение свежести пробуждавшегося утра было настолько сильным и так возбуждало его, что ему казалось, что не только не было, но и не могло быть ничего прекраснее, чем эти рождавшиеся в белом тумане рассветы, чем хлеба, покрытые росой, пригорок, березовая роща, убегавшая к дороге, и сама дорога, и свекловичное поле за ней, и деревня, избы которой тоже то погружались по окна в туман, то очищались от него, и тогда словно оголенные чернели среди общей зелени огородов и дворов их обветшалые и потемневшие бревенчатые стены.

Старик подходил к дороге и затем шел обратно, и этот обратный путь доставлял ему то же удовольствие. Солнце уже на ладонь висело над горизонтом, и можно было, слегка повернув голову, подставить лицо под его яркие и согревавшие все лучи. Туман редел, и через него проглядывало уже дно оврага с ручьем и запрудами и круглыми, как огромные белесые валуны, кустами тальника; солнце подсушивало росу, и отовсюду поднимались и густо текли запахи земли, травы, дождей и надвигающегося лета. Сухогрудов останавливался, смотрел и снова двигался — все вдоль того же клина озимой пшеницы, и мысли, какие возникали в нем, были непривычными и возбуждали чувство, будто цель, к какой он постоянно стремился, суется, огорчаясь и проводя бессонные ночи (цель, в которой были — и должностная лестница для себя и всеобщее благо для людей, как он понимал это благо), не имела смысла и была лишь наслаением, как подсохшая кора, падающая с деревьев, и что у жизни с ее бесконечным продолжением есть иная, своя цель и свои силы, дающие ей обновление. Мысли эти были от старости, и Сухогрудов понимал это; но, понимая, с охотой отдавался им, находя успокоение именно в том, что жизнь бесконечна, что все в ней сопричастно и что как раз потому, что сопричастно, смерти как небытия, наверное, нет, а есть только непрерывное и управляемое природою возрождение.

Ему еще хотелось пожить и хотелось деятельности; но в то же время он чувствовал, что был слаб, и видел, что деятельность его была ограничена лишь возможностью рассуждать и невозможностью влиять на ход общих, лежавших вне дома событий. Он гулял по утрам потому, что знал, что прогулки эти были нужны для здоровья; он теперь экономил в себе жизнь и делал это тем упорнее, чем яснее сознавал, как часто зря, бестолково и безрассудно растрачивал ее.

У него была квартира в Мценске, куда он перебирался только на зиму, в сильные морозы, или когда приглашали на пленум райкома или на какую-нибудь конференцию, на которой просили выступить его; все остальное время безвыездно жил в этой маленькой — в двенадцать дворов — умиравшей Поляновке, которую в округе давно уже не называли деревней, а считали лишь дачным выселком, где доживали свою старость вышедшие на пенсию, но не пожелавшие переезжать на центральную усадьбу колхозники. Окруженная пашнями и перелесками, Поляновка лежала как островок среди огромного простора хлебов; земли вокруг нее вспахивались и засеивались механизаторами из соседнего большого села Курчавина (где как раз и располагалась центральная усадьба колхоза), а здесь, в Поляновке, не было ни магазина, ни школы, ни сельсовета, ни даже бригадного стана; только в доме Сухогрудова стоял телефон,

который провели ему по особому распоряжению как бывшему ответственному работнику района. По нему можно было поговорить с Мценском, Орлом, вызвать врача из Курчавина, но Сухогрудов редко пользовался им; телефон нужен был ему только на всякий случай, чтобы не терять связи с тем миром, которому отдано было так много душевных и физических сил и который, начинаясь за огородом, простирался до Москвы и дальше, куда уводили дороги войны. Он постоянно чувствовал этот мир и жил в нем; и точно так же, как в прежние годы, постоянно испытывал желание освободиться от него; ему не доставало тишины и размеренности жизни (чего всегда недостает деревенским людям, отошедшим от земли и плуга), и Поляновка была тем местом, где было тихо, по утрам из нее не выгоняли стадо, потому что здесь было всего несколько коров, которых пасли на меже между рощей и полем, привязывая на длинных веревках к кольям, было несколько коз, которых тоже держали на привязи, чтобы не травили посевы, и лишь куры привольно разгуливали по дворам, за дворами и по улице и бойко рылись в старых навозных кучах. Только раз в году прибывал из Курчавина трактор, чтобы вспахать весной огороды, да время от времени наведывался почтальон на велосипеде, доставлявший газеты и письма. Но в середине лета, когда наступала пора отпусков и каникул, Поляновка ненадолго оживала. К старикам приезжали дети, жившие в городах, и привозили своих детей, которых иногда оставляли до осени, пока не приходило им время отправляться в школу.

К Сухогрудову тоже приезжали его многочисленные знакомые, друзья и родственники; и не только чтобы провести лето на воздухе и отдохнуть; когда он был у дел, он помогал многим, и они теперь из уважения навещали его и жили подолгу, так что в доме Сухогрудова, как ни стремился он к уединению, почти всегда былолюдно. Ему нравилось, что родственники и друзья не забывали его, но вместе с тем он часто страдал от этого многолюдья; и тогда уходил в поле, где, оставаясь наедине с собой, мог свободно думать и оценивать то, что было и чего не было сделано им за прожитую жизнь.

Поляновка была родной его деревней, и дом, в котором он жил, был отцовский дом, поднятый теперь на фундамент, подновленный, расширенный и надстроенный; в нем было достаточно комнат, чтобы жить и принимать гостей, особенно летом, когда приводился в порядок весь не отапливавшийся зимою верхний, оборудованный под жилье чердачный этаж. Было как будто нелепо — в умирающей деревне отстраивать такой дом; но для Сухогрудова все это имело свой смысл, он хотел еще пожить, и он твердо знал, что пожить сможет только здесь, в Поляновке, в тридцати километрах от Мценска и от магистрального тракта, соединявшего Симферополь с Москвой; он не слушал советов, какие давали ему, и после первого же проведенного в деревне лета смеялся в душе над теми советчиками. «Да знаем ли мы, что более нужно человеку для жизни и счастья?» — думал он. И он приходил к мысли, что для жизни и счастья человеку нужно именно это, как он жил теперь, а не то, что он искал и что многие люди ищут и хотят иметь от жизни.

Вся многолетняя деятельность Сухогрудова, пока он был секретарем райкома, была направлена на то, чтобы укреплять колхозные хозяйства и улучшать жизнь колхозников; он делал все, чтобы старую избяную деревню заменить новой, в которой было бы светло, просторно и чисто, как в городе; но теперь, когда он видел плоды своего труда (одни деревни, как соседнее Курчавино, отстраивались и разрастались, другие, как Поляновка, старели и умирали), когда он смотрел именно на умирающую Поляновку, чувство, что было что-то

непредудуманное в том деле, какое он выполнял, охватывало его. Ему казалось, что вместе со старыми избами и со всей той трудной крестьянской жизнью, о которой нечего было жалеть, уходило в небытие что-то еще, близкое ему (близкое каждому русскому человеку), что связывало его корнями с землей, со всей тысячелетней жизнью народа, о которой он знал из книг, но которая здесь, в деревне, была как будто жива во всем, на что он смотрел. Когда он проходил мимо заросшего бурьяном фундамента бывшей церкви, он сейчас же вспоминал, что напротив церковных ворот была площадь, и что площадь эта была центром деревни, и что мужики, ехавшие из других сел в Мценск, останавливали подводы на этой площади, и оттого она всегда была выщерблена копытами, и на ней всегда были видны объедки сена и конский помет, кочками застывавший зимою на утоптанном и укатанном санными полозьями снегу. Он не думал, хорошо ли было тем мужикам, для чего они ехали и что заставляло их останавливаться в Поляновке; он представлял только площадь с конским пометом и объедками сена на снегу и чувствовал, что за этой знакомой ему картиной стояла жизнь, десятилетиями повторявшаяся из года в год, и что тепло той жизни теперь отдавалось в нем и согревало его. Точно то же испытывал он, когда смотрел на опустевшие и полуразрушенные амбары, которые были еще не все сожжены и виднелись то там, то тут по деревне, и когда смотрел на Поляновку издали; это же чувство к уходящей крестьянской жизни возникало в нем и в минуты, когда он вдруг вспоминал первые хлебные обозы с колхозным зерном, как они по заснеженным проселкам тянулись к мценскому элеватору и как все те же извечные мужики, называвшие себя колхозниками, сдав зерно, кормили лошадей и грелись возле разведенных костров; он обращался теперь к жизни и воспринимал ее уже не с точки зрения ближайшей истории и активного участия в ней, а с другой, когда жизнь, особенно деревенская, представлялась ему лишь с той стороны, с какой она всегда казалась и долго еще будет казаться привлекательной людям.

II

Сухогрудов не мог сказать, был ли он счастлив в семейной жизни или нет; он пережил двух жен и жил теперь с третьей, казалось, перенеся на нее всю свою запоздалую привязанность к семье и дому.

От первой жены, дочери старого орловского большевика-подпольщика, остался у него сын Дементий. Со второй, мценской учительницей (матерью Галины), сошелся еще до войны и дожил с ней до лучших своих дней, когда был избран первым секретарем райкома. Третья была бывшая супруга хорошо знакомого ему директора совхоза, овдовевшая как раз в тот год, когда Сухогрудов ушел на пенсию; по старой памяти к ее мужу он навестил Ксению Александровну; потом заехал второй и третий раз, а когда перебрался в Поляновку, неожиданно для знакомых и родственников привез ее к себе и женился на ней.

У Ксении были две дочери, которые рано и удачно вышли замуж и жили отдельно от матери: одна, меньшая, — в Мценске, другая, старшая, — на Оби, в Западной Сибири, куда увез ее муж, молодой инженер-мостостроитель. От старшей приходили письма; с младшей Ксения виделась постоянно, заходя к ней каждый раз, когда приезжала за покупками или по каким-либо иным делам в Мценск. Из Курчавина до города она всегда добиралась автобусом, но до Курчавина надо было идти пешком — либо обходной через лес проселочной дорогой, либо напрямик тропинкой, какую, несмотря на еже-

годные запреты курчавинского председателя, протаптывали старые поляновские колхозники.

Ксения была почти на десять лет моложе Сухогрудова, была веселой, домовитой и доброй — из тех женщин, которые, не испытав в молодости глубоких и сильных чувств, всю жизнь затем живут с убеждением, что чувств таких в природе не существует, а есть только взаимная привязанность людей друг к другу, к детям, к вещам, к дому. Она умела хорошо готовить, любила, чтобы в комнатах было светло и чисто, и относилась к мужу точно так же, как относилась к вещам — к пледу, коврам, которые каждый день чистила и вытрясала, к шкатулке, вазам и статуэткам, с которых вытирала пыль; муж (в той бессознательной привязанности к нему, какую она, впрочем, постоянно испытывала ко всем вещам в доме) воспринимался ею как безусловная и необходимая составная часть ее жизни, и отсутствие его было бы для нее как отсутствие одной спицы в общем вращающемся колесе. Ей казалось, что она была центром семейной жизни и управляла мужем и дочерьми, в то время как на самом деле все они управляли ею, не замечая того, и были довольны и счастливы. Без каких-либо видимых ее усилий (она, в сущности, только кормила и прибирала за ними) дочери выучились и устроились в жизни; без тех же видимых ее усилий в доме постоянно что-то обновлялось, что-то приобреталось, и Ксения из такой своей жизни усвоила, что на всякое желание нужно только время и что рано ли, поздно ли, но все приходит и делается само собой и не следует ничего подталкивать и торопить. Этот образ мыслей, и привязанность свою к вещам, и свое восприятие жизни она целиком перенесла затем в дом к Сухогрудову, не изменив ни одной привычки, и остановившееся как будто после неожиданной кончины мужа колесо вновь было теперь полно спиц и вращалось для Ксении с той же скоростью и так же бесшумно и ровно, как оно вращалось для нее все долгие предыдущие годы. К пледу, коврам, шкатулке и вазам, с которыми она не могла и не хотела расставаться, прибавилась та самая недостающая вещь — муж, Аким Сухогрудов, — за которой тоже надо было следить и ухаживать, и она просто и с привычным желанием сейчас же принялась за дело. Благодаря мягкому характеру и домовитости она быстро подружилась со Степанидой, сестрой Сухогрудова, овдовевшей еще в войну и жившей в Поляновке (другая его сестра, Ульяна, жила в Курчавине), и обе женщины суетой, разговорами и бесконечными чаепитиями делали дом наполненным жизнью. Они были похожи друг на друга в желаниях и привычках, и разлило их, казалось, только то, что Степанида всегда одевалась по-крестьянски в кофты и юбки, которые были широки и длинны ей; на тощих, как у всех в сухогрудовской породе, плечах ее все висело, и не было заметно ни бедер, ни груди, все было плоско, и на этой плоскости выделялся только серый, льняной, с вышивкою передник, с которым она, казалось, не хотела расставаться даже ночью. А Ксения выглядела по-деревенски лишь в дни, когда в доме шла большая, как она говорила, уборка; во все остальное время носила хотя и не очень дорогие, но нарядные халаты, которые были тоже часто длинны и велики ей, но они придавали всей ее уже заметно постаревшей, но достаточно еще округлой фигуре что-то отдыхающее, барственное, и это было так естественно в ней, что всем в доме казалось — и гостям, какие приезжали, и Сухогрудову, и Степаниде, — что именно так и должно быть и что было бы непонятно и неправильно, если бы все обстояло иначе. За Ксенией стояло прошлое (жизнь ее за директором совхоза), которое постоянно чувствовалось в ней; за Степанидой не было такого прошлого (не вернувшийся с войны муж ее всегда ходил в колхозных коню-

хах), и ей нечего было противопоставить Ксении; и, может быть, потому по обоюдному молчаливому согласию труд их по дому постепенно распределился так, что черная и тяжелая работа более доставалась Степаниде, как будто была привычнее ей, а что полегче и чище, выполняла Ксения. Но интересы их вполне, казалось, совпадали, когда дело касалось главы дома — старого, отягченного думами и разными непонятными ни Ксении, ни Степаниде заботами. Он никогда не говорил домашним что был несправедливо отстранен от дел; но именно домашние более чем кто-либо знали и чувствовали это, особенно Степанида, которая и прежде и теперь, когда Аким был на пенсии, восхищалась братом, видя в нем то высшее умение понимать жизнь и жить в ней, какое, как она считала, дается не всем людям, и благоговела перед ним.

Хозяйство у Сухогрудовых было небольшое, они держали только кур и кабанчика, которого кормили хлебными отходами. Но, несмотря на это малое хозяйство, дел в доме всегда было много: каждое утро надо было бежать за молоком, ставить самовар, потом отправляться в Курчавино за продуктами, а когда приезжали гости, кормить их и ухаживать за ними, и все это лежало на Степаниде и Ксении. Жизнь их не то чтобы была ограничена кругом домашних дел, но просто ежедневная занятость не давала им возможности выйти за пределы этого круга и взглянуть на мир, тогда как Сухогрудов, освобожденный от подобных домашних дел, был как бы постоянно за этим очерченным кругом, и мысли его были прикованы к тому движению, какое теперь, когда он не работал в райкоме, происходило в разных слоях жизни народа и государства.

III

Каждый год, как только заканчивались посевные работы (и пока не начинался сенокос), руководители района созывали большое совещание партийного актива. Партактиву обычно предшествовал пленум райкома, на котором рассматривались все те вопросы, какие затем выносились на общее одобрение. Порядок такой существовал давно — и до Сухогрудова, и когда он стоял во главе райкома, и после, потому что нельзя было не обсуждать итогов сева и еще более невозможно было не поговорить о задачах на будущее. Хорошо зная этот районный уклад жизни, Сухогрудов готовился в конце мая ехать в Мценск (он все еще оставался членом райкома) на пленум и парт-актив. Совещания эти ничего не давали ему; он только почетно сидел и слушал, как выступали другие, и большей частью оставался довольным и выступлениями и решениями, какие принимались; но несмотря на то, что ему не нравилось, как проводились теперь эти мероприятия, и, вернувшись в Поляновку, обычно он говорил, что никогда больше не поедет на них, — как только приходило время, начинал волноваться, ждал телефонного звонка и был раздражен, когда звонок кем-то и почему-то откладывался со дня на день. В кулуарной суете совещаний была частица его прошлых дел, и, прикасаясь к ним, он как бы опять приобщался к тому миру событий, без которых, если бы они не продолжались для него в воспоминаниях, не мог бы представить своего существования; он любил это многолюдье и многоголосье, когда съезжались колхозные председатели, парторги, директора совхозов, каждый представлявший собою личность, каждый — со своей уверенностью, со своим словом, и все вместе создававшие общую атмосферу неодолимой силы. «Нет, с таким народом можно горы ворочать», — всегда думал Сухогрудов, глядя на них. И то, что он долгие годы стоял над ними, именно над этим народом,

с которым можно ворочать горы (и сознание, что сам был из этого народа), определенным чувством наполняло его.

Накануне открытия пленума Сухогрудов, возбужденный и, как всегда, полный достоинства, вместе с Ксенией приехал в Мценск.

Войдя в квартиру, он сделал несколько телефонных звонков, которые посчитал нужным сделать, и ответил на те, какие были сделаны ему; затем, немного отдохнув с дороги и переодевшись, отправился навещать старого своего приятеля — бывшего редактора районной газеты Илью Никаноровича Кузнецова, который после перенесенной тяжелой операции (удаление желчного пузыря) был еще слаб и опасался выходить из дома.

— Жив? — сказал Сухогрудов, вслед за Ильей Никаноровичем входя в комнату и глядя на его худые и обвисшие плечи.

— Тянет еще старая гвардия, — отозвался тот, не оглядываясь и волоча ноги по паркетному полу. — На пленум?

— Да.

— Хорошо, что зашел. Мои все по делам, никого. Чай поставить?

— Нет, я только повидать.

Они сели — Сухогрудов в кресло, Илья Никанорович на диване — и с минуту, прежде чем начать разговор, смотрели друг на друга. Морщинистое лицо Ильи Никаноровича было все на свету и особенно поражало вымученной худобой. В когда-то голубых, а теперь поблекших, как выцветшие занавески, глазах его, казалось, было только сознание обреченности, и в желтых наплывах кожи у глаз, на щеках и у подбородка еще хранилась боль, продолжавшая, как видно, и после операции изнурять его. «Сдал, как сдал, — подумал Сухогрудов, пробежав взглядом по этому вымученному лицу. — А ведь для чего-то жил, суетился, чего-то добивался». Мысль эта, не раз прежде возникавшая у Сухогрудова по отношению к себе, была теперь так наглядна и так по-мужицки проста, что он вздрогнул и оглянулся. Он помнил Илью Никаноровича в самые разные годы трудной районной жизни, и помнил всегда в деле; все те хлебные поля, мимо которых Сухогрудов проехал сегодня от своей деревни до Мценска, и все другие, лежавшие на тридцать — сорок верст вокруг Мценска, — все были исхожены Кузнецовым за долгую службу его на посту редактора районной газеты; он был одним из тех безотказно отдававшихся работе районщиков, которые, надев сапоги, ватник и брезентовый плащ с капюшоном, всю осень и зиму затем кочевали по деревням, отправляя хлеб на элеваторы, выступая на собраниях и разжигая в людях те огоньки надежды, которые должны были разгораться и поддерживать в них веру и жизнь. Об этих районщиках теперь забывали, иногда посмеивались над ними, и Сухогрудов тяжело переживал такое отношение и забывчивость людей. Он говорил себе, что нельзя так судить о прошлых деревенских делах, что не было никогда деревенского вопроса отдельно, как его стараются представить теперь, а была жизнь, были десятки обстоятельств, которые диктовали решения. «Ишь, умники, — думал он, — а умишка-то что у kota: захотел поест — изольется мурлыканьем, все ноги изотрет, а набил брюхо — знать ничего не знаю». Как токи, двинувшиеся от корней к листьям, шевельнулась и ожгла Сухогрудова эта старая затаенная боль, пока он смотрел на бывшего редактора районной газеты. Он не отделял себя от того, что думал о нем; так же, но, может быть, чуть в лучших условиях мотался он по району от хозяйства к хозяйству и был тем же районщиком — во всем добром понимании этого слова, какое вкладывали в него люди сороковых и пятидесятых годов; точно так же по неделям не снимал сапог и не виделся с семьей и домом,

и только когда последние обещанные сверх плана центнеры зерна доставлялись на элеватор, позволяя себе попариться в бане, отдохнуть и отоспаться для новых и бесконечных районных дел. На сухощавом и тоже морщинистом, как и у Кузнецова, лице его были следы всех тех трудных минувших лет. Сухогрудов тоже выглядел не вполне здоровым, но в сравнении с Ильей Никаноровичем казался бодрым, и в движениях, во взгляде и в том, как сидел, прямо, не облокачиваясь на спинку кресла, было еще что-то от прежней решительности и воли.

— Райончики мы с тобой,— сказал Сухогрудов,— старые, доживающие райончики.

У тонких и сухих губ его вспыхнула усмешка, по которой сейчас же можно было узнать, отчего она.

— А что райончики? Что райончики? О нас еще скажут доброе слово, поверь мне, о нас еще вспомнят,— с той живостью, насколько позволяло ему болезненное состояние, возразил Илья Никанорович, знавший мнение Сухогрудова и не первый раз возражавший ему.— Я горжусь и не жалею, чему отдал жизнь, да-да, отдал,— добавил он.— А признайся все-таки, славные были дела, славно мы поработали, а?

Сухогрудов как будто не слышал этого вопроса; он смотрел на полки с подшивками газет, висевшие на стене рядом с диваном, и при слове «дела» встал и подошел к ним.

— Хранишь? — Прищуренным ящериным взглядом ощупал он старые и желтые свертки газет.

— Храню.

— Да, может быть, ты и прав,— сказал Сухогрудов, возвращаясь и садясь в кресло.— Ты как чувствуешь себя? Что врачи говорят?

— Я теперь, Аким, как затаврованная лошадь,— ответил Илья Никанорович. Слова эти он, как видно, не раз повторял разным людям и потому не улыбнулся, произнеся их сейчас Сухогрудову; только чуть наклонив голову, посмотрел на то место под правой рукой у пояса, где были беспокоившие его и скрытые теперь под рубашкой и домашней курткой розовые и жесткие, едва-едва затянувшиеся после операции швы.— Со мной теперь хлопот что с малым дитем: туда-сюда походил — и за кашу, туда-сюда обернулся — и опять что-нибудь пожевать надо. Дробное питание и строжайшая диета, так что отъел и отпил я свое.— И он опять скосил глаза на то место, где под рубашкой были послеоперационные швы.

— Но врачи-то что?

— Говорят, стрелка вверх...

— Это главное.

— А ты-то как?

— Тяну, Никанорыч, тяну, не сдаюсь. И не собираюсь пока сдаваться.

— Третьего дня заходил ко мне Борисенков,— снова начал Илья Никанорович, задвигав бровями на испитом морщинистом лбу, как он делал всегда, прежде чем высказать то, что озадачивало его. Борисенков заведовал одним из отделов райкома — и при Сухогрудове, и все девять лет после него — и считался тем мягким и гибким, как говорят про таких, работником, которые одинаково хорошо могут чувствовать себя при любых переменах и с легкостью и изяществом тотчас опровергать то, что утверждали вчера; и при всей этой своей уживчивости, умении ладить с людьми они не прочь иногда поработать локтями, чтобы, оттолкнув впереди идущего, занять его место. О Борисенкове (хотя никто не мог ничего доказать) ходили именно такие слухи, и потому, едва лишь Илья Никанорович назвал его

фамилию, Сухогрудов сейчас же настороженно наклонился к нему.— И зачем, думаешь, приходил? Он ведь зря ничьего порога не переступит. Галина-то пишет? Как она там, в Москве?

— А что?

— По-моему, Борисенков что-то нехорошее узнал то ли про нее, то ли про ее сына.

— Глупости,— возразил Сухогрудов, отстраняясь и не желая говорить о падчерице.

Разговор о ней и прежде всегда бывал неприятен ему тем, что Галина представляла в глазах его неудачницей, а он не терпел неудачливых людей. «Неудачлив только тот, у кого ни ума своего, ни сообразительности,— считал он.— А уж если его нет, соседский не вложишь». Он был против развода ее с первым мужем, от которого у нее как раз и остался сын Юрий, был против, когда она выходила за Арсения, потому что не почувствовал в нем ни политика, ни мужа, но затем точно так же возражал, когда Галина расходилась с ним, и говорил ей, что нельзя мотаться от одного к другому и третьему, а надо устраивать жизнь; ему совершенно непонятно было, для чего она после развода осталась в Москве, где не было ни родных, ни знакомых, ни достаточно крепких связей у него, ее отчима, чтобы помочь ей, и почему не вернулась в Мценск, где он раскрыл бы перед ней многие возможности. Писем он давно не получал от Галины, но из всех тех прежних, которые были скупы на разные житейские подробности, знал, что Юрий несколько раз намеревался бросить школу, самовольничал и что вообще Галина измучилась с ним.

— Так что же он узнал? — все же не выдержал и спросил Сухогрудов, опять наклоняясь и всматриваясь в блеклые и усталые уже от разговора глаза Ильи Никаноровича.

— Я бы сказал, да ведь он не тот человек, чтобы выболтать. Под нас ковырять — что? Мы и так на краю. Но этот мерзавец не может без пакости. Погоди, погоди,— добавил он,— ты подальше от районной жизни, я тут поближе и кое-что вижу и понимаю.

Та районная жизнь, на которую намекал теперь Илья Никанорович, была обычная предплемная райкомовская обстановка, когда готовились утвердить нового первого секретаря райкома (прежний, в свое время сменивший Сухогрудова, уходил на повышение в область), и вокруг возможных кандидатур на этот пост шли разные толки за и против.

— Кого в первые прочат, знаешь? — спросил он.

— Нет.

— Лукина.

— Ивана, что ли?

— Именно!

Для Сухогрудова то, что он услышал (Лукин был первым мужем Галины), было настолько неожиданным, что он не сразу нашелся, что ответить болезненно смотревшему Илье Никаноровичу.

— Ну и что,— наконец сказал он,— дело прошлое.

— Прошлое, настоящее — важно прилепить горб, а потом иди разбирай. Я не знаю, как ты сейчас относишься к Ивану, но, по-моему, ты всегда раньше поддерживал его.

— По-родственному? — Сухогрудов усмехнулся.

— По-родственному ты бы должен придавить его за Галину. А ты не придавил, и это так тогда запомнилось людям. Мне, ты знаешь, никакой корысти в Лукине. Сват, брат, племянник там по двадцатой линии — все это вздор, плюнул и растер. Я ведь и тогда, если помнишь, ни слова тебе. Но мы же партийные билеты носим! И я не могу равнодушно смотреть, как будут ни за что ни про что топить

человека. Ты не выгнал Борисенкова, а Иван выгонит, и Борисенков это знает. И потому непременно постарается наклепать. А дело это нехитрое: бросил жену, сына, когда — не важно, а важны плоды безотцовщины: то-то, то-то и то-то... аморально, непартийно, не чист в быту, так может ли такой человек учить других, как жить?

— Несешь ты, Илья. Это мы в свое время каждой анонимке кланялись, а теперь все по-другому.

— Ты уверен?

— Родственные струны позванивают в тебе. Не слышишь? А я слышу. Позванивают. Они и тогда тоже позванивали, да, да. А за Ивана, откровенно говоря, я рад. Он всегда мне казался толковым, и Галина сделала непоправимую глупость, что ушла от него. Дура, что скажешь? Пусть теперь покусает локти.

— Черт им тогда перебежал дорогу, — сказал Илья Никанорович, морщина лоб, как будто собираясь с мыслями, чтобы возразить Сухогрудову. — Может, у Галины действительно какая-нибудь неприятность?

— Какая у нее неприятность? С Арсением не живет, что еще?

— А Юрий? Что она пишет?

— Ничего не пишет. Было бы, написала. Так что, думаю, вздор все, что твой Борисенков хочет затеять. А за Ивана рад, в нем что-то волевое есть, а?

«Что-то от нас», — молча, взглядом добавил он, продолжая всматриваться в усталые глаза Ильи Никаноровича.

IV

Они еще поговорили о Лукине и Борисенкове, и когда Сухогрудов уходил, Илья Никанорович казался успокоенным; но как только за бывшим первым секретарем райкома закрылась дверь, все прежние опасения вновь как бы всколыхнулись в душе Ильи Никаноровича, и он, бессмысленно прижимая ладонь к боку, где были послеоперационные швы, принялся ходить по комнате. Он думал, что Борисенков непременно сделает пакость, и искал, как остановить его. В прежние годы Илья Никанорович ни за что не позволил бы себе заступиться даже за самого близкого родственника — так он понимал свою партийную принципиальность; но теперь, старея, он стал замечать, что принципиальность эта ничего не прибавляла ему в жизни и что, главное, никто как будто не придерживался ее. «Всем, так всем, а никому, так никому», — просто и определенно говорил он себе теперь. Он, казалось, радовался только тому, что племянник выходил в первый раз; но вместе с тем событие это в сознании Ильи Никаноровича постоянно связывалось с теми его домашними делами, которые, постепенно накопившись, начинали уже обременять его и требовали решения. Сын собирался жениться, и надо было отделять его и думать о квартире; и надо было отделять дочерей, и пристраивать их, и делать еще десятки разных дел для родственников, которых у него, как и у Сухогрудова, было много и которые хотя и не просили, но, ясно было, ждали от него помощи. «Хорошо, что сказал, — думал он, время от времени подходя к окну и останавливаясь перед ним. — Вот в ком если уж нет корысти, так ее и нет». Он приоткрывал створку и наклонялся, чтобы увидеть Сухогрудова; но в беспорядочно движущейся по оживленной вечерней улице толпе не мог увидеть его.

Сухогрудов же, выйдя от Ильи Никаноровича, не сразу направился домой; миновав площадь, он вышел к зданию райкома, где давно уже никого не было, и, с минуту постояв перед знакомым крыльцом, той же дорогой через площадь зашагал к дому. Разговор

со старым больным другом не оставил в нем какого-то одного определенного чувства, и Лукин и Борисенков не занимали его так, как они занимали Илью Никаноровича; по долголетнему партийному опыту он знал, что если обком утвердил какую-то кандидатуру, тем более на пост первого секретаря райкома, то изменить это решение ни Борисенкову, ни кому-либо другому не удастся. «Досадить могут, не больше»,— полагал он. Но размышления о Лукине и Борисенкове натакивали его на другие, более грустные мысли, и первое, что тревожило его, был вопрос о Юрии. По той странной и часто необъяснимой причине, чем больше теперь Сухогрудов думал о нем, тем сильнее убеждался, что Юрий несомненно что-то натворил и что Галина не написала только из гордости. «Вся в этом»,— с обычной и уже не замечавшейся неприязнью к ней, какая с годами накапливалась и утверждалась в душе Сухогрудова, подумал он о Галине. Он несколько раз намеревался поехать к ней, но, пока собирался, желание угасало и разговор о поездке откладывался до следующего письма от нее. «Вся, вся в этом»,— продолжал думать он, морщась от того неприятного чувства, что так и не съездил и ни в чем не помог падчерице. Вторым, что не только тревожило, но и раздражало его, были те давние воспоминания, связанные с Лукиным, когда Галина впервые привела его в дом и Сухогрудов, лишь несколько минут поговорив с ним, не то чтобы остался доволен встречей и разговором (и выбором Галины), но сейчас же составил то определенное мнение о молодом комсомольском работнике, что он умен, цепок, практичен, может и дом срубить и книгу написать, какое он редко составлял о людях и какое затем крепко держалось в нем; и вместе с тем как он сладковато и глухо радовался сейчас взлету Лукина, он с большей, чем когда-либо, и унижающей желчностью думал о Галине. Все прежние слова, какие говорил ей, когда она разговаривала с Лукиным, и какими упрекал после, когда вдруг обнаружили первые неприятности с Арсением, готов был произнести ей резче и властнее, как будто Галина стояла перед ним. Есть люди, рассуждал он, которые более обращают внимание на то, кто что сказал, а не на то, кто что сделал; Галину он относил именно к тем, кому важнее было слово, чем дело. «А ты в суть, в корень»,— строжась лицом, повторял он как будто не связанное с тем, что теперь думал о ней, но что было вполне ясно ему и вытекало из давних и болезненно памятных для него поступков падчерицы. Он шагал, не глядя по сторонам, сухощавый, высокий и стройный еще старик, и та энергичная работа мысли, какая происходила в нем, как раз и заставляла держаться прямо и молодила его. Он чувствовал себя, как в былые годы, наполненным жизнью; и хотя жизнь эта была, в сущности, прежние и нерешенные семейные неурядицы, но Сухогрудов был в Мценске, а не в Полянковке, и окружавшая его городская обстановка вызывала в нем именно это разбуженное ощущение деятельности.

Когда он подошел к дому, темнело и в комнатах уже горел свет. По той суетливости, с какою Ксения открыла ему дверь, и притворству, с каким принялась упрекать, что так долго задержался, он понял, что в доме гости. Меньшая дочь Ксении, узнав, что мать в Мценске, сейчас же, прихватив маленького, едва начавшего ходить сына Валерика, примчалась сюда и теперь от дивана, на котором сидела, освещенная светом люстры и счастливая своим полным, одетым в брючки с подтяжками сыном, подталкивала его к вошедшему и остановившемуся у порога Сухогрудову.

— Ох как подрос,— сказал Сухогрудов.— Космонавт, что скажешь, космонавт! — И он, наклонившись, ласково как будто погладил по белой стриженной головке подошедшего внука.

Холодность, с какою он сделал это, передалась мальчику, и тот, отстраняясь от деда, потянулся к матери.

— Ты че ко мне, ты к деду,— заговорила Шура (так звали дочь Ксении), в то время как Сухогрудов, обходя внука, направлялся в свою комнату.— Ты к деду, к деду,— повторила она, стараясь задержаться отчима.

Шура была из тех голосистых, дурных и беззаботных, нравившихся мужьям именно своей беззаботностью женщин, которые, войдя в дом, способны тотчас заполнить собою все и с естественностью, будто и в самом деле вселенная крутится вокруг них, говорить и делать, сообразуясь лишь со своими скоротечными желаниями и настроением; она была теперь рада приезду матери (рада показать сына) и, отдаваясь этому чувству, полагала, что точно так же, как она, должны были испытывать радость и все другие при виде ее сына. Для Сухогрудова она была человеком чужим, хотя и считалась (по Ксении) падчерицей; он не любил ее за суету и болтливость и называл про себя пустоцветом; но когда сравнивал ее с Галиной, то странным казалось ему, что «эта — дура, а счастлива, а та — вроде поумнее, а счастья нет». Отчего так происходило в жизни, было непонятно ему, но когда Шура появлялась в его доме, она каждый раз увлекала его своим настроением, и к концу вечера он обычно уже не замечал ни ее бестолковой суеты, ни громкого голоса, ни того, как относился к ней; все недостатки ее лица: веснушки, растекавшиеся от переносицы по щекам (она была похожа не на Ксению, а на отца), и недостатки ее фигуры: что бедра, что плечи были одинакового объема, и тесные кофточки, какие она носила, как будто врезались складками в сдобное тело,— недостатки эти не только не замечались, но, напротив, как будто придавали ей какое-то обаяние, которое трудно было объяснить, отчего оно; когда она смеялась, она заражала смехом всех вокруг себя, и Сухогрудов, сколько помнил, ни разу, казалось, не видел ее удрученной.

Чувствуя, что он поступил сейчас не так, как надо бы, и с трудом отрываясь от тех своих дум, какие только что, пока подходил к дому, занимали его, он остановился и, обернувшись, спросил:

— Николай-то что не пришел?

— Занят,— поднимая на руки сына, неохотно ответила Шура. Вопрос этот не лежал теперь в русле ее настроения и был ни к чему ей.

— Ты что же, в две смены его запрягла?

— Его запрягешь, как раз где сядешь, там и слезешь.

— Ну это ты на него уже от сытости.

— Че я, че я, нас поди трое.— Она подбросила и, подхватив, обняла счастливо улыбавшегося сына.

— Ты про Галю Расскажи,— сказала Ксения, все это время молча стоявшая в дверях кухни.

Затем отобрала у дочери Валерика и отошла с ним, пощекочивая его растопыренными пальцами. Она жила с Акимом уже седьмой год и так привыкла к нему, что ей иногда казалось, что всю жизнь она провела именно с ним; вполне удовлетворенная, как он относился к ее дочерям, она старалась вести себя точно так же по отношению к Галине, которую видела только раз, когда пять лет назад та приезжала в Поляновку, на которую полюбила, как она утверждала, слово родную, и постоянно с тех пор проявляла беспокойство о ней.

— А что случилось? — настороженно спросил Сухогрудов, обращаясь сразу и к жене и к падчерице.

— Ты послушай, послушай, сердце заходит, что там творится, а ты все не соберешься поехать.

Сухогрудов, оглядев жену и падчерицу, присел на диване, готовясь послушать, что они скажут ему. «Значит, точно»,— сейчас же подумал он о своем разговоре с Ильей Никаноровичем: И сейчас же все возбуждавшие его мысли о Борисенкове, Лукине, Галине и Юрии новым кругом явились к нему. На лице его обозначилось то же выражение, с каким он вошел в комнату, и как человек, ожидающий удара, он поджимал теперь в нервную и узкую полоску обесцвеченные старческие губы.

— Да че говорить,— начала Шура, у которой все еще было радостное настроение.— Послали Николая в командировку в Москву, а я ему: ты Галю-то попроведай.

И она точно с теми же подробностями, как четверть часа назад говорила матери, принялась все пересказывать настороженно смотревшему на нее отчиму. Николай был у Галины как раз в те дни, когда сын ее Юрий, выкраивший из дому и продавший вместе с друзьями-грузчиками холодильник, не ночевал дома и когда выяснилось, что за какую-то пьяную уличную драку был осужден на пятнадцать суток и ему грозило выселение за тунеядство. Но Шуру главным образом волновало не это, а другое — что бывший муж Галины Арсений привел в квартиру какую-то молодую особу и что это полнейший разврат («Ну и что, что разведенные!» — восклицала она при этом), и что будто бы особа та выживала теперь из дому Галину.

— Да я бы живо показала ей, откуда ноги растут,— говорила Шура.

Точно так же, как она только что, казалось, вся исходила радостью, когда показывала сына, теперь возмущалась, и слова, в изобилии лившиеся из нее, были искренним выражением ее изменившегося настроения.

— Да если бы мой Николай... Прожить столько лет... Как она может?! А Юрий: отцу все разрешено, а ему нельзя? Вот и пошла плясать губерния! — Она не была посвящена в те подробности, что Юрий не являлся сыном Арсения, а был у Галины от первого мужа, как раз того самого Ивана Лукина, которого выдвигали сейчас на пост первого секретаря райкома.— Че ему не красть и не шалопайть? Я бы на месте Галины сгребла обоих да с их полосатым матрасом вон на улицу, на тротуар, пусть там милуются. А то что же, управы на него нет, что ли? Я уж на Николая: а ты-то че смотрел, ты-то че, говорю, смотрел?

— На Николая ты зря,— сказала Ксения, продолжавшая все еще держать на руках притихшего Валерика.

— Че зря? Ничуть не зря.

— Только впутался бы.

— За правду и впутаться не грех.

— А ты правду-то знаешь? — спросил Сухогрудов.

— Попробовал бы у меня так, вот и вся правда,— ответила Шура.— Я только в чем сомневалась? Как, думаю, можно холодильник из дома украсть, это ведь не кольцо, положил в карман и пошел. Ты, говорю Николаю, не напугал? А он: кольцо еще попробуй продать, кто его купит, а холодильник с рук возьмут, деньги в карман — и в пивную,— просто и ясно, как все объяснял ей муж, повторила она отчиму и матери: разговор ее лежал сейчас в этом русле и она не могла отклониться от него.— Я бы ни в жизнь не потерпела, чтобы со мной так.

— Не-ет, видимо, не припекло еще,— неожиданно проговорил Сухогрудов, прерывая падчерицу и поднимаясь с дивана.

— Да че ж не припекло?

— А припекло, живо бы написала или прискакала домой.— до-

кончил он, не глядя на падчерицу.— Ужинать не пора? — Он на мгновение повернулся к Ксении и затем, не дослушав ответа, направился к себе в комнату.

— Он же Галю так не любит? — спросила Шура. Она давно уже заметила за отчимом это и давно собиралась спросить у матери.

— Тише ты. Любит. Да еще как!

— Кому она нужна, такая любовь?

— Тише ты.

V

Несмотря на обилие родственников — и по линии сестер, и по линии жен: первой, второй и теперь третьей, Ксении, — Сухогрудов был человеком одиноким. Люди, наполнявшие его дом и окружавшие его, он всегда чувствовал, оставались для него чужими; он видел в них только среду, в которой надо было жить, и никогда не открывал перед ними ни своей душевной боли, ни радости. Благополучие же, какое он старательно поддерживал в семье, особенно когда привез Ксению, было лишь видимой стороною жизни и было нужно ему для того, чтобы никто не мог сказать, что он, Сухогрудов, хоть в чем-либо неудачлив. Если кого и любил он, так это мать Галины, мценскую учительницу, и чувство то затем перенес на ее дочь, свою падчерицу. За сына он не беспокоился. Дементий, получив образование, работал в одной из крупных сибирских проектных организаций, в которой разрабатывались будущие трассы газовых и нефтяных магистралей, и занимал там весьма ответственное место; правда, Сухогрудов считал, что лучше бы пойти сыну не по научной и хозяйственной, а по политической линии, по партийной, где больше простора для деятельности, так как все и всегда подчиняется политике, но это была лишь частность, которую можно было брать, а можно и не брать в расчет; с Галиной же все обстояло иначе, и, кроме огорчений, она ничего не доставляла старому Сухогрудову. Чем больше он делал для нее, тем яснее видел, что всякое усилие наладить ей жизнь наткалось на какие-то странные и лежавшие вне сферы его влияния преграды. Как только он начинал что-либо советовать ей, она сейчас же замыкалась и от нее уже нельзя было добиться ни слова; это раздражало Сухогрудова, и он тоже по неделям не разговаривал с ней. Он любил ее лишь за то, что с нею были связаны лучшие воспоминания о ее матери; но вместе с тем еще больше ненавидел за то, что она поступками своими не давала, как ему казалось, любить себя. «Может, и я в чем-то виноват», — иногда с горечью сам себе признавался он, жалея Галину. Он знал жизнь и многому мог бы научить ее, но она ничего не хотела принимать из его опыта, делала все по-своему, ошибалась, была несчастной и снова, как только проходило время, поступала наперекор советам отчима. «Припечет, еще припечет», — не раз затем думал он о Галине; и теперь, при Ксении и Шуре, только вслух произнес то, что давно и тяжело угнетало его.

Комната, считавшаяся его домашним кабинетом, была небольшой, тесной, в ней стояло всего несколько книжных шкафов, письменный стол и кресло и пахло тем нежилым, тленным запахом пересохших обоев, мебели, вещей и книг, каким всегда бывают наполнены подолгу не проветривавшиеся и обезлюденные помещения; та мельчайшая пыль, скопившаяся на стеклах, шкафах, подоконнике, сейчас же поднялась, как только Сухогрудов, войдя, всколыхнул воздух; он прошел к окну и, приоткрыв, несколько минут стоял возле него, прислушиваясь к затихавшим вечерним городским звукам. Ночь, опускавшаяся на поля и деревенские избы, обычно производила на него впечатление покоя; все погружалось в темноту, сливалось и за-

тихало до рассвета. Ночь, опускавшаяся на город, в противоположность деревенской зажигала сотни уличных фонарей и этими своими бесконечно мерцающими огнями как бы призывала людей к какой-то новой деятельности; смотрел ли Сухогрудов на огни, как теперь, или не смотрел, но, приезжая в Мценск, всякий раз чувствовал это вечернее возбуждение и мучился, не находя занятий и не удовлетворяясь ни семейным, ни иным каким разговором и ни уединенным чтением; приступ этого мятущегося состояния, как приступ лихорадки, подступал и охватывал его.

В последнее время он постоянно жил с сознанием каких-то надвигавшихся перемен, которые должны были изменить его теперешнее существование и вернуть чувство основательности жизни. Когда он оставался в Поляновке, ему всегда казалось, что главный дом его был в Мценске; когда же приезжал в Мценск, то же испытывал по отношению к Поляновке; временным представлялось ему, что он живет с Ксенией и видится с ее бестолково голосистой дочерью Шурой; временными представлялись семейные неудачи Галины, всегда так болезненно отзывавшиеся в нем, и временным, главное, казалось пенсионное безделье, которым он особенно тяготился; он понимал, что ничто в его жизни уже не может измениться, и в то же время страстно желал перемены, и между двумя этими чувствами — чувством тупика и возможностью продолжения — шел в душе его беспрерывный внутренний поединок. Смириться с тем, что все для него кончено, Сухогрудов не мог; но и не видел он, что можно было предпринять, чтобы приблизить ожидавшиеся перемены, и только сдвигал козырьком нависавшие над глазами черные с проседью стариковские брови.

В этом мучительном состоянии он отошел от окна и сел в кресло. «Значит, Лукина первым», — неторопливо про себя проговорил он. Мысли его были, как бильярдные шары, рассыпанные по зеленому полю стола, — все одинаково круглые, ускользающие, и он не мог выбрать, на чем остановиться. О Галине он не хотел вспоминать; сказав: «Припечет...» — он как будто отрезал от себя все, что было связано с ней и ее сыном; но о районных делах, от которых Сухогрудов с каждым годом все более отдалялся, он не мог заставить себя думать сейчас; лишь мельком взглянув на карту колхозных и совхозных полей, висевшую (с тех лет) на стене, он сейчас же перевел взгляд на книжные шкафы, где за стеклом виднелась фотография Галины.

Снимок был давний, сделанный лет тринадцать — четырнадцать назад, когда Галина приезжала с Арсением на каникулы отдохнуть и повидаться с сыном, которого на зиму оставляла в Мценске. Лето в тот год было особенным, то и дело лили дожди, перемежаясь с ясными солнечными днями, и все вокруг росло и цвело так буйно, что казалось, будто земля вдруг решила показать людям, сколько еще щедрости и силы таилось в ней. Травы просились под косу, пшеница набирала колос; виды на урожай радовали Сухогрудова, и он, довольный общим ходом районных дел, задумал устроить семье праздник. Самым лучшим было поехать в Спасское-Лутовиново; к тому же Арсений давно уже хотел посмотреть тургеневские места. Выехали утром на машинах и к обеду, как обычно бывает в таких поездках, осмотрев барский тургеневский дом (к тому времени еще не восстановленный) и сад со старыми липами и побывав у пруда и на плотине, все чувствовали себя уставшими; женщины присели отдохнуть, а Сухогрудов с Арсением еще решили поискать Бежин луг, который, как им казалось, был где-то неподалеку, за овсяным полем. Бежина луга они не нашли, но вышли к другому, пойменному, по которому, чеканя ножами, ходили конные косилки. Когда Сухогрудов с Арсе-

нием спустились на лут, колхозные парни, остановив косилки, прилегли на траву, а потные лошади стояли на покосе и отмахивались от оводов. Вид ли этих томившихся на солнцепеке лошадей, дегтярный ли запах сбруи, сейчас же пахнувший на Сухогрудова и Арсения, как только они поравнялись с конями, или общий вид наполовину уже скошенной поймы (или просто из обычной проснувшейся в нем крестьянской жалости к коням, которым лучше было теперь двигаться, чем стоять) — Сухогрудов, крикнув парням: «Помочь, что ли?» — взобрался на железное сиденье косилки, застланное каким-то старым ватником, отвязал вожжи и, прищелкнув ими на лошадей, легко и уверенно прошел по кругу загона. Слезая с косилки и вытирая обильный пот с покрасневшего довольного лица, он полушутя предложил Арсению: «А ну посмотрим, на что москвичи способны», и, к удивлению своему, увидел, что Арсений не только не отказался, но точно так же будто с легкостью и уверенно прошел загон. Правда, светлые брюки его были после этого в пятнах зелени и он то и дело стряхивал руки, словно что-то налипло на них; но лицо и глаза под очками выражали то же веселье, какое было у Сухогрудова и было понятно ему.

— Ты что, в деревне жил? — все же спросил он у Арсения, когда возвращались к отдыхавшим у пруда женщинам.

— Да, было немного, — ответил Арсений.

Сухогрудов не стал больше расспрашивать, но уже по-другому посмотрел на Арсения. «Раз знает крестьянское дело, значит, есть что-то от корня и на него можно положиться», — решил он тогда. Ему всегда важно было в человеке именно знание крестьянского дела, и долготелная партийная работа не только не поколебала, но, напротив, лишь сильнее укрепила в нем это выработанное правило оценки людей.

Разглядывая теперь фотографию Галины, он вспомнил о том давнем случае на пойменном лугу и, вспомнив (хотя десятки раз потом было за что не любить Арсения), подумал: «И чего ей не жилось с ним? Какой ни на есть, а жила бы да жила...» Он откинулся на спинку кресла и прикрыл ладонью лицо от света, разбиравшего его мысли. Узел Галининых семейных дел, какой, он чувствовал, так или иначе придется развязывать ему, уже теперь начинал раздражать его; раздражало, главное, то, что все трудности, как ему казалось, создавались искусственно и самою Галиною — от дурной настойчивости и неумения жить (и нежелания слушать, когда говорят!); для Сухогрудова узел этот был той лишней тяжестью, какую должны были нести другие, но перекладывали на него, и он возражал и возмущался. «Жила бы да жила», — снова, хмурясь, повторил он, полагая, что тогда не было бы никаких этих глупых проблем и не надо было бы ломать голову над тем, что делать с Юрием.

В передней продолжала громко разговаривать Шура. Слов, о чем она говорила матери, нельзя было разобрать, но Сухогрудов несколько раз поднимал голову и оглядывался на дверь. Еще в те минуты, когда он слушал Шуру, он подумал, что вот от кого Борисенков узнал про Юрия. «Разнесла, наверное, уже по всему Мценску. — Брови его вновь козырьком сомкнулись на худом морщинистом лбу. — И тот тоже (он подумал о Борисенкове), словно кто в ж... уколол!» Он вспомнил болезненно бледное лицо Ильи Никаноровича, когда тот говорил о Борисенкове, и вспомнил свои слова в защиту Лукина, которого сейчас уже не хотелось защищать ему; все, что было связано с Лукиным, Сухогрудов чувствовал, было как будто еще одной ношей, которую кто-то хотел навалить на него, и, пытаясь высвободиться из-под нее, он встал и принялся нервно ходить по комнате.

«Только этого еще не хватало, как будто у меня нет иных забот»,— сердито говорил он. Что это были за иные заботы, какими ему хотелось заниматься, он не уяснял: он только знал, что они существуют и, значит, он должен заниматься ими.

После ужина Сухогрудов, сославшись, что ему надо кое о чем подумать перед пленумом, снова ушел к себе, а женщины, над которыми, кроме домашних, не тяготели никакие другие дела, уложив Валерика, включили телевизор и в креслах устроились перед ним. Вот-вот должен был начаться какой-то новый двухсерийный художественный фильм (о любви!), и Шура непременно хотела посмотреть его.

— Пока буду идти домой, он и начнется,— оправдываясь, сказала она.— А с середины че смотреть, неинтересно. Уж как-нибудь донесу Валерика.

— Конечно, посиди, посиди у нас,— довольная, что дочь остается, ответила Ксения.

Она выключила люстру, так как верхний свет мешал ей, и зажгла ночничок с красным абажуром, стоявший на серванте.

— Я так больше люблю. Уютней как-то,— сказала она.

— А мы по-всякому,— тут же возразила Шура.— Моему хоть сверху, хоть снизу свети, все одно, лишь бы: «Шайбу, шайбу!»,— деловито добавила она.— Да они все нынче подурели на этой шайбе.

— Да на водке.

— Вот-вот,— подхватила Шура.

— Николай все еще пьет?

— Своего не упустит.

— А ты не потакай, к добру не приведет.

— Потакай не потакай, так ведь дружки у него, язви их!

На экране еще мелькали кадры какой-то сибирской стройки, и, пока не начинался фильм, женщины продолжали переговариваться между собой. Так как обсуждать свои дела всегда неприятно, а в чужих можно свободно излить душу, Шура незаметно снова перевела разговор на Арсения и Галину.

— Ну, скажем, когда наши, мценские, кобелят, это еще куда ни шло,— говорила она.— Но москвичи, только подумать! Им-то культуры не занимать.

— Люди везде люди,— теперь уже возразила Ксения.

— Я вообще не понимаю мужиков. Вот че Арсению надо, чем Галья плоха для него? Он бы должен ей ноги мыть да воду пить, что не увезла его сюда, в Мценск, да позволила ученые звания набирать. Сама-то так в экономистках и сидит, а он?

— О господи, да разве чужую жизнь рассудишь.

— Рассудишь, мама, еще как рассудишь. Галина, видишь ли, старая, а он к молодой — любовь крутить. Да какая же это любовь, если сегодня с одной, завтра с другой, послезавтра с третьей! Я бы всех этих кобелей собрала да на палубу, как протопоп Аввакум, поучить уму-разуму.— И она рассказала историю (не в первый раз уже, впрочем, пересказывавшуюся матери), которую в свое время, в педучилище, услышала от преподавателя литературы, как протопоп Аввакум, желая образумить блудного мужа, подвел его сначала к одному борту и заставил испить воды, затем к другому и опять заставил испить и, спросив, какова вода на вкус, сказал: «Вот так и женщины — все одинаковы».— Когда было, а понимали,— сказала Шура.— А ведь теперь как: ах, люблю эту, ах, вот ту, ах — и уже, смотришь, новая! Раньше говорили, война спишет, а теперь — любовь? Да ведь и закона нет, чтобы остепенить. Арсений вон привел молодую, Николаю-то че врать, а что ты с него возьмешь? «А у меня любовь» — вот и все.

А где у тебя совесть, голубчик, вот ты ответь, а ответить нечего.

— Николай-то не изменяет? — спросила Ксения.

— Ты че, мам, да разве я о нем?

Как только пошел фильм, женщины сейчас же притихли, и атмосфера чужой жизни и чужих страстей начала втягивать и занимать их.

Фильм был о той самой неразделенной любви, которую, когда дело коснулось близких Шуры и Ксении, они осуждали, но которую, когда теперь все происходило на экране, воспринимали как должное и были на стороне седого семейного мужчины, который любил другую женщину и не решался от семьи уйти к ней.

— Взял бы да ушел, че мучиться, че мучиться? — говорила Шура.

VI

В Поляновке по утрам в застрехах над окнами (с южной и восточной стороны дома) пели птицы. Чем ближе подходило к той минуте, когда над землею вот-вот должно было брызнуть солнце, тем сильнее и певучее становились их голоса и больше слышалось возни за тесовыми досками; но в Мценске не было ни застрехи, ни птичьих голосов, и занимавшийся над городом рассвет долго, казалось, не мог набрать силу; солнце поднималось медленно, тяжело пробираясь между крышами домов, и синий сырой холодок, накопившийся за ночь под стенами, держался стойко и создавал у городских людей как раз то впечатление чистоты и свежести утра, чему они, просыпаясь, радовались и открывали окна.

Сухогрудов, распахнув окно, укутывал затем одеялом стынущие ноги. Было еще около пяти утра, то время, когда он обычно, перейдя овраг, шагал уже вдоль пшеничного поля к дороге; но сейчас здесь ему некуда было идти, и он, лежа с открытыми глазами, томительно ожидал, когда проснется Ксения и пора будет вставать и собираться на пленум. Он не испытывал ни вчерашнего раздражения, ни того чувства, будто кто-то хочет навалить на него свою ношу; как всегда по утрам — отдохнувший мозг его работал ясно и мысли, ускользавшие с вечера, теперь послушно располагались в той последовательности, как строй по ранжиру стоящих солдат, когда можно было видеть все сразу и рассматривать каждое событие в отдельности, отводя ему в общем строю определенное место.

Вопрос, больше всего занимавший Сухогрудова, был, в сущности, вопросом щепетильным. Когда он возглавлял райком, он видел, были одни установки в руководстве деревнею, но затем, после 1956 года (когда он уже был отстранен от дел), установки изменились, и он долгое время не мог определить своего отношения к ним (особенно неоправданной представлялась ему ликвидация МТС); но с прошлой весны, когда было обнародовано постановление мартовского Пленума ЦК, в деревенской жизни наметилась еще одна волна перемен; от колхозов теперь не только требовали, но им отпускали средства на развитие, и райкомы должны были проводить в жизнь эту политику партии. Как человек, привыкший к определенному стилю работы и ревностно следивший за всякими нововведениями, Сухогрудов сейчас же почувствовал, что происходило то основательное, к чему нельзя было оставаться равнодушным; сердцем он не мог принять сразу все безоговорочно, но рассудком весь был на стороне этого нового дела. «Ну что ж, есть головы в правительстве», — думал он, сожалея, что эта лучшая пора, когда можно было особенно проявить себя, пришлась не на его, сухогрудовское время, а на время других, которые, как

ему казалось, не имели ни того опыта, ни той силы, какую имел он. «Лукин... а что Лукин?» — размышлял он теперь, лежа с открытыми глазами. Припомнить что-либо, что сейчас же выдвинуло бы Лукина в первый ряд как партийного работника района, Сухогрудов не мог; но точно так же не мог припомнить случая, чтобы тот провалил какое-нибудь порученное дело. «Комсомол — одно, а партия — тут ничего с размаху не возьмешь. — назидательно, словно Лукин стоял перед ним, продолжал Сухогрудов. — Тут надо знать народ (народом для Сухогрудова были колхозные председатели и директора совхозов, с кем больше всего приходилось общаться ему), да так знать, чтобы на сто метров вперед видеть, чего он хочет. Ты ему сегодня потакнешь, завтра он у тебя на шее, а потакнешь еще, он уже, смотришь, на голову норовит. А ты, когда надо, прижми, когда надо, потакни, прижми и потакни, прижми и потакни, и он тебе любой воз и на любую гору вывезет».

Несмотря на то, что Сухогрудов думал как будто о Лукине и об открывавшихся новых возможностях в развитии деревни и в райкомовской работе, он не мог обойтись без воспоминаний о себе и своих делах; прошлое было его детищем и вызывало удовлетворение в нем; «что бы ни говорили, а дело свое мы умели делать»; настоящее же, намечавшиеся перемены, к которым Сухогрудов только присматривался, было, по существу, делом непроверенным, делом будущего, в котором предстояло еще кому-то проявить себя. «Лукин... а что Лукин?» — опять подумал он, мысленно прикидывая, что сможет сделать Лукин и как бы повел все теперь сам Сухогрудов, когда вместе со словами «давай!» и «план!» можно сказать: «Чем помочь? Сколько и чего еще нужно хозяйству?» Он хорошо знал земли района, знал председателей, многих из которых сам выдвигал на хозяйства, и знал, кто и как использует средства, выделенные им; и в зависимости от этого своего понимания, и с полной уверенностью, что соображения его сейчас же будут учтены, как только он предложит их Лукину, он разрабатывал план будущих районных дел. Размышления увлекали его; он думал о том, о чем ему всегда хотелось думать и что составляло смысл его жизни; и вместе с тем как разгоралось утро и комната наполнялась светом и прохладой, исходившей от затененных каменных стен, живее становились его мысли, и он проникался чувством озабоченности, как в былые годы, когда все партийные и хозяйственные дела района лежали на нем. Борисенков со своими мелкими целями представлялся Сухогрудову в сравнении со всем этим движением жизни настолько ничтожным, что вряд ли нужно было обращать на него внимание; пошумит, пошумит — и все забудется; и Галина с Юрием тоже — сегодня так, завтра иначе, и только лишние суета и беспокойство; он смотрел на все эти раздражавшие его вчера события так, словно видел с горы копошившихся у подножия людей; не утруждая себя внимательнее приглядеться к этим людям, чего они копошатся и какова польза и каков вред от их деятельности, он смотрел поверх их голов и спин, где было пространство, заполненное хлебными полями (те самые его теперешние размышления о районных делах), и пространство это представлялось ему главным и достойным того, чтобы думать о нем.

Утром за завтраком он мало разговаривал, боясь растерять ту целостность мыслей и все то целостное настроение, с каким важно было ему появиться на пленуме. Он сидел за столом с желтым, невыспавшимся лицом и сосредоточенным на своих раздумьях взглядом и на все вопросы Ксении только приподнимал густые стариковские брови. Он был с ней и был отчужден от нее; и каждую минуту был настороже, чтобы никто не смел проникнуть в его отчуждение.

— Да, конечно,— сейчас же ответил он, когда Ксения спросила, придет ли он обедать, хотя он точно знал, что с пленума уйти ему будет нельзя и что пообедаст он в райкомовской столовой, но он не хотел вдаваться в подробности и объяснять все.

— А почему бы и не сходить,— одобрительно сказал он, когда Ксения напомнила, что Шура с Николаем приглашали их на вечер к себе, хотя Сухогрудов, не любивший бывать у падчерицы и ее мужа, точно знал, что, во-первых, поздно вернется с пленума и, во-вторых, устанет и что потому нечего помышлять ни о каких вечерних визитах; но он опять же не хотел пускаться в долгие объяснения.

— Ну, мне пора,— наконец проговорил он и, позволив Ксении еще раз оглядеть себя, все ли в порядке было с его костюмом и галстуком, вышел на улицу.

В жизни района нет более важного события, чем пленум районного комитета партии; к нему приковывается внимание сотен людей, о нем говорят, к нему готовятся задолго: в хозяйствах стараются к сроку закончить полевые и строительные работы, чтобы не попасть в число отстающих, в кабинетах сводятся статистические данные, пишутся доклады, выступления, которые затем не раз выверяются и подрабатываются, и только когда вся эта махина больших и малых дел остается позади (когда, главное, уже ни изменить, ни добавить ничего нельзя), всеми начинает овладевать чувство торжественности, как перед праздником, и уже не отпускает никого до конца пленума. С утра в Мценск съезжаются председатели, парторги, директора совхозов (члены райкома), на площади выстраиваются ряды машин, а у подъезда, в коридорах и кабинетах до самой той минуты, пока не пригласят всех в зал, раздаются басовитые голоса в большинстве своем довольных работой и жизнью людей. Утром же прибывает и областное начальство, еще раз просматриваются детали, как подготовлен пленум, даются последние установки, и все озабоченно ожидают начала заседаний.

Сухогрудов, хорошо знавший обо всей этой предпленумной суете, пришел, когда до открытия оставалось еще около получаса, и по привычке (и по праву почетного старшинства) сразу же решил направиться в комнату, где собирались члены бюро райкома. Худой, высокий, с тем давно уже не замечавшимся им строгим и властолюбивым выражением лица, как он любил выходить к людям, когда был секретарем,— как только он ступил в коридор, заполненный толпившимися вдоль стен знакомыми и незнакомыми разными руководящими работниками района, сейчас же почувствовал, что все как будто обратили внимание, что он вошел. Тише стали голоса, и все смотрели в его сторону: одни — ожидая, когда он поравняется, чтобы поздороваться с ним, другие — чтобы пристальнее разглядеть его. Он был памятен многим как человек жесткий, умевший принимать крутые решения, и те, кого он поднимал и поддерживал (и кому труднее всего пришлось затем подлаживаться под новое руководство), и думали и говорили о нем хорошо и всегда жалели, что не он был первым; но те, кого он прижимал за разные преждевременные, как он считал, проявления инициативы (и кто был противником его крутых мер и нажимов), и думали и говорили о нем плохо и полагали, что не столько пользы, сколько вреда принес он своим руководством району. Это второе мнение имело большее хождение, чем первое, и про Сухогрудова складывались целые небывлицы, как он будто бы в неурожайные годы подчистую выгребал все из колхозов, сам становясь у холодных дверей амбаров; его худощавую высокую фигуру в те времена можно было видеть в самых отдаленных и глухих деревнях района; те-

перь же он привлекал внимание всех именно той своей деятельностью.

После улицы, со света, Сухогрудов плохо видел лица людей и потому шел по коридору медленно, всматриваясь и привычным поклоном головы отвечая на приветствия.

— Это вот тот самый Сухогрудов? — говорили за его спиной, когда он проходил.

— Он самый.

— Крепок еще старик.

— Н-ну! Надо было видеть его тогда!

— А взгляд, взгляд!..

— Любил власть, ничего не скажешь, всех в кулаке держал.

В другой группе шел иной разговор.

— Болтают теперь о нем черт те что.

— Дыма без огня не бывает.

— Что умел тряхнуть, так умел, но ведь и возвыситься умел!

— Возвышай не возвышай, а земля, она, брат, дело любит.

— Это само собой.

— Ты ей удобрение, а не криком.

— Это само собой.

Но до Сухогрудова доносились только отрывки фраз, из которых он не мог понять толком, что говорили; он лишь чувствовал, что, по мере того как он продвигался, за спиной его словно возникали и растекались волны, он слышал какие-то как будто приглушенные всплески слов и, не оборачиваясь, старался разгадать значение их; он, впрочем, каждый раз испытывал это чувство вскипавшего позади разговора, когда появлялся на пленумах или конференциях, и каждый раз его охватывало одно и то же беспокойство — как ему было относиться к этим разговорам? То он приписывал все своей значимости, что люди помнили, что он был первым, то вдруг начинало казаться что-то недоброе во всем этом, как его принимали, он волновался и, чтобы скрыть волнение, лишь заметнее строжилась и поджимал тонкие сухие губы. Весь этот знакомый холодок чувств неприятно сопровождал его и теперь, пока он проходил по коридору, и он с трудом удерживался, чтобы не обернуться и не посмотреть, кто и что говорил о нем. «Опять новые? Кого они назначают, что они будут делать с этими молодыми кадрами, у которых ни выдержки, ни опыта?» — вместе с тем думал он, пробегая взглядом по незнакомым лицам.

Кадры эти, какие Сухогрудов имел в виду, были молодые специалисты, недавно выдвинутые на руководящие должности в районе. Их было не так много, как это казалось, и держались они не суетно, не громко, лишь присматриваясь к обстановке, в какой открывался пленум; их сейчас же можно было узнать по тому, как они были одеты, по ярким галстукам и прическам с низко подбритыми и густыми на висках волосами (что только-только входило в моду среди мужчин), и этот-то студенческий вид их как раз и вызывал у Сухогрудова недоверие к ним. У них еще не было ни медалей, ни орденских планок на пиджаках, а он привык иметь дело с иными колхозными вожаками, у которых — и воротник нараспашку, и шея красная над воротником, и веет от них сытостью и силой, и как будто сам черт не брат им в хозяйственных делах; именно так выглядел председатель зеленолужского колхоза-миллионера Панфер Калинин, и когда Сухогрудов увидел его в конце коридора (своего выдвигенца и любимчика, как многие утверждали тогда, пришедшего теперь в орденах и с распахнутым воротом), добрея лицом и выражая тем свое давнее расположение к этому грузному и удачливому председателю, подошел и остановился возле него.

— Все еще у дел? — И он долго не выпускал широкую председательскую ладонь.

— А куда нам от них? — басовито отшутился Калинин. Ордена и медали как будто радостно позвякивали на нем, пока Сухогрудов тряс его руку.

— Это уже... без меня? — Сухогрудов кивнул на второй орден Ленина, украшавший грудь председателя. — Рад, искренне рад, поздравляю. За что, за какие дела?

— За что нам давать? За хлеб, — все тем же отшучивающимся тоном ответил Калинин.

— Ну, наверное, не только за один хлеб.

— Так ведь вся наша работа, она и есть — хлеб.

— Все хитришь, все прикидываешься, — настраиваясь на тот же заданный Калининным полухитливый лад, заметил Сухогрудов. Глаза его, как и глаза зеленолужского председателя, были лукаво прищурены. — Смотри, как бы однажды сам себя не перехитрил.

— Да уж как мать-земля родила, где похитришь, а где и полукавишь, а как иначе. — И он посмотрел вокруг себя, поворачивая полное круглое лицо и хитроватой мужицкой улыбкою приглашая поддержать, что он говорил. — Лукавить иногда и слукавил бы, так ведь и лукавство-то все на виду, вот в чем беда. Нас с какой стороны ни возьми, насквозь видно.

— Но-но-но, — возразил Сухогрудов. — Кто бы говорил, а кто бы и помолчал. — И он точно так же, как только что сделал Калинин, посмотрел вокруг на прислушивавшихся к их разговору людей. — При мне-то ты посмирнее был, а? — И Сухогрудов снова обвел всех взглядом, полагая, что теперь поддержат именно его. Но заметив, что шутка не была принята, сейчас же заговорил о другом. — Силосные поднял? — спросил он, мгновенно как бы стерев с лица все шутливое настроение.

— Давно.

— А елочку?

— Пройденный этап.

— Какая ему елочка? Он уже свинофабрику закладывает собирается, — вставил незнакомый Сухогрудову и стоявший возле Калинина председатель.

Кто-то заметил:

— И правильно делает. Размах!

— А под размах и ссуду подавай.

— Вот именно, — подхватил Сухогрудов, повернувшись к тому, кто бросил реплику о ссуде. — А свои миллионы куда, в какой чулок? — затем спросил он у Калинина.

— А он их колхозникам на аванс!..

— Насквозь видят, насквозь, вот тут и попробуй схитри. — Калинин продолжал улыбаться и отшучиваться; дела в его хозяйстве, как видно, шли хорошо, и у него было доброе настроение; и это свое доброе перед пленумом настроение он невольно передавал стоявшим вокруг.

— Ну, а кого в первые, знаете? — снова заговорил Сухогрудов, обращаясь сразу ко всем.

— Знаем, — за всех ответил Калинин. — Мы все знаем, Аким Акимыч.

— Ну и как?

— А так: конь налягет, воз заскрипит, — уклончиво ответил он. — А по скрипу и слушай, какие колеса подмазывать. А в общем, чего там, наш человек, свой. — Зеленолужский председатель опять довольно улыбнулся.

— Это хорошо, что вы его так хорошо принимаете,— сказал Сухогрудов.— Ну, желаю успеха,— затем добавил он, откланиваясь.

И как только он отошел, о нем сейчас же забыли. Всех занимало главное, для чего собрался пленум, и перед открытием шли обычные кулуарные пересуды; говорили о Лукине, так как всем было уже известно, что выдвигали его, и говорили о возможных перемещениях с его приходом в райком.

— Не удержаться теперь Борисенкову.

— Только ли Борисенкову!

VII

В комнате, где собирались члены бюро райкома и куда вошел Сухогрудов, было шумно, накурено. Возле стола, покрытого зеленым канцелярским сукном, стоял окруженный людьми и весело о чем-то рассказывавший им представитель обкома Лизавин, приехавший провозгласить пленум. Он был человеком среднего роста и средних, как говорили о нем, деловых возможностей; но, несмотря на эти ходившие вокруг него разговоры, на каждой областной партийной конференции он неизменно избирался членом обкома и неизменно оставался на том же руководящем посту, на каком был теперь. По маленькому удлинённому лицу его с высокими и розовыми сейчас, при свете, зальсынами никогда нельзя было узнать, о чем он думал, но по юркому движению глаз, как он смотрел по сторонам во время разговора, Сухогрудов понял, что ничто не могло ускользнуть от взгляда этого человека; в нем постоянно как бы чувствовалось второе, глубинное течение восприятий и оценок, и так как оценки эти невозможно было предугадать, встречи с Лизавиным всегда оставляли у Сухогрудова тяжелое впечатление. «Маленький, а висит над тобой, словно глыба, того и смотри раздавит»,— часто думал он о Лизавине. «Так вот кого прислали! Ну, этот не провалит»,— сейчас же мысленно проговорил он, увидев розовые лизавинские зальсыны. Он не то чтобы не любил, но опасался этого человека и свою отставку, хотя и не имел на то никаких доказательств, связывал именно с ним. Отвернувшись и заметно побледнев от воспоминаний, вызванных этой неожиданной встречей, он двинулся было к окну, но, сделав несколько шагов, остановился; ему показалось, что представитель обкома хотел что-то сказать ему.

— Говорят, ты что-то против Лукина имеешь? — спросил Лизавин, прервав рассказ и глянув на Сухогрудова; и те, кто был рядом с Лизавиным, тоже посмотрела на бывшего первого секретаря райкома.

— Говорят, гуляла мышь по амбару, да зерно в хлев искать пошла,— резко ответил Сухогрудов и, еще более заметно побледнев, посмотрел на Лизавина.— Я вам не мальчик, чтобы тыкать мне, и за сплетни не отвечаю.— И, повернувшись, решительно направился, но уже не к той группе, в центре которой стоял хорошо знакомый ему и уважавшийся всеми за общительность заведующий районо, а к другой, где выделялась фигура районного прокурора Горчевского, который только что, как видно, вошел, здоровался и наклонял голову, показывая, как густы были его зачесанные назад седые волосы, и улыбался всем своим широким и добрым лицом.

— Что он? Аким Акимыч!.. Вот чудак,— сказал Лизавин, подвижными мелкими глазами ощупывая тех, кто был свидетелем этой неловкой для него сцены.— Одичал в Полянвке,— прищуриваясь, добавил он.— Ну хорошо, так на чем мы остановились? — весело как будто снова заговорил он, сбрасывая с лица выражение сосредоточенности и давая понять этим, что не следует придавать значение

выходке отживающего пенсионера. Но у всех было уже потеряно настроение, и он, торопливо закруглив рассказ (он говорил о своей недавней поездке в Москву), подошел к Воскобойникову, который в свое время сменил Сухогрудова на посту первого секретаря райкома и теперь переводился в область, и, взяв его под локоть, отвел в сторону и спросил:

— Может, я путаю, но скажи, был Лукин зятем Сухогрудова?

— Ты к чему это?

Для Воскобойникова важно было (перед уходом в обком) провести этот пленум без заминок, и вопрос Лизавина насторожил его.

— Был или не был?

— Был. Но с тех пор лет, однако, восемнадцать прошло, если не больше, у Лукина своя семья, дети, и живет он с семьей слава богу. Да он же постоянно у меня на глазах.

— Когда это ты совхозный партком в Мценск успел перевести? — с нескрываемой иронией заметил Лизавин.

— Ну не совсем на глазах, но на глазах. А в чем дело?

— Дело... накидать могут Лукину при голосовании.

— Не думаю.

— Могут.

— Он человек с авторитетом.

— Авторитет — дело наживное, а прошлое — если там хоть одно темное пятнышко есть, его всегда можно разворошить и раздуть.

— Ты что-то, как наш Борисенков, ту же, по-моему, песню поешь. Нет у Лукина пятен! Кто бы и что бы ни пытался наговорить на него — вздор. Мы разбирали, и я сообщил в Орел. Видимо, тебя не успели проинформировать. А Борисенкова, если хочешь, можно в какой-то мере понять, он ведь когда-то с Лукиным в комсомоле начинал и был над ним.

— А-а, вон что, — протянул Лизавин. — Тогда ясно. А этого, — и он кивнул в сторону стоявшего к ним спиной Сухогрудова, — чего держите? Какую-нибудь пользу приносит или так, для весу?

— Как тебе сказать...

— Нет, на следующей районной партконференции надо решительно обновить состав. Лукин Лукиным, а мы подумаем над этим. Да, кстати, а где Лукин?

— Что-то с машиной у него, выслали другую, должен вот-вот приехать.

— Зря он с этого начинает.

— А что поделаешь? Никто не застрахован. Так ты все-таки решил завтра домой? На партактив не остаешься?

— Не могу, тысяча дел, да ты и сам теперь можешь представлять обком. Привыкай. В свое время, когда меня вот так же отрывали от района... — И Лизавин, опять взяв Воскобойникова под локоть, начал прохаживаться с ним по комнате и доверительно говорить ему о своих давних и приятных воспоминаниях.

Многие члены райкома и приглашенные (пленум был расширенный) уже сидели в зале; но в коридоре продолжался еще кулуарный разговор; и точно такой же кулуарный разговор шел между ожидавшими выхода в президиум членами бюро райкома. Большинство из них говорили о хлебе и о только что закончившемся в Москве Пленуме ЦК, на котором рассматривались вопросы мелиорации земель. Сухогрудов, довольный тем, как ответил Лизавину, и весь еще в неостывшем возбуждении, пока лишь прислушивался и не вступал в разговор. Людями, стоявшими вокруг прокурора Горчевского, он был принят доброжелательно, ему уступили место, и он теперь то и дело поглядывал то на прокурора, когда тот говорил, то на главного агро-

нома одного из самых крупных зерновых совхозов района Тимофея Сорокина, который, несмотря на молодость (и не обращая внимания на сомнительные покачивания головой прокурора Горчевского), высказывал свое мнение. Ему странным казалось, что людям, производящим хлеб, то есть основу жизни, всегда в обществе отводилась почему-то второстепенная роль.

— В первую очередь всё промышленности, ведь существует такое положение, а уже во вторую — сельскому хозяйству. Мы говорим: рабочий класс и трудовое крестьянство, опять-таки на первый план выдвигаем слово «рабочий». Понимаем ли мы, что хлеб, мясо, молоко всегда были и останутся первоосновой жизни?

— Марксизм вас уже не устраивает, и вы хотите вперед выдвинуть деревню как ведущую силу?

— Я ничего не хочу выдвигать, но, если вникнуть поглубже, найдется над чем подумать. Дело не в перестановке, кого вперед, кого назад, а в сути вопроса.

— Разумеется, в сути, — подтвердил Горчевский. — Вы молоды и только начинаете входить в дело, а я вам скажу, да вот и Аким Акимыч, который волка съел на этом деле, не даст соврать: никогда еще не обращали такого внимания на деревню, какое обращают теперь, это вам о чем-нибудь говорит? Вы думаете, что только одни мы все видим, а наверху забывают за государственными делами, что для жизни народа главное, что второстепенное. Нет, все это, могу заверить, далеко и далеко не так. Один знакомый журналист рассказывал мне такой случай. Сопровождал он как-то высокую правительственную делегацию в поездке по целине. По казахстанской, — уточнил он. — Было это в том году, когда миллиард пудов взяли.

— Миллиард взяли, а сколько погнило на корню и на токах? — сказал Сорокин и так посмотрел на прокурора, как будто заранее знал, что на этот вопрос никто и никогда не сможет дать вразумительного ответа.

— Молодой человек, — между тем, нисколько не смущаясь вопроса, заговорил Горчевский, продолжая добродушно улыбаться своим широким лицом, — можно было начинать целину и по-другому, скажем, построить сначала поселки, нагнать техники, поднять к небу бетонные элеваторы, а потом пахать и сеять. А ну как если бы земля не стала родить, сколько бы народных денег мы пустили на ветер, и стояли бы наши бетонные элеваторы в пустынной степи как памятники самого бездарного руководства. Столетиями бы они мозолили глаза людям. А можно было и так, как сделали, — вспахали, посеяли, родила земля? Родила. Ну и строй теперь на здоровье. И строй: и дороги и элеваторы. У меня ведь там два сына, да и третий туда же навострил лыжи, так что... вот так, молодой человек, жизнь, она не только в полосе нашей видимости.

В то время как Горчевский собирался еще сказать что-то, в комнату вошел Лукин, привлекая к себе общее внимание.

Высокий сорокалетний мужчина, Лукин с тех пор, как его назначили возглавлять совхозный партком, вместе с семьей жил в деревне; но он не был похож на деревенского человека ни манерою говорить, ни манерою держаться; на нем был серый с прозеленью костюм, остроносые, как и было модно, черные туфли, и галстук был повязан аккуратным тонким узлом и был в тон костюму; кто-то сейчас же, глядя на него, сказал: «Как с иголки», — с той глубоко запрятанной иронией, какую, однако, нельзя было не почувствовать; но для Сухогрудова, нахмуренно оглянувшегося на реплику (как и для большинства людей, смотревших теперь на Лукина), это «с иголки» означало лишь то завидное благополучие, какого часто быва-

ют лишены семейные мужчины, и то завидное умение при всей деловой загруженности и заботах постоянно следить за собой. Сухогрудов, как и много лет назад, когда впервые увидел Лукина у себя дома рядом с Галиной и впервые заговорил с ним, снова ощутил в нем ту скрытую силу жизни, какую всегда чувствовал в себе (и в молодости и теперь) и о какой думал, что только она, эта сила, дает право одним людям возвышаться над другими. В Лукине было то, что не могло сейчас же не понравиться Сухогрудову и не вызвать в нем воспоминаний, когда сам он вот так же в свое время, волнуясь, и подавляя волнение, и оставаясь как будто внешне деловым и спокойным, вошел перед открытием пленума в эту комнату. Тогда все обратили внимание на него, теперь все поглядывали на Лукина, заставляя поживать его.

Сухогрудов не слышал, когда было объявлено выходить в президиум, но как только все потянулись к двери, ведущей на сцену, тоже направился туда вслед за Сорокиным и Горчевским. Из-за широкой спины прокурора он не мог разглядеть, что было впереди, и не видел уже Лукина; но будущий первый секретарь райкома продолжал занимать его воображение. Он не задавал себе того утреннего вопроса: «Лукин... а что Лукин?» — и чувство подтачивающей зависти, что не ему, Сухогрудову, выпало поработать в такое перспективное время, тоже было как бы отодвинуто на второй план; с сознанием удовлетворенного самолюбия, что когда-то верно оценил возможности Лукина, он вспомнил свой давний разговор с Галиной, который так или иначе (и несмотря на постоянное желание отделаться от него) часто и болезненно беспокоил старого Сухогрудова и на который, как ему казалось, он мог определенно ответить сейчас. «Ты хотела, чтобы он ехал за тобою в Москву? Для чего? За какими песнями? Вот ты теперь пой свои, а он свои будет петь», — мысленно произносил он, уже выходя на сцену и слыша, как члены бюро райкома, усаживаясь за столом президиума, тарахтят стульями.

VIII

Как только Воскобойников, поднявшись над столом (и над микрофоном), произнес первые слова, открывая расширенный пленум райкома, и в зале и на сцене сейчас же все смолкли и на лицах людей появилось то выражение серьезности, какое всегда поражало Лукина и вызывало в нем чувство причастности всех к общей цели. Он сидел за столом президиума между представителем обкома Лизавиным и председателем Мценского райисполкома Ершовым и выделялся среди них молодым лицом; из зала многие смотрели на него, и точно так же он неторопливо обводил взглядом тех, кто сидел в зале; он почти всех их знал, но вместе с тем с каким-то новым и не вполне объяснимым еще для себя волнением смотрел на них и воспринимал их. Он не думал, изберут или не изберут его первым секретарем эти съехавшиеся со всего района люди (изберут, раз обком рекомендовал, такова логика партийной жизни, и вряд ли кто будет нарушать ее); в сознании поднимались совсем иные мысли, которые все утро радовали, то тревожили его. Он брался за дело, масштабы которого, как ни старался, не мог (не сев в секретарское кресло) вполне представить себе, и лишь чувствовал, что за все в районе с завтрашнего дня придется отвечать ему; надо будет следить за общим ходом партийных и хозяйственных дел — обязательства, планы, дальнейшее укрепление и развитие деревни — и в то же время постоянно заботиться, чтобы благополучие общих дел сочеталось с бла-

гополучием каждого живущего и работающего в районе человека; он думал, в сущности, о том, что было главным во всей партийной и государственной политике (со дня основания партии и государства) и было как будто самым простым и естественным делом; но он точно так же хорошо знал, что именно это простое и, казалось бы, ясное чаще всего, когда надо было принимать решение, оказывалось не простым и не ясным. Общие интересы иногда требовали от деревенских людей столько, что приходилось отдавать все, что имелось в хозяйстве, и тогда заколачивались и сиротели деревенские избы; он знал это по себе, когда после первых послевоенных неурожайных лет вместе с матерью вынужден был перебраться из колхоза в Мценск. Мать затем вернулась в колхоз, и он помнил, как, сбив доски с двери и окон, шагнул в нежилые, пропахшие гнилью сенцы... Но годы те лежали теперь так далеко, и так важно было не это личное, а общее, о чем он думал, что он не вспоминал о своем. «Чего только не повидал этот народ, сколько дел не переделал! Другим — на три жизни хватило бы», — сам себе говорил Лукин, проглядывая на сидевших в зале колхозных председателей и директоров совхозов, которых он понимал и с которыми предстояло после пленума работать ему.

Воскобойников между тем, выйдя на трибуну, читал доклад.

Доклад этот несколькими днями раньше утверждался на бюро райкома, и Лукин был в курсе основных его положений. Все весенние полевые работы в районе были в этом году завершены в срок, и главной задачей, какую Воскобойников выдвигал теперь перед собравшимися, было точно так же по-деловому подготовиться и провести уборочную страду. Он хорошо знал хозяйства района, и потому большая часть его выступления была посвящена разбору конкретных дел; он говорил, как всегда, интересно, и в зале то и дело прокатывалось по рядам оживление. Но Лукин, как ни старался, не мог заставить себя полностью слушать доклад. Как только он, напрягаясь, начинал вслушиваться, в сознании сейчас же возникали свои мысли и перебивали все, и он лишь различал слова, доносившиеся от трибуны, и не понимал значения их; он как будто то проваливался в сферу своих размышлений, которые тоже были о районных делах, то наступало для него прояснение, и тогда он снова видел и зал и Воскобойникова, стоявшего на трибуне. Лишь после перерыва, когда начались прения, он постепенно как бы втянулся в ход пленума и с интересом слушал многих поднимавшихся на сцену председателей колхозов и директоров совхозов; но волнение, что в этот день круто менялась его судьба, что он должен теперь стать во главе райкома, и мысли, связанные с этим событием, во все время выступлений ни на минуту не отпускали Лукина.

В перерывах за лицами постоянно обступавших его людей он то и дело замечал в отдалении худое и как будто постаревшее лицо Сухогрудова. Он и раньше не раз встречался с ним на пленумах и конференциях и в первые годы после развода с Галиной, не испытывая за собою никакой вины, здоровался и разговаривал с ним; но позднее, когда обзавелся новой семьей и особенно когда появились дети, отношения постепенно начали меняться, и это было естественно, одно забывалось, другое было близко и привязывало к себе, и Лукин все чаще стал избегать встреч с Сухогрудовым и уже не интересовался жизнью сына; было в этом что-то, ему казалось, не совсем честное (по крайней мере по отношению к новой семье) — заводить разговор о мальчике, и чем больше Лукин отдалялся от бывшего своего тестя (и чем теснее сживался с новой семьей), тем реже вспоминал о прошлом. Деньги, какие он посылал Галине, она неиз-

менно возвращала и за все эти годы, хотя он неоднократно бывал в Москве, ни разу не разрешила повидаться с сыном. Он знал, что Арсений усыновил Юрия, и с этим тоже, казалось, смирился. «Ну что ж, пусть будет так, как есть»,— думал он. Но каждый раз при встречах с Сухогрудовым что-то тревожное вновь поднималось в груди Лукина, и он чувствовал себя неловко и виновато, что не подходил к бывшему тестю и ни о чем не расспрашивал его.

Эту же неловкость испытывал он и теперь, поглядывая на Сухогрудова.

Но сегодня старик вызывал не только воспоминания о сыне. Многие, и Лукин знал это, связывали именно с деятельностью Сухогрудова те трудные для мценских деревень первые послевоенные годы, когда заколачивались избы, и хотя он никогда прежде не осуждал тестя и полагал, что ничего не могло зависеть от одного человека, что бедствие было принесено войной, он то и дело как бы подключал сейчас Сухогрудова к той общей орбите своих размышлений, в центре которой как раз и стояла прошлая и будущая жизнь деревни.

Пленум проходил гладко, точно так же, как десятки предшествовавших ему, и точно так же те, кто должен был отвечать за работу пленума (Лизавин и Воскобойников), были довольны ходом дел. И доклад и выступления по общему признанию выглядели продуманными и серьезными; все аспекты прошедших весенних полевых работ в хозяйствах района и все вопросы подготовки к сенокосу и уборочной страде были разносторонне обсуждены, но Лизавин, поднявшийся на трибуну перед заключительным словом докладчика, высказав одобрение, все же не мог не сделать те несколько своих замечаний, без которых нельзя было, как он считал, обойтись ему. Затем он долго и пространно говорил о Пленуме ЦК, который только что закончился в Москве (сообщения и документы с Пленума были уже опубликованы в печати), и предложил, хотя это не входило в повестку дня, подработать в масштабах района вопрос о дальнейшем развитии мелиорации земель.

— Осушать вокруг Мценска, допустим, нечего,— заметил он,— но есть вторая сторона вопроса— орошение, и тут непочатое поле деятельности.

— Вот тебе и первое большое дело,— сказал затем Лукину, вернувшись от трибуны и усаживаясь рядом с ним за столом президиума.

— Сначала — пусть изберут.

— Изберут, куда денутся,— подтвердил Лизавин и сейчас же посмотрел в зал с тем выражением, будто ему предстояло выдержать поединок с этими сидевшими напротив него людьми.

IX

К избранию первого секретаря приступили уже в восьмом часу вечера, когда все те, кто был приглашен участвовать в работе пленума, были отпущены и в зале остались только члены райкома.

Они сидели в ближних рядах, и в то время как Воскобойников, что-то еще вполголоса уточнявший с представителем обкома Лизавиным, вот-вот должен был подняться и открыть заключительное заседание, в зале установилась та напряженная тишина, какая охватывает людей лишь перед решением важных государственных дел. Что предстояло решить членам райкома, было для них важным; от первого секретаря зависело так много в общей жизни района, что никто не преувеличивал серьезности наступавшей минуты; и хотя всем бы-

ло известно, что выдвигать на этот ответственный пост будут Лукина (и внутренне были согласны с этим выдвиганием), но кулуарные разговоры, и это тоже было ясно, еще не означали, что не могло возникнуть никаких перемен, и потому все с настороженным любопытством ожидали разворота событий.

Но вопреки этим ожиданиям выборы первого секретаря райкома прошли настолько просто, что после голосования многие остались неудовлетворенными, словно что-то было недодано им. Для выдвигания кандидатуры Воскобойников предоставил слово Лизавину, и как только тот, сославшись на свои полномочия, назвал фамилию Лукина, — сначала кто-то будто робко хлопнул в ладони, потом раздался еще хлопок, еще, и через мгновение уже весь зал гремел аплодисментами. Хлопали долго, а когда аплодисменты стихли, Лизавин, считавший, что ни при каких обстоятельствах порядок ведения пленума нарушить нельзя, высказал все, что было поручено ему сказать о выдвигавшейся кандидатуре, и после его выступления (после нового взрыва хлопков) все единогласно проголосовали за Лукина; и тотчас, едва лишь Воскобойников, поздравивший вновь избранного первого секретаря райкома, закрыл заседание, многие сидевшие в первом ряду устремились на сцену, чтобы раньше других позжать руку новому руководителю.

— Рад искренне, поздравляю, — суется вокруг Лукина, говорил какой-то районный хозяйственник, особенно хотевший, чтобы заметили и запомнили его.

Он снизу вверх смотрел на Лукина и должен был быть неприятен ему; неприятно должно было быть само то льстивое выражение, какое хозяйственник не мог скрыть на своем лице; но Лукин, который был теперь слеп от счастья, как заметил острый и быстрый на язык прокурор Горчевский, — Лукин одинаково всем улыбался и одинаково охотно всем протягивал руку, кто подходил к нему, и был, как это казалось со стороны (и не только Горчевскому, но и Воскобойникову и Лизавину), не в меру и несдержанно взволнован.

— Это по молодости, это пройдет, — добродушно сказал Воскобойников, чуть повернувшись к Лизавину.

— Обомнется, оботрется, дело заставит, — подтвердил Лизавин.

Но Лукин вовсе не был так слеп от счастья, как это казалось; просто то внимание, какое в эти минуты все оказывали ему, было непривычным, и он не знал, как вести себя и что отвечать людям; он не хотел, чтобы с первого же дня о нем говорили, что он не ко всем ровен, и, не желая никого обидеть, делал то, что, представляясь предосудительным другим, было обдуманном и естественным для него. Он сознавал, что в жизни его произошло событие, оценить которое он еще был не в силах, и радовался лишь той широкой возможности применить ум и волю, какая открывалась ему с этого дня в райкомовской работе. Ему казалось, что главная суть всех предстоящих забот — сочетание общего благополучия с благополучием каждой отдельно живущей семьи — была ясна ему, и он с уверенностью смотрел вокруг себя; но он весь был под впечатлением только что прошедшего голосования (и под впечатлением этих знаков внимания, какие оказывались ему) и потому не думал, что между началом пути и достижением цели, какую он ставил перед собой, лежали сотни человеческих отношений, в которых надо было еще разобраться, и что, кроме общих интересов, всегда есть частные, личные, которые тоже не вдруг решить — окриком или движением руки; из круга совхозных отношений Лукин вступал в круг, очерченный границами района, и Воскобойников и Лизавин понимали это; но для Лу-

кина было сейчас лишь впечатление ясности цели и впечатление общего доброго настроения подходивших к нему людей, и он невольно торопился отплатить им своей доверительностью и добротой.

Когда он все с тем же оживлением в глазах и на лице уходил со сцены, у самых дверей он столкнулся с Сухогрудовым, ожидавшим его.

— Я поздравляю вас,— сказал Сухогрудов.

Хотя, как и все, он казался утомленным после заседаний и это было заметно по вялости движений, как он пожал руку Лукину, но точно так же было заметно, что он возбужден и доволен прошедшим пленумом; он не только не растерял того целостного настроения, с каким утром вышел из дому, но был как будто еще более собран и более чем когда-либо расположен теперь поделиться с Лукиным соображениями о тех районных делах, продуманных им еще в Поляновке, которые не могли, как он считал, не оказаться полезными любому первому секретарю, кто бы ни пришел сейчас на это место. Он давно вынашивал мысль об укреплении хозяйств и более централизованном и комплексном руководстве — то, что в свое время и в силу определенных обстоятельств он не мог провести в жизнь и что теперь, когда правительство отпускало средства для огромных капиталовложений в сельское хозяйство, было вполне реальным и осуществимым; он думал об этом все долгие часы, проведенные в президиуме, когда слушал докладчика и выступавших и видел перед собой спину сидевшего за столом Лукина. Как и в первые минуты встречи с ним, Сухогрудову было приятно, что Лукин пошел в гору; приятно было именно то, что когда-то не ошибся в этом человеке; но рядом с удовлетворением возникала мысль о Галине, и как он ни старался отогнать ее от себя, понимая, что не за что упрекать бывшего зятя,— теперь, когда близко видел его лицо, чувствовал, что в чем-то все же не может простить его за Галину.

— Спасибо,— ответил Лукин, глядя на Сухогрудова.— Мне особенно дорого ваше поздравление,— затем добавил он, сознавая, что надо сказать не это, а спросить о сыне и Гале, чего, он видел, ждал от него старик, но чего Лукин не мог вот так, вдруг, не преодолев прежде того продиктованного жизнью (новой семьею) нравственного барьера, который каждый раз при встречах с Сухогрудовым мучительно поднимался в его душе; и на молодом и только что радостном лице Лукина сейчас отразилось все это замешательство, смутившее его.

— Если я хоть чем-то могу быть полезен,— между тем продолжал Сухогрудов, тоже чувствуя, что говорит не совсем то, что надо бы сейчас сказать бывшему зятю,— я всегда к вашим услугам.

— Спасибо, рад и ценю.

— Я знаю район, и у меня есть несколько, на мой взгляд, интересных предложений.

— Давайте встретимся, это хорошо,— сказал Лукин, которому все же хотелось перешагнуть барьер и спросить о сыне, и предлагаемой встречей он как бы открывал в будущем для себя эту возможность.— Давайте... Завтра у нас партактив? Давайте я осмотрюсь, и на следующей неделе — прямо в понедельник ко мне.

— В понедельник я буду уже в Поляновке.

— Давайте я к вам в Поляновку приеду. Так и сделаем, договорились? — И Лукин в знак того, что договорились (и от сочувствия и к бывшему тестю и к себе), обхватил ладонями костистую руку Сухогрудова и пожал ее.

Лизавин в этот же вечер уезжал в Орел и перед отъездом хотел поговорить с вновь избранным первым секретарем райкома, и пото-

му Лукин, знаящий, что его ждут, так поспешно распрощался с Сухогрудовым; но Сухогрудову некуда было торопиться, и он вышел в коридор, наполненный еще толпившимся народом.

По тому, как неохотно расходились люди, всем было ясно, что пленум прошел удачно; сменилось руководство, и все были возбуждены этим событием; с приходом Лукина, человека еще молодого и энергичного, в районной жизни должны были произойти перемены, которых, как это казалось теперь, все и давно ждали, и Сухогрудов, шагая по коридору мимо партторгов и колхозных председателей, сейчас же почувствовал это общее настроение. Его не окликали, и он не останавливался ни перед кем; и за спиною, когда проходил, не возникали те разговоры о нем, какие вспыхивали утром; всех занимало лишь то обновление, участниками которого они были и какое, как смена времени года, всегда нужно для жизни.

Х

Людей, облеченных доверием и властью, в послевоенные годы (начало пятидесятых) занимали в основном два жизненно важных вопроса: хлеб, которого не хватало в стране, и промышленность, для которой нужна была новая энергетическая и сырьевая база. Менее дальновидные государственные деятели предлагали расширять пока то, что было уже разведано, освоено и давало продукцию, и приводили в подтверждение свои веские доводы; более дальновидные выдвигали иные планы, с перспективою на будущее, и в Центральном Комитете и в Совете Министров на разных уровнях постоянно шли обсуждения и поиски возможных вариантов; и эта напряженная атмосфера государственной жизни из министерских кабинетов и от шумных заседаний коллегий как по цепочке растекалась затем во все иные инстанции, вызывая те разговоры, которые, в сущности, были уже бессмысленными, так как ничего не прибавляли к тому, что определялось наверху, и только усложняли общее движение; в правительство посылались самые разные предложения, но взоры тех, кому положено было решать все, что касалось хлеба, были обращены на пустовавшие целинные и залежные земли Северного Казахстана, Алтая и Оренбуржья, за счет которых можно было значительно расширить посевные площади. Что касалось сырья для промышленности — обращены были к нетронутым сибирским просторам, давно уже привлекавшим внимание институтов и академий. Но в то время как распашка новых земель могла принести быструю и осязаемую отдачу (потому и проходило освоение целины так быстро и решительно), Сибирь лишь требовала пока новых и новых вложений, и отдача многим представлялась делом неясным и проблематичным; освоение шло трудно, драматично и долго, то привлекая, то отпугивая людей, особенно в то тяжелое семилетие, когда после первой давшей газ скважины на окраине Березова долго затем геологам и буровикам не удавалось ничего обнаружить. Лишь в шестидесятом году на буровой под Шаимском ударила нефть; затем нефть вдруг брызнула в Мегроне и Усть-Балыке (и потом уже открытия следовали одно за другим), и теплоход «Ферсман» доставил первую наливную баржу сибирской промышленной нефти на Омский нефтеперерабатывающий завод. Тогда же началось проектирование и строительство в Сибири газопровода Пунга — Серов (Березово — Урал) и нефтепровода Шаим — Тюмень, и молодой Дементий Сухогрудов, приехавший после института в Тюмень, сразу же был подключен к этим работам.

Как человек энергичный и умевший взяться за дело, уже при разработке проекта газопровода Пунга — Серов он предложил несколько интересных и смелых решений, которые были одобрены и приняты; его сейчас же заметили, и на строительстве Шаимского нефтепровода он был уже не рядовым инженером, а в день пуска этого первого в Сибири нефтепровода, когда на заснеженной морозной площади (на окраине Тюмени, перед нефтеналивной станцией) тысячи горожан собрались на митинг, чтобы поздравить строителей, он стоял на трибуне в числе тех, кого чествовали и кому адресованы были приветственные телеграммы министра нефтеперерабатывающей промышленности СССР Шашина и министра газовой промышленности Кортунова.

— Думаем бросить вас на северную нитку, — тогда же, на трибуне, как бы между прочим было сказано Дементию Сухогрудову.

К тому времени геологи из Мегиона Абазаров и Синюткин радиовали начальнику Тюменского управления Эрвье об открытии Самотлорского нефтяного месторождения; затем начали поступать сведения об открытии больших запасов природного газа в Уренгое, Медвежьем и в Заозьярье по рекам Пур и Таз, и нужно было для скорейшего промышленного освоения этих месторождений проектировать и возводить новые газовые и нефтяные магистрали.

Отправив в Москву заверченный проект северной нитки газопровода, Дементий Сухогрудов продолжал работать над ним, до полуночи засиживаясь за чертежами, мучая себя, семью и сослуживцев, которые помогали ему. При всем понимании важности дела, с каким все окружающие относились к нему, дома вот-вот должна была вспыхнуть та естественная для нынешних времен ссора, когда жена Виталина, работавшая детским врачом в одной из поликлиник города и тоже часто допоздна задерживавшаяся по вызовам, готовилась, несмотря на все это, заявить мужу, что она существует и что существуют еще дети (пять лет назад она родила Дементию двух мальчиков-близнецов, в которых, как всем казалось тогда, он не чаял души), что ни утром, ни вечером мальчики не видят отца и не могут сказать, есть ли он у них, и что от матери (тещи Дементия) некуда уже деть глаза при такой жизни; нечто подобное назревало и в семьях сослуживцев Дементия, когда-то увлеченных, но уставших от дел; и много месяцев изо дня в день бесперебойно трудившаяся над проектом слаженная машина начала давать перебои, и, как обычно бывает в таких случаях, видели и понимали это все, кроме Дементия. Он знал только, что надо ему еще и еще сделать кое-какие уточнения, и ничего другого не хотел ни видеть, ни признавать; и только, может быть, этою своею волею сдерживал события, какие сгущались вокруг него.

Ранней весной, еще не вскрывались Обь и Иртыш, он решил предпринять еще одну, и последнюю, как заявил он, контрольную поездку по тем местам, где намечалось протянуть будущую северную нитку газопровода. Взяв с собой самых энергичных и способных, как он считал, помощников, Кравчука и Луганского, рейсовым самолетом вылетел с ними в Тобольск, а оттуда где на вертолетах, где на вездеходах группа двинулась через тайгу и тундру к Полярному кругу. Поездка была затяжной и трудной и, в сущности, ничего не прибавила к тому, что было известно о будущей трассе; только еще лишний раз Дементий Сухогрудов убедился, что все проектные расчеты оказались верными; но именно это и было для него важным и радовало его.

Группа вернулась в Тюмень только к концу мая, когда всюду с полей уже сошел снег, река, рассекавшая город, очистилась ото льда и вдоль берегов густой щетиною зеленела трава. Придавленно стоявшие всю зиму под снегом таежные ели тянулись к солнцу, насыщая на сотни верст все вокруг запахом смолы и хвои, коричневыми сережками цвели над заводами вербы, набухала цветом сирень и клейковато лопались по утрам почки низкорослых сибирских берез. Когда Дементий спустился по трапу на асфальтированную площадку аэропорта, все эти запахи короткой весны и приближавшегося короткого лета сейчас же обступили его; как человек, перешедший из одного помещения в другое, в котором настезь распахнуты в сад окна, он живо ощутил перемену и шагал к машине неохотно и долго. От черной кромки тайги, что начиналась сразу за взлетной полосой, стелился над землей пронизывающий весенний ветер и отворачивал полы потертой за дорогу дубленки Дементия и шевелил его отросшие (шапку он держал в руках), лишь ладонью пригладженные вол сы; похожий на отца армейскою выправкою, несмотря на усталость, он весело как будто оглядывал все вокруг, и с тонких обветренных губ не сходила довольная улыбка. Худощавое лицо его было по-северному загорелым и поросшим русою и курчавившеюся бородакой, какую модно было отпускать сейчас; но у Дементия она казалась необходимой и как бы накладывала на его продолговатое и жесткое лицо доброе выражение. Он не придавал никакого значения тому, что носил бороду; просто так было удобнее при его частых разъездах и было уже привычно ему; и еще немало разных других мужицких и осуждавшихся Виталиною привычек, но со студенческих лет упрощавших ему жизнь, было у Дементия Сухогрудова.

Он ждал известий из Москвы (как будет оценен его проект) и звонил еще из Тобольска, справляясь, не поступило ли на его имя какой-либо телеграммы; теперь, с аэропорта, ему хотелось заехать в управление к Жаворонкову, и он попытался было заговорить об этом с Кравчуком и Луганским, но, заметив, с каким неудовольствием было выслушано ими это его предложение, сказал только: «Что ж, по домам так по домам» — и молча затем всю дорогу смотрел на шоссе и на все то, что открывалось взгляду за стеклом машины. Чувство весны, какое он испытал, сойдя с самолета, солнце, зелень и небо, прозрачной голубизною начинавшееся от горизонта, куда он смотрел, и сознание того, что он едет домой, к Виталине и детям, о которых за суетою дел там, на трассе, некогда было думать ему (но о которых теперь думал с удовольствием и с той удвоенной нежностью, какая за все эти недели снежных переходов накопилась в нем), и, главное, общее настроение успеха, какое вынес он из контрольной поездки, — все это, сгустившись и перепутавшись, слившись как будто в одном радостном ощущении пришедших весны и лета, переполняло Дементия и заставляло его молча смотреть перед собой.

Распрощавшись с Кравчуком и Луганским, он все же решил вернуться в управление, и предчувствие, что что-то о проекте пришло из Москвы, не обмануло его. Как только он, сбросив дубленку в приемной, вошел в кабинет к Жаворонкову, тот сейчас же протянул ему телеграмму, в которой сообщалось, что проект северной нитки газопровода одобрен в министерстве и передан в правительство на утверждение и что руководитель проекта срочно вызывается в Москву.

— Я полагаю, — сказал Жаворонков, — северной трассе придают большое значение, и не исключена возможность — строить начнут быстро и вестись строительство будет эффективно. И, по-моему, если

чутье не изменяет мне,— тут же добавил он,— руководить этим делом хотят поручить вам.

— Почему мне? — спросил Дементий.

— Во всяком случае, обком запросил на вас представление, и, полагаю, не для себя. Вы что, боитесь?

— Нет.

— А что вас смущает?

— Как-то неожиданно, сразу...

— Не сразу... не сразу... И это еще только мое предположение. Поезжайте в Москву, вас там ждут.— И он мягко и уважительно, как он всегда умел делать это, пожал Дементию руку.

XI

Жил Дементий не в многоэтажном доме, а в бревенчатом особняке, предоставленном ему еще в те годы, когда он только приехал в Тюмень. Выстроенный каким-то нэпманом на крутом берегу Туры, подновленный и переоборудованный затем в благоустроенную квартиру, особняк был удобен для жизни. Из окон, которые Виталина по своему пристрастию к кружевам и прозрачным тканям всегда держала под тюлевыми занавесками, была видна излучина реки, менявшая очертания и краски в разное время дня и года, и видны были пристань и судоремонтный завод, в затоне возле которого скапливались, особенно к осени, и терлись бок о бок заходившие с Иртыша и Оби баржи, буксиры и теплоходы. Зимой через замерзшую и запорошенную снегом Туру протаптывались тропинки, соединявшие, как нити, правобережную и левобережную стороны города; весной же, когда вскрывалась река, по ночам в особняке было слышно, как трещал, лопаясь под напором талой воды, лед, и теща Дементия Анна Юрьевна, просыпаясь, включала свет и ходила по комнатам. Лед рвали затем у мостов, и взрывы и крики людей тоже были слышны в особняке, так приятно всегда напоминавшем Дементию отцовский дом в Поляновке.

Может быть, именно потому, что большую часть времени Дементий проводил либо в поездках по тайге, либо в своем рабочем кабинете с огромными, из сплошного стекла окнами и тяжелыми чертежными столами, что-то щемяще-тревожное всякий раз возникало в нем, когда после долгой командировки он возвращался домой. С какою-то почти юношеской нетерпеливостью, как только машина сворачивала на знакомую улицу, он сейчас же наклонялся вперед, чтобы увидеть все то — ограду, крыльцо, крышу,— что было родным и было дорого ему; но, несмотря на желание поскорее встретиться с женой и детьми, он выходил из машины, однако, с той сдержанностью, какая была присуща ему во всем, и, прежде чем обнять Виталину, несколько мгновений стоял, опустив чемодан или портфель на пол и лишь приготовив для объятия руки. Ему доставляли удовольствие эти секунды, пока он смотрел на жену, видя перед собою ее лицо и светлые волосы и улавливая в спокойных глазах ее то почти незаметное выражение счастья, что он приехал, вот, перед ней, какого всегда бывало достаточно для Дементия, чтобы в момент, когда он переходил от мира служебных дел и отношений к миру семьи, не растерять ему того чувства удачи, за что он ценил жизнь и что давало ему силы и напряженно работать, и бездумно и счастливо как будто, как он считал, любить жену и детей. Он редко видел Виталину в белом врачебном халате и белой шапочке, только когда по случаю заезжал за ней в поликлинику; но, может быть, потому, что знал, что она любила свою работу, жила ею и постоянно с увлечением го-

ворила о ней, в сознании Дементия хранился именно этот в белой врачебной одежде образ Виталины, и когда он вспоминал о ней, в нем сейчас же возникало ощущение чистоты, не стерильной и отгаливающей, а другой, какая обычно отличает умных и порядочных женщин и выдает в них ту не для всех привлекательную строгость в семейных и во всех иных делах, какую Дементий с детства всегда наблюдал в отце и признавал образцом жизни. Виталина никогда не надевала ничего яркого, что было бы вызывающе и кричало на ней, и носила платья, блузки и юбки того покроя, в котором в меру еще оставалось что-то от ушедшей моды и в меру было что-то от новой, лишь обретавшей права, и в этой тяге к срединности, в боязни как будто недолить или перелить через край опять живо проявлялось все то же строгое ее отношение к жизни, как понималось ею (и понималось Дементием, хотя и не всегда он придерживался этого правила) достоинство человека.

Лишь одну — и прощавшуюся мужем, но скорее не замечавшуюся им — вольность разрешала она себе; ей казалось, что было что-то неприятно пергаментное в ее до голубизны ослепительно белой коже на лице, и потому по утрам она не любила, чтобы на нее смотрели; но когда она выходила к столу — кухня всегда оставалась в распоряжении матери, Анны Юрьевны, — подкрашенные и напудренные щеки ее были смуглы, и в голубых глазах с подведенными разрезами еще сохранялась та живость, с какою она, причесываясь и убираясь, разглядывала себя в зеркале. Но Дементий редко всматривался в ее лицо: ему всегда важно было лишь то общее впечатление, какое производила на него Виталина, и красота ее глаз, и смуглость щек, и кружевные воротнички вокруг белой шеи, какие она носила, были для него только подробности, которые сами по себе ничего не говорили ему; главное, что он любил (вернее, ценил) в Виталине, — был тот близкий и понятный ему ее душевный мир; внешне как будто непокорная и взрывная, в глубине своей она была женщиной терпеливой и сердечной, и Дементий знал, что при всяком ее неудовольствии стоило только улыбнуться ему, или чуть ласково посмотреть на нее, или просто сказать несколько успокаивающих слов, как сейчас же все как будто становилось на свои места и за ним опять признавалось право (ради семейного же благополучия) засиживаться допоздна за чертежами и уезжать надолго в тайгу. Ему было спокойно и уверенно жить с Виталиной, и он не мог представить, чтобы что-то вдруг изменилось в его домашних делах; те дни, когда он, познакомившись, гулял затем с ней по тихим улицам Тюмени, были далеко позади, как и позади было время, когда в особняке, в котором он жил с нею теперь, в комнатах стояли только кровать, стол и несколько стульев; но так как он лишь любил дом и не занимался им, все приобреталось Виталиною и было в тех же сдержанных тонах, вполне соответствовавших ее суждениям об интеллигентности и приличии.

В семье Сухопрудовых, впрочем как и во многих других современных семьях, не было того четкого и привычного разделения, когда во главе всего становился муж; и Виталина, и ее мать Анна Юрьевна, и Дементий — каждый по-своему был убежден, что именно он ведет и направляет все в доме: Виталина — тем, что все подчиняла своему вкусу и представлениям об убранстве и уюте комнат, Анна Юрьевна — тем, что готовила завтраки и обеды и вела, как она говорила, все хозяйство, Дементий же — тем, что поддерживал весь этот достаток; но на самом деле в центре всей их семейной жизни были дети, близнецы Сережа и Ростислав, доставлявшие и радость и хлопоты, особенно Анне Юрьевне, которая изо дня в день толкалась с

ними в доме. Такая же светловолосая, как и дочь, и точно так же носившая неяркие платья (и еще более, чем дочь, любившая, чтобы все в комнатах стояло на своих местах, не двигалось и не захватывалось руками), она с охотой, как только родились у Виталины мальчики, вызвалась помочь дочери; она уволилась с работы, хотя до пенсии оставалось чуть больше года, и, давно отвыкшая от домашних дел, накупив фартуки и халаты, принялась за хозяйство, и кухня и детская, сразу же определившие круг ее забот, постепенно так изменили Анну Юрьевну, что прежние знакомые уже не всегда узнавали ее. От того дня, когда Дементий впервые увидел свою будущую тещу, какой она выглядела — не по годам моложавая и ухоженная (она работала тогда машинисткой в облисполкоме, где печатались разные ответственные документы и куда принимались только люди проверенные), и до этого, какую стала сейчас — с располневшим лицом и красноватыми от воды руками, лежали годы, когда и Виталине и Дементию надо было укрепляться, выходить в люди и они нуждались в помощи матери; но по той простой логике, что всякая высота, достигнутая человеком, есть только точка отсчета для нового движения, в еще большей степени эта помощь по дому нужна была им теперь, и Анна Юрьевна постепенно начала привыкать к мысли, что, пока не вырастут внуки, никакого облегчения не наступит для нее. Она все реже вспоминала, как она работала в облисполкоме, и прежде красивые, всегда с темным маникюром пальцы ее, знавшие только клавиши облисполкомовских машинок, выглядели уже старчески неуклюжими, костлявыми и были заметно изъедены порошками и мылом; чистота, так любившаяся ею (и любившаяся дочерью), как видно, не просто давалась ей. Но для Виталины и особенно для Дементия, все происходившее с Анной Юрьевной было незаметно и представлялось обычным, естественным течением жизни; главное, всегда вовремя подавались завтраки и обеды, и было свежее белье на кроватях, и мальчики росли крепкими и веселыми; маленькие, будто катившиеся по полу колобки, они представлялись Дементию необыкновенными; он бывал с ними час или два, отвлекаясь от своих дел, брал на руки, возил на спине, и эти шумные встречи с сыновьями надолго затем оставались в его памяти. Если когда в поездках он вспоминал о доме, то прежде всего перед ним вставали именно эти картины, как он забавлялся с детьми, и при всем понимании важности своей работы, что все, что он делал, все для людей, для государства, в нем вдруг просыпалось то как будто эгоистическое чувство, что старается он для сыновей, и он казался себе счастливым, что было ему ради кого стараться и жить.

ХП

Сразу же от Жаворонкова Дементий поехал домой; но вопреки ожиданиям (и будто в противоположность приподнятому настроению) ни Виталина, ни дети ни Анна Юрьевна не вышли встретить его. Дети играли во дворе за домом и не видели отца; Анна Юрьевна, еще с утра заметившая по дочери, что что-то неладное возникает в доме, сказала нездоровой, легла на кушетку и грелась теперь под клетчатым мохеровым пледом, а Виталина, хотя сегодня был у нее неприятный день, собралась и ушла в поликлинику и затем отправилась навестить больных. Она не думала ни ссориться, ни расходиться с Дементием, но ей хотелось хоть чем-то дать почувствовать ему, что точно так же, как он забывает о семье, семья может забыть о нем, и она заранее видела то выражение лица, с каким он, ступив на порог, спросит у матери: «А где Лина?» То, что

она заставляла теперь неприятно волноваться мужа, отзывалось в ней мучительным вопросом — справедливо ли и должна ли она поступать так? Но в сознании сейчас же поднималось все пережитое и передуманное ею, особенно за эту последнюю его поездку, когда он не только ни разу не позвонил, но и не написал ей ни одного письма, и она, встревоженная этим молчанием, как дура (как думала она теперь) кинулась в управление узнать, не случилось ли чего с ним. Ей стыдно было признаться перед сослуживцами Дементия, что он ничего не написал ей, и она не могла простить ему этого; роль не любимой и забытой жены, какую она постоянно все эти дни в мыслях отводила себе, не только не устраивала, но вызывала в ней боль, от которой некуда было деться; на работе, когда она ходила по вызовам, она с завистью смотрела на чужие семьи, в которых все, как она считала, было правильно и по-людски, совсем не так, как у нее; дома, когда, уложив детей и поговорив с матерью (и молча посидев затем перед телевизором), направлялась в спальню, одиночество становилось особенно нестерпимым, она принималась читать, лежа в постели, и только за полночь наконец забывалась тяжелым, как будто придавленным сном. Она чувствовала, что дурнела и что молодость уходила от нее; по утрам лицо ее было помятым и бледным, и когда она затем, посмуглевшая и посвежевшая перед зеркалом, садилась завтракать, ловила на себе неприятные взгляды матери, которая будто с насмешкою хотела спросить у нее: «Прихорашиваешься, а для кого? Да он давно уж поди наметил, на кого смотреть». Весь день после этого Виталина находилась под впечатлением материнских взглядов; она не хотела верить, чтобы Дементий, который был так близок с ней, мог спутаться с другой женщиной (в раздражении она употребляла уже это слово «спутаться», не замечая, как обидно и грубо звучит оно), но поступки мужа все более представлялись необъяснимыми, и в сознание ее постепенно как бы вкрадывалось именно это усиливавшееся намеками матери подозрение, что все может быть, и она думала, что не перенесет этого ужаса, если все обнаружится, и не сможет смотреть в глаза людям; прежде незнакомое (и не вполне, впрочем, осознававшееся ею теперь), в ней поднималось то ревнивое чувство, о существовании которого она никогда не подозревала в себе, и чувство это как будто подталкивало ее к каким-то противоестественным и безумным поступкам. В душе ее происходил тот процесс самовозгорания, как в подмоченном стогу сена, когда, только разбросав стог, можно обнаружить, что происходит в нем, и только подсушив, остановить процесс; но все попытки ее поговорить с Дементием заканчивались ничем, она чувствовала себя безоружной перед его словами и перед успехами, какие приходили к нему.

У нее, в сущности, не было ничего, в чем бы она могла уличить мужа, не было фактов, а было только неведение, и это неведение как раз изнуряло и мучило ее. Но иногда ей казалось, что она понимала Дементия: он весь в работе и делает и себе и семье жизнь и благополучие; но понимание это сейчас же наталкивалось на самую простую истину — а для чего посты и благополучие, если нет обыкновенного человеческого счастья? «Уж лучше жить за каким-нибудь простым человеком», — говорила она себе, в то время как на самом деле ей хотелось и этого благополучия, какое приносила работа Дементия, и обычного женского счастья, от которого она не представляла, как можно было отказаться ей.

С подчеркнутым как будто вниманием, словно кроме работы и в самом деле ничто другое не интересовало ее, прослушивала она своих маленьких пациентов, задирая им рубашонки, разговаривая

с родителями и выписывая рецепты, и как только выходила из одной квартиры, сейчас же направлялась в следующую (где точно так же накануне была по вызову) и переносила с собой все свои разрозненные теперь мысли о Дементии и жизни с ним; она переживала, что не осталась встретить его, но, вместо того чтобы вернуться, то и дело говорила себе, что все равно изменить уже ничего нельзя и что пусть что будет, то будет, и, как прыгун, неудачно оттолкнувшийся с вышки, жила лишь ощущением неминуемо приближавшегося удара и брызг. Она не хотела скандала, после которого, как она думала, невозможно будет жить вместе, но и не в силах была приостановить событие, которое уже набирало инерцию, и, поглядывая на вечеревшее над городом небо, вместо того чтобы идти домой, отыскивала в памяти новые и новые адреса больных и шла к ним с тем сосредоточенным выражением, какое, когда, сняв плащ, оставалась в белом врачебном халате, было как будто и объяснимым и понятным в ней.

— А где Лина? — живо спросил Дементий (произнеся именно то, что и предполагала Виталина), как только, войдя в комнату, увидел, что никто не встречает его и что лишь в глубине, на кушетке, зашевелилась под пледом Анна Юрьевна.

Она неторопливо поднялась и с каким-то будто старческим, как показало Дементию, безразличием проговорила:

— А, приехал.— И принялась одергивать на себе халат и поправлять сбившиеся волосы.

— Лина где? — переспросил Дементий, от порога вглядываясь в равнодушное и отечное ото сна лицо тещи.

— Ушла... Где ей быть?

— А Сережа? Слава?

— Во дворе.

— Живы-здоровы?

— Что им сделается?

— Тогда отчего такое панихидное настроение? — спросил он.

Он прошел на середину комнаты и, бросив к ножке стола дорожный портфель, раздутый от скомканного в нем грязного белья, весело посмотрел вокруг; после настороженности, когда ему вдруг показалось, будто что-то случилось за время его отсутствия в доме, он снова был весь во власти приподнятого настроения; несмотря на то, что он как будто спешил увидеть Виталину и сыновей и поминутно как будто думал о них, мир служебных дел и забот настолько сильно сидел в нем, что даже теперь, когда вокруг были не безмолвные на сотни верст просторы тайги и хлопающие на ветру стены палатки и не чертежные столы и сосредоточенные лица сослуживцев, а то домашнее, что всегда заключает в себе совсем иной круг желаний и чувств, он, в сущности, продолжал жить той своей устремленной к одной цели (к работе) жизнью, которая, как снежный ком, чем больше он ездил (и чем больше добивался успехов), тем плотнее как будто наслаивалась на нем. Ему не столько хотелось сейчас обнять Виталину, сколько сказать ей, что поездка была удачной, что проект одобрен и что завтра же надо лететь в Москву; ему хотелось сделать Виталину соучастницей своей жизни, как это бывало всегда прежде, когда после очередной командировки он возвращался домой; но именно это, что давно уже было как будто привычным и естественным для Дементия (разговор о своих делах), он чувствовал, было сейчас отобрано у него, и он должен был чем-то другим занять себя; поглядывая то на хрустальные вазы и белые кружевные салфетки под ними, украшавшие полированную плоскость серванта,

то на Анну Юрьевну, которая, как ему казалось, все еще никак не могла до конца очнуться ото сна, он думал, не позвонить ли сейчас Кравчуку и Луганскому («Надо же им сказать о телеграмме из Москвы!»), и не сходить ли пока в баню, в парную («На чердаке должны быть еще березовые веники»), или не поговорить ли с тещей, разговор с которой, впрочем, редко когда теперь удавался Дементию; но вместо всего этого — как был в дубленке, которую еще не успел снять с себя, он направился к окну и, отвернув тюлевую занавеску и увидев игравших в саду сыновей, раскрыл окно и радостно крикнул им:

— Сережа! Слава!

— Вышел бы, зачем комнату настужать, — недовольно проговорила Анна Юрьевна.

— Ничего, натопим, — отозвался Дементий.

Он проследил взглядом, пока мальчики пробежали по саду, а когда голоса и топот их ног послышались в коридоре, светлея всем своим обветренным бородатым лицом, шагнул к двери, чтобы встретить их. Он поднял сыновей на руки и, говоря им: «Соскучились без отца-то? А потяжелели, а подросли», несколько раз прошелся с ними по комнате. Сыновья были похожи на мать, оба светловолосые, голубоглазые, и, как все близнецы, удивительно напоминали друг друга; в подстеженных вельветовых куртках, в одинаковых ботинках и шапочках, они одинаково счастливо смотрели сейчас на отца и улыбались ему, оголяя по-детски редкие, сохранявшие еще молочную белизну зубы.

— Ну-ка признавайтесь, кто из вас Сергей, кто Слава, — продолжал Дементий, опустив сыновей на пол, присев на корточки возле них и вглядываясь в их счастливые лица. Он знал, что это было приятно им (им каждый день все в доме твердили, как они похожи: и когда хотели поругать, и когда приласкать), и Дементий с удовольствием делал теперь то, что было приятно детям; но для себя он давно научился различать их; у Славы, что был сейчас по правую руку и ближе к оконному свету, за редкими волосенками над ухом выделялась небольшая коричневая родинка, которая, когда его подстригали, становилась особенно заметной; присмотревшись и отыскав ее глазами (точно такая же и над тем же ухом была и у Виталины), Дементий снял с Ростислава легкую, весеннюю, с козырьком шапочку и ладонью ласково погладил его по голове; затем точно так же приласкал Сергея.

— Да, мужики, а подарки? — неожиданно как будто вспомнил он.

Сняв наконец мешавшую ему дубленку, он подтянул к себе дорожный портфель и, порывшись, достал из него две пары расшитых детских варежек из оленьего меха.

— Это тебе, держи! А это тебе, — сказал он, первым подавая Ростиславу, хотя тот стоял дальше, потом Сергею.

Варежки были приобретены им у ненецких оленеводов в поселке, куда вместе с Кравчуком и Луганским загнала его разбушевавшаяся по тундре пурга. Он тогда подумал, что Виталина непременно одобрит его покупку — и подарок, и вещь, — и он невольно теперь посмотрел вокруг себя, как бы отыскивая ее глазами.

— Разве вам не позвонили из управления, что я прилетаю? — словно бы между прочим сказал он Анне Юрьевне, возле которой толклись сейчас внуки, наперебой старавшиеся показать бабушке свои обновки.

— Звонили, как же.

— Лиана знала?

— Да сама она и разговаривала с ними.

— Когда она придет? Она что сказала, когда уходила, что там за срочные такие дела?

— Это уж ты сам у нее спроси.— ответила Анна Юрьевна.

Когда она наклонялась к внукам, она казалась оживленной и доброй, когда же поворачивалась к Дементию, доброта сейчас же словно угасала в ее глазах, и было заметно, что она не хотела разговаривать с зятем. Она была чем-то недовольна, и Дементий уловил это еще с первых минут, как только вошел и увидел ее; но никогда не умевший вникнуть в мир домашних дел настолько, чтобы понять причину, отчего теща иногда бывала вдруг недовольна им (он привык только к тому, что точно так же, как неизвестно от чего недовольство появлялось у тещи, так же неизвестно от чего исчезало), он и теперь, лишь чуть поморщившись от общего неприятного ощущения, что что-то противоположное его настроению происходит в доме, перевел взгляд на детей и опять присел на корточки, едва только Ростислав, вчувствовавшийся большее расположение отца к себе, подошел к нему. Глядя сына по голове, Дементий вновь невольно как бы наткнулся взглядом на коричневое пятнышко, выделявшееся у самых корешков светлых волос; он вспомнил, как он смотрел на родинку Виталины в первые дни, когда только женился на ней (и когда все в ней было для него удивительным), и то давнее нежное чувство к ней шевельнулось у Дементия; он никогда не думал, что забывая о Виталине или хотя чем-то обижал ее, но в сознании постоянно, то обостряясь, то затихая, жило беспокойство, будто он или что-то недодает жене, или отнимает у нее ради своего дела, и это чувство недодачности он часто переносил на Ростислава более, чем на Сергея, лаская и балуя его.

— Велики? Не беда,— говорил он, подтягивая к себе светлую головку сына и прижимаясь щекою к ней.

XIII

Дети вскоре, побросав варежки, убежали во двор играть, Анна Юрьевна пошла на кухню, чтобы приготовить что-то поесть приехавшему зятю (что она делала без удовольствия, чувствуя себя и в самом деле больной и разбитой), и Дементий остался один в комнате. В противоположность отцу он не любил уединения; ему нужно было поминутно с кем-то общаться, что-то говорить и что-то слушать; обычно никогда не высказывавший до конца то, о чем думал и что тревожило его, он приспособился быть одиноким среди людей и тяготился, когда не чувствовал возле себя хоть сколько-нибудь шумного окружения; чтобы не томиться ожиданием, пока придет Виталина, он поговорил по телефону с Кравчуком и Луганским и затем, достав с чердака березовый веник, отправился в баню, которая была недалеко от дома. Длинноногий и костлявый, как все в сухогрудовской породе, подобрав волосы под прозрачный целлофановый берет и забравшись на самый верхний полоч парной, он с усердием отхлестывал себя веником, чувствуя, как приятно и жестко ложатся на тело ожоги; весь красный, исходящий горохами чистого банного пота, он вставал под душ и снова забирался на полоч, теряясь среди таких же потных, красных и изгибавшихся в сухом горячем пару мужских тел; вокруг него были люди, шум, движение, и хотя Дементий почти ни с кем не перебросился словом, время пробежало для него быстро, он был доволен, что пришел сюда, и когда, поостыв и выпив кружку жигулевского пива с солеными сушками (что он всегда разрешал себе после бани), вернулся домой, был в том же приподнятом настроении, как и выходил из кабинета Жаворонкова.

Он удивился, что Виталины все еще не было, хотя уже вечерело и за окном по изгибу Туры рябью перекатывались багряные краски неспешного северного заката.

По стрежню, отбрасывая от кормы углом расходящиеся волны, вытягивал к причалу огромную баржу маленький и казавшийся розовым речной катер, и Дементий, задержавшись у окна, на минуту почувствовал, как натянуты были соединявшие баржу и катер тяжелые буксирные тросы.

Сыновья уже сидели перед телевизором, Анна Юрьевна пила чай, пристроившись за столом на кухне; она поднимала чашечку вместе с блюдцем, чтобы отпить глоток (и чтобы, главное, подчеркнуть свою как будто в каждой клеточке сидевшую интеллигентность), и, когда Дементий вошел к ней, сейчас же спросив, не хочет ли он выпить чайку после бани, вместе с тем, пока не допила из своей чашечки и не доела густое смородиновое варенье из розетки, не шевельнулась, чтобы накормить зятя. Но она уже не была так мрачна, как прежде; чай, варенье, розовое и как будто помолодевшее после бани лицо Дементия, его спокойный тон, как он говорил, обращаясь к ней, как и всегда бывало с Анной Юрьевной, благотворно, успокаивающе подействовали на нее; не следя за собой и забываясь, она незаметно начала втягиваться в пространней, когда почти все время звучал только ее голос, разговор с зятем.

— Что бы там ни толковали,— говорила она,— а я скажу: благороднее раньше люди жили, домовитее, по крайней мере каждый знал свое место. Взять нашу семью: нас у отца двенадцать душ было.

Когда Анне Юрьевне хотелось что-либо доброе или назидательное сказать зятю, она обычно начинала вспоминать о том, как жила она в по-крестьянски большой и дружной («По тем-то трудным временам!» — добавляла она) отцовской семье; и хотя отец ее никогда не был крестьянином, а брал в подряд сдававшиеся барские угодья и на посевную и уборочную нанимал по хуторам сезонных рабочих, Анна Юрьевна всегда рассказывала о нем как о простом деревенском человеке, выделяя те стороны его характера — «Откуда бы ни ехал, а гостинец каждому, что бы ни задумал сделать, никого не забудет!» — какие были близки ей самой и к чему нельзя было, как ей казалось, не относиться с одобрением; когда же бывала недовольна зятем или когда на нее вдруг находило особое желание показать себя женщиной интеллигентной, вспоминала исполком, где самые ответственные документы, как уверяла она, всегда поручали печатать ей, и вспоминала мужа, отца Виталины, который был, как она любила подчеркивать, хозяйственником (он погиб на Карельском перешейке во время финской войны), и эту уже свою жизнь с еще большей гордостью подавала зятю.

— Двенадцать душ... надо было накормить всех, одеть, обусть, каждому сказать ласковое слово да и направить каждого в жизни. Какой уж был, и расписаться толком не умел, а нас все старался не куда-нибудь, а в гимназию: «Учитесь, выходите в люди». И учились, и вышли в люди. На Илье вон сплавконтора, да и сестры: что Вера, что Тася,— говорила Анна Юрьевна. Она никогда не перечисляла всех сестер и братьев и чаще, чем о других, любила вспоминать об Илье, который был младшим, двенадцатым в семье, и вырос будто бы, как она утверждала, у нее на руках. Он недавно вместе с женой Полиной приезжал с низовой Оби в Тюмень и гостил у Анны Юрьевны.— Вот уж кто весь в отца: и характером и умом,— восхищалась она.— Сына в Москву отправил учиться, а дочь собирается отправить в Ленинград, да и Полина, сколько мы тут с ней слов

перетолкли, так довольна мужем, так довольна, а ведь Илья тоже дома почти не сидит, контора-то конторой, а сплавщики по всей Оби и по притокам, так что поездок хватает, а в семье лад да совет.

— Ну что же, я рад за Илью, очень рад,— улыбаясь, проговорил Дементий.

Он пил чай и опять был весь разгоряченный и красный, будто только слез с полка, по лицу и шее стекали крупные светлые капли, и он вытирал их поданным тещею полотенцем.

— Что ни слово, то и вспомнит о доме, а ведь и Полина рядом,— между тем продолжала Анна Юрьевна.

Она говорила о том, над чем надо было как будто задуматься Дементию, но он то и дело мысленно возвращался к разговору с Жаворонковым и ко всему тому, что было связано с проектом и предстоящей поездкой в Москву, и никак не мог проникнуться беспокойством, какое старалась внушить ему Анна Юрьевна; для нее важным было это, семейные дела, что составляло смысл ее повседневной домашней суеты, для Дементия — разработанный им проект газопровода, строить который, возможно, поручат ему, он чувствовал открывавшуюся перед ним новую перспективу и не мог не думать о ней. Давно привыкший к сдвоенной на людях жизни (и слушать и размышлять о своем), поджимая теперь в улыбке тонкие, как у отца, губы, он весело поглядывал на тещу и лишь время от времени, помня, что вот-вот должна подойти Виталина, чуть откидывался от стола и поворачивал голову к двери, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги; но мягкий и непривычно растроганный голос Анны Юрьевны сейчас же вновь привлекал его.

— Уж Илью-то мы все любили,—говорила она.— Кому что сделать, когда уж он подросток, сейчас же: Илюша, Илюшенька! Он и войну честно отвоевал — от первого дня до последнего.

— Положим, честность — это не заслуга, а естественное состояние человека,— возразил Дементий.

— А что же заслуга? Которые по тылам отсиживались?

— Кто отсиживался, а кто и работал.

— Нет уж, извини, я при исполнении была и всякого насмотрелась. Это теперь все как будто равны, был, не был, раз голова седая, значит, и фронтовик, а ты Илью спроси, он тебе скажет, что на что меряется. Уж кому-кому, а ему — как ты не поверишь?

В середине этого разговора, разбивая его, вбежали дети, и Дементий, скомканно кладя перед собою на кухонный стол (к неудовольствию тещи) махровое полотенце, которым только что вытирал пот с лица и шеи, потянулся к сыновьям, чтобы обнять их.

— Ну, будущие московские студенты,— шутливо проговорил он и живо и весело посмотрел на тещу.— Придется-таки отправлять вас в Москву, а? — Он еще посидел на кухне, пока сыновья допивали налитое им молоко, и потом, уже не возобновляя разговора с Анной Юрьевной, ушел с детьми в большую комнату, забавляясь и шумя с ними.

XIV

Из всех живших в Тюмени родственников (тех самых сестер Анны Юрьевны, о которых она так охотно рассказывала в этот вечер Дементию) Евгения была для Виталины не только любимой тещей, но и крестной матерью; и, может быть, именно потому между ними с давних лет установились те дружеские отношения, когда Виталина с малейшей радостью или горем непременно забегала к тете Жене, зная, что всегда найдет у нее понимание и будет обласкана и утешена ею.

Ей все нравилось у тетки, все представлялось ухоженным, уютно-уютным и отдавало, несмотря на старческий вид самой хозяйки, какую-то будто постоянно поддерживавшеюся свежестью; Виталина словно попадала в тот всегда недостающий ей мир тишины и благо-разумия, какого не было у нее ни дома, ни на работе и какой здесь, у тетки, чувствовался как будто во всем — в вещах, в словах, в движениях, как старая и степенная Евгения вносила кипящий электрический самовар и приглашала к столу (чай и пироги всегда были неизменным угощением крестной). Она сначала разливала по чашечкам заварку, потом кипяток, и худая и так же, как у матери Виталины (до того года, пока Анна Юрьевна не взялась воспитывать внуков), не знавшая тяжелой работы рука ее, обхваченная у запястья тонким позолоченным браслетом, сейчас же, как только появлялась над столом, выдавала какую-то будто родовую (и будто в противоположность той, что была у матери Виталины) интеллигентность; позолоченный браслет ее, задевая то о блюде, то о чашечку, издавал негромкий фарфоровый звон, и звон этот как подголосок приятно сопровождал чаепитие. В манерах и одежде Евгении и еще более в том, как она угощала пирогами и чаем, было что-то из прошлого и давно забытого всеми арсенала еще не ставших барами, но уже мнивших себя таковыми разбогатевших городских мещан, но так как Виталина не могла вполне оценить, что именно было из того забытого всеми арсенала и что не из того, и от любви к тетке не в силах была ни в чем осудить ее, находила только, что в доме Евгении все было как будто пропитано русской благородной стариной, размытой теперь во многих других семьях, и изумлялась и восхищалась характером тетки.

— А я не могу,—говорила она иногда о себе.— У меня все по-другому, все — на какой-то общий, стандартный манер.

Она уходила от тетки успокоенной, словно какое-то умиротворение вливалось в нее, и ей начинало казаться (как и Евгении), что все, что происходит на земле, неизбежно и естественно, что любая радость или горе есть только одна сторона целого и что стоит лишь усвоить это, как ничто на свете уже не будет представляться ни сложным, ни обременительным; череда дней, череда лет, череда чувств — все приходит и уходит, и самое главное — не становится поперек дороги жизни. Разумеется, речь шла обычно о человеческих отношениях, и когда Евгения говорила (она всегда начинала изда-лека, и в ее памяти хранилось неисчислимое множество примеров, будто она только и делала что наблюдала за людьми), может быть, именно оттого, что в голосе ее звучала та будто неподдельная искренность, не уловить и не почувствовать которую было нельзя, Виталине все представлялось настолько убедительным, что она долго потом недоумевала, как можно воспринимать мир иначе, чем воспринимает его старая и гостеприимная Евгения. «Оттого и живет легко и все в радость ей»,— думала она, зная лишь эту привлекательную половину теткиной жизни.

Но сама Виталина, как ни подлаживалась под теткину философию, как ни старалась всякое событие представить в естественном потоке жизни, не могла не возмущаться, когда что-то казалось ей возмутительным, и не могла не радоваться, когда что-то особенно приятное выпадало ей. Из поликлиники, где каждый день она встречалась с самыми разными людьми, она часто приходила расстроенной, но и дома, где не все было так, как ей хотелось, чтобы было в семье, еще более не могла оставаться спокойной, и из этих всех как будто будничных мелочей в ней постепенно накапливалась тяжесть

жизни, которую надо было сбросить, и тогда Виталина вспоминала, что есть тетка Евгения, и, выбрав время, шла к ней.

Измучившая себя разными нехорошими думами о муже, Виталина сидела теперь (после обхода больных) у крестной, не притрагиваясь ни к рыбному пирогу, ни к чаю, и по тому, как устало выглядело ее лицо, было видно, как тяжело переживала она случившееся. Ей казалось, что она уже не могла вернуться домой, потому что, во-первых, было упущено время, было поздно, и она не знала, что сказать Дементию, и, во-вторых, возвращение ее, она чувствовала, будет возвращением ко всей той прежней жизни (к положению нелюбимой жены), что более всего не устраивало и возмущало Виталину; то, с чем она мирилась раньше и старалась не замечать, было усилением ее воображения собрано сейчас вместе и представлялось настолько оскорбительным, что она не находила, как можно было выразить словами, что так болезненно угнетало ее.

— Сказать кому, не поверят,— говорила она, поднимая грустные, расстроенные глаза на тетку.— И дом, и муж, и дети, а жизни нет. Нет жизни.

— Изводишь ты себя, вот что я тебе скажу,— словно и в самом деле ничего особенного с племянницей не произошло, отвечала Евгения.

Она давно заметила, что с Виталиной как будто бы повторялось то, что в свое время пережито самой Евгенией, когда по всем естественным человеческим понятиям, для чего рождаются люди, она ждала от замужества и семьи, что все будет в радость ей, тогда как жизнь не только не дала желаемой радости и удовлетворения (мужа как колчаковского поручика расстреляли под Красноярском, и на нее легла тень белой офицерской вдовы), но постоянно сталкивала лишь с несправедливостью, как ей казалось, и с унижениями, что сейчас же вызывало душевную боль, но на что она теперь смотрела со смирением, как всякий состарившийся человек смотрит на мир. Усвоившая из своего житейского опыта, что так или иначе, но все люди с годами приходят именно к смирению и что ничего другого и лучшего человечество за всю историю не выработало для себя (и что Виталину не обойдет эта же участь), она хотела только одного — чтобы племянница поняла, что ничего в жизни изменить нельзя, как нельзя остановить уходящее за горизонт солнце, и что чем раньше Виталина усвоит это, тем лучше будет для нее, перестанет терзаться и успеет еще пожить в свое удовольствие. «Я мучилась, ладно, некому было подсказать, посоветовать, но она-то... ей-то, господи!» — думала Евгения.

— Да есть ли хоть одна счастливая семья на свете? — вместе с тем продолжала она говорить племяннице.— Нет такой семьи. Между мужем и женой всегда какая-нибудь червоточина да найдется, взгляд ли косой, забывчивость ли, да и привычки у каждого свои. Ты соизмеряй с другими, что у кого, а у тебя... тебе ли не жить! И у самой в руках дело, и Дементий — умный человек, когда что не так, ему и простить можно. Он — мужчина, ему нужен разворот в жизни, иначе — какой же он мужчина?

— Эгоист он. В высшей степени эгоист,— еще более бледнея от того, что позволяла себе так отзываться о муже (и что, главное, отрезала этим, в сущности, всякую возможность примирения с ним), проговорила Виталина.— Наверное, уже дома,— затем добавила она.— Ничего, пусть посидит, пусть поволнуется.

Но она и теперь не была убеждена, что поступила правильно, уйдя из дому, и, заметив, как тетка неодобрительно покачала головой, больше ни о чем уже не рассказывала ей; в груди Виталины как

будто повернулся тот холодный ключик, которым она запирала все свои душевные переживания, и только что живое, игравшее чувством лицо ее сейчас же от этого сделалось неподвижным и некрасивым; она положила себе на тарелку кусок рыбного пирога и принялась сухо и безвкусно жевать его, чтобы только не обижать крестную, и точно так же будто, как во все предыдущие вечера, молчательно слушать неторопливые, подчиненные все одной и той же мысли, что нельзя ничему противостоять в жизни, рассуждения тетки. Но разговор, как это часто бывало между ними, вскоре незаметно переключился на другое. Евгения, любившая, как все женщины (и несмотря на возраст), поговорить о нарядах, достала купленный ею недавно отрез плотного светло-коричневого кримплен, что было еще чрезвычайной редкостью в Тюмени, и, развернув, начала показывать Виталине; она собиралась сшить из него легкое летнее пальто и, прикладывая материал к сухой и плоской груди, то и дело спрашивала, к лицу ли, не мрачно ли и какой (разумеется, чтобы попроще) следует выбрать покрой, как делать, приталенным или свободным, и на угловатой и словно еще сильнее за последнее время, пока Виталина не была у нее, высохшей руке тетки, то скатываясь к локтю под широкий рукав однотонного платья, когда она поднимала перед собою отрез, то вновь появляясь у запястья, как только рука вместе с отрезом опускалась к столу, тонкой жилкой поблескивал позолоченный браслет.

Но Виталина в этот вечер не могла воспринимать теткины разговоры так, как воспринимала всегда; мысль о том, что Дементий ждет ее, что он достаточно уже наказан и что наказание уже переросло в нечто другое, чего она не хотела допустить, но что случилось и продолжалось, как трещина с расходящимися краями, разрастаться, усложняя все,—мысль эта, что уже ничего как будто невозможно было поправить и что то, что всегда скрывалось за рамкою семейного благополучия (что тяготило только ее, но о чем не подозревали даже близкие, считавшие ее замужество счастливым), теперь непременно должно было взорваться и выплеснуться на общее обозрение, мысль эта приводила ее в ужас. Она представляла, как все будет принято на работе и что скажет мать, перед которой особенно неловко было Виталине за свою несложившуюся семейную жизнь, и не знала, куда деть руки, выдававшие волнение. Она думала и о детях, которые останутся теперь без отца, и, жалея их, вся замирала оттого, что ничего не могла изменить для них. «Пусть сироты, пусть»,—мысленно говорила она. Но как она ни старалась скрыть от тетки свои переживания, вся как будто увлеченная разговором, Евгения видела, что с племянницей творилось что-то совсем иное, чем то, что бывало всегда, когда та, приходя, жаловалась на Дементия.

— Да что с тобой сегодня? — наконец не выдержав и прямо глядя в лицо племяннице, спросила Евгения.—Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего, собственно, не случилось.

— Ты скажи, я всегда пойму.

— Что сказать? Нечего сказать. Просто тошно на душе, и все. Устал я, наверно.

— А ты отдохни. Брось все и отдохни,—предложила Евгения так буднично-спокойно, будто все только в том и заключалось, что Виталине надо было отдохнуть.—Люди теперь все так замотаны, так замотаны.—И она высказала то давно распространенное среди людей мнение, как трудно приходится в наше время (она особо выделила слова «в наше время») женщинам, что все домашние дела как они были прежде, так и остались на них, но что ко всему они вынуждены еще трудиться на производстве.—Да тут хоть лошади-

ное здоровье имей. А кто нам виноват? Сами поставили себя рядом с мужчинами. А вот раньше...

И та излюбленная тема, как было раньше, когда она жила за первым своим мужем, поручиком Усольским (и когда после смерти отца и обнищания сестер и братьев из милости взяла младшую, Анну, к себе в прислуги),— эта излюбленная тема, только без упоминаний об Анне, матери Виталины, точно так же, как во все предыдущие вечера, сейчас же будто захватила Евгению. В молодости она успела лишь прикоснуться к той показавшейся ей барской жизни, какую жили Усольские, но с годами любила представить все так, словно всегда (от роду) принадлежала к тому высшему обществу, где были совсем иные отношения между людьми, чем теперь, и где считалось непостижимым даже просто взглядом обидеть женщину; и когда она рассказывала о той своей во многом уже придуманной жизни, вся ее манера подавать чай, выражение лица, глаз и рука с браслетом— все обретало будто особый смысл, было будто подтверждением того, о чем она говорила. Она не смолкала долго, и в словах, в тоне ее голоса звучало столько естественности, что часто сама начинала верить, что все именно так и было, как излагала она; но сегодня, она чувствовала, разговор не вполне получался у нее; ее поминутно одолевало беспокойство, и она, поглядывая на мрачную, готовую вот-вот заплакать Виталину, думала: что же в конце концов случилось с племянницей? Было уже поздно, Виталине пора было уходить, но она не уходила, и это тоже настораживало Евгению.

Когда же племянница, вставая, проговорила, что засиделась и что, пожалуй, идти будет страшно, Евгения сейчас же предложила:

— А ты оставайся.

— Да я уж и так думаю.

— Ничего с твоим Дементием не случится, а и пришел бы за тобой, не отсохли б ноги.

— Да разве он придет.

— Куда денется, еще как прибежит, ты просто никогда не ставила его в такое положение,— сказала крестная и, видя, что Виталина хотя еще и колеблется, но более склонна остаться (и по тому женскому чувству, какое понимала теперь в племяннице), еще решительнее заявила: — Да я и не отпущу тебя в такую темь.

XV

О замужестве крестницы Евгения имела свое определенное мнение, какое, впрочем, было всего лишь тем общим взглядом пожилых людей на супружескую жизнь, когда на передний план выдвигаются порядочность и достаток, а на второй — все остальные желания жизни. Дементий по всем соображениям тетки не только подходил под эту признававшуюся ею категорию мужей, но был, как ей казалось, той партией для Виталины, когда большего счастья и желать уже нечего. Она видела Дементия в минуты, когда тот на черной блестящей «Волге» подъезжал к дому и выходил из нее («Как все большое начальство»,— думала она), и присматривалась к нему потом, разговаривая с ним, и каждый раз у нее оставалось одно и то же впечатление, что он человек не только основательный (не только безбедно Виталина может прожить за ним), но умный и знает, чего может добиться в жизни. «В отца, наверное»,— и вслух и про себя говорила она о нем. Мелочи супружеских отношений, в какие Виталина редко когда посвящала тетку, но какие как раз и создавали то тягостное настроение, с чем она иногда приходила затем в дом к ней, именно

потому, что были мелочами, не воспринимались Евгенией; ей всегда важно было сознавать только, что в главном, что составляет основу жизни, все у племянницы прочно.

Она и теперь, как ни была обеспокоена переживаниями племянницы, заснула сразу же, едва только добралась до постели; но потом проснулась и долго не могла сомкнуть глаз. Она думала о Виталине, Дементии и об Анне, матери Виталины, отчего они не могли ужиться в такой, по существу, маленькой и обеспеченной семье; но так как воображение ее не в состоянии было двинуться дальше той крестьянской философии смирения, какую она однажды (после расстрела мужа) и навсегда усвоила от людей, она все соизмеряла лишь со своими представлениями, как поступила бы сама на месте племянницы, Анны или Дементия. Она поочередно осуждала каждого из них — все за одно и то же, что они не умели подняться над мелочами жизни; ей казалось, что причина всех их несчастий была не где-то на стороне, а заключалась в них самих, и она готова была, как нитяжело представлялось идти к сестре и объясняться с ней, завтра же пойти и основательно поговорить с Анной. Несколько раз Евгения заглядывала в комнату, где лежала Виталина, но, не заметив ничего, что бы насторожило ее, в конце концов решив, что все равно все уладится, успокоилась и снова заснула.

Но Виталина не могла спать. В теткиной ночной рубашке, холодившей тело, к середине ночи она уже не лежала, а сидела на диване, обняв руками голые от колен и лишь чуть понизу прикрытые одеялом ноги, и округлыми сухими глазами смотрела перед собой в темноту комнаты. Она не то чтобы не различала всех тех предметов — стола, стульев, кресла, комода и занавесок на окнах, — какими была обставлена и убрана теткина комната, но просто не могла воспринимать ничего, что не было связано с мучившим ее вопросом, какой, несмотря на то, что она как будто знала, что с Дементием у нее все уже кончено, то и дело вставал перед ней. Она пыталась собрать вместе все, против чего всегда протестовала ее душа (и что должно было вразумить теперь мужа), но с изумлением чувствовала, что не могла сформулировать словами, что всегда прежде было так ясно ей. «Да что же, собственно, произошло?» — спрашивала она себя. Она искала причину, какой можно было бы оправдать ее теперешнее положение, и минутами ей казалось, что мать права и что у Дементия наверняка есть другая женщина; но в то время как она думала о той другой женщине (в то время как ей невыносимо безразлично было именно то, что, в сущности, было придумано ею), в ней поднималось чувство, что все не так и что неслаженность ее семейных отношений происходит от каких-то иных начал, от жизненной гонки, в какую добровольно и незаметно включились давно уже все люди. Она вспоминала отрывки разговоров о разных нравственных переменах, будто бы неизбежно происходивших в обществе, об эгоизме к ближнему, какой рождается от чрезмерного и повседневного поощрения человеческих устремлений отдаваться целиком делу, но точно так же, как свет, попав в густую полосу тумана, сейчас же растворяется в нем и теряет силу, — все это, что могло объяснить ей поведение Дементия, упиралось в толщу мелких бытовых наслоений, сквозь которую невозможно было ничего разглядеть ей. Она точно знала только одно — что жить по-прежнему она не сможет и не будет и что, как бы ни были хороши объяснения, суть всегда остается сутью; и та краска смущения и стыда, что было пережито ею в управлении, когда она приходила узнать о Дементии, вновь заливала ее никому не видимое теперь в темноте комнаты мрачное, озабоченное лицо.

В третьем часу утра кто-то вдруг постучал со двора в окно. Виталина, не поняв в первую секунду, откуда доносился звук, вздрогнув, откатнулась к стенке дивана; но затем увидела силуэт прильнувшей к стеклу головы и узнала Дементия. Она не думала, чтобы он мог прийти за ней, и не ждала его; но она так обрадовалась его появлению, что сейчас же все, что мучительно волновало ее, было в мгновение забыто, и она в теткиной ночной рубашке, путавшейся в ногах, подбежала к окну и отдернула занавеску. На улице было лунно, и Дементий весь со спины был освещен этим лунным светом; он был без фуражки, в свитере, как он в спешке выскочил из дому, и вся его костлявость и худоба, не так заметные, когда он бывал в костюме, сразу же бросились в глаза Виталине; он показался ей забытым, жалким и не ухоженным ею, и она, прижав к груди руки (более оттого, что надо было стянуть широкий вырез рубашки), смотрела на Дементия с тем чувством, будто не она, а он был несчастным и нуждался в сочувствии и ласке. Он жестикулировал и что-то говорил ей, но Виталина, оглушенная этим своим новым порывом к нему, понимала только, что он просит открыть дверь и впустить его; но ей так страшно было нарушить эту минуту радости, что она, лишь повторяя: «Сейчас, милый, сейчас, сейчас», продолжала стоять и смотреть на него.

— Господи,— проговорила она затем, отойдя от окна, одеваясь и не вполне осознавая, для чего надо было так торопиться и что радостного было в том, что Дементий пришел за ней, но продолжая, однако, торопиться и радоваться именно тому, что он пришел и стоит сейчас у крыльца и ждет, пока она выйдет к нему.— Господи, что со мной!

Она не включала света и в темноте брала не те вещи, какие прежде нужно было надеть ей, руки ее натыкались на стул, тархетели им, и от всей этой ее возни и шума проснулась Евгения. Не понимая спросонья, что случилось, она зажгла бра над изголовьем кровати и, выйдя к Виталине, остановилась в полосе света, сейчас же хлынувшего сквозь открытую дверь из спальни в комнату.

— Ты что? Что тут у тебя? — испуганно спросила она.

Она была точно в такой же ночной рубашке, какую настояла, чтобы надела на ночь Виталина, и в полосе света сквозь эту рубашку ясно просвечивала сейчас вся ее усохшая старческая фигура с наплывами кожи вместо грудей и синеватыми отвислыми мешочками вместо когда-то крепких и упругих бедер; она не только не производила того обычного впечатления хорошо сохранившейся пожилой женщины (чем всегда восхищала Виталину и что для самой Евгении было непреложной основой жизни), но все то некрасивое, что вместе со старостью приходит к людям и затем тщательно скрывается ими под одеждою,— все ее дряхлое тело было теперь безобразно обнажено и выставлено под рубашкою в пронизывающей полосе белого света. Но крестная не замечала, как она выглядела, и только непонимающе смотрела на племянницу, видя, что та одета и готовится уйти куда-то.

— Куда? Зачем? — все так же испуганно повторила она.

— Дементий пришел.

— Ну вот, ну видишь... Ах, горе ты мое, иди, открой, иди, я сейчас.— И она, всплеснув руками и продолжая произносить уже для себя: — Ах ты боже мой, ах, горе ты мое,— пошла в спальню за халатом, чтобы встретить Дементия.

XVI

— Ты бы хоть позвонила,— сказал Дементий, едва только Виталина открыла ему дверь.

Он весь вечер (после того как были уложены дети) просидел с Кравчуком и Луганским, которые зашли, чтобы поговорить с ним перед его отлетом в Москву. Их волновала проблема тундрового покрова. Тягачи и трубоукладчики во время строительства, обычно гусеницами разрушали его, покров восстанавливался трудно, и вдоль трассы Пунга—Серов, над которой не так давно (и, уже вторично) пролетал на вертолете Кравчук, кое-где были уже видны черные и непроходимые для оленей овраги. Кроме того, овраги вызывали угрожающее провисание труб. Избежать этого можно было только путем возведения вдоль всей будущей трассы дорогостоящей дороги для тягачей и трубоукладчиков и монтированием еще более дорогостоящих холодильных установок, которыми поддерживался бы режим вечной мерзлоты; но все, что было связано с дополнительными и к тому же крупными расходами, было неприемлемо для строительства, и Дементий более чем кто-либо другой в проектной группе знал об этом; и потому он решительно отклонял предлагавшиеся Кравчуком и Луганским побочные разработки к проекту. Разговор был настолько оживленным, что все трое иногда забывали, что они не в конторе, курили и высказывали свои соображения так громко, что Анна Юрьевна, недовольная всей этой непривычной для нее суетой, несколько раз выходила к ним и просила, чтобы вели себя потише и не будили детей.

— Нет вам другого места,— ворчливо говорила она.

— Все, все, заканчиваем,— тут же отвечал Дементий.

Он, казалось, еще сильнее, чем Кравчук и Луганский, был возбужден и поглощен обсуждением вопроса; но когда теща входила в комнату и он оглядывался на нее, на какое-то мгновение мысли его как бы останавливались, он вспоминал о Виталине, что с тех пор, как приехал, еще не видел ее, и с тем сейчас же вспыхивавшим в нем тревожным чувством, что что-то нехорошее должно было быть в том, что жены все еще нет дома, стремительно выходил за Анной Юрьевой и, упираясь ладонями в косяки и подавшись вперед, спрашивал:

— Что, Лина еще не приходила?

— Нет. Нет,— сердито звучал голос Анны Юрьевны.

Он пожимал плечами и возвращался в комнату с намерением что-либо сделать, позвонить куда-то, но тут же незаметно втягивался в новый разговор с Кравчуком и Луганским.

Только когда, не привыкший в спорах уступать никому, он все же согласился взять с собой в Москву (на всякий случай) дополнительные разработки к проекту, касавшиеся сохранения тундрового покрова, Кравчук и Луганский попрощались и ушли от него.

«Ну Кравчук, ну говорун,— уже мысленно продолжал Дементий, проводив сослуживцев и прохаживаясь один по комнате.— Кто ж нам утверждает ваши дорогостоящие разработки? Куда вы направляетесь творческое острие? Надо найти способ сохранять мерзлоту, чтобы земля не оттаивала глубже того, насколько ей положено оттаивать, вот в чем суть. Надо найти только способ»,— продолжал уточнять он. Он думал об этом и раньше, но так отчетливо мысль эта пришла ему только теперь, и он сейчас же посмотрел вокруг себя, чтобы высказать ее кому-то; но не увидев никого в пустой комнате, вспомнил, что все еще не видел Виталину, и пошел к Анне Юрь-

евне, чтобы еще раз выяснить, что же в конце концов творится сегодня в его доме.

— Скажите наконец, что с Линой? — войдя к теще, которая еще не спала, и хмуро глядя на нее, произнес он.

— Ты у меня спрашиваешь? Это я у тебя должна спросить, — ответила Анна Юрьевна, опуская на колени детскую вельветовую курточку, к которой пришивала пуговицы. Ни в словах, ни в выражении глаз ее уже не было того доброго расположения, с каким она еще несколько часов назад, за чаем, рассказывала о своих сестрах и братьях; перед Дементием сидела совсем другая женщина с жесткими чертами лица и тяжелым, обвинительным взглядом, как она, прервав работу, посмотрела на него; красные в свете люстры (от воды, мыла и порошков) руки ее были так выдвинуты вперед, что на них нельзя было не обратить внимания и нельзя было не понять, для чего они выставлены. — Ты бы еще полгода не писал, а потом приехал, — добавила она с тем же отчуждением, как она начала разговор.

— Она что, обиделась? — изумленно проговорил Дементий, опять и невольно обращая внимание на тещины руки, которые о чем-то будто должны были напомнить ему. — Я же был занят. Пустяки. Какие пустяки.

— Вот ты ей и скажи.

— Так она что, в самом деле обиделась?

— А ты как думал?

— Это же глупо!

Но хотя то, что говорила Анна Юрьевна, и казалось Дементию неожиданным и глупым, на самом деле он давно предчувствовал, что нечто подобное должно было случиться в доме, и только не мог теперь согласиться, что случилось все именно сегодня, когда его вызвали в Москву и ему надо было сосредоточиться на этой своей поездке; он был изумлен нелепостью, как если бы дорога, по которой он каждый день ездил на работу, вдруг кем-то и для чего-то была перегорожена стеной и надо было ему теперь перелезть через эту стену.

— Вы с ума сошли, мне же завтра лететь в Москву, — сказал он, глядя на тещу так, будто та была виновата во всем.

— Вот ты Виталине и выложи.

— Вы с ума сошли!

Поджав тонкие сухие губы, как он делал всегда (как и отец), когда что-либо раздражало его, он сейчас же, чтобы не наговорить лишнего, вышел в большую комнату и еще энергичнее, чем только что, принялся ходить от окна к двери и обратно, задевая о стулья и с шумом отстраняя их; ему казалось, что он давно уже заметил за Виталиной, что она позволяла себе делать совсем не то, что положено делать женщине в доме, и вместо того, чтобы жить и радоваться жизни, как поступал он и поступали сотни других людей вокруг, лишь отыскивала причину для неприятного разговора; ему так очевидно была разница между ее претензиями и той работой, которую он выполнял для общества (той государственной работой, как он мысленно называл ее), и так искренне недоумевал, как можно было не понимать этого, мешать ему и требовать от него то, на что, в сущности, бессмысленно и преступно было отвлекаться ему, что он, продолжая энергично прохаживаться по комнате, вдруг останавливался и разводил руками, разговаривая с собой. Он думал о том, о чем никогда прежде не говорил Виталине, но что накапливалось в его душе; и в сознании его теперь происходил тот обычный для занятых деловых людей процесс самовзвинчивания (когда их отрывали от дел), когда мелочи, на которые он всегда смотрел с улыбкою, как

звенья в цепи, соединяясь, выстраивались теперь в одну и определенную линию всех его отношений с женой. «Письма... какая глупость, какая сентиментальность»,— повторял он. Все помыслы его были делать дело и обеспечивать семью, и ему странно было, отчего этих хороших помыслов и дел не хватало Виталине.

Он слышал, как Анна Юрьевна укладывалась спать, и несколько раз подходил к двери, чувствуя, что о чем-то еще надо спросить тещу. Ему нельзя было отложить поездку в Москву, и он не мог уехать, не прояснив отношений с женой; но чтобы прояснить эти отношения, нужно было увидеть ее, и пока Анна Юрьевна еще не спала, в очередной раз подойдя к ее двери, спросил:

— Да где хоть искать ее?

«т» — У Евгении, где же еще.

И Дементий как был в свитере и еще более раздраженный и недовольный тем, что надо в ночь идти за женой, вышел на улицу.

— Ты не осложняй,— говорил он, стоя теперь перед Виталиной, в то время как она молча смотрела на него,— и Гришку Мелехова из меня не делай, я по соседским бабам не хожу, не мну чужие постели.

Ему казалось, что он говорил ту правду, которую нельзя было опровергнуть. Он хотел вразумить Виталину, открыв ей, в чем она заблуждалась, и подчинить своим представлениям о семейной жизни: но вопреки всей его логике и вопреки убеждению, что после этих слов сейчас же наступит примирение, Виталина вдруг, не дослушав его, нервно повернулась и пошла назад, к двери.

— Лина, Лина! — Он шагнул, чтобы остановить ее, и вместе с нею вошел в ярко освещенную теткинскую комнату.

К Евгении он относился точно так же, как и ко всем другим родственникам Виталины, у которых мог бывать, мог не бывать в доме; и несмотря на многочисленные рассказы Анны Юрьевны, как и о других ее сестрах, помнил о Евгении только, что та будто когда-то была замужем за белым офицером; но он не придавал этому никакого значения, так как тетка не подавала повода, и лишь всякий раз после встречи с ней подшучивал над ее философией смирения, а заодно и над Виталиной, которая сейчас же вступалась за крестную. Он не придавал значения и тому влиянию, какое, он замечал, тетка иногда оказывала на Виталину, и точно так же, как не любил вникать ни в какие домашние дела, не вникал и в подробности отношений жены и тетки. Но теперь, присмотревшись и увидев тетку в глубине комнаты, но не в той привычной одежде— в платье, сережках и с позолоченным браслетом на руке, как она всегда появлялась в его доме,— а в халате, который, не успев застегнуть, только запахнула и придерживала оголившейся до локтя сухой старушечьей рукой, он вдруг подумал, что между тем, что сделала Виталина, и ее близостью с теткой, несомненно, была связь, которую он не мог сейчас же, сию минуту, объяснить себе, но чувствовал, что все было именно в этом, в нехорошем влиянии тетки. «Ну да, этого надо было ожидать, как я раньше не подумал!» И он сделал движение, как будто хотел защитить Виталину. Все его негодование, искавшее выхода, переключилось мгновенно на тетку, будто это из-за нее вместо того, чтобы спать, он вынужден был теперь, среди ночи, приходить за женой. «С чего бы Лине быть здесь? Письма?... Нет, нет, не письма»,— про себя говорил он, продолжая еще оглядывать так невыгодно стоявшую перед ним (непричесанную со сна) старую Евгению. Он даже вдруг уловил в глазах ее насмешку, словно она (она тоже смотрела на него) хотела сказать ему: «Издевался над моим смирением, а сам чего ищешь? Смирения, милый мой,

смирения»,— и эта воображенная насмешка лишь сильнее обострила в нем неприятное чувство к тетке.

— Лина, пойдем,— сказал он, но уже совсем иным голосом, чем только что говорил с ней, когда стоял на крыльце.— Мать не спит, дети не спят.— Это была неправда, дети спали, но слова были к месту, и он чувствовал, что они сильнее, чем что-либо другое, могли сейчас подействовать на Виталину.

— Иди, иди, Лина,— поддержала Евгения.— Она тут без тебя места себе не находила.

Евгения была довольна, что Дементий пришел, и в глазах ее не было ничего насмешливого: просто она смотрела так оживленно и заинтересованно и так желала добра племяннице (и добра Дементию, которого почитала, всегда в разговорах становясь на его сторону), что не замечала, что была лишней теперь и что участие ее не помогало, а только мешало семейному примирению.

— Я говорю: ночь, куда ты одна, придет,— продолжала она, тогда как Дементий уже стоял к ней спиной и весь был устремлен на Виталину.— А ты — вот он. И правильно сделал, что пришел...

— Пойдем, Лина.— Дементий не слушал тетку и не оборачивался к ней.

Он всматривался в глаза жены, стараясь уловить в них те признаки оживленности, по которым он всегда узнавал, когда она прощала ему; но признаков этих не было видно, и он, чувствуя всю неловкость своего положения и понимая, что нельзя объясняться при тетке, решительно шагнул к Виталине, взял ее под руку и, несмотря на то, что она пыталась отстраниться, не выпуская повел к выходу.

— Извините. Спокойной ночи,— уже в дверях, оглянувшись, сухо и неприязненно сказал он Евгении, удивленно следившей за тем, что он делал.

XVII

Пока они шли к дому, они почти ни о чем не говорили; только в середине дороги, когда горбившийся над Турюю деревянный мост был пройден ими, Дементий, шагавший все время позади Виталины, вдруг резко догнал ее и спросил:

— Ты можешь по-человечески объяснить, что происходит?

Виталина ничего не ответила ему.

Уже перед самым домом он вторично догнал и остановил ее.

— Нет, ты все-таки скажи, чтобы я знал, в чем дело,— сказал он, из темноты посмотрев на жену тем уничтожающим взглядом (что она доставляла ему это неудобство жизни), какой она, впрочем, не могла ни уловить, ни почувствовать на себе.— Связалась с теткой, а на кой черт она тебе нужна, что ты зачастила к этой дремучей развалине, которая уже сама не знает, для чего живет еще.

— Ее не трогай, она ни при чем.

— А кто при чем? Кто у меня вот здесь, вот! — И он, не наклоня головы, дважды провел ребром ладони по своей шее.

— Какой же ты дурак, ты ничего не понял,— в ужасе сказала Виталина, отстраняясь от него.

Дверь им открыла Анна Юрьевна. Выспавшаяся днем (и оттого не спавшая теперь, пока Дементий ходил за Виталиной), она, сейчас же поняв по их мрачным лицам, что примирения не было, шмыгнула к себе, закрылась и выключила свет. Виталина прошла в спальню, а Дементий остался в большой комнате. Он шагнул к окну, за которым было все темно и сине, и принялся бессмысленно смотреть на него. Он не увидел ни речки ни противоположного пологого берега, где юти-

лись, начинаясь почти у самой воды, старые бревенчатые избы заречной Тюмени (и где стояла теткина изба, из которой они только что пришли с Виталиной); все тихо лежало в ночи бесформенное и вязкое, слитое в одном мрачном цвете, и точно так же непроглядно и мрачно было на душе у Дементия. Он слышал, как Виталина раздевалась, но это не трогало его; потом слышал, как она ходила в детскую, где спали Ростислав и Сережа, но не оглянулся на звуки мягко прощуршавших за спиной ее шагов; он думал, что то, что происходило сейчас между ним и женой, было нелепо, глупо и не имело причин; но размовка нынешняя, он чувствовал, не была похожа на все предшествовавшие, какие обычно улыбкой или шуткой удавалось легко погасить ему, и он морщился сейчас оттого, что не знал, как было выйти ему из этого положения. «Но так нельзя, так нельзя, это просто невообразимо!» — мысленно восклицал он, в то время как всем ходом своих размышлений старался уяснить, отчего так случилось, что теперь, в сущности, невозможно было примирение без каких-то ложных слов, какие он вынужден будет произнести Виталине. «Нет, так нельзя, невысказано!» — продолжал восклицать он. Как несколько часов назад в споре с Кравчуком и Луганским, хотя он и возражал им и все формальности были на его стороне, но он понимал своих сослуживцев, точно так же теперь с Виталиной, хотя и был раздражен на нее и знал, что никакого видимого повода для подобного поведения у нее не было, но беспокойство, что он все же в чем-то не прав перед ней (да и перед детьми и тещей), удерживало его от решительных действий; он только возмущенно повторял про себя: «Нет, нет, так нельзя, семьи создаются для удобства жизни, а не для выяснения отношений, и на все есть свое время, полюбезничали, поворковали друг над другом — и хватит, и пора жить!»

В спальню Дементий вошел возбужденным и красным.

«Ну вот, теперь успокоилась, теперь лежишь», — сейчас же подумал он, окидывая сощуренным взглядом всю огромную двуспальную кровать, на которой с того края, где она обычно спала, лежала Виталина. У стены, рядом с тумбочкой, горел торшер, лицо ее было освещено и казалось спокойным, будто и в самом деле ей не было никакого дела до того, что происходило в доме. «Ну, теперь довольна, довольна», — смыкая побледневшие злые губы, все так же мысленно продолжал Дементий; но в то время как он произносил эти слова, он уже смотрел на ее не прикрытые одеялом плечи и руки, и то чувство, какое всегда испытывал при виде гладкой белизны ее тела (то предчувствие доступной близости с ней), невольно начало подниматься и заглушать в нем все иные мысли; раздеваясь, он еще несколько раз проговорил про себя: «Как с гуся, как с гуся», но щеки и шея его теперь краснели уже более от этого предчувствия возможной близости (и еще от неловких движений и усилия, какое он прилагал, чтобы стянуть с себя свитер).

В пижаме он подошел к Виталине и сел возле нее на кровати.

— Может быть, я в чем-то виноват перед тобой, — начал он еще как будто сухим, недовольным тоном, но уже с тем оттенком, что он готов все забыть и простить ей, — но я хотя бы должен знать, в чем? Давай посмотрим, что случилось, из-за чего вся эта нелепейшая сцена. Если я сказал грубо, ты прости, — сказал он, устраиваясь основательнее возле нее и отодвигая мешавшее ему сидеть одеяло; но в то время как он отодвигал одеяло, он чуть приподнял его и сейчас же со смущением будто отвел глаза от мелькнувшей белизны ее голых ног. — Лина, — тут же проговорил он, наклоняясь к ней всем своим бородастым и жарким теперь лицом, — зачем все это, для чего? — И, положив ладони на ее гладкие теплые плечи, еще ниже наклонился, ища ее

взгляда. Она отвернулась, пытаясь закрыть лицо, но сопротивление было слабым, безвольным, и Дементий, теряя последние обрывки всех своих строгих суждений о ней и уже не сознавая ничего, кроме одного, что он должен сделать, обдавая ее дыханием, шептал ей те самые слова, которые еще несколько минут назад показались бы ему ложными, и тянул руку к выключателю, чтобы убрать свет.

— Подвинься, Лина, подвинься,— торопливо говорил он, просовывая в темноте ноги под одеяло.

Пока Виталина уходила в ванную, Дементий стоял под открытой форточкой, но как только она вернулась, сейчас же снова подсел к ней и взял ее руку. Он не чувствовал себя виноватым перед ней, так как случившееся было как будто делом обычным и естественным между мужем и женой, но все его движения и то, как он принялся ласково гладить ей руку, говорили о другом, словно он просил в чем-то простить его. Он сидел молча и не смотрел на Виталину, ощущая лишь в ладонях мягкую теплоту ее пальцев, но ему казалось, что она вполне понимала, что он бессловесно передавал ей, и постепенно все в нем входило в то привычное русло отношений к жене, что он испытывал всегда после близости с ней. Он вновь чувствовал, что жизнь прекрасна и что нет ничего непреодолимого, стоит только решительно взяться за дело; и сознание этой своей удачливости, в последние годы почти во всем сопровождавшей его, и ощущение весны, силы и молодости, какое охватило еще в аэропорту утром, когда он только сошел с самолета (да и потом, после разговора с Жаворонковым, когда ехал домой),— все с какою-то обновленной силой постепенно возвращалось к нему. Он еще как будто был обращен к Виталине: «Ну вот видишь, для чего нужно было заводить эту канитель, разве нам плохо вместе? Или чего-нибудь недостает?» — но уже весь входил в то свое привычное состояние, когда он чувствовал, что все домашнее и недомашнее, все было как бы втянуто в сферу его забот и вращалось вокруг него. То, что он был доволен поездкой по тайге и тундре (и о чем еще не успел сказать Виталине), и то, что еще более был доволен телеграммой и вызовом в Москву (и о чем тоже еще ничего не знала Виталина), теперь, когда не испытывал раздражения к ней, чувствовал, что надо было обо всем рассказать ей. «Разве я не стараюсь, разве наши дела не идут в гору?» — думал он, продолжая гладить руку жены.

— Ты хоть бы спросила, как я съездил. Поездка была удачной. Очень удачной.— Он чуть повернул голову и посмотрел на нее.— Есть, правда, мелочи.— Мелочи были для него — неприятный вопрос о тундровом покрове.— Но в целом проект одобрен. Ты слышишь, Лина, проект одобрен,— повторил он,— и меня вызывают в Москву. Ты что, Лина, ты что? — наклоняясь, торопливо проговорил он, только теперь заметив, что она плачет; и он опять недовольно поморщился, что надо было снова успокаивать ее.

XVIII

Утром, так как Дементий улетал первым московским рейсом, все (даже дети) встали рано, и сейчас же в доме началась та обычная шумная суета, без какой, казалось, невозможны были сборы в дорогу. Анна Юрьевна вытирала тряпкою кожаный чемодан, который Дементий должен был взять с собой, Виталина просматривала и подглаживала белые нейлоновые рубашки, подбирала белье, носки и галстуки, повторяя то, что она говорила всегда, отправляя мужа в Москву, чтобы он не вздумал ходить в свитере по министерству, следуя своим

мужиковатым привычкам, Дементий укладывал в портфель бумаги и документы, и между ним, Виталиной и Анной Юрьевной бегали возбужденные всей этой предотъездной суетой дети; они не выпускали из рук вчерашний отцовский подарок — варежки из оленьего меха, привезенные им из тундры, и веселые лица их, топот ног и голоса как раз и вносили какую-то будто праздничность в общее тяжелое настроение. Дети радовались тому, что отец, мать, бабушка — все собравшееся над городом и весело заливавшее светом комнаты (несмотря на то, что окна были завешаны тюлем), еще более усиливало это чувство просветленной детской радости. Дементий широко улыбался всем своим невыспавшимся лицом, поворачиваясь то к Сергею, то к Ростиславу, и каждый раз, как только натыкался взглядом на коричневую родинку, которая хорошо была видна над ухом сына между редкими белыми волосенками, сейчас же начинал искать глазами Виталину. Он знал, что она не простила его, хотя и разговаривала и делала все со старанием, и переживал это. Он смотрел на нее подолгу и внимательно, особенно когда она оказывалась к нему спиной (чтобы она не могла прочесть его взгляда), и думал, что ему не надо было уезжать сегодня; несколько раз он подходил к Виталине, чтобы сказать ей что-нибудь ласковое или обнять, и по выражению ее лица старался понять, все ли еще она сердится на него.

— Ты прости,— тихо говорил он, прислоняясь бородатой щекой и губами к ее щеке.

Она как будто не отклонялась, но и не подавала признаков, что ласки мужа были приятны ей, и Дементий, после прошедшей ночи особенно обостренно чувствовавший все, что касалось его отношений с женой, вздохнув, отходил от нее.

Управившись с чемоданом, Анна Юрьевна собирала на стол. Она тоже, как и Виталина, держалась все утро так, будто в доме ничего особенного не произошло, а были обычные сборы зятя в дорогу, но когда к ней на кухню вбегали внуки, разговаривала с ними тем тоном, будто они уже были сиротами и некому было пожалеть их.

— Да вы мои хорошие, вот и опять остались одни,— говорила она прижимавшемуся к ней Ростиславу, которого она ласково гладила по круглой белой голке, и Сергею, подошедшему сбоку, которого жалостливо притягивала к себе.

— Ты бы хоть что-нибудь летнее привез им,— затем сказала она зятю, когда все уже сидели за столом и завтракали.— Там все есть.

— Мама, зачем ты нагружаешь его? — возразила Виталина и впервые за утро, как показалось Дементию, посмотрела на него открытым и добрым взглядом.

Бессонное лицо ее, только что выглядевшее помятым, некрасивым и старым, было теперь как бы оживлено переменою, видимо происшедшею в ней, и Дементий сейчас же заметил это.

— Я привезу, отчего же,— вставил он.— Ты только запиши размеры, цвет и что нужно.

— Ну что ты будешь ходить по магазинам?

— Схожу.— И он потянулся и пожал руку жены.

Когда подошла машина, поочередно подняв сыновей и подставив щеку теще, которая обычно целовала его на дорогу, Дементий вместе с Виталиной вышел за ворота.

— Может быть, сделаем так,— сказал он, привычно открывая дверцу «Волги» и поворачиваясь к Виталине.— Проводишь меня до аэропорта, а на обратном пути Игорек (Игорек — был шофер, чаще других приезжавший за Дементием) добросит тебя прямо до поликлиники?

Виталина согласилась, Дементий пропустил ее вперед себя в машину и оглянулся на тещу, сиротливо стоявшую на крыльце с внуками. Он снова подумал, что уезжает не вовремя и что нельзя оставлять семью в том состоянии, в каком он оставлял ее: он чувствовал, что нечто большее, чем только любовь, связывало его с семьей, и ему точно так же, как и Виталине (и в еще большей степени Анне Юрьевне), казалось, что он уезжал не на пять дней, а надолго, и оттого так тяжело было прощаться ему.

«Да что может случиться?» — чтобы успокоить себя, подумал он.

— Мужики! Держись тут без меня! — затем крикнул Сергею и Ростиславу, вскинув вверх руку и помахав ею. — Ну вот и поехали, — тихо добавил он, уже сидя рядом с Виталиной, в то время как машина, вырвав на середину улицы, набирала скорость.

До аэропорта он ехал молча, потому что то, что хотелось сказать жене, неудобно было говорить при шофере; но и в аэропорту у него еще меньше оказалось времени и возможности побыть наедине с ней; лишь перед самой посадкой, когда пассажиры, отлетающие московским рейсом, двинулись к трапу, он взял ее за плечи и торопливо проговорил:

— Ты прости, Лина, я не могу не лететь. Но я сразу же напишу, как только приземлюсь и устроюсь в гостинице, ты уж прости, прости. — И он обнял и как-то быстро и воровски (при Кравчуке и Луганском, провожавших его) поцеловал Виталину.

Отлетающие уже толпились у трапа, и Дементий пошел догонять их. Он долго не оборачивался, и Виталина с ужасом подумала: «Не исправим, нет, совершенно не исправим!» Ей вдруг стало ясно, что переживала она зря, что усилия ее были напрасны, она боролась с пустотой и что Дементий не только не понял, но и никогда не сможет понять ее; она вдруг увидела в нем человека настолько далекого от себя, что ей жаль стало того чувства, какое она только что испытывала к нему; но подавить в себе это чувство она не могла и продолжала стоять и смотреть, как самолет шумно удалялся на взлетную полосу. «Хоть бы долетел, хоть бы уж все благополучно», — говорила она и вытирала платком слезы.

Из аэропорта Виталине предстояло вернуться в ту свою жизнь, где все для нее оставалось неизменным, и в то время как она с мокрыми глазами садилась в машину, привычное и повседневное постепенно начинало окружать ее. Она понимала, что всякое выяснение отношений с мужем откладывалось теперь до его приезда, и думала о нем уже по-иному, что не только дурное, но и доброе, основательное было в Дементии. Продолжая еще повторять: «Не исправим, нет, нет, совершенно не исправим», она уже осуждала в муже не все, а только то, что любая женщина осудила бы в нем.

«Да не так уж я и стара, на меня еще смотрят», — подумала она, когда, выйдя из машины и направляясь к поликлинике, заметила, как стоявший у дверей незнакомый мужчина, повернув голову, посмотрел на нее; ей нужно было хоть в чем-то найти утешение, и она готова была ухватиться за любое, что могло бы утешить ее.

Для Дементия же все те часы, пока он летел в самолете, были отдыхом, и он тоже входил в свой привычный ритм разъездной жизни. Он готовился к деятельности, встречам и впечатлениям, которые ожидали его в Москве, но мысли еще то и дело перебивались впечатлениями ночи, разговора и прощания с женой. Он пробыл дома всего только сутки, но ему казалось (по насыщенности переживаний), что он как будто и вовсе не выезжал в тайгу и тундру, а занимался семьей (занимался выяснением отношений, как он думал теперь), и он старался сейчас собрать воедино все то, что было так неожиданно пере-

жито им. Когда он поднимался по трапу, он не оглянулся и не помахал жене и в посадочной толчее не заметил, что не сделал этого; но позднее, когда самолет уже набирал высоту, чувство, что плохо простился с Виталиной, что было что-то не так, как должно было быть, угнетало его. «Но что не так, что не так?» — возражал он себе. Он теперь не только не хотел видеть, но и не хотел признавать за собою никакой вины и морщился от досаждавшего ему неприятного чувства. «Нет, но я должен-таки уяснить, для чего ей все было нужно, — однако настойчиво продолжал он, несмотря на гул в самолете и голоса людей, отвлекавшие его. — Чего бы ей не жить спокойно со мной?» Он рассуждал, как отец, говоривший о Галине (и по поводу ее первого и второго замужества), отчего бы не жить ей с Лукиным или Арсением, и точно так же, как отец, считал, что главное для человека всегда заключено в общих целях, а не в личных желаниях; и оттого жизнь Виталины представлялась ему настолько очевидно простой — дом, поликлинника, дети, дом, — настолько определенной и не требовавшей никаких сложных усилий (тех умственных усилий, какие каждый день вынужден был прилагать он в своей работе), что ему странным казалось, как можно было быть недовольной такою жизнью. «И все же — как глупо! Как все бессмысленно и глупо», — наконец подумал он, уже успокаиваясь и откидывая спинку кресла, чтобы устроиться удобнее и подремать. Он давно заключил из опыта жизни с Виталиной, что семейные дела, какими бы сложными они ни были, так или иначе уладутся сами собой, но что производственные (то, ради чего он летел в Москву) всегда требовали определенной затраты сил, и он экономил сейчас эти силы для главного, что предстояло сделать ему.

XIX

В эти весенние дни 1966 года Москва готовилась к встрече президента Французской Республики генерала Шарля де Голля, и чем ближе подвигалось время, когда должен был приехать президент, тем оживленнее в разных слоях общества обсуждалось это событие. Всем казалось, что Франция в европейских делах начала вести самостоятельную политику и вышла наконец из-под опеки Соединенных Штатов и что теперь от сближения ее с Советским Союзом во многом должен к лучшему измениться политический климат Европы. Говорили о торговых соглашениях, какие могут быть заключены теперь, о научном и культурном сотрудничестве; но главное, чего все ждали от визита и переговоров, было то, что газеты называли упрочением мира и разрядкою напряженности, и потому больше всего обсуждали именно это; и, несмотря на противоречивость всех прошлых суждений о генерале де Голле (что было еще в памяти у всех), говорили о нем сейчас только доброе и ожидали разумных шагов и дел.

Событие это настолько занимало москвичей, что когда в канун приезда президента Франции в квартире декана исторического факультета Игоря Константиновича Лусо на Ломоносовском проспекте собрались гости (по случаю его шестидесятилетия и награждения), говорили не о заслугах хозяина дома; всех интересовал вопрос, на какую меру сближения пойдет генерал де Голль во время переговоров, что это сближение даст советским людям, и в частности людям науки. На вечер этот были приглашены и Арсений с Наташей, и это, по существу, был их первый выход в общество, когда Арсений мог представить свою молодую жену друзьям и коллегам по институту и когда Наташа в зависимости от того, сможет она понравиться им или не

сможет (прежде всего, разумеется, их женам), будет принята или не принята среди них.

Пока в большой комнате накрывали стол (угощения были привезены из ресторана «Славянский базар», и оттуда же был приглашен официант), гости в ожидании, когда будут позваны к столу, толпились в кабинете Игоря Константиновича. Мужчины были в темных костюмах и не очень ярких, насколько позволяло приличие, галстуках и снежно-белых, как было модно, рубашках, которые были из нейлона, были красивыми, но неприятными и неудобными в носке; женщины, тоже большей частью одетые в нейлон, однако, держались свободнее, чем мужчины, так как руки и шея их были открыты и они не стояли, а сидели в креслах и на стульях, расставленных вдоль книжных шкафов и стенки. С потолка низко свисала казавшаяся старинной рожковая люстра с волнистыми розовыми абажурами и отделкою под черное дерево, точно такую же, какой были отделаны книжные шкафы и стенка, и этот черный оттенок, несмотря на обилие разноцветных платьев, белых рубашек, лиц, причесок и рук, придавал всему происходившему тот торжественный и деловой тон, какой любил и считал всегда уместным профессор Лусо. Он был доволен тем, что пришли все, кого он хотел видеть у себя в этот вечер, и, несмотря на то, что разговор шел не о нем, и не об институтских делах, и не о делах исторического факультета, который вот уже более десяти лет и успешно, как это казалось ему, возглавлял он, он чувствовал себя так, будто был в центре внимания, и оттого был весел; и от этого веселого настроения и от приятных волнений, что труд его хотя и скромно, но отмечен правительством, он выглядел помолодевшим, словно исполнилось ему не шестьдесят, а только пятьдесят лет и впереди еще были время и силы достичь большего в жизни, чем он сумел достичь к этому дню. Он не вступал пока в разговор и держался точно так же, как обычно вел себя на ученых советах факультета, сидя на председательском месте, и только то и дело поворачивал голову к тому, кто начинал говорить; и с устоявшейся привычкой из общего потока фраз и слов старался выделить для себя лишь то, что можно было либо решительно поддержать, либо столь же решительно опровергнуть, не получив при этом сколько-нибудь аргументированного возражения.

Сам Лусо считал себя человеком русским и, как всякий русский человек, считал, что обо всем умел судить глубокомысленно и мудро; но вместе с тем как он считал себя русским, он знал (из рассказов покойных отца и матери), что род его вел начало от пленного французского офицера, женившегося на какой-то небогатой московской барышне, и что офицер тот не просто служил в наполеоновской армии, но что был в свои двадцать лет одним из тех, кто сопровождал императора от Москвы до Березины и только перед самою переправой был ранен и попал в плен. Легенда эта, от которой Игорь Константинович в разные периоды своей жизни то отказывался, то вновь признавал за собою, имела для него то значение, какое составляют в женском наряде ожерелья, камни и кольца. В годы, когда он занимался в аспирантуре, он писал академику Тарле и добивался с ним встречи; позднее, когда уже читал самостоятельный курс, снова решил написать известному и уважаемому им ученому, и на этот раз письмо было большим и в том доверительном тоне, будто он, Лусо, открывал истинное предназначение работ академика — не развенчать, а возвеличить Наполеона и его эпоху; писал Лусо искренне и книгу «Наполеон» Тарле считал настольной; но ответ, полученный от академика, оказался настолько неожиданным, ошеломляющим и неприятным, что его нельзя было никому показывать и неудобно (в смысле разоблачительном) хранить у себя, и Лусо тут же, взволнованный и красный после

прочтения, разорвал и выбросил его. Нехорошее воспоминание, однако, затем долго преследовало его. Но с годами все неприятное постепенно забылось, и он говорил теперь (и сам верил в то, что говорил), что в архиве своем хранит богатую переписку с Тарле, что считает его своим учителем и что в свое время встречался и был близок с ним. Для чего нужно было Игорю Константиновичу с его устоявшимся и прочным положением в обществе распространять о себе это мнение, если бы его спросили, вряд ли смог бы с точностью сказать что-либо; может быть, как всякому человеку, в той или иной мере ему хотелось какой-то своей исключительности, которая, впрочем, более, чем ему, была бы видна людям; и хотя исключительность его заключалась уже в том, что он был деканом, был профессором и имел немало интересных и нужных исторических работ, положительно оцененных не только в научном мире, но и большой прессой, этого Лусо казалось недостаточно, и он с тем старанием, с каким птицы по весне выют гнезда на ветках, выбирая деревья покрепче и повыше, свивал себе место для будущей жизни в истории рядом с именем академика Тарле. Он делал это бессознательно, лишь из чувства тщеславия, какое обычно живет в людях, жаждущих не столько деятельности, сколько славы; но так как он был к тому же человеком деятельным, легенда, какою окружал себя, никому не представлялась ни надуманной, ни ложной, Лусо знал это, и сегодня ему доставляло особое удовольствие сознавать свою пусть отдаленную (по прадеду) причастность к наполеоновским делам, а в связи с этим и к приезду нынешнего французского президента и, разумеется, ко всему тому, что между гостями так шумно обсуждалось теперь.

Центром же всего разговора, длившегося уже более получаса, был доцент Карнаухов, одноклассник и друг Арсения. Так же, как и Арсений, Карнаухов был художав, любим студентами и был, по мнению многих, занозой на факультете; он говорил обычно то, что думал в эту минуту и что представлялось ему важным и правильным, в то время как это важное и правильное не всегда было приятно слушать людям; понятия правды, лжи и приличия существовали для него лишь в том согласии, что правду говорить всегда прилично, но что лгать и притворяться всегда притворительно и неприлично и что в наш XX век, когда мир стремительно освобождается от всех и всяких условностей, не понимать и не признавать этого нельзя. «В общении людей не надо придумывать ничего нового, — обычно пояснял он, высказывая свое отношение к жизни. — Все было, и нужно только вернуться к первоначальным и чистым источникам». Он был женат давно, и женат в противоположность Арсению счастливо (Зина, жена его, была теперь с ним здесь, у Лусо), но, несмотря на то, что все знали, что он женат и счастлив в семейной жизни, большей частью, когда разговаривали и общались с ним, забывали об этом, и всем в институте казалось, что он точно так же, как и пятнадцать лет назад, когда только появился на кафедре, оставался молодым, красивым и беззаботным мужчиной, которому именно в силу его молодости все давалось легко и просто; к нему относились так, как только старшие могут относиться к младшим и понимать их; с этим же чувством старшинства все слушали его и теперь, когда он, повернувшись и подставив под розовый свет абажуров свое особенно казавшееся сейчас молодым лицо с тонкою линией носа и такими же тонкими линиями черных бакенбард, высказывал свое мнение.

В том, как Карнаухов выглядел, было что-то утонченное, рафинированное; но в том, что он говорил, напротив, было что-то простое, происшедшее от крестьянского восприятия вещей и событий; и несоответствие это выглядело настолько разительным, и тонкий профиль

и бакенбарды были так внушительны на фоне книжных шкафов, стенки, костюмов и лиц, что всем представлялось, что слова доцента были лишь неловкою и модною теперь подделкою под народное мнение. Он говорил, что подобные встречи и переговоры на высшем уровне важны прежде всего тем, что главная цель их — упрочение мира, то есть та самая цель, которая близка каждому на земле человеку; приглашение же от торговли и особенно о культурном и научном сотрудничестве (что открывало возможность для самых различных поездок в Париж и другие города Франции) было, на его взгляд, второстепенным, лишь производным от главного, и это-то как раз и выглядело ложным и вызывало раздражение.

— Что он говорит?! Что он говорит?! — слушая Карнаухова и пока лишь для себя, негромко, и с удивлением, и с тем желанием возразить первым, когда он чувствовал, что большинство сейчас же присоединится к нему, произносил другой доцент, Мещеряков. Из глубины кабинета, от стенки с книгами, возле которой он стоял, он смотрел на Карнаухова и чем дольше слушал его, тем заметнее и с нескрываемым выражением удивления и недоумения на лице покачивал головой.

Мещеряков считался в институте одним из тех, кого принято называть западниками; он читал курс по западной истории (XVII — XIX веков), хорошо знал ее, и в то время как многие полагали, что приверженность к Западу происходила у него именно от чрезмерной любви к своему предмету (или от каких-то чуждых и дурных влияний), на самом деле было лишь своеобразной трансформацией того общенародного взгляда на жизнь, когда человек думает, что там, где его нет, все лучше; но если простые люди, переезжая из города в город, в конце концов рано или поздно осознают, насколько неверно и ошибочно это их жизненное убеждение, у Мещерякова не было и не предвиделось такой возможности, и потому он оставался тверд в своих взглядах. «Никто не может отрицать, что Европа в прошлых столетиях всегда стояла во главе цивилизации», — утверждал он; и утверждение это переносил на современность и делал соответствующие и, казалось ему, вполне логичные выводы. «И есть инерция жизни, — добавлял он, — которую сбрасывать со счетов нельзя». Он был известен в институте еще тем, что всегда противостоял во взглядах доценту Карнаухову и на ученых советах спорил с ним; и потому все знали, что, как только Карнаухов закончит теперь говорить, сейчас же выдвинется вперед Мещеряков и что произойдет все то — выяснение позиций, — что происходило всякий раз в институте, когда эти два доцента, Карнаухов и Мещеряков, сходились вместе. Но как бы громко и сколько бы они ни говорили между собою, спор их никогда не выходил за рамки приличия, и во многом они обязаны были этим Арсению, который не то чтобы примирял их, но старался объединить их крайние взгляды в нечто среднее и приемлемое для всех, когда ни Западу, ни Востоку (то есть России) не отдавалось предпочтения в общем движении истории; он считал, что крайности ослепляют людей, но что в любой крайности есть свое разумное, от чего нельзя и преступно отказываться; но, может быть, оттого, что он более близок был с Карнауховым, внешне и на словах чаще поддерживал его, тогда как в душе понятней и естественней были для него взгляды Мещерякова, который, как это представлялось Арсению, призывал не замыкаться в себе, а смотреть шире, общаться и раздвигать перед собою государственные горизонты.

Но теперь, на вечере у Лусо, Арсений был мрачен, и было видно, что он не хотел вступать в разговор; он стоял за спиною сидевшей на стуле Наташи и старался держаться так, будто его вовсе не было здесь

и все происходившее вокруг не касалось его. Между тем все чувствовали, что вот-вот разразится привычный спор между доцентами, и в то время как Карнаухов продолжал еще высказывать свои предположения, что может дать для общего благополучия людей предстоящая встреча и переговоры, все уже посматривали на Мещерякова, лицо которого, круглое и полное, как и лицо Карнаухова, выглядело под розовыми абажурами точно так же молодежавым и гладким. Мещеряков улыбался той иронической улыбкой, когда он чувствовал свое явное превосходство; и превосходство это, он видел, было теперь понимаемо всеми, и надо было только подобрать минуту, чтобы начать говорить.

Но в тот самый момент, когда он, вскинув руку, стремительно и противоестественно всей своей низкой, полной и неуклюже сложенной фигуре направился было к центру круга, его сейчас же опередил профессор Лусо. Профессор не хотел, чтобы то, что заставляло его всякий раз морщиться на заседаниях ученого совета, повторилось сейчас здесь, в его квартире.

— Друзья,— сказал он, выставляя ладонь перед собою и жестом более, чем интонацией, напоминая гостям, что есть границы дозволенного и недозволенного и что он не хотел бы, чтобы границы эти нарушались в его доме.— Мы не на ученом совете.— И он посмотрел как можно весело сразу на всех, произнеся это, и затем посмотрел на Карнаухова, словно желая особо предупредить его. Но в то время как он посмотрел на Карнаухова, он увидел сидевшего за спиной доцента в окружении дам того самого своего друга-дипломата, недавно вернувшегося из Парижа, которого он еще полчаса назад собирался представить своим ученым коллегам, но о котором в суматохе вечера забыл. Чувствуя, что надо исправить упущенное, и видя, что в самый раз сделать это теперь, Лусо энергично и с тем хитровато-оживленным выражением, какое всегда бывает на лицах людей, готовящихся преподнести приятный сюрприз, опять выставив перед собою ладонь, проговорил: — Прошу минуту внимания!

(Продолжение слугует)



МУСТАЙ КАРИМ



НЕ БРОСАЙ ОГОНЬ, ПРОМЕТЕЙ!

Трагедия в шести картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ПРОМЕТЕЙ — титан, создавший людей из глины, замесив ее своими слезами.

ЗЕВС — верховный бог. Порой простоват и доверчив, легко верит сплетням и слухам, может быть очень жестоким, одаривает и карает без меры.

АГАЗИЯ — дочь Земли. Таят в душе земной огонь. Выделяется среди людей, поэтому люди отталкивают ее.

ГЕРА — последняя (седьмая) жена Зевса. Богиня, хранительница семейного очага. Как это бывает с бывшими грешницами, прикидывается чрезвычайно благочестивой.

АФРОДИТА — богиня любви. Красивая, самоотверженная. Дочь Зевса, падчерица Геры.

ГЕФЕСТ — бог-кузнец, на пирах — тамада, занимается и другими хозяйственными делами. Хромой, с большими руками, мягкий, слабовольный, докорно выполняет повеления Зевса.

ГЕРМЕС — двоедушный, одна щека белая, другая черная, одно ухо оттопырено вверх, другое свисает вниз, косоглазый, тонец и соглядатай Зевса.

ФЕМИДА — мать Прометея. Богиня правосудия. Смелая, ради спасения сына готова на все, одобряет его подвиг.

ЭРИДА — богиня раздора. Уши ее не слышат, что говорит язык.

МОИРЫ — богини судьбы.

ВЛАСТЬ } слуги Зевса.

СИЛА }

АДАМШАХ — вождь людей.

На пиру богов — Мусaget (бог музыки), Эрот (бог любви), Дионис (бог вина и веселья), Первый, Второй, Третий молодые боги, Хариты (девы веселья).

На маковой поляне и возле пропасти — уроды (трое мужчин, три женщины), красивая девушка и другие.

ПИР БОГОВ

Гора Олимп. Золотой дворец Зевса, построенный для него Гефестом. После победы над титанами и низвержения своего отца Крона в Тартар Зевс объявляет себя царем богов и людей. По этому случаю готовится большое пиршество, которое продлится сто лет. Собираются молодые боги, которые храбро дралась с титанами. Вначале они держатся весьма надменно. Из известных богов и богинь в пиршестве участвуют Прометей, Гефест, Гермес, Дионис, Эрот, Эрида. Мусaget и девы веселья — Хариты.

По обе стороны трона становятся Гера и Афродита. Боги, сидящие и полулежащие, не обращают на них внимания. Позже входит Зевс, пришествие которого ожидают сверху, однако он появляется откуда-то снизу. При его появлении боги чуть заметно шевелятся. Тут и там на больших плоских камнях расставлены блюда с яствами, в больших сосудах вино.

Когда Зевс усаживается на трон, все замолкает. У ног Зевса располагается Гермес, оттопыренное ухо которого направлено в сторону повелителя. Прометей стоит поодаль, смотрит на Землю. Притихли и Хариты, оживленно болтавшие с Эротом.

В это время раздаются голоса богинь судьбы — Мойры

Мойры

Злодеянья создают злодея,
 А злодей рождает злодеянья.
 Нет начала у сего кольца —
 Нет у круга этого конца.
 Злодеянья создают злодея,
 А злодей рождает злодеянья.
 Нет на небе, нет и на Земле
 Сил бороться с этою бедою.
 Здесь бессильна всякая волшба,
 Жалкие проклятья и мольба.
 Злодеянья создают злодея,
 А злодей рождает злодеянья.
 Но настанет время, будет день:
 Справедливость обретет опору.
 Некто, в мир для небывалой муки
 И во имя подвига пришедший,
 То кольцо сломает. Разорвет
 Круг проклятья сильными руками.
 Ведь не вечны лютые злодеи
 И не вечны в мире злодеянья.
 ...Вечны только слезы, только пламя,
 Лист зеленый, в небе — облак белый...

Зевс

Титанов разнесли мы
 в пух и прах...

Гермес

Не «разнесли», конечно, а — «разнес».
 Все мы — кулак твоей большой десницы...
 Зевс (*очень довольный этой поправкой*)
 Титанов сонм разнес я в пух и прах
 И старца Крона сбросил в темный Тартар.
 Огнине я — единственный великий,
 Царь всех богов, и всех людей, и всей
 Чащобной дичи, всех зверей и рыб,
 И птиц небесных... Кто еще там смеет?!
 Эй, кто там смеет возлежать вразвалку,
 Похрапывать, когда я говорю?!

Гермес (*вскакивая с места*)

Прости, владыка! Старая привычка.

Дионис (*сидит с пустым кубком в руке*)

Привычка, Зевс! Помилуй и прости!

Все молодые боги стоят навтыжку.

Зевс

Отныне будут новые привычки!..
 Но к трапезе я всех собрал сегодня
 Воздать хвалу, а не раздать хулу.
 ..Я в пух и прах разнес всю мощь титанов
 И Кронá в преисподнюю закинул.
 Собрал я вас на празднество победы,
 На пир великий, на столетний пир.
 О, да, не будет до скончания века
 Конца веселью радостно-хмельному.
 Достойны вы моей державной славы,
 Могущества достойны моего.
 Дрались отважно. И чего достоин
 Хотя бы только Прометей один!
 Эй, Прометей!

Прометей (*грустно*)

Я слушаю тебя.

Зевс

Но чем поглощено твое вниманье?

Прометей

Гляжу, как реки звездные текут.

Зевс

Спокойно ли текут они?

Прометей

Зловеще.

Тревожно блещут. Смуте быть, о Зевс!

Зевс

Всегда беду мне предвещают звезды.

О эти звезды! Я их проучу

Когда-нибудь!..

Жаль, не доходят руки...

(*Машет своим жезлом.*)

Прометей

Может быть,

Мы сами, затевая наши тяжбы,

Небесных воинств битвы, нарушаем

Ночных светил привычное течение,

И реки звезд сбиваются с пути.

Зевс

Оставим звезды. Не до них покуда...

Гера

Супруг, пока вина не разливают,

Хочу тебе напомнить обещаенье.

Зевс

Что обещал я?

Гера

В этот день хотел

Ты выбрать жениха для Афродиты,

Для дочери своей. Как дочь родная,

Мне падчерица.
(Угожливо склоняет голову перед Афродитой.)

Здесь хоть пруд пруди
Богами молодыми...

(Оглядывается плутовато.)

Зевс

Ну, с этим позже. Как пойдет веселье...
Ведь не до бабы трезвой голове.
А захмелеют боги — все толпой
Перед невестой станут на колени.
Вот уж тогда и «Ум» и «Дурь» проснутся
И с хором закричат: «Я здесь! Я здесь!»

Гера (кокетливо)

Ах, мой супруг, ты и хитрец и плут!

Зевс (ласково пошлепав жену)

Кабы я трезвым был в тот день злосчастный,
Так уж тебя, клянусь, не приголубил,
Прошел бы мимо.

Гера (поднимая руку как бы для тоста, но без кубка)
Прославим счастье женское — вино!
Оно и сводник мудрый и помощник.

Дионис (держит в руке пустой кубок, подходит
к Зевсу и, переворачивая, показывает ему)

Держать в руке вот так бокал пустой
Мучительно, как жить с женой бесплодной.
Ну не томи! Властитель, начинай!

Зевс

Мой Дионис, терпи! Сто лет подряд
Вином ты будешь заливать утробу.

Дионис

В двух случаях мужчины, как ты знаешь,
Терпение теряют наконец.
Один из них — такое ожиданье,
Когда вина тебе нальют.

Дионис дном пустой кружки ударяет о свою ладонь и, повернувшись, уходит. В это время возле Эроса хихикают Хариты.

Зевс

Эй вы!
Искусницы утехи и веселья,
Что так вы закудахтали до срока?
Эрот! Эрот! Их так не щекочи!

Гера

Зевс! Начинай! И молодые боги
Уже от ожидания изныли.

Зевс

Нет, Гера, не спеши! Пока я трезв,
Все повеленья я отдать успею,
А захмелев, проверю исполнение.
Гермес!

Ответь, ты выпустил на волю
 Всех узников, оставшихся в наследство
 Мне от отца?.. Амнистию даю
 Я нынче всем. Так все ли на свободе?

Гермес

Все подчистую! Только лишь две пары
 Оставлены в цепях...

Зевс

А эти кто же?

Гермес

В темнице пара первая осталась
 По воле Геры...

Гера (*выходит вперед; говорит кокетливо и
 несколько заносчиво*)

Я жена седьмая..
 Да ведь и Зевс не первый у меня.

Зевс

Знай меру, Гера. Знай в признаньях меру!

Гера

Седьмая я! Но быть хочу последней.
 Отныне брак священною печатью
 Скреплен быть должен твердо и навечно.
 И пусть не ждут от Геры милосердия,
 Пусть знают, что раскаялась блудница,
 Теперь карать жестоко будем блуд.

Эрот

Ха! О-го-го!

Гера

Те двое, о которых
 Тебе Гермес поведал, согрешили,
 Брак преступили, спутались.

Зевс

И что?

Что совершили?

Гера

Потеряв рассудок,
 Друг друга полюбили.

Зевс

Это верно?

Гефест

Доподлинно! Увы, о повелитель...
 (*Прихрамывая, подходит к Зевсу.*)

И две темницы, где заточены
 Влюбленные, какое-то свечение
 Волшебное все время излучают,
 От двери к двери тянутся лучи.
 И сделанные мной самим оковы
 Рассыпались в секунду, как песок...

Зевс

Выходит, истинна любовь несчастных?

Г е р а

И даже чересчур!
 З е в с (*встает с трона, поднимает свой жезл*)
 Коль так... Немедля
 Замки темниц ты отопри, Гефест.
 И пусть всегда влюбленные живут
 Влюбленными на воле — не в темнице.
 Любви же тесно одеянье брака.

Молодые боги шумно одобряют это решение. Гефест и Гермес направляются к выходу.
 Останавливаются у дверей.

Г е р а (*обиженно*)

Вот так всегда. Так испокон веков
 Встает горой мужчина за мужчину.

З е в с (*иронично*)

Эй ты, Гермес! А узники-то оба
 Мужского пола, что ли?

Г е р м е с (*хитро улыбаясь*)

Басилевс!
 Одна, бесспорно, женщина. Красотка
 И прелести нездешней...

З е в с (*хохочет; к его смеху присоединяются другие*)

Ай да Гера!
 Ты промахнулась... Женщина! Ха-ха!

Э р о т

Наш Зевс любви, конечно, знает цену,
 Ведь неспроста все это... Ха-ха-ха!
 Кишат его потомки во вселенной,
 И среди них — кривые и хромые...

З е в с

Наглец! Ты забываешься, Эрот!

Э р о т

Все, все...

З е в с (*Гефесту и Гермесу*)

Итак. Чего ж вы ждете, боги?
 Освободите узников скорее,
 Всех четверых немедленно на волю!

Гефест и Гермес трогаются с места, но снова останавливаются.

А ф р о д и т а

Не торопись, отец, произносить
 Свой приговор высокий и последний.
 Оставлена в цепях вторая пара
 По моему велению. Их вина,
 Их грех ужасны, нет им оправданья.

З е в с

Что ж совершили грешники такого,
 Что даже бог не в силах их простить?

А ф р о д и т а

Отец, они, любви не испытав,
 Себя ее пожаром не очистив,

Решили в брак вступить... И оттого-то
Рождались дети или стариками,
Иль мерзкими уродами... От них
И повелись калечных поколенья.

Зевс

О боги, боги! Слышите?

Боги

О Зевс!

Зевс (*со страшной угрозой*)

Брак без любви?! Нет больше сострадания!
Возьми, Гефест, свой молот огневой,
Чтобы единой цепью золотою
Сковать двоих, и в золотую клетку
Их посади! Я знаю: то же золото
Незримо раньше их соединило.
Да будет вечно так. Пусть с отвращеньем,
Страшась прикосновенья и вперяя
Друг в друга ненавидящие очи,
Они живут свой бесконечный век.
(*Поднимает свой жезл.*)

Конец!

Дионис (*поднимая свой кубок*)

Конец... Что ж, перейдем к зачину.

Зевс

Ну, Мусaget, пусть заиграют лиры!

Разливается нежная музыка. На заднем плане — танцующие Хариты.

Но все ли боги в сборе?

Дионис

Все.

Гера (*недовольно*)

Однако

Одна богиня явно не спешит.

Эрида, смуты дерзкая богиня,

Всегда приходит к середине пира.

Да что за важность — божество раздора!

Эрот

Придет, не сетуй, будет в свой черед,

Да и к добру Эриды запозданье...

Зевс (*сходит с трона и направляется к большому камню,
где расставлено угощенье*)

Эй, Мусaget, все как-то жидковата

Гармония твоя. Струну ты пилишь.

Скорее бей в серебряные чаши,

Бей так, чтоб содрогался весь Олимп.

Раздаются удары в дитавры, затем начинается тихая музыка. Возвращаются Гефест
и Гермес.

Зевс (*сразу после того как затихают литавры*)

Вот молодец! Божественно и мощно!

...Мы в пух и прах титанов разнесли...

Гермес (*в один прыжок оказывается около Зевса*)

Не «разнесли», понятно, а «разнес».

Ты наш кулак, а мы — всего лишь пальцы..
 Зевс (*злится на себя за то, что оговорился*)
 Разнес я сонм титанов в пух и прах,
 Загнал отца в потемки ада
 И в честь победы начинаю пир!
 Гефест! Теперь вином наполни чаши,
 Несмешанным вином. Воды — ни капли,
 Мы пьем под стать бритоголовым скифам!

Боги (*шумно*)

Хвала Зевсу! Это по-мужски!

Гера

Несмешанным?.. Ты у людей порокам,
 Как прежде, рад учиться...

Зевс

У кого же
 Мне и учиться, как не у людей?
 Ух! Ну когда же все это бабье
 Ворчать устанет и глотки считать,
 Едва мы к пенным припадем фиалам?
 Живей, Гефест! И — до краев налей!

Гефест

Спешу, мой Зевс! И нет меня проворней,
 Как полагаю, бога у тебя.
 Уж обо мне когда-нибудь да скажут
 С усмешкой: «Хромоножке не сидится!»

Боги

Гефесту-хромоножке не сидится!
 Косой Гермес! Как спится? Ха-ха-ха!

Гефест разливает вино. Все поднимают кубки. Зловещая тишина.

Зевс (*с чашей в руках*)

Я власть обрел, но потерял свободу!
 Отныне это воля не моя,
 Но божества верховного суровость
 Свершать над вами будет суд жестокий.
 Коль буду я безжалостным, поймите,
 Не обессудьте, милости не ждите,
 Когда пойдете мне наперекор.

Дионис

Зевс! Не грозь! Неужто невозможно
 Без гнева чашу первую поднять
 В день, осененный лаврами, великий?

Зевс

Сей день велик... Мучителен, трагичен
 Он для меня. Неведомо куда,
 Я потерял сейчас иль приобрел,
 Я проиграл иль выиграл хоть что-то...
 И неизвестно... Но да будет так,
 Все кончено и — к дьяволу сомненья!
 Пусть ими демон тешится в аду,
 Советчик бога — только ясный разум.
 Так выше чаши поднимите дружно
 И выпейте — за нового царя!

Молодые боги (*шумно*)

— Во здравье Зевса!
 — За владыку Зевса!
 — За мощь царя богов!
 — За нас!
 — За нас,
 Кому такой дарован царь великий!
 — Как сладко пить, ведь пьется за царя!

Все пьют. Не пьет только Прометей. Он все еще стоит в стороне.

Зевс

А почему ты даже не пригубил?

Прометей

Пью полной чашей горькое вино.
 И мнится, что теряю душу друга...
 Прощай, мой брат, меж нами отчужденье
 Ложится, как пространство ледяное.
 Прощай, но горько, тяжело расставаться,
 И слезы горя льются в кубок мой.
 Прощай, мой Зевс! Разлука больно ранит,
 С твоей душой я расстаюсь отныне.

(*Пьет.*)

Дионис (*слегка навеселе*)

Лишился друга — приобрел царя,
 Да только что он, царь, тебе, дубина?

Зевс (*мягко*)

Но как легко уходишь ты от дружбы...
 Что за повадка, друг мой Прометей?

Прометей

Ты знаешь, Зевс, что у владык высоких
 Друзей и нет и не было от века...
 Их подпирают только две колонны,
 Лишь двое — соглядатай и палач.

Услышав это, Гермес выпрямляется, являя собой одну из опор.

Я не гоюсь быть этим или тем.

Зевс (*Прометею*)

Почти не пил, а захмелел. Заносчив
 Ты стал, дружок... Но почему, Гефест,
 Фиалы пусты?

Гефест

Я сейчас налью.

Прихрамывая, спешит наполнить кубки. Молодые боги смеются, шумят, показывают на него пальцем.

Первый молодой бог (*наклоняясь к Дионису*)

Простите любопытство. Я впервые
 Здесь, в эмпиреях... Отчего Гермес
 Так выглядит: с одной щекою белой,
 С другою — черной?

Дионис

Белая щека —

Для Зевса,
Ну а черная — для прочих.

Первый молодой бог
А для чего ему такие уши?
Топорщится одно, другое виснет...

Дионис

Одно, топырясь, ждет велений свыше.
(Показывает на Зевса.)
Свисающее — слухи собирает.
(Жест в сторону остальных.)

Первый молодой бог
Ах, как забавно... Вот каков Гермес!

Дионис

Забавно и, пожалуй, хитроумно...

Гера

Но почему не весело веселье?
И отчего Хариты приуныли
И Мусaget как будто задремал?
(Три раза хлопает в ладоши.)

Снова звучит нежная музыка. Хариты медленно танцуют. Эрот со стрелами оказывается среди девушек. Боги продолжают пить, оживленно переговариваются, жестикулируют. Хромой Гефест то прохаживается среди танцующих, то подливает вино в кубки. В разгар пира Первый молодой бог срывается со своего места.

Первый молодой бог

Эй, погодите! Бражники, ни звука!
Настал великий час! Все решено!
О Зевс, благослови!
О Афродита!
Твоей руки прошу, и не отыщешь
Ты жениха достойнее меня.
(Склоняет голову перед Афродитой.)

Зевс (*хитро улыбается общему удивлению*)

Ты парень, видно, бойкий, тороватый.
Каким же ты владеешь ремеслом,
Чему учен и знаниями какими
Нас можешь и занять и удивить?

Первый молодой бог

Я знаю все ремесла, что доступны
Одним богам. Вдобавок я умею
В одно мгновение высекать огонь,
Одну звезду ударив о другую.
Вот так...

Берет два кубка и ударяет их друг о друга. Кубки разбиваются вдребезги. Все хохочут. Афродита, отвергая его, качает головой. Первый молодой бог стоит в растерянности.

Зевс (*в ответ на это*)

И свадьбу, что могла быть нынче,
Вот так нелепо вдребезги разбил ты.
Немного подрасти!
(Машет рукой.)

Второй молодой бог *(вскакивает с места)*

Зевс-громовержец!
Испытана тобой моя отвага,
И пред очами грозными твоими
Сейчас и красота моя и сила.
Что до ума...

(Бьет себя по лбу.)

То мой ларец не пуст!
Коль будешь мне женою, Афродита,
Счастливейшею станешь из богинь!

(Встает на одно колено.)

Зевс

Каким, сынок, владеешь ты искусством,
Которого не знали бы другие?

Второй молодой бог *(вскакивает)*

Порой вот так беру я, забавляясь,
Моря... Их подниму и опрокину...

Берет в руки большую чашу, наполненную вином, и опрокидывает ее на голову одному из молодых богов. Смех. Афродита, отвергая его, качает головой.

Зевс

Вот так свою ты опрокинул свадьбу.
Нечаянно... Иди и веселись!

(Машет рукой.)

Стремительно выбегает Третий молодой бог и падает на колени перед Афродитой.

Третий молодой бог

Вот по горшку и крышка... Я здесь кстати!
Как ни гляжу, иных не примечаю.
Зевс, я, как видишь, самый подходящий
Жених для Афродиты. Кто ж еще?
Я весельчак, забавник, добрый малый,
Я знаю ровно семьдесят потех,
И жизнь со мною будет беззаботна...

Зевс

Ну покажи мне хоть одну потеху!

Третий молодой бог

Эй, музыканты, начали! Итак,
Попотчuem возлюбленного тeстя
Гармонией моей дисгармоничной!

Музыка играет какую-то джужую мелодию. Третий молодой бог пляшет современный танец. Больше всех с искренним увлечением смеется сам Зевс. Одна из Харит, приподнимая длинную юбку, присоединяется к танцору. Афродита качает головой.

Зевс

Хо-хо, затейник! Хватит. Дело ясно.
Свою ты свадьбу нынче проплясал.

(Машет рукой.)

Гера

Какая молодежь растет блажная,
И девушку посватать не умеют!

Дионис

Да, молодежь испорчена вконец,
И пить-то не умеют; а берутся.

Зевс (*вновь обращается к скорбному Прометею,
стоящему в стороне*)

Превыше дружбы есть на свете братство —
Родство по крови... Слушай, Прометей!
Тебе я говорю! Тебя желанным,
Быть может, золотая Афродита
Сегодня назовет... Мы породнимся.

Прометей подходит к Афродите. Золотое одеянье богини начинает светиться. Наверное, она любит Прометея.

Прометей

Хвала, хвала богине златовласой!
О золотая Афродита, знай,
Что нет во всей вселенной совершенней
Создания. А вселенную я знаю.

Гера недовольно пожимает плечами.

Я пред тобой — убогий и калека.

Зевс

Пустое мелешь!

Прометей

Зевс, ведь я урод.
И кудри уж не те — потерял волос.

Боги

Вот горе — волоска недостает!

Зевс (*тревожно*)

Где этот волос?

Прометей

Девушка земная,
Лаская, как цветок, оборвала.

Зевс

Да стоит ли хотя бы волоска
Та, что его похитила?

Прометей

О боги!
Когда бы только сам я был достоин
Хоть волоска единого ее,
Тогда бы на Земле и в горних высях
Счастливейшим я стал бы из счастливых!

Зевс

Да ты от страсти обезумел, бог!
И вправду Прометей ополоумел —
И мне завидно! Здесь и Зевс бессилён!

Афродита (*сияние ее наряда гаснет*)
Что ж, Прометей, меня ты отвергаешь?

Прометей

Я не тебя отринул, Афродита,
Прекрасная... Я от тебя отверг

Лишь самого себя.

Афродита (*вздыхает*)

Да... Так бывает...

И любящего ты сама не любишь.

(*Смотрит на Гефеста.*)

Кого полюбишь, тем ты нелюбима.

(*Жест в сторону Прометей.*)

И я не в силах это изменить.

Прометей

И ты, как видно, можешь быть бессильной,

И ты, любви богиня, Афродита.

Афродита

Но я ведь не разлучница, не сводня,

Я только покровительство дарю

Влюбленным, их в беде оберегая.

Прометей

О Афродита, я тебя прошу,

Ты женщине моей не мсти по злобе,

Молю тебя!

Афродита

Стыдись просить меня!

Моя ль рука поднимется для мести?

Я разве не защитница любви?..

Прометей (*склоняет перед ней голову*)

Благодарю, святая Афродита!

Афродита

А все же я не прочь ее увидеть.

Прометей

На маковой поляне наши встречи.

(*Отходит в сторону.*)

Сцену сватовства Гефест наблюдает с тревогой, ревностью, не находя себе места, радуется, когда Афродита отвергает женихов. Он любит Афродиту.

Гермес извещает о прибытии богини раздора Эриды, и за столом начинается суматоха.

Гермес

Богиня раздора Эрида изволит прибыть!

Голоса

— Эрида идет!

— Склока идет!

— Эй, смутьянка Эрида идет!

— Знает свой час — пир в разгаре!

В миниюбке, в туфлях на высокой платформе, держа в руке яблоко, входит Эрида. Она направляется прямо к Зевсу и останавливается перед ним.

Эрида (*игриво*). Вот и я!

Зевс. Вижу. (*Демонстративно рассматривает ее с головы до пят.*)

Эрида. Как не видеть, глаз у тебя острый.

Зевс (*все еще с интересом изучая странный наряд Эриды*). Это еще что за бесстыдство? Откуда такая срамная мода?

Эрида. Сама скроила, сама сшила.

Зевс. Кроить-то кроила, но, видать, недошила. (*Строго.*) Тьфу, срамота! Что за платье, беспутница! Как можно под ним уберечь целомудрие?!

Эрида. Ну, Зевс, если уж говорить о целомудрии, то оно скорее ускользнет из-под длинного подола, да и за примером далеко ходить не надо.

Указывает на Геру. Боги хохочут.

Зевс. С собой — соблазняет, словами — совращает, что за напасть!

Эрида. Сытый — о бабьей юбке, голодный — о хлебе. Вы сыты, а я голодна.

Зевс. Гефест, належь-ка Эриде!

Эрида. Ну да и я пришла не с пустыми руками, а с подарком. Вот — яблоко! *(Выпивает вино.)* А пьете-то вы нынче по-скифски, без воды. Одобряю!

Зевс. Теперь, Эрида, пойдешь возле Эрота и сиди тихонько — обойдемся сегодня без скандала.

Эрида. Боже сохрани! Мне самой уже надоели эти склоки — вот они у меня уже где!

Дионис *(пьян)*. И я тоже... сегодня бросаю... Тем более что и не с кем... Пить и то не умеют...

Эрот *(с иронией)*. Ох, Эрида! Ну же, зазнобушка! Быстрее, не томи меня!

Эрида. Уже иду! Вот только передам подарок.. Итак, это яблоко — самому смелому, самому красивому, самому прославленному, самому-самому... самому... самому выдающемуся молодому богу, который превзошел всех в битве с титанами и в борьбе с Кроном! Ну, самый-самый! Хватай!

Подбрасывает яблоко и сама же ловит, дразнит, приговаривая: «На, лови!» Снова подбрасывает. Молодые боги устремляются к яблоку, спорят, дерутся: «Мое!», «Мне — самому храброму!», «Я тут самый красивый!», «Яблоко славы мое!», «Нет мое!», «Вот тебе яблоко!», «На тебе!», «Получи!». Толкаются, дерутся. Зевс потрясен.

Гефест. Стыдитесь, молодые боги! Позор!

Молодые боги ничего не слышат. Яблоко откатывается, боги гурьбой бросаются за ним.

Сутолока. Вслед за ними уходят Эрида, Эрот и некоторые другие боги.

Дионис. Что я вижу! Ха-ха! Вздорная баба одурачила победителей титанов, ха-ха! Каковы молодцы! Славная битва... *(Уходит.)*

Зевс. Ступай, Гермес, и возьми у них яблоко. Оно по праву мое!

Гермес. Яблоко славы будет принадлежать только тебе! *(Уходит.)*

Гости расходятся. Исчезают Гера, Афродита, Гефест. Остаются только Зевс и Прометей. Прометей смотрит на Землю.

Зевс

Вот минуло еще одно столетье,
А ты все так же горестен и смутен,
Твой взгляд всегда на Землю устремлен.
Чего ж тебе на небе не хватает?
Чего еще? Наскучило веселье?
Уже не сладки пища и вино?
Здесь женской ласки мало или славы?
Иль ты уже не дорожишь свободой?
Иль стал несносен Прометею Зевс?
Когда мы все здесь пировали дружно,
Все сорок небожителей бессмертных,
Не ты ль один стоял живым укором?
Так что ты хочешь, что не по душе?

Прометей

Мне все не по душе:

все, что свершаем,
Все, что творим и как живем, о Зевс!

Зевс

Но о каких ты говоришь свершеньях?

Прометей

О том, что прежде целое столетье
Вели войну и с неба не дожди
Текли, а реки крови...

Что ж потом?

Мы на столетье завели застолье...
Воюем или пьянствуем... Когда же
Хоть что-нибудь построим, обновим?!
Кто, кроме хромоногого Гефеста,
Хоть пальцем бы о палец тут ударил?!

Зевс

Мир больше не нуждается в поправках —
Законченным его создали мы!

Прометей

Создали, но ведь сразу и забыли.
Взгляни туда — какой там черный день,
На черной почве копошатся люди,
Те люди, у которых нет весны.
Скажи, за что ты их лишил огня
И отнял свет, и веру, и надежду?

Зевс

Так им и надо!
Разве не известно,
Как оскорблен я жертвоприношеньем?
На мой алтарь подсунули не мясо —
Негодные объедки и мослы.
О эти люди!
Страшно возгордились,
Пусть кару злую понесут сполна!

Прометей

Но сколько можно?

Зевс

До скончанья мира.

Прометей

Как с ними ты жесток!

Зевс

Ты небожитель!
Нам не пристало горевать бесплодно.
И что тебе за дело
До людей?

Прометей

Так ты забыл, о Зевс,
Давным-давно,
Когда еще с тобой мы были ровня,
Создал я этих маленьких людей.
Я взял в ладони свежей белой глины,

Слезами замесил ее, потом
 Людей фигурки вылепил. Они
 Не слезы ли мои? Да, это слезы,
 Что пролились
 И много раз прольются.

Зевс

Ну, если так, их высушить пора...
 Я выжгу их, сотру, людская гордость
 Во мраке безотрадном задохнется.

(Сжимает кулак.)

Без гордости и человек ничто.
 А так — подобье нечисти ползучей.

Прометей

О Зевс! Где милосердие твое?!
 Пока что им одно тысячелетье
 И человек еще совсем дитя.
 Его вина — провинности младенца.
 Ты — царь!
 К рабам будь милостив!
 Красавцы
 И жалкие уроды,
 Все они —
 Твои же дети...

Зевс *(гневно)*

Надо уничтожить уродов!..

Прометей

Где же совесть,
 Стыд и вера?

Зевс

А вера, стыд и совесть — это я.

Прометей

Ты — высший бог,
 Но божество есть выше.
 Есть совесть бога!
 Будешь беспощаден —
 И целый мир покроется уродством
 Ничтожной лжи, и лестью, и обманом.

Зевс *(резко)*

Умерь свою гордыню, Прометей!

Довольно!

Не учи меня отныне,

Кого карать и миловать кого.

А встанешь поперек моей дороги,

Пойдешь моим словам наперекор —

Пеняй лишь на себя. Хоть я сегодня

Надменных слов твоих прощаю дерзость,

Но не прощу таких же дерзких дел.

Долгая пауза. Зевс ждет ответа, но Прометей молчит.

(С угрозой.)

Навек простую истину запомни:

Лишь только у того, кто сам на воле,

Свободно слово, подлинно свободно.

Оно опасно... А язык раба
 Быть должен, как ворота, на запоре.
 А и сболтнет словцо — пустее дыма...
 Предостеречь хочу — ты не накликай
 И на себя такой судьбы зловецей,
 Бог непослушный, видно, потерявший
 И голову, как легкий волосок!

(Отходит в сторону.)

Прометей

Спасибо за науку! Мне вовеки
 Ее теперь не позабыть.

(Отходит в сторону.)

Зевс

Похвально.

Вбегают Гермес.

Гермес *(встревоженно обращаясь к Зевсу)*

Владыка!

Зевс

После!

Гермес

После будет поздно.

Зевс

Ну что стряслось?

Гермес

Вот — яблоко!

Добыл с опасностью для жизни.

(Протягивает, но Зевс берет не сразу.)

Зевс

Как, и только?

Гермес

Нет. Я с тревожной вестью...

Зевс *(в сердцах)*

У тебя

Всегда тревоги, страхи, кривотолки,

Готов из мухи сделать ты слона.

Гермес

Когда не прибавляю — ты не веришь.

Но ведь и вправду весть моя ужасна:

Во чреве Геи зародилось пламя,

Теперь огнем беременна Земля!

Однажды ты изрек такое слово!

«Власть у того, кому огонь подвластен!»

Страшился прорицаний...

Зевс

Верно, ты

В траве увидел светлячка ночного.

Червяк, зовут его огонь мышинный,

Так светится в потемках.

Гермес

Царь небес!

Ты дурнем не считай меня. В утробе

Земли сырой пожара взбухла искра.

Зевс

Где видел ты ее?

Гермес

Пока не видно.
Но сердцем чую,
Хоть не знаю где...
А только зреет, бродит это пламя.

Зевс

Так что же... Знай, подземный твой огонь
Мне светлячка ночного не страшней,
И для тревог причины я не вижу.

Гермес

А я тебе сказал и все забыл.
И с плеч долой...

Зевс (*гордо*)

Божественное пламя,
Вселенной озаряющее душу,
Лишь в очаге моем! И это пламя
Храните вы бессленно, неусыпно,
Чтоб искра ни одна не отлетела!
Его храните! А земной огонь...

(*Махнув рукой, идет к выходу.*)

И все ж, Гермес, всех светлячков на свете
Ты высмотри скорей и раздави.

Гермес

Исполню тотчас.

Зевс

В мире тот всевластен,
Кому огонь божественный покорен!..
Итак, земной огонь...

(*Встревожен.*)

Коль он с небесным не соединится,
Так вечно и останется бесплодным.
Ну-ну, земной огонь... Откуда, тьфу,
Прилипли к языку слова такие!..

Оглядывается на Прометея, уходит. За ним уходит Гермес. Прометей остается и долго смотрит на Землю.

Прометей

О Зевс, ты сам, того не сознавая,
Своей выносишь мощи приговор.
О, знал бы ты, какой непоправимый
Ты сделал шаг, напомнив об огне...
Так, значит, это для тебя опасно —
Слиянье двух огней...
Когда небесный
Сойдет к земному,
Небо проиграет.
И выиграет юная Земля.
А в чьих руках огонь, тому волшебный
Ключ к тайнам всех ремесел и художеств.
Уже распался мир! Летят обломки...

И лишь огонь божественный способен,
 Все вновь соединяя воедино,
 Мир новый и невиданный создать,
 Два пламени соединить... Быть может,
 Вот в этом все мое предназначенье,
 Избранье неба и земной удел.
 Не избежать того, что будет.
 Смело!
 Пусть я пойду опасным бездорожьем
 И боязно, но истина гласит:
 Великие дела всегда опасны!
 Решился я. Любовь моя земная,
 Агазия,
 Меня благослови!

МАКОВАЯ ПОЛЯНА

Вся поляна покрыта красными маками. Здесь встречаются влюбленные.
 Прометей с Агазией. Чуть позже показывается и исчезает Афродита.
 Агазия в объятиях Прометея.

Прометей

Агазия! Любимая! Лишь ныне
 Мне внятно чисел тайное звучанье,
 Значенье и величье цифры «два»,
 Слияньем одного с другим рожденной.
 Разрозненные звенья, миллионы —
 Ничто и ноль пред этими двумя.
 Тысячелетье я не улыбался,
 Но хочется сегодня, как младенцу,
 Смеяться и беспечно и счастливо,
 Безумствовать и обо всем забыть.
 Себя сейчас я обретаю дважды —
 В избранничестве и в твоей любви.
 С души плененной я стряхнул оковы
 И возвратился к самому себе.
 Агазия!
 Держу тебя в объятиях,
 Но все-таки и в этот миг тоскую
 Лишь по тебе. Пусть в этот миг заветный
 Ловлю твой взгляд и сердцем слышу сердце —
 И все же по тебе вдвойне тоскую.
 Но ты молчишь?

Агазия

Спутнута боюсь я счастье,
 Страшусь пустое слово обронить.
 Восходит солнце — и луна тускнеет,
 Ты говоришь — я слушаю в истоме...

Прометей

Со дня творенья связан я с тобою.
 Была комочком глины ты вначале,
 Я был смущен... Потом, века спустя,
 В той глине жизнь проснулась... Шли века —
 В тебя душа вселилась, и все больше
 Тебя любил я... Что же в этот миг

Тоскую по тебе — в твоих объятьях?
Иль мало мне мгновения любви?..

(С тоской.)

Агазия!
Что станет со мною,
Когда иссякнет разом жизнь твоя,
Вся пролетит, как день?!

Агазия

Но он — в начале!

Прометей

В начале... Значит — кончится.

Агазия

Ну что ж,
Чему начало есть — всегда конечно.

Прометей

Нет! Разорву я времени узлы
И жизнь твою другой стезей измерю!

Агазия!

Как страшен смертный жребий!
Узнай — я превращу тебя в богиню
И в небеса к бессмертью унесу!

Они становятся на колени друг перед другом. Входит Афродита. Она радуется счастью влюбленных, но, зная заранее, что оно кончится трагично, грустнеет.

Афродита

Нет ничего прекраснее любви,
Она равняет человека с богом.
Равняет ли?
Гляди — всеильный бог
Пред женщиною слабою склонился,
Сияньем неземным заворужен.
Из тех, чья жизнь — быстротекущий день,
Такую,
Столь достойную любви,
Впервые вижу
И благословляю!

(Вдруг с горьким сожалением.)

О беспощадный рок!
О бог несчастный!
Спасенье, что сулишь ей, не придет.
Знай: на Земле и смерть ее и пища,
А в наше царство,
К вечному блаженству,
Бескрылая, она не возлетит!
О человек, минутный и бескрылый!
Тебя жалею, и от слез печали
Горят и опаляются ресницы..

(Исчезает.)

Агазия

О Прометей, всех женщин я блаженней
И самая счастливая из всех.
Твое дыханье пить — какое счастье!
Чего же, смертной, мне еще желать?

Прометей (вскакивает)

Но ты не будешь смертною отныне!

Я сердце разорву и половину
Его пыланья в грудь твою вложу.
(Хочет разорвать свою грудь.)

Агазия (останавливая его)
Остановись!

Прометей
Промедлю — будет поздно!

Агазия
Постой! Не надо! Подожди! Боюсь!

Прометей
Чего же испугалась ты?

Агазия
Бессмертья.
Не погуби!

(Умоляет.)
Помилуй, если любишь...

Прометей
Помиловать тебя? Не понимаю...

Агазия
Но ты ведь бог
И смертных не поймешь.
Здесь, на Земле, все те, кого люблю.
Здесь люди, люди!..
Как же их покину?
Уйду одна в бессмертие, скажи?

Прометей
Но любят ли они тебя, как я?

Агазия
Не любят и не верят, сторонятся
И обижают без конца и все же,
Я знаю, жить не смогут без меня.

Прометей
Не понимаю.

Агазия
Ты всего лишь бог
И не поймешь...

Прометей (встревоженно)
Уму непостижимо!
Нет, мне безумья смертных не понять.
Ведь их из глины вылепив когда-то,
Я позабыл о них. Сам виноват!

(Терзаясь.)
Но что с людьми?
И отчего так злобно
Тебя они клянут и ненавидят?

Агазия
Как только родилась я, в колыбель
Откуда-то одна упала искра
И, осветив младенца, улетела...
И люди это называли порчей,

С младенчества я стала им чужой.

Прометей

Моя невеста! Знай, что эта искра
 Была слезой любви и восхищенья.
 Моя слеза упала в колыбель.
 Она не улетела — поселилась
 В твоём влюбленном сердце... Сколько боли
 Доставила тебе печаль моя!
 Прости меня, Агазия, молю
 И заклинаю перед всей вселенной!

Агазия (*обнимая его*)

Ты не горюй и у моей груди
 Забудь свои сомненья и тревоги.
 Забудь со мною обо всей вселенной,
 Забудь о миновавшем и грядущем!
 И обними не мир — меня одну.

Прометей

Агазия! Как позабыть о мире!
 Не то же ли — тебя навек забыть?!
 В моей ли это воле?
 Что за мука!
 Покоя нет —
 Ведь ты во власти смерти.

Агазия

Мне кажется, что на любовь живую
 С тобой мы ставим черную печать.

Прометей

Нет, я тебя от смерти отлучаю.

Агазия

К чему, мой Прометей! Сказала я,
 Что к вечности нет у меня дороги.
 В слезах тебя прошу: о, никогда
 Не говори об этом, если любишь.

Прометей (*загораясь мыслью о своем призвании*)

Люблю! И потому решился я..
 Решился на отчаянное дело,
 За что обычно платят головою...
 Всем людям я бессмертие дарую,
 И ты однажды будешь среди них.

Агазия

Будь это обещаньем человека,
 Сказала бы, что он ума лишился.
 Коль изрекает бог такое слово,
 Не знаю, что подумать.

Прометей

Да, я — бог,
 Да, я — титан, и мощь моя безмерна.
 В Земле незримый зародился пламень.
 Я в плоть его вложить решился душу
 Палящего небесного огня.
 Отдам я людям свет новорожденный,

И тот, кого сияние коснется,
 Бессмертье обретет.
 Мир озарится,
 И небеса я высвечу насквозь.
 А если цели не достичь заветной,
 То сам дотла сгорю, золою стану
 И злую смерть приму с тобою вместе,
 Уйду в сырую землю навсегда.

Агазия

Одумайся!

Прометей

Я твердо все обдумал!
 Мне ведомо — лишь гордые безумцы
 На дерзкие решаются дела...
 Соединить осмелился я пламя
 Зевсово
 С огнем Земли,
 Решился
 На времени течение посягнуть.

Агазия

Но я боюсь!

Прометей

Я тоже. Но исполнить
 Хочу свой долг,
 Свой выбираю жребий!
 Агазия, благослови меня!

В ответ Агазия обнимает его. Звучит тихая тревожная музыка. Свет медленно гаснет.

Раздаются голоса богинь судьбы Мойр.

Голоса Мойр

Ты говоришь с богинями судьбы!
 И это окончательное слово?
 Быть может, поразмыслишь,
 Прометей?

Прометей

Нет!

Эхо повторяет: «Нет! Нет! Нет!»

Голоса Мойр (*говорят протяжно, делая ударение
 на каждом слове*)

Взгляни на высь Кавказа!
 Ты видишь гору Каф, о Прометей,
 И на скале — прикованного бога?..
 Все тридцать тысяч лет продлятся муки,
 Смотри, какая кара ждет тебя!
 Да, тридцать тысяч лет...
 Все тридцать тысяч...
 И если ты сейчас не отречешься,
 Тебя пытать прикажет громовержец.
 Возлюбленную нежно обнимая,
 Знай, Прометей, какую примешь кару,
 Как будешь тридцать тысяч лет страдать..
 Так говорят тебе богини Рока,
 Есть время, чтоб еще отречься...

Прометей

Нет!..

Грустная музыка прерывается. Что-то прогремело.
Скада в горах Кавказа. Внизу пропасть. Слуги Зевса Власть, Сила и Гефест
привели сюда Прометея.

В л а с т ь

Я — Власть. На этом власть моя иссякла.

С и л а

Я — Сила. Сила кончилась моя,
И пусть меня оков заменит грубость.
Свое уменье покажи, Гефест!

В л а с т ь

Такие цепи сделай, чтоб триста
Веков
Они не ведали износу.
Стальные когти сделай и стальной
Сработай клюв, чтобы безумца печень
Клевал орел. Исполни волю Зевса!

Г е ф е с т

Исполню, как велели. Уходите!
Мне тошно. Молот валится из рук.

С и л а

Не забывайся, мастер, крепко помни,
Что мы у Зевса — два больших клыка...

Власть и Сила уходят. Гефест приковывает Прометея. Звон железа и лязг цепей. Сверху
раздается орлиный клекот. Гефест, окончив работу, становится на колени перед
Прометеем.

Г е ф е с т

Какое омерзительное дело
Я совершил сегодня против воли!
Сковал — и эти руки не отсохли!
Казнил — глаза не вытекли от слез!
Будь проклято ужасное уменье!
Пусть грянут оземь и смесятся с прахом
Воздвигнутые мной дворцы богов,
А созданные мною диадемы
Расплавятся! Неумолимый Зевс!
Ты сделал палачом родного сына...
Я мог бы стать ваятелем, поэтом,
Но ты хитришь с душою непокорной,
Умеешь ты сломить ее, унижить
И затянуть в трясины злодеянья.
Все то, чему душа сопротивлялась,
Бесмысленные руки сотворили.
Себя стыжусь! Могучий Зевс велел!..
Мол, не по злобе,
А для высшей цели
Творит злодейство.
Но к чему оно?

(Плачет.)

Зачем покорно руки сотворили
Все то, чему противилась
Душа?!
О Прометей!
Прости меня, коль сможешь!

Прометей

Ну хватит!
 Что ты слезы льешь, Гефест?
 Того гляди получится болото.
 Не забывай, что тут мне предстоит
 Столетий триста провести
 И вреден
 Мне влажный воздух.

Гефест

Смейся над слезами!

Прометей

Но такова слезам твоим цена...

Гефест

Я каюсь...

Прометей

Вижу.
 Так всегда!
 Иные,
 По воле, а порой и против воли
 Себя в злодействе низко запятнав,
 В предательстве увязнувши по горло,
 Раскаивались так же перед всеми,
 Себя стараясь выдать за святых.
 О, как полны их души состраданья,
 Как искренно они умеют плакать
 Потом...

Так для начала будь мужчиной!
 Выдумывая сорок оправданий,
 Ты сорок раз прощенья не проси.

Гефест *(встает)*

Будь проклят я и ремесло мое.

Прометей

Что ж, ремесло твое куда как славно,
 И мастерства сверх меры у тебя.
 Взгляни, в какие знатные наряды
 Меня ты облачил!

(Звенит цепями.)

Вот загляденье.

Гефест

Что хочешь говори — я не в обиде
 И страшный свой удел готов нести.

(Уходит.)

Прометей

Но подковать не позабудь, Гефест,
 Ту птицу, что клевать мне будет печень!

Слышится клекот орла и свист его крыльев.

Вот почести какие заслужил
 Я за любовь и состраданье к смертным:
 Я вознесен сегодня на вершину
 Крутой горы,
 Я на высоком троне
 Мучений...
 Но сумеют ли постичь
 Когда-нибудь смысл этой жертвы люди?

Неужто счастья хочется и мне?
 О да, и божеству оно желанно.
 ...Ну что ты мелешь, Прометей,
 Очнись,
 И ты хотел бы получить награду
 За доброту и все свои мученья?
 Титан, ты мелок?
 Нет!
 Но не под силу
 Нести такую ношу одному...

Орел с клетком бросается на Прометея.

Ох!
 В первый раз
 Мою пронзила печень
 Стальным крюком
 Безжалостная птица!
 Лишь в первый раз!
 Когда ж вонзит в последний!

Входит Фемида, мать Прометея. С непокрытой головой, волосы седые. Остается перед Прометеем.

Фемида

Сын!

Прометей

Мама!

(Рвется к ней, звенят цепи.)

Фемида

Что с тобою приключилось?

Прометей

Что видишь.

Фемида

Отчего все эти беды
 Обрушились жестоко на меня?
 О дети!
 Почему так непокорны
 И чем же Зевсу досадили вы?
 Твой старший брат Атлант
 Наказан строго
 И подпирает небосклон плечами
 На стыке, где сомкнулись
 Ночь и день.
 Тебе
 Еще ужасней наказание.
 Всесилен бог верховный.
 Дети, дети
 Вы бедные мои!..

Прометей

Что хочешь, мама,
 Ты говори,
 Но бедными не надо
 Нас называть.

Фемида

Нет, нет, дитя!
 Прости,
 Я брежу,

Обезумела от горя.
 Не бедные, не жалкие вы, дети,
 Я на таких махнула бы рукой...

Прометей

Зачем ты здесь? Ведь знаешь, что не в силах
 Мои мученья облегчить, сурово
 Терзаешь ты сама себя.

Фемида

Мой сын!
 За свой проступок попроси прощенья.
 Я умоляю!
 Зевс тебя простит.
 И если ты гордец, не буду гордой —
 Сама к ногам владыки припаду.

Прометей

Одумайся! Приди в себя! Опомнись!
 На что это похоже, если станет
 Гонимый у гонителя
 И жертва
 У палача
 Прощения просить?!
 Когда же воцарится справедливость?
 Когда же?

Фемида

Я — глухая и слепая!
 Мой сын в цепях веками терпит пытку.
 В чем справедливость?
 Вызволить его!
 Покайся, сын, и выпроси прощенья.
 Пути другого нет и не бывало.
 Давая волю дерзостной гордыне,
 Под грозную карающую длань
 Ты головы не подставляй безумной
 И покорись всевластному царю!

Прометей

Вы заодно, все матери вселенной!
 Зачем рожать вам сыновей отважных?
 Растите их, когда же сыновья
 Мужают и к высокому стремятся,
 Пытаетесь вы их увещевать,
 Хотите их поставить на колени
 Перед владыкой мстительно-неправым.
 К чему зовете?
 Дорого смиренье —
 Зачем тогда в грудь сыновей вложили
 Вы эти непокорные сердца?

Фемида

Когда бы можно было знать заранее,
 Кто там, во чреве у тебя, лежит!

Прометей

А если б знали, что тогда?
 Смиренных,
 Безропотных рожали бы, трусливых?
 Рабов с душой униженной...

Спокойно
 Всем было бы на свете матерям.
(Гремит цепями.)

Зачем же вы даете нам такие
 Горящие сердца?
 Не для того ли,
 Чтобы об этом пожалеть?
 Не правда ли?

Ф е м и д а

Ты больно обижаешь родную мать.
 О, я бы сожалела,
 Родивши равнодушных и бесчестных,
 Вскормивши грудью тех, кому отвага
 Неведома и свойственно бездушие.
 О, как бы я жалела... Прометей!
 Что родила тебя, не сожалею.
 Жаль, что себе переложить на плечи
 Я не могу твою судьбу и муку.
 О, если б мы за сыновей могли
 Держать ответ, идти на казнь — спокойны
 Мы были бы, все матери вселенной...

П р о м е т е й

Верь — и в страданиях я не позабыл
 Твой светлый лик, не сомневайся, мама.
 Зевс не услышит жалобного слова.
 Превозмогу мучения...
 И только
 Раскаянья не требуй от меня.

Ф е м и д а *(воспрянув духом)*

Мой сын,
 Я вижу истину, ты — прав,
 Ты сам дитя мое, ты сын Фемиды,
 Богини правосудия.
 ...О стыд!
 И я, Фемида, своего же сына
 Пред злодеяньем наглым и насильем
 Поставить попыталась на колени!
 Знать, горем разум затуманен мой.
 Как нестерпимо больно мне за сына!

П р о м е т е й

Теперь иди.
 Намного тяжелее
 Мне боль твоя моей привычной муки.
 И лишь когда пройдут все тридцать тысяч
 Кровавых лет, увидимся мы вновь.

Ф е м и д а

Но медленней течет в мученьях время.
 Я ухожу!
 Будь терпелив, мой сын!

Фемида уходит. Снова слышится клекот орла. Опускается на Прометея. Прометей молчит.

Маковая поляна. Свет падает на Прометея и Агазию. Агазия в страхе обнимает Прометея.

Агазия (взврагивая)

Мы вместе сон увидели зловещий,
Вернемся к яви, Прометей, проснись!

Прометей

Нет, здесь не сон —
Самой судьбы явленье!

Агазия

Так помыслы опасные оставь!

Прометей

Оставить, отступиться... и отречься
Мне от тебя, а значит, от себя?
О нет! Я — Прометей! Решенье твердо.
...И тридцать тысяч лет промчатся все же.
Но если, став бессмертной, ждать решишься —
Все вынесу... Агазия, иду!

Затемнение.

ДВОРЕЦ ЗЕВСА

Один из красивых дворцов, построенных Гефестом. В глубине очаг, тлеют угли. Там горит божественный огонь Зевса. Власть и Сила стоят на страже.

Власть

Все то, что драгоценно, взаперти,
И все, что благородно, на запоре.
Попробуй-ка богов уразуметь,
Сперва творят, а после запрещают,
Едва откроют — спрячут под замок.
Уж сколько лет мы охраняем этот
Святой огонь. Но я не понимаю,
Зачем и от кого его храним.
Вот ты скажи...

Сила

Что ж я скажу? Я — сила,
Тупая сила...
Как судить о том,
Что божество державное свершает?..
И права нет и мне не по уму!

Власть

Так, значит, даже куцый твой умишко
И тот — под стражей?

Сила

Ну, тебе виднее. Ты — власть.

Власть

И я
Лишь власть, слепая власть,
Глухая власть!
Не молния, а грохот,
Лишь гром горячей Зевсовой стрелы.

Сила

Мудрено говоришь... И как-то странно
Из уст верховной Власти слышать это.

Власть

Я утомлен, и все мне надоело.

С и л а

Что надоело?

В л а с т ь

Не продашь — скажу.

С и л а (хохочет)

Неплохо бы продать,
Да много ль стоишь?

В л а с т ь

Смеешься?
Знай, что если покупают
На рынке Власть — в лицо не смотрят ей.
Уж это-то я знаю.
Не продашь?

С и л а

Зачем?
Торговля не мое занятие.
Ей занята пронырливая Хитрость,
А Силе
Суетиться не к лицу.

В л а с т ь

Не кипятись впустую —
Лучше слушай...

С и л а

Не торопись!
Пока еще утроба
Вмещает тайну — лучше потерпи,
А если нет — вываливай давай.

В л а с т ь

Нет сил терпеть, я лонну...
Вот мученье —
Жить ложной властью,
Тенью дум царя.
За что я в подчинении у Зевса,
Когда я — Власть?
Коль сам меня он создал,
То первый должен подчиниться мне!
Я сам хочу повелевать и править,
И в Зевсовом дворце сидеть мне должно,
А не служить, не обивать пороги.
Я — Власть и должен властвовать над всеми,
Ан нет...
Стою на страже, как собака.
Какой позор!
Все то, что благородно
И драгоценно, под замком, в опале.
И даже я...

С и л а (слушает с удивлением)

Вот ересь! Ну и ну!
Бес языком твоим, как видно, водит.
В таком-то разе только и осталось
Правителя богов турнуть с престола
И гнать взашей, чтоб самому воссесть...

В л а с т ь

Нет, пусть он сам сидит себе на троне,
А я — на шее у него...
Недурно?

С и л а

Тогда скорей! Хоть раз бы посмеяться,
Похохотать до колик! Ха-ха-ха!

Откуда-то слышится грохот и тут же затихает.

В л а с т ь *(испуганно)*

Тс-с! Не шуми. Что сказано — забыто.
Ведь я молчал, не проронил ни слова...

С и л а *(удивленно)*

Как? Ты — молчал?
А что же слышал я?

В л а с т ь

А ничего.

С и л а

Как ты преобразился:
Цвет сорок раз меняя на глазах,
Ты сорок раз меняешь и повадки.

В л а с т ь

Я — Власть, привычны мне метаморфозы.
Что ни скажу — все к месту и правдиво,
А нынче ничего не говорил,
Не обронил сегодня ни словечка...

С и л а

Ну и дела...

В л а с т ь

Да уж дела... Беда!
(После паузы с прежней яростью.)
Да пропади все пропадом! Проклятье!
Вот стой здесь вечность как чурбан с глазами,
Не шевелись и охраняй огонь,
И дьяволом самим давно забытый.

С и л а

Покамест Зевс уснул, перебесись,
Как разъяренный тигр в надежной клетке...
Как тихо!
Мертвым сном уснул Олимп.
Взгляни — богов свалило с ног веселье.

В л а с т ь

А мы стоим...

С и л а

Слюю пюта...
Там
От виршества остались горы мяса,
И плещут реки винные кругом...

Слышна нежная песня дев веселья. Они то и дело показываются на сцене, танцуют, делая обольстительные движения. Власть и Сила смотрят настороженно. Вслушиваются.

В л а с т ь

Как мило нимфы нежные поют,
Внося томленья в душу...

С и л а

Им, должно быть,
Со старыми богами стало скучно.

В л а с т ь

Как манят обольстительницы девы...

С и л а

Нас призывают! Полно, чаровницы,
Не искушайте!

В л а с т ь

Это колдовство
Властительнее власти...

С и л а

Вновь зовут!
Нет силы пересилить наважденье!
...Греха не будет, если хоть разок
Мы сходим за невинною утехой.

В л а с т ь

Совсем не грех, а божья благодать.
Прислушайся, как призывают страстно!

С и л а

Не утерпеть!

В л а с т ь

И впрямь — приворожили!
Над этим власти нет.

С и л а

Иссякла сила.
Пошли!
Очаг?
Да ну его к богам!
Горит — и ладно,
Что с ним случится?

Машет рукой. Уходят. Входит Прометей. В его руке тростинка.
Приближается к очагу.

П р о м е т е й

Благодарю вас, милые Хариты!
(Прислушивается. Вскоре песня стихает.)
Я наконец у цели.
Мне осталось
Лишь руку протянуть
За горсткой зерен,
В тростинку всыпать искры
И — на Землю!

Появляется Афродита. Прометей не сразу замечает ее.

А ф р о д и т а

Тс-с, Прометей, ведь рядом — Власть и Сила.

П р о м е т е й

О золотая Афродита! Как же здесь
В столь поздний час ты оказалась?

А ф р о д и т а

Пришла предостеречь тебя, спасти!
Пойми, твои намеренья опасны,

Одумайся!
Не избежишь возмездья!

Прометей

Все знаю сам.

Афродита

Но где вознаграждение
Мучений жесточайших и скорбей?

Прометей

Посмотрим.

Афродита

Сам подумай:
Ради этих
Забитых и невежественных тварей,
Не знающих ни чести, ни приличий,
Ты станешь счастьем жертвовать своим,
Теряя и свободу и блаженство.
А что взамен?

Прометей

Что ж, если Зевс осудит
И проклянет,
Быть может, заслужу
Я у людей любовь и благодарность.

Афродита

Я вижу, ты младенец, Прометей.

Прометей

Да, лишь младенец голою рукой
Хватает жар в печи и душит змея.
Пока при мне младенчество такое,
Останусь Прометеем...

Афродита

Ну а цель?

Прометей

Цель — Человек.

Афродита

Открой глаза пошире!
Кто — Человек?
Там дикие уродцы,
Слепцы
Грызут друг друга, жизнь влача
В ничтожестве...

Прометей

Коль отрекусь от цели,
То эти же слепые существа,
Лишенные и разума и веры,
Калеки и жестокие невежды,
Размножатся, как мухи, шар земной
Покрыв своей прожорливой оравой.
Зеленая и юная планета
Страной уродства станет, чтобы Зевс
В тоске неисцелимо-безысходной
Все растоптал однажды и спалил.

Мои глаза открыты, Афродита,
Хочу глаза открыть я человеку,
Пусть видит, сколько красоты и мощи
Есть в нем самом... Потом когда-нибудь
Он будет мне за это благодарен...

А ф р о д и т а

Не жди хвалы, дождешься поношенья.
...Я вижу, ты решился. Спор напрасен.
Страдалец бог,
Несокрушимым будь!

П р о м е т е й

Спасибо, золотая Афродита!

С тростинкой в руке устремляется к огню. Огонь начинает рассыпать искры, но скоро прекращает.

А ф р о д и т а

Будь осторожен!
Близко — Власть и Сила!
Они пируют.
Что ж, направляюсь к ним,
Благословлю застолье ротозеев.
Прощай, мой Прометей!
Прощай, прощай!
(Печально склоняет голову, уходит.)

Прометей подходит к очагу. Огонь опять сышет искры. Свет падает на лицо Прометея.
Он торжествует.

П р о м е т е й

Сейчас придет огромное, как вечность,
Великое, как сотворенье мира,
Мгновенье...
Я возьму огонь у Зевса,
От смерти человечество избавлю.
(Набирает в тростинку искры.)
Великий миг!
В моей руке — огонь!
Лечу к Земле, лечу навстречу людям!

Уходит во вселенную, за ним тянется лучистая дорога. Входит что-то подозревающий
Гермес, но он не сразу обращает внимание на очаг.

Г е р м е с

Я весь в сомненьях, полон подозрений,
Хитросплетенья мерзкого коварства
Мерещатся повсюду, словно все
Вступили в тайный заговор.
Сомненья лишили сна...
А боги остальные —
В божественной дремоте.
Вот и нынче...

Взглянул на очаг. Заметив отсутствие Власти и Силы, приходит в бешенство. Видит несколько искорок, упавших на землю. В отчаянье ударяет себя по лбу, мечется по сцене.

Проклятье мне! О горе, я погиб!
Ну, Власть и Сила! Где вы, дезертиры?!
Изменники! Исчадья ада!
Эй!

Похитили огонь!
Огонь украли!

Входят Власть и Сила. Оба навеселе.

В л а с т ь

Мы вот они.
А ты что причитаешь?
Чего тебе не спится, косоглазый?

С и л а

Разбудишь Зевса. Тихо! Не шуми.
Сходи опохмелиться — там осталось.

Г е р м е с

Ну бестолочи! Истуканы! Ох!
Что ж Сила — глуповат он от рожденья,
Но ты-то, Власть!..
Иль впрямь ослепли вы?!

В л а с т ь (*тряхнув головой*)

Да что стряслось,
Чего ты так взбесился?

Г е р м е с

Огонь украли!
Видишь, тлеют искры,
Вон... вон... гляди...

В л а с т ь (*трезвея*)

Пропали! Мы пропали!

С и л а (*размякнув, хрипло и протяжно*)

Пропали мы... Да уж в таком-то разе
Все пропадом пропало...

Знать, напрасно

Недопил я вино... Зазря пропало...

(*Бьет в колокол, в такт повторяя.*)

Пропало! Все пропало! Все пропало!

Все боги, участвовавшие в застолье, быстро заполняют зал. Голоса: «Что случилось?», «Зачем бьют в колокол?», «Может, Зевс зовет на новый пир?», «Говорят, украли?», «Что украли?», «Зевса украли?», «Кто украл Зевса?» Входит Зевс. Боги в недоумении.

Гермес падает на колени перед Зевсом.

Г е р м е с

Наказывай! Жестоко покарай!

З е в с

Кого?

Г е р м е с

Меня!

З е в с

Тебя, Гермес? За что же?

Г е р м е с

Меня, меня! Похитили огонь!

З е в с

Карать — потом!

Но кто огонь похитил?

Эй, Власть и Сила!

В л а с т ь

Нас казни, владыка.

Мы проглядели.

Зевс

Казнь — потом. Но кто?

Гермес

Увы, на след пока что не напали.

Зевс

Все боги здесь?
Гефест, пересчитай!

Гефест (*прихрамывая, обходит всех*)
Как будто все здесь.

Голоса

— Все.
— Ведь нет кого-то.
— Кого?

Гефест

Помилуй, Зевс, но Прометей
Не видно.

Голоса

— Прометей!
— Где Прометей?
— Нет Прометея!
— Эй!

Зевс (*вспомнив что-то*)

Теперь все ясно!
Кому ж еще? Конечно, он украл!
Ах, Прометей, богам ты бросил вызов
И всем законам!
Небу изменил!
На Зевса руку поднял!
Жажды мести
Ничем не утолить мне...

Голоса

— Прометей!
— Пропал титан отважный!
— Ты погиб,
Изобретатель тысячи ремесел!

Гермес

Пошли ему вдогонку Власть и Силу!
Пусть возвратят в очаг огонь священный.
В погоню вместе с ними полечу!

Зевс

Едва назад вернем — другой похитит...
Нет, мы прибегнем к хитрости, к обману!
Пусть в ненависти, в страхе, в исступленьи
Растопчут люди
Пламень благодатный,
К ним занесенный с неба.
Вот тогда
Уж если от обиды и позора
Злодей во рту не перемелет зубы,
Железной станет золотая палка!

(Бросает свой жезл.)

Эрида и Гермес!
Ваш час настал!
Пора и вам блеснуть своим искусством.
К Земле,
Опережая Прометея,
Легите!

Гермес и Эрида исчезают.

...Кара
Будет вам потом!
Казню и правых я и виноватых.
Расплата после...
Но у казни той
Конца не будет никогда.
Вовеки...

Страшная тишина. Огонь гаснет.

У ПРОПАСТИ

Каменный утес. Внизу пропасть, вокруг хилые деревья, редкая трава серого цвета. Входят Гермес и Эрида. Одеты так же, как люди. Гермес с мешком за плечами. Эрида идет, опираясь на палку и прихрамывая. У Гермеса повисли оба уха. Гермес и Эрида садятся на камень.

Эрида. Тяжело быть в человечесьей шкуре. Ох и велика, оказыва-
ется, эта Земля, когда походишь по ней на своих двоих. Совсем с ног
сбилась.

Гермес. Не хнычь, богиня. Какова бы ты ни была, а все же из
рода богов.

Эрида. Ну какова я по-твоему, какова, а? Косой! Да сама Афродита чуть не лопнула от ревности ко мне. Лопухий! Нет богини сильнее меня! Ведь я — богиня раздора! Что я испортила, того самому Зевсу не поправить. Знай свое место, воночий старый холостяк! Тьфу! *(Вконец разъярившись.)* Вот возьму сейчас да поверну назад!

Гермес. Ну что? Все свое заветное высказала?

Эрида *(успокоившись)*. Вроде бы. А что?

Гермес. Теперь передохни.

Эрида *(снова распалаясь)*. Смотрите, какой заботливый! Сейчас растаю! Была бы у тебя работенка не такая пакостная, может, и обла-
скала бы тебя.

Гермес. Уж если говорить о службе, то и твоя-то...

Эрида. А у меня работа чистая, честная. Делаю все у всех на
виду, сталкиваю богов лбами. По крайней мере на моих глазах они
ссорятся. А ты все норовишь исподтишка, в грязи копаешься.

Гермес. Эх, Эрида! Ты да я — два башмака пара. Вот Зевс и по-
ручил нам это дело.

Эрида *(смеется)*. Это ты здорово — про башмаки! Вот только ко-
торый ты-то — правый или левый?

Гермес *(подумав)*. Я-то? А я тот, второй, возле тебя...

Эрида *(ей понравился ответ)*. Гляди какой кавалер!

Гермес. А как же!

Эрида. Так где же наконец эти ублюдки, называемые людьми?

Гермес *(встает и откидывает ногой мусор)*. Судя по мусору, ко-
торый они оставили, где-то поблизости. Кости, шкуры, битые горшки,
кувшины из-под вина...

Эрида *(удивленно)*. Как загрязнили окружающую среду!

Гермес. Это еще только начало...

Эрида. Эй, люди! Где вы?

Гермес. Придут. Погоди.

Эрида. Ждать я не люблю. *(Кривляясь.)* И терпеть не умею...

Гермес. Гм... Подождать все равно придется.

Эрида. Слушай, Гермес! *(Ударяет себя по лбу.)* Идея! Боги-то слетаются, когда поднимается скандал. Должно быть, и люди таковы. Давай-ка громко ссориться!

Гермес. Ну и хитра же ты, правый башмак!

Эрида. Кто это правый башмак?

Гермес. Ты!

Эрида. А почему правый, почему не левый?

Гермес. Ну хорошо, ты левый, левый башмак.

Эрида. А почему левый? Почему не правый? Или ты не хозяин своему слову?

Гермес. Ну пусть будет по-твоему: правый, правый, правый...

Эрида. А почему должно быть по-моему, а не по-твоему?!

Гермес. Ладно-ладно, пусть будет по-моему!

Эрида. А почему по-твоему? Кто ты такой? Какой тебе довесок отмерен богом?

Гермес. Никакой!

Эрида. Как никакой? Тоже мне мужчина! Ишь, ничем не лучше! Ты просто кретин, убожество, бесплотный бог!

Между ними начинается настоящая ссора.

Гермес. А ты пустоголовая богиня, сплетница, скандалистка!

Эрида. Это я-то пустоголовая?! Сейчас я на твоей голове не оставлю ни одного волоска! *(Начинает рвать Гермесу волосы, тот визжит.)* Вот тебе! Вот тебе! Вместо головы сейчас будет яйцо ихтиозавра! Лопухое яйцо!

Гермес. Перестань! Слышишь, перестань!

В это время из-за камней подкрадываются люди. Они окружают Гермеса и Эриду.

Те, делая вид, что не замечают их, продолжают потасовку.

Адамшах *(подходит и склоняет голову)*. Я вождь людей Адамшах. Кто вы такие? Эй, кто вы, спрашиваю?

Эрида. Неужели не видишь — муж и жена.

Адамшах. Видать-то вижу... Да откуда вы взялись в моих владеньях? К тому же еще с удовольствием ссоритесь, как в своем доме. А из-за чего?

Гермес. Когда-то не было людей дружнее и счастливее нас.

Эрида. И жили мы в мире и согласии, лаская друг друга, радостно воркуя, и, казалось, никогда не насытимся любовью.

Гермес. И никогда не видели друг в друге ни изъяна, ни порока, ни вины, ни греха.

Эрида. А теперь вот он превратился в урода! Фу, мерзость какая! Какой гадкий!

Гермес. Заткнись ты, ведьма!

Адамшах. Что же это случилось с вами, что за напасть?

Эрида. Такое случилось, ой-ой-ой! Все по ветру пошло, всему конец, все погибло. *(Плачет.)*

Люди. Бедные вы, бедные! Несчастные вы, несчастные!

Адамшах. Расскажите-ка все по порядку, может быть, сумеем вам как-нибудь помочь.

Эрида. Поздно! Теперь уже никто нам не поможет. Даже сам Зевс...

Среди людей начинается явное беспокойство.

Гермес. И все же расскажу вам в назидание. В прежние времена все люди в нашем краю жили, вот как и вы, мирно, согласно, благополучно, спокойно. Об этом, кажется, я уже говорил.

Люди. Слышали. Помним. А что было потом?

Гермес. Один бог-отступник по имени Прометей принес с неба огонь и осветил нас. Поглядели мы друг на друга, и вдруг оказалось, что все мы безобразные, неприглядные уроды. В мгновение ока мы остыли, охладели, возненавидели друг друга. (*Эрида.*) Эй ты, образина, ведьмина дочка!

Эрида. Проваливай! Жалкий ублюдок!

Адамшах (*изумленно*). Так, может быть, и мы уродливые, да только этого, слава Зевсу, не видим!

Гермес. Пока огонь Прометея не коснулся вас, уродство ваше скрыто. Вот раньше у меня одна щека была солнцем, а другая дуной, а теперь одна щека превратилась в белый камень, а другая в черный.

Эрида. У-у, двуликий! Косой дьявол!.. (*Агамшаху.*) Это еще полбеды, когда огонь Прометея освещает снаружи. А ведь он пронизывает, освещает людей насквозь. И все потроха просвечиваются и все, что в потрохах.

Люди. О, храни нас, Зевс! Огради нас от этой беды!

Эрида. Это еще не все. Все насквозь тебя видят: и о чем думаешь, и чего хочешь, и всю твою хитрость, коварство и пороки. (*Гермесу.*) Бесстыдник! Поглядите-ка — все его нутро полным-полно подлостью и плутовством! Развратник! В мыслях-то опять другая баба, да? Пакостник! Всего тебя насквозь видно! (*Людям.*) Все, что ты сделал или только еще сделать собрался, сразу становится достоянием всего света. Вот ведь какому сраму мы подверглись!

Люди. Огради нас от этих бед, о великий бог! Не казни нас, Зевс, и мы вечно будем поклоняться тебе!

Адамшах. Может быть, минует нас это бедствие?

Гермес. Нет! Прометей уже идет сюда!

Люди. Уже идет? Ну, тогда нам конец! Как же предотвратить это? Как?

Адамшах. Может быть, есть какой-нибудь способ спастись.

Люди. Найди, Адамшах! Ради бога, найди! Огради нас! Защити!

Гермес. Да, есть один способ. Жаль, что мы были бестолковыми и не догадались его применить.

Адамшах. Научи нас. Вечно будем благодарить.

Гермес. Есть у Прометея женщина по имени Агазия.

Адамшах. Знаем. Она нам кровная родня. Только ни лицом, ни нутром на нас не похожа. Она осталась чужой для нас.

Люди. Околдовав нас, она пленила наши души. Мы боимся ее. У нее другой бог.

Адамшах. Не шумите! Давайте выслушаем совет.

Гермес. Прометей любит Агазию больше всего на свете. Если бы вы похитили ее раньше, чем Прометей доставит сюда огонь, то могли бы сказать ему: «Или уноси огонь обратно, или мы убьем твою Агазию!» Он поклоняется Агазии и не станет так легко жертвовать ею. Ну а уж если заупрямится и не согласится с вашим условием, выбейте огонь из его рук и растопчите. И киньте Агазию вот в эту пропасть! Пусть сгинут и огонь Прометея и жена его! За упрямство.

Адамшах (*колеблясь*). Он же бог. А что если возьмет и одним ударом всех нас уничтожит?

Гермес. Он бог-гений. Он не может применять грубую силу и карать не умеет. Вся беспомощность и все бессилие его в этом.

Эрида. Огонь его в тростинке. Об этом мы дознались только потом, а сначала были глупцами, не было у нас советчиков.

Адамшах. О бедные муж и жена! Мы узнали о вашем несчастье, и это спасет нас. Оставайтесь у нас, садитесь на почетное место, мы отблагодарим вас как сможем.

Гермес. Мы не можем воспользоваться вашим великодушием. Где бы мы ни появлялись, разгорались ссоры, раздор, вражда, беда, проклятия и несчастья. Нас коснулся огонь Прометея. Мы не хотим принести вам горе. Идите и благоденствуйте!

Люди. Какие святые! Какие самоотверженные! Наверное, они посланцы Зевса! *(Медленно расходятся.)*

Эрида. Здорово мы одурачили людей! Оказывается, они, как и боги, скорее поверят брехне, чем правде. И смешно *(хихикает)* и грустно. *(Плачет.)* Мне жаль Прометея. Как бы там ни было, я женщина и душа у меня мягкая.

Гермес. Ну, наверное, они мягкие — и твоя каменная душа и мое железное сердце...

Огонь гаснет.

МАКОВАЯ ПОЛЯНА

Одна половина поляны освещена, другая в тени. На освещенной половине теперь маки двух цветов — красные и черные. Со светлой стороны к тени подкрадываются люди. Они кого-то преследуют. Через некоторое время на светлой половине появляется Агазия.

Агазия

Расколот мир,
И ровно пополам.
Цветет любовь
На светлой половине.
На темной — непроглядная тоска,
Лишь тень любви... Какую половину
Ты выбрал для себя, мой Прометей?..
Сияньем ли твои объаты крылья
Иль вечной темнотой утомлены?
Томлюсь и плачу.
Длится ожиданье.
Ты видишь, маки алые чернеют,
Дыханием опалены моим!
Где пролетаешь ты,
В каких вселенных?
Вернись на Землю, мой крылатый бог!
С тобою быть, дышать с тобою рядом —
Не знаю счастья большего для смертной...
Вернись, мой муж,
Мой бог,
Меня создавший
Своей любовью!
Милый, возвратись!
Иначе, отесненный темнотою,
Еще отступит свет
И углем черным
Жар красных маков станет... Тяжело...
Так, первая из женщин на планете
Жду мужа, глядя в глубину вселенной.
Отныне будут миллионы лет
Мои земные сестры, глядя в небо,
Ждать улетевших к звездам за огнем
Своих любимых... Снова почернеют
От горьких вздохов пламенные маки.
Да, будет нелегко и сестрам дальним.
...О, только бы вернулись, будем ждать,
Разлуку стерпим, лишь бы возвратились...

Чтоб наконец дожждаться — не вестей,
А их самих...

Протягивает к небу руки. В это время люди окружают Агазию.

А д а м ш а х

Кого так ждешь, красотка?

А г а з и я (*вздрогнув*)

Я? Прометея!

(*Радостно.*)

Он несет огонь!

Л ю д и (*их голоса переходят в сплошной зловеющий гул*)

— О-гонь? О-гонь?

— О-гонь? О-гонь?

А г а з и я (*полагая, что люди ждут огня, тянется к небу*)

Ты слышишь?

Возвратись, мой муж, скорее!

Здесь люди ждут,

Все ждут тебя, спеши!

Л ю д и (*в ужасе*)

— О-гонь, о-гонь!

— О-гонь, о-гонь!

А г а з и я

Глядите:

Откроются небесные ворота

И в синеве лучистой рекою

Протянется дорога Прометея.

По небосклону с этой стороны

Звездой крылатой

Он сойдет на Землю!

Люди еще теснее окружают ее.

А после,

И хмелея и ликуя,

Купаясь в счастье,

Не забудьте, люди,

Хотя бы поклониться Прометею,

Чтоб не стыдиться за себя потом.

А д а м ш а х (*топнув ногой*)

Изменница, довольно!

Разве мало

Того, что ты сошла с бродячим богом?!

За что же хочешь погубить людей

Огнем,

Тебе на радость принесенным?

В чем виноваты мы перед тобой?

(*Смягчаясь.*)

Да, это правда, мы тебя не любим,

Но разве сами мы виновны в этом?

Не ко двору пришлась, не обессудь!

А г а з и я (*удивленно*)

Адам! При чем здесь я?

Огонь священный

Что общего имеет с этим вздором?

Вы полюбите не меня — огонь!
Вы знаете, что тот огонь — небесный!..

А д а м ш а х (*перебивая*)

Да, знаем, знаем!..
Навязав огонь,
Ты вывернуть нас хочешь наизнанку
И, обнажив и думы и желанья,
О наших душах Зевсу донести...
Нам все известно!..

А г а з и я

Адамшах! Ты бредишь!
Напраслину возводишь на меня.
Богов побойся!

А д а м ш а х

Мы их все боимся!

Л ю д и

— Боимся!
— Страшно!
— Твой огонь — гибель!
— Огонь-смутьян!
— Огонь — зачинщик ссоры!
— Огонь — злодей,
Доносчик и бесстыдник!

А г а з и я

Не клеветайте на огонь священный,
Сходящий с неба!
Чье здесь наущенье?
О боги!

А д а м ш а х (*забываясь*)

Боги — в небе!
На Земле
Хозяева мы сами.

Л ю д и

— Адамшах!
Свои слова скорей возьми обратно!
— Покайся!

А д а м ш а х

Каюсь!..
Но и все же здесь
Я — голова...
Я — голова, вы — ноги!
(*Топает ногой.*)

А г а з и я (*в отчаянье*)

Каким оружием вас мне победить?
Любовь моя...
Она ведь не оружие,
Скорее безоружность... Но когда
Огонь у вас предстанет пред очами
И сможете глядеть и наслаждаться...
О, только подождите, потерпите!
Раскроются ворота голубые,
Разъединенный мир вновь станет целым,
И маки опаленные воспрянут
И заалект...

Проложив дорогу,
Промчавшись через множество миров,
Придет мой бог,
Держа высокий светоч.
Сама ему навстречу полечу.
Я крылья обрела!
Даны мне крылья...
елает движения, как будто хочет полететь.)

А дамша х

Не улетай, помедли!
(Удерживает ее.)

А га з и я

Отчего же?

А дамша х

Свалиться можешь невзначай, упасть.

А га з и я

Не упаду,
Спасут объятья бога.

А дамша х

Нет, будешь ты совсем в иных объятьях...
Объятия холодные, сырые
Моей темницы...

А га з и я

За какой же грех?

А дамша х *(показывая на небо)*

Виновен бог.
Но самой лютой карой
Тебя
Накажут.
Если Прометей
Рискнет на Землю
Уронить хоть искру,
В тот миг придется с телом разлучиться
Твоей душе,
Виновной иль невинной.
Огонь иль жизнь?
Что хочешь выбирай!

А га з и я

Огонь и жизнь!
Все вместе!
Нераздельно.

А дамша х

Нет, вместе — никогда.

А га з и я

Огонь и жизнь
Нужны мне вместе.

А дамша х

Остается выбор
За Прометеем.
Что ж, увидят все,
Как ты любима...

(Машет рукой.)

Впрочем,
Слишком долго
 Мы здесь болтаём попусту.
 Пора!
 Ты с маковой поляной попрощайся,
 Агазия.
 Ведь любишь это место,
 А может быть,
 И не вернешься больше.
 (Любям.)
 Чего вы ждете?
 Мигом! Шевелитесь!

Люди, взявшись за руки, образуют живую клетку. Агазия внутри ее. Ее медленно уводят. Агазия не сопротивляется, идет. Останавливается.

А г а з и я

Эх, люди, люди, все еще вы спите.
 Всему виною ваши сны дурные.
 Все это бред кромешный.
 Люди, люди,
 Когда же вы проснетесь наконец?
 Процессия удаляется. Адамшах чуть отстает.

А д а м ш а х

Зачем же просыпаться?
 Спят и спят!
 Пусть все живут как бы во сне глубоком...
 Огонь гаснет.

У ПРОПАСТИ

Тишина. Издалека доносится торжественная музыка. Постепенно она приобретает трагическое звучание. С тростинкой в руке входит Прометей. Вначале он весел,

Прометей

Кто из богов счастливее меня?
 На Землю я принес небесный пламень,
 Сегодня
 Я дарю моей любимой
 Бессмертие
 И вечное дыханье.
 Я мчался через множество миров,
 Спешил в твой, Агазия, объятья,
 Чтоб наше одиночество разрушить,
 Чтобы навеки были мы вдвоем...
 Я так летел.
 О, никогда доселе
 Так не спешил я.
 И от взмаха крыльев
 Под необъятным куполом небесным
 Покачивались сонные планеты,
 Как желтые кувшинки на реке.
 Я даже растерялся —
 Показалось,
 Что от безумной радости и страсти
 И сам, как факел,
 Запылаю я.
 Агазия!

Вернулся я.
 Должно быть,
 И в сонмах небожителей блаженных
 Нет никого счастливее меня.
 Принес на Землю я огонь и разум,
 Солью огонь с огнем...
 И человек
 Мгновенно глину оживит
 И силу
 Откроет покоренного железа,
 Он в дереве мелодию услышит
 И даром речи камень наделит!
 О люди!
 К вам пришел я.
 Вы готовы?

Слышится тревожный гул: «О-гонь! О-гонь!..» Прометей удивленно оглядывается.
 Ищет Агазию. Уходит, потом возвращается.

Агазия!
 На маковой поляне
 Ждать обещала.
 Вот следы остались,
 Но нет ее самой...

(Ищет.)

Но где же ты,
 Где ты, Земли создание неземное?

Горбатый урод выходит из темноты и подходит к Прометею.

У р о д

Земли создание неземное — я!
 Меня ты, что ли, звал?

Прометей

Тебя?!
 Зачем же?

У р о д

Затем, что я и стройный и красивый...
 Одна красotka даже влюблена.

Прометей

Наверное, слепа на оба глаза.

У р о д

С глазами, но не видит.
 Все кругом
 Не замечают нашего уродства.
 А ты его заметил.
 Почему?

Ага!
 В руках твоих — огонь!
 Понятно...

(Неожиданно падает к ногам Прометея.)

Зачем принес огонь?
 Он нам не нужен!
 Оставь, не выставляй нас на позор!
 Скорее возврати его на небо!

(Встает. Вплотную подходит к Прометею. Прометей отступает.)

Смотри же,
 Не отступишь — пожалеешь,
 Не знают милосердия уроды...

Перед Прометеем появляются еще два уroda.

У р о д ы (вместе)

Скорее уноси огонь! Иначе
Ты пожалеешь!
Горько пожалеешь!

Из темноты выбегают мужчина и женщина и становятся на колени перед Прометеем.

Ж е н щ и н а

Молю, не погуби нас, Прометей!
Мы безобразны. Наши нравы грубы,
Одолевают помыслы дурные,
Мы вздорные, ничтожные...
И все же
Свободны от сомнений.
Мы слепые.
Глаза глядят,
Но слепы наши души.
Не просветляй их знаньем,
Пощади!

М у ж ч и н а

Друг друга любим,
Верим слепо...
Не открывай глаза незрячим душам!

Ж е н щ и н а

Твои следы целую, умоляю:
Не погуби любви!

М у ж ч и н а (в слезах)

Огонь подальше
Скорее унеси!
В другое место...
Другим его дари и раздавай,
Другим!
Кому-то, может быть, он нужен...

Ж е н щ и н а

Бог милостивый!
Милосердный бог!
Не разлучай меня с моим любимым!

Еще несколько пар, выходя из темноты, становятся на колени перед Прометеем. Прометей, прижав тростинку к груди, остолбенел.

Ж е н щ и н ы (вместе)

Не разлучай!

М у ж ч и н ы (вместе, склоняясь перед Прометеем)

О всемогущий бог!
Мы вечно будем верными рабами
Лишь одному тебе!
Не разлучай!

Из темноты медленно выходит стройная красивая девушка.

Д е в у ш к а

Ты видишь, я красивая?

Прометей (смотрит на девушку; лицо ее озаряется светом)
Да, вижу.

Девушка

Тогда огонь волшебный убери.
 Ведь если люди злобные увидят,
 Что видел ты,
 Не будет мне пощады,
 Мне вечно станут мстить за красоту.
 Не нужен свет!
 Людская зависть, злоба
 Сестру мою родную здесь настигли,
 Как птицу без гнезда...
 О Прометей!
 Вот — пропасть,
 В эту бездну кинь свой светоч!
 Будь милосердным и великодушным
 И от судьбы Агазии спаси!

Прометей (*вздрагивает*)

Агазия!
 Нет отзыва...

(*Мечется.*)

Нет эха...
 Не слышно...
 Где Агазия моя?
 Агазия!
 Она жива?

Из темноты выходит Адамшах. Движением руки велит людям отступить.

Адамшах

Покуда
 Еще жива.
 И если ты захочешь,
 Останется живой и невредимой.

Прометей

Агазия!

Адамшах

О ней потом.
 Сначала
 Я, Адамшах,
 Немного допрошу
 Тебя, великий бог.
 Я здесь хозяин,
 Здесь, на Земле,
 Простершейся широко
 От белого рассвета к черной ночи.
 Зачем пришел к нам?

Прометей

Я принес огонь!

Адамшах

Но кто из нас просил тебя об этом?
 Я?
 Или эти жалкие калеки,
 Что у тебя валяются в ногах?

Голоса из темноты

— Мы не просили!
 — Нам огонь не нужен!

— Чур! Чур!
— О-гонь, о-гонь.

Слышится гул.

Адамшах

Кто звал тебя?

Прометей

Адам, я — бог, прославленный провидец,
И мощь моя страшна,
Но проклинать
И приносить беду я не умею.
И то, что нужно людям,
Я предвижу...
Огонь, созревший в глубине Земли,
Ждет сочетанья с пламенем небесным.
Из двух огней рожденное сиянье
Вам нужно, люди,
Нужно всей Земле!

Адамшах

Пусть бог дарует нам лишь то,
Что просим.
Ни больше и ни меньше!

Прометей

Адамшах!
Я — Прометей, я — неба вольный гений,
И если буду ждать, когда попросят,
Божественность моя не стоит света
Загинувшей звезды,
А гениальность —
Отрезанного ногтя Эриды.

Адамшах

Так что же? Этим жалким и ничтожным
(показывает на валяющихся на земле людей)
Нужна, ты полагаешь, гениальность?
И мне не гений нужен, а войска,
Огня не нужно,
Сумерки милее.
В потемках лучше вижу.
Принес огонь — теперь носи обратно.
(Показывает на тростинку.)

Прометей

Немыслимо. Мой дар не по душе.
Так я напрасно нес огонь священный?..

Адамшах (резко)

Возможно!

Прометей

Невозможно!

(Горестно.)

Наважденье!
Я так спешил, волнуясь и ликуя,
И душу опаляло нетерпенье,
Я счастье людям нес...

А дамша х *(спокойно)*
Мы не просили...

Прометей *(громко)*
Проснитесь, дети бедные Земли!

(Вдруг успокоившись.)
Уж мне казалось, что достиг я цели,
И вот бедой настигнут я,
А все же
Чему гореть, того не погасить!
Я знаю, что вам нужно...

А дамша х
Сами знаем,
Что нужно нам,—
Чтоб ты унес огонь!

Прометей *(решительно)*
Нет! Я сейчас переломлю тростинку
И выпущу огонь... Гляди, вот так...
(Хочет переломить тростинку.)

А дамша х
А знаешь, что с Агазией твоею?

Прометей *(волнуясь)*
С Агазией?

А дамша х
Она неподалеку.
(Жест в сторону.)

Могу тебе продать.
Прометей

Ее... продать?!

А дамша х
Да, за огонь!

Прометей
Как... за огонь?! Ты шутишь?!

А дамша х
Ведь и тебе, великий, нужно счастье,
И, может быть, оно тебе нужнее,
Чем нам...
Тогда не медли,
Выбирай!
Иль свой огонь сейчас ты бросишь в пропасть,
Иль на твоих глазах твою подругу
Туда столкнем...
Бросай же свой огонь!
Спасай свою любимую, не думай!

Уроды, мужчины и женщины, теснят Прометея к пропасти.

Голоса
— Бросай огонь!
— Агазию спаси!
— Бросай!
— Не погуби нас понапрасну!

Прометей отступает. Руку с тростинкой поднимает вверх. Люди подпрыгивают и пытаются отнять тростинку.

— Бросай огонь!

Адамшах

Агазию ведите!

Входит Агазия в живой клетке, образованной людьми, которые, взявшись за руки, медленно двигаются, охраняя узницу. Процессия еще вдалеке.

Голоса

— Агазия идет!

— Ступает гордо!

Адамшах

Ну, Прометей, решайся — выбирай!

Люди снова окружают Прометея. Слышны исступленные голоса.

Голоса

— О-гонь!

— О-гонь!

Адамшах

Свое ты губишь счастье!

Голоса

Бросай огонь!

Прометей

Агазия!

Голоса

Бросай!

Агазия (*издали*)

Мой Прометей! Не отдавай тростинки!

И не бросай небесного огня!

Во мне — огонь Земли!

Я загорелась,

Я чувствую, что вся уже горю!

(*Ярко воспламеняется.*)

Горю! Прощай навеки, мой любимый!

Прометей

Во мне — огонь небесный!

(*Переламывает тростинку.*)

Я пылаю!

(*Вспыхивает.*)

Агазия! Иду, лечу к тебе!

Спешу с тобой соединиться, слышишь?

Агазия

Я слышу, милый!..

Умираю я...

Пылая все ярче, приближается к Прометею. Они стоят вместе. Два пламени сливаются в одно.

Прометей

Так вот когда с тобой мы неразлучны!

Агазия

В последний раз

Так обними меня,

Чтобы на вечность целуюхватило!

Мой бог!
Моя любовь!
Супруг желанный!

Они пылают. Тишина. Все озарено ярким светом. Люди ошеломлены, затем собираются вокруг огня. Они стройны, красивы, их глаза полны радости и света. Адамшах и вся «живая клетка», окружавшая Агазию, исчезают.

Первый человек (*опомнившись*)
А где же уроды?

Второй человек
Где калеки?

Третий человек
Слепые?

Четвертый человек
Где безобразные?

Второй человек
И глухие?

Пятый человек
Все стали стройные, красивые...

Первый человек
Погляди, сколько света в их лицах!
Кто же они, эти восхитительные существа?

Урод (*которого видели вначале; он строен, красив*)

Да это мы! Это же мы сами!

Женщина (*это она раньше умоляла Прометея*)
Какое чудо мы видим! Значит, мы красивы,
Как боги!

Голоса

- Это мы! Мы сами!
- Мы, люди!
- Мир так ослепителен, что глазам больно!
- Земля так прекрасна, что хочется плакать!

Негромкая музыка. Люди начинают танцевать вокруг очага. Праздник продолжается довольно долго. Очаг горит. Люди уже не обращают на него внимания. Вдруг очаг гаснет. Люди останавливаются. Очаг гаснет, а свет остаётся. Агазия исчезла. Прометей стоит в такой позе, как будто бы все еще обнимает ее. Затем медленно приседает.

Пригоршнями берет золу.

Прометей

Одна зола осталась от любимой...
Подруги нет — и пепел остывает...
Со дня творенья связан я с тобою.
Была комочком глины ты вначале,
Я был смущен...
Потом, века спустя,
В той глине жизнь преснулась...
Шли века —
В тебя душа вселилась,
И все больше
Тебя любил я...
И в одно мгновенье
Сгорела ты,

Золой горячей стала,
 Но снова я
 Влюблен в твой пепел белый.
 Ушла с Земли, где прожила так мало,
 Где навсегда твоя любовь осталась...
 (*Подносит к губам золу.*)

...Мой путь окончен.
 Стала мысль деяньем,
 И я навек от неба отрекаюсь,
 Я навсегда выламываю крылья,
 Сорву их с плеч, как листья осокоря!
 Останусь там, где милая дышала
 И где земля с ее смешалась пеплом!
 (*Поворачивается к людям.*)
 Останусь, если примете меня,
 О люди...

Люди склоняют головы.

Первый человек

Прометей!
 Мы виноваты,
 Так виноваты мы перед тобой!
 Чем оправдаться?
 Подскажи,
 Что делать?

Прометей

Учитесь делать из себя людей,
 И только в этом ваше оправданье.

С трех сторон появляются Власть, Сила и Гефест. В руках Гефеста молот и цепи. Они долго стоят в молчании.

Власть. Повеление Зевса, я думаю, тебе известно. Мы пришли. Прометей (*встает*). Известно, я готов. Всевидящая Власть, от тебя не спасешься. Грубая Сила, пока мне тебя не одолеть... (*Подходит к Гефесту.*) Бедный Гефест, золоторукий мастер, великий Гефест, какую работу суждено тебе выполнить!.. (*Берет его руку в свою.*) Этим рукам создавать бы бесценные творенья... Я готов.

Первый человек. Куда же вы ведете Прометея?

Сила. Очень высоко — на самую вершину Кавказа! И ненадолго — всего только на тридцать тысяч лет...

Прометей идет к выходу. За ним следуют Власть, Сила и Гефест.

Прометей. Я вернусь к вам, люди. И тридцать тысяч лет неотвратимо минуют, было бы мирозданье цело... Я вернусь к вам, люди!

К о н е ц

Перевёл с башкирского АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ.



ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ



НЕ НАЙДЕТСЯ ЛИ У ВАС РОЗОВОГО СЛОНА С ГОЛУБЫМИ УШАМИ?

Рассказ

Над Центральной Европой вопреки законам движения воздушных масс застыл долговременный циклон. Синоптики утверждали, что где-то там, наверху, он мечется, бушует, вихрится, но у самой земли скорость стихии равнялась нулю, облака словно «присели» и скопление микроскопических капель окутало все липкой, рыхлой ватой. Окна мрачных зданий города X светились и казались огненными глазами каменных чудовищ. Склеенные густым туманом, автомобили и пешеходы еле передвигались и никак не могли оторваться друг от друга.

Григорию Трифоновичу Миронову надлежало находиться в этом густонаселенном городе целых десять суток. В Москве ему казалось, что за границей он отключится от привычной повседневной суеты и, возможно, хоть чуть отойдет от всего того, что мучило его в последнее время. Несколько месяцев назад нелепый случай лишил его жены и дочери-восьмиклассницы: они погибли в опрокинувшемся троллейбусе. Миронов переехал в другой конец города, сменил квартиру, раздал все старые вещи, окружил себя новыми, но горе и боль тянулись за ним, они прилипли, как этот туман, и ничто не могло его отвлечь. Сейчас, когда поезд подходил к вокзалу города X, на душе у Миронова становилось все тяжелее, словно в предчувствии новой, еще неведомой беды.

У выхода из вагона ждал представитель фирмы, чьим гостем являлся Миронов. Широкая улыбка, приветственный жест, приглашение пройти к машине.

— С вами, дорогой господин, будет работать мадам Грюндель. Познакомьтесь... Она прекрасно знает специфику нашей фирмы, владеет нашей терминологией.

Слова этого приветливого человека растворились в шуме привокзальной площади, и в памяти Миронова задержалось лишь «Грюндель». На одном диалекте знакомого ему иностранного языка это слово означало «исцеление». И он улыбнулся при мысли о таком неожиданном и странном совпадении.

Неподалеку от вокзала приютился серый особняк с четырьмя декоративными башенками с бойницами, сквозь которые струился слабый огонек. Они казались нарочно придуманными маяками для этой

жуткой непогоды. Под одной из башенок и разместился приезжий гость в номере с двумя круглыми окнами, напоминающими иллюминаторы, с телевизором, сверкающей кафелем и никелем ванной. За плотной шторой, которая бесшумно отодвигалась нажатием кнопки, были застелены две придвинутые друг к другу кровати. Тумбочки с инкрустированными башенками гостиницы на дверцах, небольшие торшеры со старомодными шелковыми колпаками, атласные обои, в хрустальной вазе сухие васильки и бессмертники, веточка лунария — искусный букет, икэбана. Миронов разложил вещи, принял душ, открыл постель. Когда включил свет, сразу же увидел странную картину, висящую на боковой стене. Легким нажимом карандаша на белом листе намечено тело молодой обнаженной женщины, она полужит в красном кресле, закинув левую ногу, руки беспомощно падают вдоль боковин кресла. Но что это? Вместо головы — буйно распустившийся цветок. Иллюзия горящего костра. На кресле надпись: «Help! I need lovin!» («Караул! Я хочу любви!»). Миронов выключил свет, и краски горящего цветка погасли. «Чего только не придумают», — подумал.

Было уже около девяти вечера, он перевел свои часы на средне-европейское время и ждал. В девять мадам Грюндель должна была звонить. Она позвонила на несколько минут раньше:

— Господин Миронов, ждем вас внизу к ужину.

Представитель фирмы господин Плевс спросил гостя, где он желает поужинать — здесь, в гостинице, где отличная старинная кухня, или предпочитает что-либо свое, русское. В городе, совсем близко отсюда, хороший русский ресторан, где можно вкусно поесть, как дома.

Миронов ответил, что предпочел бы остаться в гостинице и надеется, что за ужином можно будет поговорить и о предстоящей программе.

Зал роскошного ресторана чем-то напоминал гостиные подмосковных усадеб. Все было в полумраке, и стояла непривычная для добрых заведений тишина. Откуда-то доносились слабые аккорды знакомой фортепианной пьесы. Миронов заметил в дальнем углу расписанный рояль на ножках, повторяющих линии слабо светившихся люстр и подсвечников. Пианист словно окаменел, и если бы не едва заметное скольжение пальцев по клавишам инструмента, можно было принять его за хорошо сделанный манекен.

— Так что будем есть?

Голос мадам Грюндель зазвучал настолько по-домашнему, по-московски, что Миронов вздрогнул. Помедлил с ответом, а потом сказал:

— Чем угостят хозяева.

Господин Плевс сделал жест рукой, и поджидавший в двух шагах официант наклонился с готовностью. Мадам Грюндель переводила. Слово «мадам» никак не вязалось с образом этого юного существа. Прическа а-ля Джоконда, в меру курносый носик, тонкие губы, большие, чуть прищуренные глаза. Держится строго, серьезно, старается не выдавать напряжения. Но заметна небольшая продольная складка на лбу и наметившаяся вторая такая же складка над аккуратными, словно нарисованными бровями. Говорит мадам Грюндель лишь самое необходимое, то есть переводит и односложно отвечает на вопросы: «да», «нет», «хорошо», «поняла», «ясно». Весь вечер разговор касался чисто служебных дел Миронова и представителя фирмы, обсуждались технические вопросы, в которых так мало юмора, и мадам Грюндель ни разу не улыбнулась — строгая говорящая маска. То и дело она отпивала пиво из глиняной кружки с веселящимся Бахусом. От

крепких напитков мадам Грюндель подчеркнуто отказалась — она любит только пиво.

Когда распрощались, господин Плеве выразил свое удовлетворение тем, что удалось так о многом договориться за этот прекрасный вечер, и попросил Миронова подумать и высказать любое пожелание относительно использования своего свободного времени — можно куда-то съездить, отдохнуть в горах, где до сих пор держится хороший снег и не давит этот проклятый туман. Вообще гость может высказать любое пожелание, и мадам Грюндель постарается сделать все как можно лучше. Господин Миронов ведь первый раз в этом городе и должен увезти с собой в Москву приятные воспоминания. Мадам Грюндель перевела эти слова с некоторой заминкой, и для Миронова не осталось незамеченным, что она не очень верит словам господина Плеве.

В дальнейшем Миронов видел представителя фирмы только за столом официальных и очень нелегких переговоров, а остальное время с ним была неотступно мадам Грюндель. Она показывала ему достопримечательности и с глубоким знанием рассказывала о них, водила в кино, в музей, а когда Миронов усаживался в холле перед громадным цветным телевизором, она переводила ему актуальные телевизионные передачи. Конечно, они могли бы смотреть эти же передачи у него в номере, но она предупредила, что есть строгий запрет фирмы на этот счет — не заходить к гостям.

— Правда, некоторые, — она особенно подчеркнула это слово, — всячески заманивают меня в номер, но я их вежливо посылаю...

Это слово прозвучало так неожиданно грубо, что Миронова покорило, он еле сдержался от резкого упрека, но мадам Грюндель не заметила этого и стала продолжать свои рассуждения о том, как вообще ведут себя иные делегаты, с которыми ей приходилось работать.

— У вас там, в Москве, инструктируют, как себя вести, а в других странах нет, они даже не знают, что можно и чего нельзя.

— Любопытно.

— Был недавно один, так он думал, что меня к нему придали не только для того, чтобы переводить и заботиться о нем... Он меня всячески обхаживал. Я ему нагрубила, и он тогда пригрозил, что пожалуется моему шефу. Он не знал, что мне такая жалоба только на пользу... И вообще мужчины думают лишь об одном...

В дальнейшем мадам Грюндель говорила о мужчинах с явным презрением, подчеркивая их стремление только к одному-единственному.

— Вам сколько лет, мадам Грюндель?

— А сколько вы мне дадите?

— Ну, так лет двадцать шесть, а может, и меньше.

— Двадцать восемь, — сказала мадам Грюндель, — только я привыкла, чтобы мне давали двадцать четыре. Кто дает больше, тому я готова горло перегрызть... Я не хочу, чтобы мне было больше двадцати четырех лет... Пойдемте в птичник?

«Птичник» оказался совсем рядом — небольшое заведение вроде наших закусовых. Готовили здесь птицу. Цыпленок вареный с чесноком, бройлер в сметане, с черным перцем, белое мясо под ореховым соусом, индейка на вертеле, фаршированные утиные пупки, куриные мозги в раковинке яичного белка, копченые цыплята...

— Я вам предлагаю самое привлекательное — это что-то вроде вашего шашлыка: куриное филе, фаршированное цыплячьей печенью, и все это жаренное на специальном древесном угле.

Блюдо оказалось действительно очень вкусным, и Миронов ел с удовольствием. Мадам Грюндель сидела напротив и наблюдала. Потом спросила:

— Нравится?

Услышав утвердительный ответ, предложила пива. Она выпила кружку, потом еще одну. Мадам Грюндель отпивала привычными небольшими глотками и с каждым глотком становилась все серьезнее, во взгляде появилась жестокость. Надела очки, сказав при этом:

— Я вообще близорука, минус семь, но очки меня портят, и я стараюсь надевать их только в крайних случаях. Потом, знаете, очки, даже самые легкие, нажимая на переносицу, деформируют лицо.

В ее словах прозвучали дидактические нотки, она стала вдруг похожа на строгих учительниц математики. Миронов хотя и был инженером и в жизни часто приходилось сталкиваться с точными науками, однако никогда не любил математиков-фанатиков, уверенных, что их предмет, их наука наиважнейшие из всех известных человечеству. Потому и сейчас ему показалось, что перед ним не переводчица фирмы, а принципиальная математичка, которая все знает и всех поучает... Мадам Грюндель, надев очки, увидела Миронова совсем иным, чем он представлялся ей без очков. Она вообще пыталась быть безразличной к тем, с кем приходилось работать. Близорукость помогала ей не вглядываться в лица. И в самом деле — только в крайних случаях она надевала очки, и тогда пятна обретали очертания человеческих лиц с нормальными глазами, губами, носами, подбородками. По натуре мадам Грюндель была нелюбопытна и считала, что все лица похожи друг на друга, как ходят друг на друга вагоны международных экспрессов — они отличаются только номерами. Сейчас, надев очки, она преследовала лишь одну цель — попытаться узнать, как выглядит человек, перенесший недавно трагедию. Об этой трагедии она знала, ей рассказали сотрудники международной службы фирмы, только предупредили насторого — Миронов не должен догадываться, что им об этом известно. Если он сам расскажет (а бывают такие люди, которые сразу же делаются своим горем, счастьем — гораздо реже), тогда надо выразить ему сочувствие, а если нет — не напоминать, это бестактно.

Миронов выглядел моложе своих пятидесяти четырех лет. О том, что ему именно пятьдесят четыре, мадам Грюндель знала из предварительной анкеты, с которой ее познакомили, и из паспорта самого Миронова. Худощавое лицо, высокий лоб и густые волосы почти без седины («Как это не седеют люди от такого потрясения?!»), глубокие и очень печальные глаза. Да, глаза выдают горе. Волосы можно подкрасить, можно надеть парик, можно сделать пластическую операцию, наконец, а как же быть с глазами? Разве что надеть черные очки. Но их же приходится снимать. И тогда что?

Это мадам Грюндель все про себя прикидывала. Да, действительно глаза выдают все. А как же ее глаза? Выдают ли они то, что у нее на душе? А вообще что у нее на душе? Может об этом догадаться другой человек, например этот товарищ Миронов?

— Спасибо вам, мадам Грюндель, за этот прекрасный обед. Было великолепно... И откуда пианист знает столько русских современных мелодий?

— Когда платят деньги, всему научишься... О, как хорошо, когда у тебя много денег! Как хорошо!

Она произнесла это «как хорошо» с откровенным желанием иметь деньги, стать богатой, но лицо мадам Грюндель не изменилось, оно оставалось строгим, непроницаемым.

— И что бы вы сделали, окажись у вас много денег, ну, допустим, миллион?

— О, товарищ Миронов! — Она впервые назвала его так, желая будто подчеркнуть, что товарищи не представляют себе, что они могли бы сделать, если бы у них оказалось очень много личных денег. Они этого не понимают. Но что бы сделал этот товарищ Миронов, если бы у него оказался свой миллион рублей? Он, наверное, об этом даже не думает. А вот она очень хорошо знает, куда вложила бы этот миллион, и повторяет: — О, товарищ Миронов! Я бы купила себе ателье для пошива одежды экстра-класса. Я сама умею шить. Все, что на мне, я сшила сама. Я бы подобрала лучших модельеров, лучших портных. «Ателье мадам Грюндель». Звучит? А рядом с ателье — дом, особнячок такой с небольшим садом и плавательным бассейном с холодной водой. Я предпочитаю именно такие бассейны. По утрам, до того как пойти на работу, я хожу в такой бассейн, он в пятнадцати минутах езды от моего дома. Систематическое плавание в холодной воде способствует сохранению талии на уровне пятидесяти двух сантиметров. Да, а рядом с моим особняком я помогла бы строиться моей подружке Матильде. Мы с ней часто встречаемся, разговариваем обо всем и мечтаем именно об этом. Только ей, вы знаете, хочется бассейн с подогретой водой... Пусть с подогретой, правда?

Миронов ей не ответил, но она и не ожидала этого, она рассказывала дальше о том, как бы она устроила свое ателье, как ей было бы хорошо жить рядом с Матильдой, делать что-то полезное людям и в то же время чувствовать себя хозяйкой, владеть богатством и иметь право распоряжаться судьбами других людей. И если когда-нибудь это осуществится, то они не допустят в свой paradis мужчин. Только женщин самых красивых, потому что она уверена — уродины не могут создавать красивые вещи. Догадываясь о том, что Миронов может спросить, чем вызвано такое отрицательное отношение мадам Грюндель к мужчинам, она уточнила:

— Вы знаете, господин Миронов (снова господин!), с некоторого времени мужчины для меня существуют только вот здесь. — Она указала рукой на голову. — Только здесь. И это желание, которое принято называть любовью, в моей голове то вспыхивает, то угасает, то бушует, то успокаивается. Об этом мы долго говорили нынешним летом с одной польской художницей. Кстати, она жила в этой же гостинице... Все остальное будто атрофировалось. И, может быть, зря.

Слушая эту, как казалось ему, вздорную болтовню мадам Грюндель, Миронов очутился у подъезда особняка с башенками, похожими на маяки; после обеда предстояла напряженная работа, и сейчас хотелось немного отдохнуть.

— Хорошо, хорошо, господин Миронов. Я скажу портье, он вас разбудит в половине пятого. А в пять я буду ждать вас здесь.

В пять часов мадам Грюндель не пришла, и Миронов, привыкший к тому, что она всегда приходила задолго до назначенного времени и ждала его в холле гостиницы, забеспокоился: что же могло случиться? Опоздать на важную встречу из-за нее? Миронов привык к точности с юных лет, когда ходил в кружок радиолюбителей, а потом и коротковолновиков, где любая секунда решала судьбу важной встречи в эфире. Этих встреч он каждый раз дожидался, судорожно готовя свою аппаратуру и вслушиваясь задолго до намеченного времени в шумы бесконечности. Они приучили его к тому, чтобы всегда быть предельно аккуратным. Любое, даже самое незначительное нарушение назначенного часа свиданий, начала заседаний, спектаклей, деловых встреч всегда воспринимал как оскорбление. Сейчас он уже представлял себе, что же это будет, когда он, представитель такой солид-

ной советской организации, опоздает на важную деловую встречу. И из-за чего? Из-за того, что он непредусмотрителен, не узнал у мадам Грюндель адрес дома, где должна быть встреча, не знает, как туда подъехать, не научился в Москве нескольким фразам на языке этой страны... Ах, какая оплошность! Как он мог поверить в аккуратность этой мадам! А она! Боже мой, что делать?!

Так он метался по холлу, поглядывая каждые десять секунд на часы, и не находил никакого выхода.

— Как хорошо, что вы уже спустились! — услышал он знакомый голос мадам Грюндель. — Прошу вас к машине. В нашем распоряжении еще целых четверть часа. Заседание начнется в семнадцать тридцать. Прошу в машину.

Почему она задержалась, мадам Грюндель рассказала уже после заседания и ужина, данного в честь московского гостя одним из самых ответственных руководителей фирмы.

— Мне было так неудобно опаздывать, но думаю, что вы простите меня, когда я расскажу, в чем было дело.

Небольшой ветер начал рвать в клочья задержавшийся туман, сквозь эти черные клочья проглядывал неполный месяц, похоже было, что подморозит. Решили идти до гостиницы пешком, и мадам Грюндель виновато рассказывала:

— Я оставила вас и тоже пошла отдохнуть. Вчера легла очень поздно, после того как мы расстались, я зашла к Матильде, и мы поболтали чуть ли не до двух ночи. Пришла домой, а там холодина — жуть. Затопила печь — у меня печь топится брикетом, бросила целое ведро и легла в холодную постель. Утром бросила еще ведро брикета и побежала к вам. Рассчитывала, что выберу после обеда время, прибегу в свою комнату, где будет уже тепло, отдохну немного и подготовлюсь к вечеру — ведь мы обязаны готовиться к тем вечерам, когда после переговоров начинается прием. На приеме мы должны «блестеть», нравиться. Хорошие сотрудницы — украшение начальства, так говорят у нас. И вот я стараюсь как могу быть таким украшением. И что вы думаете: когда открыла подъезд и готова уже была взлететь по лестнице к себе на третий этаж, откуда ни возьмись — котенок. Чистый-пречистый, смотрит на меня умоляющими глазами, просится на руки. Я его взяла, вошла с ним в свою теплую квартиру, налила ему молока, и мы с ним уснули. Мне от него так тепло стало. А когда проснулась, было уже без пяти пять. Я накинула на себя это вечернее белое платье, бросилась бежать, успела только оглянуться, а котенок уже соскочил с кровати и давай трепать моего слона. Я вам еще о нем не рассказывала? Ну, это очень смешно. Но сейчас уже поздно и мы пришли... До завтра... Утром я уже опаздывать не буду...

Оставшись один, Миронов старался отойти от напряжения сегодняшнего дня с его нелегкими переговорами, с казенными расспросами о том, как он себя здесь чувствует, с переживаниями из-за опоздания. Он зашел в вестибюль гостиницы, там было очень тихо, в полумраке сидели в глубоких креслах за столиками люди и вели, как водится в гостиницах, беседы. Миронов подсчитал в уме, что ему осталось быть здесь еще три дня, и уже в мыслях был снова в поезде, по дороге домой. Прямо с вокзала он поедет на кладбище, привезет жене и дочери цветы отсюда, из этой далекой от Москвы страны. Да, он должен завтра же с мадам Грюндель посетить цветочный магазин.

Он не поднялся к себе, а вышел и пошел по городу. Хотя был не поздний час, но на улице — никого. Миронов не знал, что здесь, в этом городе, с началом темноты улицы пустеют и люди проводят свои вечера под крышей — то ли в кинотеатре, то ли в ресторанах, ка-

фе, а большинство в кругу семьи, нужно восстановить силы и рано утром снова успеть на работу без опоздания, чтобы не дай бог не выглядеть усталым, не терять форму. «Здесь на работе нельзя терять форму», — как-то мимоходом сказала мадам Грюндель. Погуляв с полчаса, Миронов вернулся к себе в номер и с сожалением подумал, что мадам Грюндель так и не рассказала ему обещанную смешную историю про слона.

Утром он проснулся раньше обычного от ощущения яркого света. Сквозь плотную занавеску пробился луч и падал прямо на ту странную картину, о которой он забыл. Луч освещал удивительный пылающий костер вместо головы обнаженного молодого женского тела, чуть повыше, в правом углу картины, освещенные лучом света, довольно четко прочитывались буквы «L. С.». Миронов подошел к окну, отодвинул занавеску, и в комнату полился яркий солнечный свет. Над островерхими крышами города X висел огненный шар. Сколько уже дней Миронов не видел солнца? Когда он уезжал из Москвы, там тоже было пасмурно. А здесь восьмой день этот липкий туман. Солнце придало ему новые силы, будто обновило, он открыл двери на балкон, сделал зарядку, принял холодный душ — и как рукой сняло усталость, нервное напряжение. «Все это солнце», — подумалось Миронову. Было еще только восемь часов утра. Мадам Грюндель придет в половине десятого. И он обнаружил, что ждет ее, что все эти оставшиеся полчаса он будет думать о ней, о том, какую она расскажет ему историю про слона, которого бессовестно трепал заблудившийся или выброшенный из дому котенок. Но ему придется ждать этого рассказа, потому что сегодня снова напряженный день, заполненный делами до самого вечера. Как хорошо, что вышло солнце!.. Что такое? Почему снова стало темно в комнате? Когда Миронов посмотрел в окно, небо уже заволочло тучами и солнце исчезло. За обедом Миронов пожаловался мадам Грюндель.

— А у нас всегда так, — сказала она с серьезным видом всезнающей преподавательницы математики. — У нас ведь все под влиянием Атлантики. У нас не Гагра.

— Вы бывали в Гагре?

— Бывала?! Я там родилась, товарищ Миронов. Разве я вам не говорила об этом?

До самого отъезда Миронов слушал рассказ о жизни мадам Грюндель. Слушал, не перебивая ее расспросами, она сама рассказывала очень подробно, но отрывочно, перескакивая с одного события на другое, и уже в поезде, в Москве, вспоминая об этом рассказе, Миронов пытался сделать его последовательным, придать ему стройность. Он пытался понять отдельные эпизоды жизни мадам Грюндель, в чем-то он ее оправдывал, в чем-то осуждал. Но до него очень долго доносились ее слова — четкие, мягкие, без какого-либо намека на жалобу. Она рассказывала просто так. Она готова рассказывать без конца — у нее было о чем рассказать, — только вот время кончилось и господин Миронов должен был уехать к себе в Москву.

— Там у вас намного холоднее, чем у нас, правда?

— Действительно холоднее, — отвечал Миронов. Его задело это «у вас», но он сдержался.

— До того как я стала мадам Грюндель, меня звали Лореттой Карасевой. Почему родители назвали меня так, трудно сказать. Потом одна родственница мне говорила, что у мамы была начитанная тетка. Она выбрала это имя. Из какого-нибудь романа, наверное. Из-за этого имени меня вечно дразнили — на улице, в школе, даже мамочка не удержалась. Я и сейчас ее очень люблю, хотя что я пережила из-за нее — один бог знает. И я... Когда училась в девятом классе, вошли в

моду мини-юбки. Тогда все девчонки с ума сходили по этим мини. У моей подружки-десятиклассницы была швейная машинка, и мы смастерили себе такие мини, что только вышли в парк пофорсить, а нас потащили в милицию за нарушение общественного порядка. Вызвали мамочку, и она прямо там отлупила меня, повела домой со скандалом, а в нашем дворе заседал страшный суд. Он у вас и сейчас заседает во дворах и в подъездах, правда? Так одна пенсионерка прямо так и сказала, громко, чтобы все слышали: «Горетта ты, а не Лоретта!» Так и прилипло ко мне это прозвище. И куда ни пойдешь — Горетта да Горетта. Хоть живи, хоть вещайся. Получила я аттестат зрелости. Но куда податься? В школьной характеристике мне записали про привод в милицию, и я загорала на нашем пляже, вечером поздно приходила домой и слышала одни и те же упреки: «Что мне с тобой делать?!» А отчим, когда был трезв, говорил: «Оставь ее, сама найдет себе дорогу», а когда напивался — а это случалось, — тоже обзывал Гореттой. Правда, не зло, но обзывал. А я лежу себе целыми днями на пляже, прихожу туда рано-рано, когда еще солнышко не взошло, подхожу к самой воде. Знаете, какая вода прозрачная у берегов? Тогда еще, помню, такую песню пели: «О море в Гаграх!» Тишина, на берегу никого, а я смотрю в воду и считаю гальку. Потом заплыву далеко-далеко, потому что еще у дежурных спасателей рабочий день не начался и никто на тебя не орет, не свистит. И вот там, в море, — а если посмотреть с берега, это уже самый горизонт — я встречаю восход нашего гагринского солнышка! Это такое солнце, что нигде такого не увидишь! И вместе с солнышком плыву к берегу.

Однажды на берегу я заметила двоих мужчин одинакового роста, один полненький такой, другой стройный, в ярких шортах, темных очках и пляжной нашлапочке. На всем берегу были только они двое, и мне стало как-то не по себе. Они заметили, что я приближаюсь, и полный подозвал рукой. И я почему-то уже безо всякого стеснения, без страха вышла, отжимала на ходу купальник и подошла прямо к ним. «Доброе утро, — обратился ко мне стройный, в нашлапочке. — Мы думали, вы дельфин». Он сказал это на очень плохом русском языке, но слова произносил четко, отдельно друг от друга, будто вычитывал их из словаря. Тут же на непонятном мне языке сказал что-то второму, которого можно было принять то ли за отца его, то ли за старшего брата. Они очень походили друг на друга: одинаковые голубые глаза, рыжеватые и очень густые волосы, плотные тела, мускулистые руки. Вообще на вид сильные люди. Вы знаете, с каким восторгом глядят девчонки на физически сильных, красивых парней? Так и я, как все. Женщины вообще любят сильных, статных мужчин. Думают, они рыцари. Потом оказывается, что это не так. Только это понимание приходит поздно... Так о чем я говорила? Да, о том раннем утре. Молодой говорит, что они приехали на юг посмотреть на дельфинов. Они чем-то им напоминают лошадей. Бег лошадей то есть. Потом молодой сказал мне, что его имя Ромулус. «Помните легенду об основании Рима?» — спросил он. Я, конечно, никакой легенды об основании Рима не помнила, но чтобы не ударить сразу же лицом в грязь, многозначительно сказала «да», а он ткнул себя пальцем в грудь и сказал с гордостью: «Я тоже когда-нибудь создам что-либо наподобие Рима!» Видно, это он говорил не первый раз, потому что старший по интонации понял, о чем речь, и расхохотался. Через три дня мы с Ромулусом были уже на ты, я щеголяла в своей мини-юбке, почему-то не боясь никакой милиции, доехали на такси до Адлера, там в самолет — и в Москву.

Они меня привезли в шикарный дворец, ничего подобного я не

видела ни в Сочи, ни в Гагре, а там вы знаете, какие дворцы. Такие комнаты все в зеркалах, такие горки с хрусталем, такие ковры! А это была просто гостиница «Советская». Сейчас мне смешно об этом вспоминать, как я всему тогда удивилась, как это меня ошарашило. Они, оказывается, приехали на аукцион. Отец Ромулуса собирался приобрести для своего конезавода нескольких наших лошадей и посещал бега. А сына он приучал к делу, натаскивал. Это был его единственный сын, и он готов был делать для него все. Он, видите ли, услышал, что в Гагре разгуливают неподалеку от берега дельфины, и примчался. Конечно, в тот приезд никаких дельфинов они не видели. И вообще... Ну, днем отец уходил по своим делам, а мы с Ромулусом оставались одни в трех комнатах с телевизором, радиолой, у него был еще ультрамагнитофон «Грундиг». Я тогда еще не очень-то разобрала его фамилию, мне показалось, что она не Грюндель, а именно Грундиг. Так мы развлекались, даже не помню, сколько дней, и в одно утро резкий стук в дверь нашего номера, дежурная приглашает меня выйти. «Только вас», — говорит. За дверью, на которой было написано: «Главный администратор», сидела моя мама. «Мы сообщили по домашнему адресу о вашем здесь пребывании», — изрекла солидная женщина, сидевшая за огромным письменным столом. К моему удивлению, мама не кричала, не угрожала, она сказала всего три слова: «Лорочка, поехали домой». Что происходит с человеком в такие минуты, какие включаются тормоза, какие рычаги — трудно сказать, только я не знаю почему ответила маме: «Поехали». И даже не попрощалась с Ромулусом. А дома мама спокойно, но очень решительно, как это она умеет, сказала: «Сейчас пойдешь со мной к врачу». «Зачем?» «Затем». Я ужаснулась, но сделала вид, что согласна, а как только мама отвернулась, я молнией выскочила из комнаты и остановилась только у причала. Там шла посадка на небольшой прогулочный катер до Сухуми, и я пробралась с очередью мимо не успевшего опомниться контролера.

Она замолчала. Миронову подумалось, что мадам Грюндель молчит потому, что сейчас Лора Карасева раздумывает, как ей быть дальше на этом катере.

— Вы знаете, — продолжала она, — у меня была только одна трешка, маленькая зеленая бумажка, мы тогда никак не могли привикнуть к этим маленьким деньгам, а билет до Сухуми стоил рублей шесть. Так я побежала на камбуз, там тетенька такая белобрысая была и уборщицей, и поварихой, и буфетчицей, я сказала, что буду всю дорогу делать то, что она мне прикажет. Она знала маму и меня, конечно, знала, это была очень добрая тетка, и сказала: «Ладно, непутевое ты горе мое, поехали! Только скажи, зачем тебе Сухуми?» «Я туда к обезьянам еду». Вы знаете, она даже не удивилась. Просто сказала: «К обезьянам так к обезьянам... А картошку чистить умеешь?» И дала мне целую корзину молодой картошки. На второй день я была уже в Сухуми. Работница отдела кадров научно-исследовательского института посмотрела мой паспорт, аттестат зрелости, дала такую анкету заполнить, похвалила — это очень хорошо, когда после десятилетки идут на производство. Зачислила меня сразу и сказала, что меня будут учить присматривать и ухаживать за гамадрилами. Что это за гамадрилы, я не знала, но не подала виду. Вообще в этом институте — вы там бывали? нет? жалко... — там так много интересного, первые дни я только ходила и смотрела, до гамадрилов меня еще не допускали, с ними надо знакомиться постепенно и надо иметь к ним подход, а этому ни одна школа не научит, только старые сотрудники института знают... Мне об этом говорила старушка, тетя Граня. Она с самого первого дня взяла меня в свой дом, жила совсем одна

неподалеку от института. Денег она не брала ни копейки, сказала, чтобы я складывала зарплату и купила себе что-нибудь на память. То, что произошло со мной на пляже, а потом в Москве, казалось сном. Не верите, да?

— Почему, я слушаю...

— Но иногда охватывала такая тоска, что я не знала, куда себя девать, что делать. И в один такой вечер тетя Граня вдруг говорит: «Лорочка, милая, ты знаешь, к нам приехал цирк из Москвы. Слоны. Пойдем поглядим». И я на ту свою трешку купила два билета в цирк. Выступал Юрий Дуров...

— Он совсем недавно умер.

— Ой, как жалко! Это был такой хороший дядечка. Здоровый-здоровый, а лицо светлое и добродушное, как луна. Вышел в ярком клоунском костюме, вокруг бесятся маленькие собачки, а он среди них выглядывает настоящим Гулливером. А потом вышли слоны. Целых три. Они заполнили всю арену, и Дуров оказался забавным дилингутом. Но что меня удивило — ему повиновались эти большие серые громадины, он делал с ними все что хотел. Самый большой изображал из себя барабанщика, другой на дудке играл, а третий на губной гармошке. А Дуров был вроде дирижером слоновьего оркестра... Я только об одном пожалела — почему слоны такие серые, почему они не разноцветные. И мне так захотелось иметь собственного разноцветного слона... Смешно, да? Ну так про это я вам в другой раз расскажу... Только вот когда окончилось представление и я под впечатлением увиденного шла медленно за тетей Граней к выходу, чувствую, что меня кто-то осторожно берет за локоть. Подымаю глаза: мама. Вначале я подумала, что она сейчас же начнет меня лупить, как тогда в милиции. Но она говорит по-хорошему, сладким-сладким голосом: «Поехали домой, Лорочка, там тебя ждет Ромулус». Как я узнала потом, мама с отчимом уже почти обо всем договорились с примчавшимися за мной Ромулусом и его отцом, они даже в милиции уже поинтересовались, какие формальности нужно соблюсти, чтобы увезти меня с собой. Все, все...

Если до сих пор мадам Грюндель рассказывала почти без волнения, ровным голосом, то тут она вздохнула, набрала воздуха, чтобы хватило сил говорить дальше, и подвела итог:

— Таким образом, из Лоретты Карасевой я стала мадам Грюндель в восемнадцать лет, десять лет назад, и приехала сюда, в этот город...

— А Ромулус? — вырвалось у Миронова.

— Ромулус? Легендарный основатель Рима? Испарился. Я с ним благополучно развелась, слава богу... Я до сих пор не понимаю, зачем я ему нужна была. Иногда думаю, что это было пари, ставка привыкших играть на бегах господ... Мы обвенчались в церкви, нас соединил браком великолепный православный молодой священник, он чуточку говорил по-русски и спросил меня: «Желаешь ли ты, Лоретта, брать в мужья раба божьего Ромулуса?» И я ответила: «Да». На свадьбе было очень много народу. Отец Ромулуса — богатый владелец целой системы мукомольных предприятий и конезавода, а мать владеет и управляет самой большой кондитерской фабрикой в этом городе. На свадебном столе стоял сказочной красоты торт — малахитовая гора с ручейками из жемчуга. Этот торт она назвала «Лоретта». В мою честь. Его и сейчас продают здесь во всех кондитерских. А отец произнес родительский тост и сказал, что молодые достигнут благодаря своему старанию и мудрости большего успеха в делах, чем они, старики, и назовут свою компанию «Ромулус и Лоретта». Все заплодировали, загалдели. Да, еще я вам не сказала, что мать Ромулуса очень любила

меня, она красивая женщина, только калека, ее возят на специальной коляске... Помните, Рузвельт тоже не мог сам передвигаться...

Мадам Грюндель вставляла в свой рассказ и подобного рода фразы, стараясь выглядеть знающей и начитанной.

— Отец сразу же отделил нас, купил небольшую гарсоньерку, так здесь называются однокомнатные квартиры. Была она обставлена довольно скромно, но я старалась сделать ее красивой. Вы знаете, я умею шить, вышиваю, рисую... Я сделала из нашей квартиры такой уютный уголок, чтобы нам было красиво и хорошо! Отец Ромулуса нанял мне профессора, и я месяцев за шесть научилась языку этой страны — я очень способна к языкам, это еще в гагринской школе заметили, преподавательница английского советовала поступить в Иняз. Отец Ромулуса устроил меня в этой фирме — не сопровождающей, нет, только пока что ученицей, стажером. А Ромулус все разлегался. Часто говорил мне, что проводит время на загородной ферме отца, где объезжают купленных в Москве лошадей, уезжал по делам чаще всего уже не с отцом, а один. Его сила и рыцарство тратились где-то на стороне, я это уже хорошо чувствовала, но его я не упрекала, ничего не говорила и никому вообще не жаловалась — кому тут пожалуешься? Старалась прилежно заниматься, потом поступила на службу. Мне показались очень заманчивой перспектива работать с людьми, приехавшими из Советского Союза, — все-таки хоть чем-нибудь я смогу им помочь... Так теперь о слоне. Однажды, позавтракав прошлым летом, приехал сюда один большой специалист по электро-трансформаторам из Запорожья. Наши шефы просто не могли им на-восторгаться — такой он был большой знаток в своем деле. Я не очень-то знакома с терминологией в этой отрасли, хотя к его приезду мне пришлось целую неделю изучать специальную литературу про трансформаторы, чтобы переводить без запинки. Так этому запорожскому специалисту очень понравилось, как я перевожу. Он попросил меня водить его по техническим магазинам, чтобы ознакомить с отделами электрики и электроники. Забавный такой дядя. Про электричество все знал, а в городе не мог ориентироваться совершенно. «Я не могу отдалиться от гостиницы на два шага, поверьте, мадам Грюндель, и прошу вас быть все время со мной». Впервые за рубеж попал. Водила я его по этим магазинам, и однажды знаете что он мне говорит? «Мадам Грюндель, я знаю, что одна ваша фирма производит комбинированный аппарат, небольшой по габаритам. Это одновременно счетная машина, электробритва, миниатюрный дорожный утюг, электронный будильник, микротранзистор и кипятильник для дорожных нужд». Я попыталась объяснить ему, что знаю очень хорошо всю номенклатуру товаров этой фирмы, знакома с ее магазинами и ничего подобного никогда не встречала. Если бы у них это было, они рас-трубили бы по всем программам телевидения и по всем газетам, ведь это так ясно... Но запорожец оказался человеком настойчивым и упрямым, он достал из кармана блокнот, перелистал и нашел адрес магазина, где, по его предположениям, должен продаваться этот «мужской комбайн», и мы поехали туда. И что я там натворила, если бы узнали мои шефы, они меня прогнали бы с работы в два счета. Вначале посмотрели все образцы, и среди них «мужского комбайна» не обнаружилось. Но мой запорожец требовал, чтобы я обязательно спросила у хозяина магазина про эту новинку. Я вообще не люблю морочить людям голову, а что этого комбайна нет и в помине, я уже точно знала. Откуда мне пришла такая мысль, понятия не имею, до сих пор, когда вспоминаю, пожимаю плечами, — я разыскала директора и выпалила четко: «Господин интересуется, не найдется ли у вас розового слона с голубыми ушами?». Директор магазина был челове-

ком весьма вежливым, он даже не улыбнулся, не принял это за шутку, а просто, как тут принято, ответил тоже вполне серьезно: «Не держим. Весьма сожалеем, что не смогли удовлетворить просьбу господина. Заходите еще». И только тогда стандартно улыбнулся. А мы с гостем срочно помчались за чем-нибудь другим, потому что через два часа отходил поезд, а у него оставалась неизрасходованная валюта. А этот слон сослужил и служит мне до сих пор очень добрую службу. Но об этом в другой раз.

— Вы всегда пользуетесь этим приемом, когда невозможно найти что-либо?

— Да нет! Что вы! Это было один-единственный раз в моей практике... Слава богу, что обошлось. Я подумала только, что могло случиться, если допустить на одну минуту, что этот товарищ из Запорожья знал наш язык, а скрывал.— Тут мадам Грюндель сделала особый нажим на слово наш.— Но он его точно не знал. И какое это для меня было везение! Вы не поймите, что мое везение в том, что он языка не знал. Нет! Везение в том, что я вспомнила про того слона. Что я так сказала. Это помогло мне потом просто выжить. Дело в том, что мы прожили с Ромулусом лет пять вместе. Это по нынешним стандартам довольно много. Да, да... У вас тоже так. Об этом я в «Литературке» читала. Я ее выписываю. Там много такого не про литературу. И это интересно читать. Так я учила язык, здешнюю культуру. Все это для нашей работы необходимо. А незадолго до развода я начала трехлетний курс изучения немецкого. Чтобы быть специалистом высокой квалификации, чтобы тебя ценили и чтобы на тебя был спрос, ты должен знать минимум два иностранных языка в совершенстве, а для специалиста высшего класса обязательно знать три языка плюс латынь. И тогда на тебя будет спрос и у тебя будут деньги. Ты тогда можешь работать хоть шестнадцать часов в сутки, и тебе будут платить за каждый час работы по высшему тарифу. Я сейчас работник первой категории,— не без гордости сказала мадам Грюндель.— Так чем же может помочь человеку слон? — спросите вы. Вы не устали от моей болтовни, товарищ Миронов?

— Я вас внимательно слушаю, мадам Грюндель.— Миренова утомил ее монотонный жесткий голос, но он не знал, что самое страшное впереди и что это страшное мадам Грюндель расскажет так же монотонно, жестко и с беспощадной обнаженностью.

— Ромулус, как только остановилась свадебная карусель и мы заимели свой угол, стал вводить меня в свой круг. Вначале это мне было интересно. Ночные кабаки, музыка, таинственный полусвет, выступления знаменитых, как он объяснял, звезд кабаре, масса друзей. Но постепенно мне опротивели душевные подвалы, где тошнит от смешанного запаха потных тел и дешевых духов. К тому же я ненавидела стриптиз, меня бесили попытки Ромулуса доказывать мне, что когда женщина обнажается на публике, это высшее достижение истинного искусства. Я вначале закрывала глаза ладонями, а он отнимал ладони и говорил: «Смотри, смотри, ведь это такое волшебство! Провинция!» Ему было интересно... И все это длилось довольно долго. У Ромулуса денег было много. И я, хочешь не хочешь, волевалась за ним. Он научил меня пить и знал, что достаточно вынудить меня опрокинуть первую рюмку. А потом будто выключались тормоза, я пила уже все подряд без счета. Мне казалось, что знаю все ночные заведения этого города и все на сто километров вокруг. Но я ошибалась. Однажды Ромулус увез меня на прогулку за город. Выехали поздно вечером на своей красной машине. У нас была одна красная машина, другая такая сероватая, «мерседес». У загородного

большого дома стояло еще несколько машин. Мы припарковались и вошли в тот дом. Что там было, это уже длинная сказка. Только в гостиной стоял мрак от дыма и играла музыка. Еле угадывались прилипли друг к дружке фигуры танцующих. Через короткие промежутки вспыхивал оранжевый луч прожектора, и в несколько секунд можно было окинуть одним взглядом всех. Были незнакомые мне до сих пор парни и девушки. Некоторые довольно красивые. Заметив Ромулуса, девицы завизжали и затопали ногами. Он покровительственно делал им ручкой. Выделялись два безобразных парня — пузатые такие, с огромными влажными губами, один совсем беззубый. Он и подошел к нам первый, осмотрел меня оценивающим взглядом, хлопнул по плечу и спросил Ромулуса: «Свеженькая?» Другой прикатил сервировочный столик со всякими напитками, и Ромулус предложил выпить. Я говорила вам, что мне достаточно взять одну рюмку, а потом уже все идет подряд. Так и на этот раз. Выпила я много. А дальше уже обычная попойка. И вдруг погас свет. В темноте ударил гонг. Ромулус сел рядом со мной и шепнул: «Сейчас начнется самое интересное. Тебе обо всем расскажет Мильва, наша старшая». Снова засветил прожектор. В центре зала на освещенном круглом помосте стояла красивая женщина в белой накидке. Хлопнула в ладоши и сказала: «Через десять минут начинается игра. Загляните в соседнюю комнату и все запоминайте». «Знаем, знаем!» — загадела вся эта пьяная орава. «Пусть заглянет кто не знает». Не знала, оказывается, только одна я. А там, в соседней комнате, выстроился целый полк топчанов. Женщина в накидке — звали ее Мильва — стала очень быстро разъяснять мне как новенькой правила игры. Парни садятся на топчаны, гаснет свет, девушки сбрасывают с себя все и в темноте идут к тому, которого выбрали. Потом снова танцы, веселье и повторяется то же самое, только следующий сеанс парни должны выбирать, понимаете? «А самое сложное, — сказала Мильва, — это то, что в темноте надо находить свою одежду. Кто наденет только свое, завоевывает первый приз».

Я и сейчас не могу понять, как после всего выпитого вмиг протрезвела и кинулась к улыбающемуся Ромулусу. За какую-то долю секунды перед моими глазами промчалась вся моя жизнь. Говорят, что так бывает, когда человек гибнет. Все вспыхнуло разом, единым сверкающим молнии — и Гагра, и школа, и мама, и Ромулус с отцом на берегу моря в то утро, и разговор про дельфинов, и тетюшка из гостиницы, и гамадрилы, и Дуров со своими слонами, и тот молодой священник, и мое страшное заявление: «Прошу разрешить мне выход из гражданства СССР...» Вот он, заслонивший собой и мою Гагру, и мою маму, и мою родину, привел меня сюда и предлагает подчиниться этой Мильве, идти со всеми этими туда, в ту комнату! Я приподнялась на цыпочках, чтобы достать, и ударила со всей силой кулаком по его улыбающемуся лицу... Как попала на улицу, не знаю, только запомнила, что села за руль автомашины — я за эти годы научилась водить машину — и помчалась к городу. Уютная гарсоньерка глядела на меня своими занавесочками, кружевами, вышивками, рисунками, всеми безделушками, которыми я ее украсила... Куда деваться, что делать? Я взглянула на себя в зеркало. На меня смотрела совсем другая женщина, я даже испугалась — это была не я. Но тут раздались быстрые шаги — я забыла закрыть дверь на ключ, — и в комнату влетел Ромулус. Он молил о прощении всю ночь, потом еще несколько дней подряд клялся, что хотел проверить, насколько я его люблю и пойду на это или нет. Он бы сам, конечно, не допустил, если бы я вдруг согласилась. Он клялся, что любит меня и еще сильнее ценит после всего случившегося, называл меня ангелом и са-

мой чистой женщиной на свете. Короче, я ему поверила. Я перестала пить, начала консультироваться с врачами и готовилась стать матерью. И я почувствовала, что Ромулуса напугала сама мысль, что в нашей комнате может появиться еще один человек, который, безусловно, принесет ему массу беспокойств. Все его слова о прощении сказались ложью. Он просто боялся, что обо всем этом узнает его отец и перестанет давать ему деньги. Кульминацией (мадам Грюндель любила вставлять в свой рассказ такие слова) наших отношений явился вечер под рождество. Вы знаете, здесь рождество — праздник семейный. Так и я готовила наш небольшой дом к семейному празднику. Я считала, что нас уже почти трое. Ромулус пришел раньше чем обычно, был немного возбужденным, не стал со мной разговаривать — он вообще очень мало говорит, — сел спиной к зеркалу и начал рассматривать какие-то фотографии. Я вязала на диване, на кухне жарился в духовке большой рождественский индюк, я отрегулировала температуру, установила автомат на сто минут и ждала, когда зажужжит звонок. Ромулус, как я сказала, сидел спиной к зеркалу, и я хорошо видела, что он рассматривает. На белом рысаке сидела рыжая амазонка и, подставив широкое лицо солнцу, улыбалась всему свету. Ромулус забыл обо мне, о рождестве и о том, что он не один в этой комнате, приблизил эту фотографию к губам и поцеловал. Может быть, он нарочно делал это, я так и не узнала... Зуммер электроречи дал знать, что рождественский индюк готов. И только тогда Ромулус оторвался от фотографии. Его отвлек звонок. Как я начала разговор с ним, не помню, задержалось в памяти самое гадкое, что он говорил. «Если ты родишь мальчика, — сказал он, — то он будет, как и ты и я, не правда ли, гражданином этой страны». Он подчеркнул слово этой и добавил потом: «Как я и... ты, между прочим... И я представляю, как он через восемнадцать — двадцать лет пойдет воевать против страны, где ты родилась...» Он расхохотался и по-мальчишески указал пальцем на мой выросший уже живот. Я приподнялась только чуть-чуть. Над диваном висел большой настоящий ятаган из дамаской стали. Отец подарил его нам на свадьбе для «борьбы с врагами» будущей процветающей компании «Ромулус и Лоретта». И я про себя решила твердо: если он скажет еще одно слово и повернется спиной, соберу все свои силы и насквозь проткну его этим ятаганом. Я в ту минуту поняла, почему и как совершаются убийства. Но Ромулус, видно, тоже о чем-то догадался, потому что попятился и повернулся спиной у самой двери, я бы не могла уже его настичнуть, потому что я почувствовала словно удар ножом в собственный живот. Я попробовала крикнуть ему вслед, я уже сама не знала, почему именно его мне хотелось позвать на помощь, но голоса у меня не было, исчез голос, и я сама слышала, что из моего горла раздавалось лишь слабое шипение. Ну что делать? Что делать? У меня началось страшное кровотечение, я поползла к выходу. Одной рукой держалась за живот, другой за стену и тащилась к выходу, надеялась еще, что Ромулус где-то вблизи, что его задержит хотя бы расплывшийся уже по всему дому запах жареного индюка, он ведь обожает жареного индюка, я для него приготовила. Черт знает что только не приходило мне в голову тогда. Но я доползла до выхода и никого не встретила. Был мороз, валил снег. От свежего воздуха у меня перехватило дыхание, и я совсем неподалеку от нашего подъезда свалилась в сугроб. Лежала лицом вниз, подгребала под живот снег и чувствовала, как становится легче, боль утихает, и я тогда чуть приподнялась и обратила внимание, какой у нас чудной двор. Он устроен как гигантский квадратный колодец из четырех десятиэтажных домов. Во двор выходило мно-

жество окон, я никогда не замечала, что их так много. Окна эти светились сегодня каждое по-разному, все разноцветными огнями горящих рождественских елок. С восьмого этажа смотрел на меня добродушный Санта Клаус и моргал то одним глазом, то другим. Мне стало легче, и я уже хорошо видела все вокруг, от снега и от светящихся окон было совсем светло. Два или три раза заметила, что мимо меня прошли люди и скрылись за дверями нашего подъезда, но никто не обратил на меня никакого внимания. Я пролежала долго, потому что заметила, как многие окна, в которых был свет, уже не светятся. И я решила во что бы то ни стало встать и уйти в дом, потому что, когда погаснут все окна, мне станет совсем уж страшно. Я доплелась до своей двери, откуда валил в подъезд едкий мясной дым. Индюк мой сгорел дотла. И что за люди живут вокруг? Даже на дым никто не вышел посмотреть хотя бы, что горит...

В больницу мадам Грюндель отвезли утром, когда дворник обнаружил окровавленный сугроб у подъезда и позвал полицию. В больнице она познакомилась со своей нынешней подружкой Матильдой, которой попался такой же муженек. Он ведет сейчас кляузное дело, чтобы отобрать у нее квартиру, но, по мнению мадам Грюндель, ничего у него не выйдет. Матильда посоветовала Лоретте подать тут же на развод и не жить вместе с этим подонком ни минуты. Даже не пускать его на порог.

— Все наш бракоразводный процесс длился всего пятнадцать минут. Председательствовала женщина, судья лет пятидесяти, заседательницами были тоже женщины чуть постарше судьи. Зачитали заявление, выслушали мой рассказ про рождественский вечер. Спросили Ромулуса, правда ли это. Он подтвердил, что все соответствует действительности. Через пятнадцать минут мы были уже разведены. Судья торжественно зачитала, что Ромулус Грюндель обязан выплачивать мне в течение трех лет необходимую сумму для завершения начатого курса немецкого языка и что гарсоньера присуждается мне. И вот когда я осталась совсем одна, когда я приходила в холодную и ставшую чужой комнату, тогда я снова вспомнила про слонов Дурова и про ту мою проделку с запорожским энергетиком. Действительно, если тот запорожский энергетик мог поверить в существование этого «мужского комбайна» и даже адрес магазина знал, где этот комбайн имеется, почему же я не могу поверить в выдуманного розового слона с голубыми ушами? И я стала прикидывать, как такой слон должен выглядеть, долго подбирала материал, потихонечку стала шить. Видели бы вы, какой у меня получился слон! Когда я прихожу домой, говорю ему: «Привет!» — мне кажется, что он шевелит своими огромными голубыми ушами и машет хоботом, а глазенки загораются, как только я включу верхний светильник. Я с ним все разговариваю, рассказываю о том, как у меня прошел день. Он слушает, не возражает и не критикует меня за болтливость. Матильда говорит: «Он у тебя когда-нибудь сбежит...» Не сбежит. Я с ним разговаривала по-немецки, читала ему вслух Шиллера и Гёте, Бёля и Ремарка, Брехта и Иоганнеса Бехера. Экзамены за трехгодичный курс немецкого я выдержала с оценкой один, здесь единица — наивысшая оценка, даже похвальную грамоту мне выписали и подписались все профессора словесности. И все это сделал слон, который слушал меня все эти три года и ни разу не укорил, все хвалил да хвалил... Я получила наконец отпуск и поехала в Гагру как иностранная туристка. Мной занимался «Интурист», заказывал билеты, обслуживал по всем правилам. Сначала было странно, а потом я поняла, что для «Интуриста» я мадам Грюндель, иностранная гражданка с иностранным паспортом. В Гагре я должна была подчи-

няться всем правилам, установленным в СССР для зарубежных граждан. Как больно чувствовать себя иностранкой в своем родном городе, в родительском доме! А потом еще и другое, совсем непредвиденное. Страшный суд по-прежнему заседал в нашем дворе, его состав даже несколько, как я заметила, расширился. Старухи, которая окрестила меня Гореттой, время как будто и не коснулось. Она так же сидела на скамейке под шелковицей, подождала, пока я пройду, и сказала вслед, чтоб я услышала: «А горе-то вернулось... Домой захотела... Шлюха!..» Мне хотелось верить, что ослышалась, что это просто показалось. Но старуха повторила это и на другой день. И еще. Я забыла вам сказать, что за год до моего замужества у меня родилась сестренка. Это мать с отчимом решили упрочить узы своего брака. Ласково звали ее Пуговкой. Так пока я была тут, эта Пуговка выросла, пошла в первый класс. Такая красивая девочка, очень похожа на мать. Глазища черные, щеки смуглые и ротик такой переспелой черешней. Она так ко мне привязалась и не отступала ни на шаг, все просила рассказать ей про заграницу и делила с подружками жвачку, поглядывая на них свысока: видите, мол, какая у меня сестрица — жвачки мне привезла! А ночью забиралась ко мне под одеяло, прилипала такая теплая и пахучая, и я зарывалась лицом в ее волосы и думала: неужели у меня никогда не будет своей вот такой? За день я сообразила ей три платья одно другого красивее. Она плавала как чертенок, вставала вместе со мной задолго до восхода солнца, и мы плыли вдвоем туда, к горизонту. Когда уставали, поворачивались на спину и просто так лежали на воде. Однажды, когда мы так лежали, она подплыла ко мне совсем близко и говорит: «Слушай, Лора, а это правильно, что по-иностранному твое имя шлюха?» Вы знаете, у меня все отнялось, заняло вот здесь в груди, затошнило. Я тихо повернула назад к берегу, и Пуговка поплыла рядом, дурачась. У меня была только одна мысль: вот я сейчас пойду ко дну, утону — и все. Но как же доберется до берега Пуговка, она ведь испугается и погибнет вместе со мной. Поблизости не оказалось никого, и я поняла всю нелепость моих утренних купаний вдали от берега. Как быть? Как мне спасти девочку?.. Я видела себя уходящей ко дну, как Мартин Иден, уходила за волшебным белым пароходом с чудесным и таким несчастным мальчиком Айтматова. Но открывала глаза, и рядом со мной беззаботно шлепала ручонками по гладкой поверхности воды моя сестричка, позабыв о своем вопросе, она кричала на все море: «Здравствуй, солнце! Здравствуй, солнце!» Бывает же так, когда кажется, что тебя покидает дыхание, отказывает сердце и нет никакого спасения, откуда-то из неведомого появляется сила, которая помогает. Матильда говорит, что это бог. Но я в бога не верю. Если бы он был, разве было бы на земле столько безобразия?.. Так тогда Пуговка сказала: «Лора, давай играть, а? Развяжи мне бантики, сделаем трос, и я поплыву вперед, как буксир, а ты у меня баржей будешь. Хорошо?» Было так забавно. Она фыркала, гудела, изображая из себя буксир, а я держалась за эту ленточку, и было все-таки немного легче плыть... А на берегу свалилась на гальку, стала разгребать ее, чтобы добраться до холодного. Болел страшно правый бок. Врачи в больнице предупреждали, что я должна избегать нервных потрясений. Когда мне стало легче, я позвала Пуговку домой и молча начала собираться в обратную дорогу. Меня уговаривали не ехать. Но тут же объясняли, насколько это сложно — оставаться дома, начнется процедура приема в советское подданство. В милиции сказали, что это дело долгое и никто не гарантирует, что меня снова примут. Для этого нужно не только мое желание, но и серьезные

основания. Размышляла и я. Что я буду тут делать? У мамы тесно. Для многих я просто вернувшаяся из дальних странствий шлюха. Кто меня возьмет на работу, что я буду делать? Сидеть на шее у мамы? А здесь у меня все-таки свой дом, приобретенная за эти годы специальность, свой кусок хлеба... И надежда... Будете смеяться, но у меня и сейчас надежда, что я верну себе Ромулуса. Я не могу забыть о нем. Он и до сих пор мой муж. Мой... На вокзале меня встретила Матильда. «Ой, какая ты хорошая стала, говорит, загорела, отдохнула, красавица, каких этот город не видал!..» И обнимает меня, обнимает. «Тут у меня, говорит, такая идея возникла, я познакомилась с одной дамой, и даже не представляешь, какая перспектива! Закачаешься...» Но в тот вечер она мне ничего не сказала относительно той перспективы, потому что мы стали болтать совсем о другом, я немного прибрала, пошли ужинать с пивом в птичник. А когда вернулась домой, вы и не представляете, кто меня поджидал у подъезда — отец Ромулуса! «Мне нужно серьезно поговорить». Пригласила его в дом. К нему я относилась хорошо, потому что он мне помог и с учебой, и со стипендией, и с гарсоньерой. Мой адвокат после суда сказал, что этот быстрый бракоразводный процесс тоже отец устроил. Потому что иные разводятся годами и с какими скандалами, не дай бог. Об этом пресса каждый день пишет. Так вот зашел, погладил моего слона и стоит посередине комнаты. В глазах горит какой-то бешеный огонь, и внутреннее мое чутье, даже не знаю, как это случилось, подсказало, что сейчас он на меня накинется, я вся напряжилась, как кошка, готовая к отражению нападения. «Как ты похорошела! — начал он. — Ты сейчас лучше, чем тогда, на пляже. В сто раз лучше... Тогда ты была девчонкой, а сейчас женщина, красавица во цвете лет... Ах, Лоретта... Не понимает этот мой балбес, кого он потерял... Кстати, он не навевается к тебе?» «Как не навевается! — отвечаю. — Еще кое-что осталось неподделенное. Он сразу не сообразил, что брат, когда развелся, а потом все время приходил со своей новой женой и требовал то одно, то другое. Я ему все отдавала безропотно». «А зря. Все уходит на кутежи. Горе мне с ним». Господин Грюндель-старший продолжал стоять так посередине комнаты, а я придвинулась к двери на всякий случай. «Лоретта, — начал он, — я лично перед тобой в долгу, я виноват, что позволил тогда Ромулусу увезти тебя из Гагры в Москву, я не понимал, как потом все усложнится. Мне стыдно и больно за то, что случилось, и я хотел каким-то образом загладить свою вину... Я старался, если ты заметила, как мог, чтобы ты не чувствовала никаких материальных стеснений, это в моих силах. Но выше всех моих сил оказалось заставить единственного сына вести себя, как положено вести себя с женой. Своим легкомыслием он опозорил нашу фирму, я как мог скрывал это, пытался отвести от наших семейных дел печать. А это немало стоит...» Его глаза горели, и я видела, что он говорит сейчас совсем далеко не то, что думает, и была готова к тому, что он скажет сейчас совсем иное, я понимала это по тону его речи и по тому, как он стоял и как на меня смотрел. Я была в мини-юбке почти такой же, как в девятом классе, за которую меня повели в милицию, и я видела, что господин Грюндель-старший глядит на мои ноги и у него слегка трясутся руки. «Так, — говорит он, — долго над этим думал, я очень скучал это время, пока ты отсутствовала, все время думал, как ты там, на берегу моря, ревновал...» Он улыбнулся смущенно... А я все стояла настроенная перед ним и думала: когда же ты уйдешь? «У меня возникла мысль, — продолжал он, — и ждал очень тебя, чтобы ее высказать. В жизни моей получилось так, что я не очень-то знаю, что та-

кое женская ласка, женское тепло. Жена моя стала такой, какой ты ее знаешь, очень давно. Она занялась своими кондитерскими делами, говорила: если ей так горько на душе, пусть другим будет сладко хотя бы во рту... Так о чем я хочу сказать? Я сменяю эту гарсоньерку на обширные апартаменты... У тебя будет возможность заняться подготовкой русских переводчиков. Видишь, как хорошо пошли у нас дела с русскими, они пойдут еще лучше... Организацию всего этого дела я беру на себя... Ну а время от времени ты будешь отвечать мне лаской... Много ли мне в эти-то годы нужно...» Он покраснел, на лбу выступил пот. Мне хотелось и смеяться и плакать. Как же это он?... Неужели можно такое предположить? Мне было очень смешно, но я не выдала этого. Сказала только, подумав немного: «Вы для меня, папа (я его называла так и после развода), столько уже сделали... вы просто святой человек... Я хочу сохранить это чувство к вам... А сейчас идите, пожалуйста, домой, вы плохо себя чувствуете. Идите...» И я его нежно выпроводила. А слоник смотрел на меня и одобрял.

А на другой день — что за проклятье? — пристала ко мне Матильда: мы должны встретиться с одной очень интересной особой. В десять часов вечера в самом фешенебельном ресторане города. «А ты знаешь, что ей от меня надо?» «Не только от тебя, но и от меня, — подчеркнула Матильда. — Только что ей надо, мы услышим с тобой вместе». Матильда такая у меня глупая толстушка, я думаю, что ее муж — это очень умный и начитанный парень — бросил ее именно потому, что она глупа. Вы спросите, почему я с ней дружу, если она гаупа? Просто лучше нету, понимаете? Так вот условились встретиться в десять часов вечера, дама, оказывается, до десяти занята. Ну, в десять так в десять. Подкатил шикарный лимузин, и из-за руля вышла дама — под стать этой машине. Бросила взгляд на меня, кивнула Матильде, небрежно сунула швейцару чаевые, и тот молча провел нас до самой двери салона для особо почитаемых посетителей этого ресторана. Дама была ненамного старше меня, так лет тридцати, очень красивое смуглое лицо, литое стройное тело, но глаза выдавали усталость. Знаете, бывают такие совсем безрадостные глаза. Предупредила, что у нее очень мало времени, закажем только коктейль «мартини» с коньяком, потом мы можем остаться поужинать с Матильдой, она все заранее уже оплатила, но сама спешит. У нее в одиннадцать работа. Дама — управительница серьезного заведения, у нее много девочек, которые принимают только гостей из высшей элиты, а не всякую уличную пакость и сопляков. Эта элита не скупится, и заработки девочек весьма приличны. Правда, приходится очень серьезно работать. «Но пусть вас это не пугает, — сказала она, — эта профессия — как любая другая». Она серьезно мерила меня взглядом, сказала, что Матильда все обо мне рассказала и я ей подхожу, она меня берет к себе на работу, мне нужно рассчитаться в компании и приступить к делу как можно быстрее. «Открою особый мой интерес к вам. Среди моих девочек нет ни одной русской. А сейчас, вы понимаете, спрос на все русское резко возрос, и нам тоже не пристало отставать... Десять лет работы у меня — и вы обеспечиваете себе безбедную дальнейшую жизнь где-нибудь в другой стране, где вас и о вас никто ничего не будет знать...» Дама допила коктейль и ушла. Вы знаете, она даже не спросила меня, согласна я или нет, она считала, что все решено, чуть не приказным тоном повелела быть у нее завтра в одиннадцать утра, у нее это время свободно. Я, знаете, с тех пор как это случилось у меня с Ромулусом, с того самого предрождественского вечера, когда я чуть не умерла на снегу, не могу сразу

отреагировать. Это мне очень мешает в работе. Иногда шеф или мой подопечный задаст вопрос или попросит о чем-либо, а я стою и молчу, в это время у меня работает голова, я размышляю, что ответить, как сделать лучше, а это в нашей работе считается недостатком, и потому, знай я, наверное, десять иностранных языков, все-таки никогда не стану специалистом высшей категории. В нашем деле, говорит господин Плева, надо хватать все на лету и решать быстрее, чем электронная машина. Так вот по причине этого моего неумения быстроотреагировать я ничего не сумела ответить той даме. Я сидела, убитая неожиданным предложением. А бедная Матильда потягивала коктейль и смотрела на меня ничего не понимающими глазами. Она вся была во власти перспективы крупных заработков и своего особняка с бассейном где-нибудь у подножия Альп. Бедная дуручка! Когда она наконец узнала, насколько я ошарашена ее затеей, предложением этой проститутки, стала оправдываться и уговаривать меня, что она хотела только хорошего, она подумала, что мне это подойдет. Я даже не сердилась на нее. Добрячка-дуручка, господин Плева устроил ее по моей рекомендации подавальщицей в нашем кафе. И ей сейчас очень хорошо. А я работаю и шью костюмчики своему слону. В больнице мне сказали тогда, что у меня никогда не будет детей... Вот и все.

Но Миронов и мадам Грюндель не знали, что это еще не все.

Оставалось два часа до отхода московского поезда. По совету мадам Грюндель Миронов не купил никаких цветов. Лоретта знала, что карантинные инспекторы не допускают перевоза через границу растений и фруктов. Тем более что поезд пересекал несколько государств. Миронов обычно после посадки в вагон долго не засыпал и потому решил прилечь и отдохнуть немного в номере. Чемодан он собрал, только надеть костюм — и в путь. Ему уже очень хотелось домой. От всего, что он услышал от мадам Грюндель за эти дни, ему стало еще тяжелее на душе, и была только одна надежда — что, может быть, в поезде встретится кто-нибудь из москвичей, поговорят о делах домашних, обсудят, как обычно в дороге, все мировые проблемы. А пока что можно на часочек заснуть. Мадам Грюндель приедет за полчаса до поезда, а господин Плева сказал сегодня за обедом, что приедет провожать прямо на вокзал.

Не успел Миронов прилечь, как раздался телефонный звонок.

— Господин Миронов, простите, но я сейчас зайду к вам... — Лоретта говорила сквозь слезы, испуганным голосом. — Я нарушу все указания нашей фирмы и зайду. Если вдруг заедет Плева, вы скажите, пожалуйста, что вам нездоровится и что вы попросили меня принести лекарства... Я сейчас зайду. Ладно?

Она вошла — на ней лица не было. Если бы не ее мягкий южный говор, Миронов не узнал бы ее. Осунувшееся, побледневшее лицо, провалившиеся глаза, волосы, собранные в небольшой пучочек на самой макушке. Она перевела дыхание и стала быстро, сбивчиво извиняться за то, что ворвалась к нему в номер.

— Я думала немножечко отдохнуть, даже прилегла, а тут звонок в дверь. Открываю — и кто, вы думаете? Ромулус — стоит и улыбается, и за ним его супруга. Она, знаете, вообще баба неплохая, она даже ходила ко мне одна, просила консультации как у более опытной в обращении с Ромулусом — что он любит поесть, как его развлекать, чтобы не ушел. Так вот заходят они в комнату, и он начинает обшаривать глазами все. «Я вспомнил, что кое-что еще осталось из наших общих вещей, хотелось бы и их забрать». У меня всегда была затаенная надежда, что еще осталось что-либо неподделенное, и всегда про себя радовалась, что он еще зайдет за

чем-нибудь, пусть с ней, пусть, но я его еще увижу, я посмотрю, как он выглядит. Он обычно брал то, что нам дарили на свадьбу или потом дарили друзья, его родственники. Из всех наших общих вещей оставался только набор из дорогого цветного хрусталя для коктейлей и тот ятаган из дамасской стали. Он холодно говорит: «Я хочу забрать свои стаканы». «На, возьми все», — сказала я, почувствовав, что вот здесь что-то обрывается. Но я не показывала виду. А Ромулус посмотрел на меня так, что я подумала в эту минуту: ему тоже жалко, что он забирает последнее, обрывает последнюю ниточку, которая приводила его сюда ко мне. Но в это время он перевел от меня взгляд к слонику. Слоник был в украинских шароварах, а верх такой розовый, а голубые уши будто насторожились. Когда я соорудила его, так вместо глаз вставила два крупных агата. Нам подарил их друг Ромулуса, путешественник. Они были еще не очищены, я ходила в мастерскую, и там их отшлифовали, серый такой камень с белыми прожилками и что-то розовое, мастер сказал, что это сердолик. Так из них я и сделала глаза своему слону. А Ромулус приблизился, потрогал пальцем, повернул голову ко мне и говорит с издевкой в голосе: «Так вот где ты их припрятала! А я все время думаю — где же агаты? Ведь их нам чуть ли не с Килиманджаро привез Али... Сейчас я их возьму. Дай чем-нибудь распороть это чучело...» Что произошло со мной в ту минуту, я еще не знаю. Только я оглохла от собственного крика. Я представляла сейчас моего слепого слона, и чтобы его защитить, я стала между ним и Ромулусом, посмотрела на висящий на стене кривой ятаган и совсем уже тихо сказала: «Если ты дотронешься до моего слона, я убью тебя и ее тоже». И побежала к вам. Они остались там, в моей гарсоньерке.

Мадам Грюндель до сих пор говорила, не подымая взгляда, уставившись в одну точку в пол. Закончив рассказ, она еще продолжала сидеть так, а потом подняла глаза и замерла. Миронов в спешке забыл затянуть занавес, и перед глазами мадам Грюндель оказалась та странная картина, о существовании которой он уже и забыл. Мадам Грюндель встала, подошла к картине вплотную, рассматривала, щурясь, а потом надела очки и расхохоталась. Перед Мироновым было совсем другое существо, не мадам Грюндель, не строгая и неприступная Лоретта, а девчонка, простое смеющееся личико, с которого исчезли все заботы и горести. Нет только заплетенных косичек, белых бантиков, накрахмаленного фартука школьницы.

— Вы посмотрите только, посмотрите! Это она нарисовала, пани Ася. Это очень талантливая польская художница, училась у вас в Ленинграде. Приезжала сюда по приглашению нашего шефа. Она победила на конкурсе по оформлению промышленного цеха ультра-современной живописью, я работала с ней, она жила здесь. И говорила мне, что нарисует что-то фантастическое из жизни женщины. «Help! I need lovin!» «Караул! Я хочу любви!» Подождите, она сказала, что посвятит эту картину мне. Должно быть что-то написано. Да, вот: «L. С. Лоретта Карасева». Вот так все тут горит, — Лоретта показала на голову, — а остальное все онемело, атрофировалось. Да, товарищ Миронов, сейчас подъедет машина. Еще двадцать минут. Я успею сбегать вниз выпить пива. Хотите пива? — Она спросила из деликатности, зная, что Миронов наверняка откажется. — Ну тогда я побежала, через десять минут сюда зайдет носильщик за вашими вещами. — И она убежала, не дав Миронову сказать слова.

В машине она не разговаривала.

Город был таким же мрачным, как в день приезда Миронова. Состав стоял под высоким стеклянным куполом, но туман проникал

и сюда. Господин Плевелю попрощался у контрольного пункта, пожелал Миронову доброго пути и сказал, что до вагона его проводит и подождет отправления поезда мадам Грюндель. Миронов с похвалой отозвался о работе мадам Грюндель, сказал, что можно позавидовать фирме, у которой такие прилежные и внимательные работники. Он не забыл упомянуть, что все эти дни мадам Грюндель работала по шестнадцать часов в сутки. Как он успел понять, фирма платила переводчицам по часовой сетке. Господин Плевелю ответил, что он весьма польщен и когда господин Миронов приедет в следующий раз, он постарается, чтобы с ним работала именно она.

— До свидания, господин Миронов, счастливого пути. Мы ждем вас еще. Мы хорошо поработали.— И господин Плевелю откланялся.

Мадам Грюндель удостоверилась, правильно ли оформлены билеты, посмотрела купе и, убедившись, что все в порядке, ушла, сказав при этом, что сейчас вернется — до отправки поезда оставалось еще минут пятнадцать. Она тут же вернулась с небольшим пакетом и попросила Миронова не сердиться, если она утомила его своими длинными рассказами, своей болтовней. Сказала еще, что в пакете небольшой сюрприз, но Миронов должен набраться терпения и подождать, пока тронется поезд.

На вспотевшем стекле вагонного окна Миронов нарисовал веселую рожицу девочки с косичками и написал: «Лора хочет домой». Мадам Грюндель рассмеялась и что-то сказала, но Миронов не слышал. Поезд тронулся. Состав набирал скорость, и за окном замелькали каменные громады с огненными глазами. А по нарисованной рожице широкими бороздами стекали капли. Потом зашел сосед по купе и стер рукавом со стекла и рожицу, и капли, и слова «Лора хочет домой».

А в памяти Миронова еще на долгое время осталась эта поездка и русская девушка из солнечной Гагры, ставшая вдали от своего дома и от своей родины мадам Грюндель. Он часто слышал ее мягкий голос и вспоминал ее ответ на вопрос: «Почему вы мне все это рассказываете?» «Вы чужой человек,— ответила она,— вам от моей боли не больно. Но вы увезете частицу ее туда, домой, и мне станет легче здесь». Он вспоминал ее детский сюрприз — маленький торт с весьма тонко выведенным сладким именем «Лоретта» и клочок бумаги, с которого глядит наивными глазами розовый слон с голубыми ушами. Ему иногда казалось, что она промелькнула в толпе на Калининском или на станции метро. В тот город Центральной Европы часто ездили его коллеги по министерству, приезжали и оттуда делегации, но Миронов никогда не спрашивал о мадам Грюндель. Он боялся. Ведь неизвестно, что могло произойти в тот поздний вечер в маленькой квартире, где жила в обществе своего слона затерявшаяся Лоретта Карасева.

Однажды Миронов на вопрос любопытного министерского чиновника, почему он не просится в поездку на знаменитую фирму, с которой так плодотворно начал работать, ответил вопросом:

— А не найдется ли у вас розового слона с голубыми ушами?

Чиновник пожал плечами и, удивленный, попятился.



ЮЛИЙ КРЕЛИН



НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ, ДОКТОР?

Повесть

I

— **В**от сейчас сию — ничего не болит. А иду — от силы пятнадцать метров без остановки могу, и все. Постою — тогда дальше. А сию — ничего.

— Какая у вас работа?

— Сию больше. Инженер. А раньше все больше на ногах, когда мастером в цехе был. Учился еще.

— Курите?

— Нет.

— И никогда не курили?

— Никогда.

Юрий Михайлович повернулся к своему коллеге и вполголоса сказал:

— Привыкли по стандарту расспрашивать. А зачем? Что это прибавит? Или поможет чем?

Коллега, Николай Иванович, усмехнулся и тоже принялся расспрашивать:

— Ноги мерзнут?

— Зимой сильно.

— Зимой у всех мерзнут... Сейчас, как и раньше? — Юрий Михайлович не отпустил от себя разговор.

— А сколько лет уже болят? — Николай Иванович опять перехватывает инициативу.

— Года три.

— К врачам обращались? Чем лечили? — Николай Иванович стал изучать стопы.

— Нет. Ничем.

— С кем вы сейчас живете? — Юрий Михайлович ищет пульс в ногах на самом верху.

— Жена и дочек две.

— На стопах пульса нет, Юрий Михайлович.

— И здесь не вижу. А сколько вам лет? Дочки большие?

— Если вы на бедрах не находите пульса, так мне и искать нечего. Надо класть его.

— Сорок восемь мне. Одна в десятом учится, другая в третьем. Вообще-то мерзнут, пожалуй, вот разделся сейчас — холодно. А что вы про семью?

— Если оперировать придется, хорошо, когда семья есть. Операция большая — посидят с вами, ухаживать будут. У нас с персоналом — сами знаете. Как фамилия?

— Моя — Лапин.

— А зовут?

— Алексей.

— Отчество как? Да что это из вас клещами вытягивать приходится?

— Алексеевич.

Юрий Михайлович уселся в кресле поудобнее, развернулся лицом к больному.

— Вот что, Лапин, — начал Николай Иванович. — Надо ложиться в больницу. Сделаем вам исследования, и, наверное, придется оперировать.

— А что у меня?

— Алексей Алексеевич, — снова включился заведующий, — у вас поражены склерозом сосуды, артерии ног. От этого они болят — кровь к тканям проходит плохо. Мы точно сейчас сказать ничего не можем. Сделаем исследования — тогда поговорим. Надо оперировать или не надо, может, просто полечить надо — все скажем после. Когда вы ляжете?

— Хоть сейчас. Жить же нельзя. Ходить не могу.

— Ну и хорошо. Места сегодня есть. Доктором вашим будет Николай Иванович Пирогов. — Юрий Михайлович сделал плавный жест рукой в сторону. — Его вы уже знаете.

— Надо лечиться, Алексей Алексеевич. Мы сделаем вам рентгеновское исследование сосудов..

— Это потом вы обо всем поговорите, Николай Иванович. Пусть ляжет сначала. Одевайтесь и идите в приемное.

Больной вышел.

Юрий Михайлович подумал: «Нам, врачам, нравится ставить диагноз с ходу, быстро, — это красиво, конечно. А им, больным, наоборот, нравится, когда заключение дается после длительной беседы, нудных и ненужных расспросов, осмотров, пустого глубокомыслия, многозначительного молчания...» И вслух сказал:

— У тебя когда операция начинается? Больного взяли?

— Подают уже.

— Так я, значит, минут через тридцать поднимусь к тебе в операционную.

Пришла старшая сестра отделения.

— Лидия Сергеевна, возьмите наши соцобязательства и повесьте их на стене в ординаторской.

— Я давно говорила вам, Юрий Михайлович, их когда еще велели повесить на видное место. Вот дождались комиссии.

— Не могу же я повесить больным на обозрение, что мы взялись освоить такую-то операцию, которую им же делать придется. Поскольку все равно не докажешь, будем вешать перед комиссиями. И снимать после.

Юрий Михайлович. Игорь еще советовал... в сходных ситуациях... не спорить, а корректировать в рамках порядочности и честности по возможности. Он говорил, что не надо бороться с неизбежными издержками, бог с ними, — думай лишь о собственной встрече с совестью. «Корректируй и коррелируй, — говорил он, — все эти положения, понятия и необходимости». Да-а. Он и корректировал.

Мы в тот раз сидели у меня дома. С работы пришли. Он после операции, которая радости ему не доставила. Сидел расслабленный, цедил рассказ о сегодняшнем больном, о сегодняшней операции.

Вкатился Гаврик. Лицо грязное — то ли слезы размазаны, то ли просто грязь.

— Папа, что это — сдачида́тьэму?

— Первый раз слышу. Откуда ты это взял?

А Игорь лучше слушал. Игорь всегда догадывался, как скорректировать, и скорректировал наши с Гавриком понятия и, я бы сказал, лексические и фонетические возможности.

Вопросом он все поставил на место:

— А за что тебя ударили?

— А мы играли, а он ударил, а я упал, а баба Катя его смеется: «Сдачида́тьэму, сдачида́тьэму»...

Вот тут-то бы мне и скорректировать, а я объяснять начал, что ему сказали. А Игорь иначе:

— Зачем же сдачи давать? Невелика заслуга ударить человека. Но и плакать не надо — одна грязь на лице остается. Ты пойми, малыш, бить человека плохо, и сам не бей никогда.

— А почему плохо?

— Тебе приятно было?

— Не-а...

— Ну вот, и опять слезы. Понимаешь теперь, почему плохо бить? Плачут всегда ведь, когда плохо. Вот то-то. Не надо сдачи.

— Мудрено ты, Игорек, ему говоришь.

— Ничего. Западет семечко, когда-нибудь и прорастет. Надо корректировать дворовую мудрость, даже когда правдой кажется. В детях надо сеять сомнения в легкости и простоте житейской целесообразности.

Мы отвлеклись от сегодняшней жизни и занялись пустым философствованием. А потом опять всплыла Игорева операция...

— Папк, а папк! А как это — умер?

Я был традиционен:

— Это я тебе в другой раз объясню. Подрости немного. Ладно?

У Игоря детей нет, силы не растрочены, опыта родительского никакого.

— Это, малыш, когда человек перестает жить. Исчезает совсем. Нету его и никогда больше не будет.

— Почему?

— Так. Не знаю. Пожил — и кончилось. День ведь кончается, да? Лето кончается, книга кончается. И человек тоже. Перестает жить.

— Как это, дядя Игорь? А что потом?

— Ничего.

— А зачем тогда, дядь Игорь?

— Кончай, Игорь. Ты не выпутаешься. Гаврик, пойдй попроси маму чайник поставить, чайку нам с дядей Игорем.

По-видимому, Гаврик задумался, потому что молча пошел из комнаты, нам ничего не сказал, да и про чайник, конечно, забыл сказать матери. Может, и не забыл, но и не сказал.

— Ну что ты завелся с ребенком? Он же не в состоянии понять все это.

— А кто его знает. Не в состоянии!.. Это я не в состоянии ответить. Видал, как он спросил: «А зачем тогда все это?» Понял?

— Ну не совсем так он сказал.

— Но мысль-то так шла. «А зачем тогда?»! Зачем, знаешь?

— Для радостей, для удовольствий.

- Ну вот! А ты говоришь — сдачи.
- Это не я говорю.
- Молчишь — значит, говоришь.
- Не болтай, Игорек. Ничего я не говорю. Если подумать, сдачи — это не по нашей специальности. А?
- Может быть. Но ты корректируй и сына. Тоже мне начальник — «подрасти сначала»!

II

- Юрий Михайлович, смотровая комиссия пришла.
- Входят трое. У женщин лица смущенные. Возглавляющий их мужчина серьезен.
- Лидия Сергеевна, покажите товарищам все наши бумаги. Вызовите профорга. А меня, пожалуйста, извините — вызывают на операцию.
- Что же вы, Юрий Михайлович? Знали, что мы придем, — и вдруг операция. Не надо было назначать. Мы тоже не бездельничаем.
- Да, вы правы, простите меня, пожалуйста, но так уж сложилось. Лидия Сергеевна и Петр Аркадьевич подготовились и все вам покажут.

Юрий Михайлович выбежал из кабинета и лифтом вознесся в операционный блок больницы.

Пирогов уже вскрыл живот. Стоял у стола спокойно. Сознание, что он полный тезка великого Пирогова, наверное, поднимало его в собственных глазах — оперировал он властно и уверенно. Может, даже самоуверенно.

Рядом стоял Петр Аркадьевич и смотрел.

— Ты что здесь окопался, Петь? Там комиссия ждет профорга. Давай туда. Что у тебя, Коля?

— Что у него! У него все нормально. Рубает в стиле Пирогова — весьма активно, но фигово.

— Ладно ласы точить. Чеси к комиссии.

— А вы что ж?

— Я! Я начальник, организатор. Если буду все сам делать — цена мне грош. Понял? Я еще и к Кольке сейчас помоюсь. А ты иди — скандал будет.

Юрий Михайлович опустил руки в таз.

«Нехорошо, конечно, — думал он. — Все неприятное я от себя отбрасываю. Только хирургию оставляю. Я могу считать, конечно, что заведовать мне положено лишь больными да хирургами, когда они хирургуют, но раз существуют определенные правила игры и я принял их, нанимаясь на работу, — должно их соблюдать. А я? Нечестно — перевалил на других. Это большая удача в жизни, если сумеешь быть честным, жить тогда, конечно, легче. Нет, не удача, пожалуй, награда, награда от судьбы. Да, от судьбы, потому и редко. А это у меня своеобразное бунтарство. Бунтарство всегда легче. Куда труднее возвращать добро. Это медленно. Всегда медленно. «Кувшин по каплям добром наполняется», — вспомнил он. — И злом, впрочем, тоже. Не привыкну к ценности капель. Тяжелый я человек, если разобраться. Элементарный эгоизм. Делаю что приятнее, а тяжесть другим. Его к комиссии, а сам на операцию... А Игорь бы пошел, он бы показал им себя начальником, он бы сделал все, чтоб представить отделение в лучшем виде, своим бы доставил радость и жизнь им облегчил».

После операции к Юрию Михайловичу подошла женщина.

— Здравствуйте, я жена Лапина.

— Слушаю вас.

— Скажите, доктор, эта операция опасна?

— Конечно. Всякая операция опасна, а тут надо разрезать весь живот, подойти к аорте, к главному сосуду тела. Возможно, там такой процесс, что ничего не выйдет. Бывают и осложнения тяжелые.

— Господи, какой мужик был! Думала, сносу не будет. Ладно, живой бы остался.

— Вы все обдумайте, сможет он существовать так или нет. Когда боли — ночи напролет... Мы пока исследования проведем, время еще есть. Поговорите, подумайте.

— А к нему можно ходить?

— Конечно. Пройдите сейчас...

В середине разговора в кабинет вошел еще один хирург отделения, Василий Борисович Титов. Когда Лапина ушла, он наклонился к заву:

— Вот так и надо, Юрий Михайлович. Пожестче. Они ко всему должны быть готовы, к любым неприятностям.

— А я жалею, когда так говорю. Успокаивать надо. Это я под впечатлением. Вчера жена больного с претензией к нам — зачем оперировали. Не надо, мол, было, все равно рак.

— Нет, точно вам говорю.— Василий Борисович поднял красивую руку, вытянул длинный палец, соединил губы в улыбке и затем разъял их в громком смехе.— Точно вам говорю: им надо жестче объяснять, что каждый человек имеет право на операцию и сам определяет возможности своего долготерпения.

— Ох и воин ты, Вася.

— А как же! У нас вечный бой. И больной и родственники должны знать, на что идут. Никаких неожиданностей. Смерть всегда возможна. Все четко.

— Ну давай-давай, воюй. А когда же удовольствия и наслаждения?

— А воевать — это и есть высшее удовольствие.

Титов удовлетворенно засмеялся.

Что означал его смех?

«Вот спортсмен,— подумал Юрий Михайлович.— «Спорт развивает силу». И резинка... Жует, как все эти приезжающие спортсмены. Канадцев на льду видит, фигуристов там всяких, бегунов. На конгрессе мы и врачей видали — никто не жевал. И вид у него неинтеллигентный какой-то. Я сказал этому Лапину, что долго будем исследовать, а зачем долго? Картина-то довольно ясная. Ладно. Пусть привыкает».

III

Юрий Михайлович поглядел на закрывшуюся за Титовым дверь, потянулся и пошел в палату посмотреть, а вернее, поговорить с одним больным.

В коридоре навстречу Николай.

— Кончил кровопускание?

— Как видишь.

— Идешь походкой человека, перегруженного знаниями и успехами.

— А ты куда? За знаниями и успехами?

— К Чупахину. Опять жалоба. Уже в следующую инстанцию. И, так сказать, как всегда, когда раздается выстрел, присутствующие кидаются к стреляющему, а надо бы прежде всего к пострадавшему. Инстинкт самосохранения?

Мимо прошел больной, молодой парень с длинными волосами. Пожилой больной шел навстречу. Остановился, посмотрел вслед парню и сказал докторам, как бы принимая их в свою компанию:

— Вот ведь бескультурье длинноволосое.

Николай через плечо поглядел на борца за культуру:

— Идите лечиться и не нервничайте по пустякам.

— Зря ты, Коля, так резко.

— Почему же они по каждому поводу мнение имеют и не стесняются его высказывать?

— Он болен, а ты здесь не для идейно-воспитательной работы. Каждый должен заниматься своим делом. Да и он в тебе усомнился.

— Так я в нем и не нуждаюсь.

— Нуждаешься. Потому как лечить надо.— Юрий Михайлович положил руку на плечо Николаю.— Ладно резонерствовать. Вон начальство идет, небось опять обследовать.

— Юрий Михайлович, я к вам с очередным пренеприятнейшим делом. В то время как я отбиваюсь от всех, вы, ничтоже сумняшеся, гуляете по коридору.

— Я к больному иду, Максим Семенович.

— Неумение распределить время — основная ваша недоработочка. Вы же сказали, что идете на операцию.

— Кончилась уже, Максим Семенович.

— Что ж, надо было опрометью бежать ко мне, вы же распрясно знаете, что эта жалоба нам чести не делает. Не нашли челюсть?

— Да где же мы ее найдем теперы!

— Вот так всегда! Сделаете великое дело, спасете жизнь человеческую, а потом такой конфуз, который может свести на нет все ваши героические усилия.

— Максим Семенович! Кишка лопнула сутки назад! Перитонит страшнейший, он был без давления, умирал, реаниматоры с ног сбились — до челюсти ли, кинули куда-то зубы.

В дверь постучали. Вошла больная.

— Большое спасибо вам, Юрий Михайлович, и вам, Николай Иванович. Хочу отблагодарить вас очень скромно.— Поставила на стол две бутылки коньяка и пошла к двери.

— Спасибо и вам, что поправились,— Юрий Михайлович соединил губы в улыбке,— но это вы совсем зря.

— Как это зря?! Мне надо отметить. Для меня надо.

— Для вас. А мы сопьемся.— Николай Иванович, кажется, засмутился начальства.

— Ничего, доктора, ничего, спасибо. До свиданья.

— До свидания, до свидания. К нам больше не попадайтесь.

Больная ушла.

— По-моему, дорогие друзья, у вас тут слишком патриархально. Как-то неудобно даже. Ситуация, позволительно сказать, ни в какие ворота не лезет.

Николай Иванович (примирительно):

— Да мы его в дело пускаем. Вот пойдем за сосудистыми протезами, он нам и пригодится.

— Ваша теория мне известна: давно не приносили коньяк — престиж отделения падает.

— Конечно, и сразу нам становится труднее и с инструментами, и с аппаратами, и со всякими, так сказать, сподручными средствами.

— Ладно, вернемся к нашим баранам. Пока жалоба не пошла высоко, я договорился с нашей районной стоматологической поликлиникой — они сделают ему протез вне очереди и сюда приедут мерку снимут.

Николай Иванович радостно вернулся к своей идее:

— А деньги мы соберем.

— Какие деньги! Я же договорился — они сделают бесплатно.

— О чем вы говорите! Максим Семенович! Коля! Надо же, чтобы он выжил сначала!

— А что, опасность не прошла разве?

— Тяжелейший перитонит! Еще могут быть абсцессы межкишечные.— Николай Иванович решил не успокаивать администрацию.

— Конечно. Мы не должны бездейтельно взирать. Все силы, товарищи, надо бросить.

— Мы всегда так, Максим Семенович, всегда.

— А сейчас особенно.

По-видимому, в силу того, что добрейший Максим Семенович уже давно на административной работе, он позабыл, что хирург — впрочем, и терапевт, наверное, тоже — работает только так, как умеет. И никакие приказания, указания, рекомендации, плохое или, наоборот, хорошее отношение, никакое моральное или материальное поощрение не могут ухудшить или улучшить его работу. У него не получится хуже, чем он умеет, и никогда не удастся ему сделать лучше, чем он умеет. Такова профессия. Любого из людей она делает по человеческим качествам выше, чем он был бы, занимаясь другим делом. Врач может быть и легкомыслен и халтурщик. Но дай ему другое поприще — он окажется хуже, разве что не так опасен. Портной может шить хуже или лучше. Хирург шьет всегда так, как умеет. Халтуры в его шитье быть не может, не должно. Игорь бы сейчас сказал: «Степень халтуры не важна. Важно, что халтурно сшить кишку страшно».

— А лекарств у вас для него достаточно?

— Николай Иванович вступил в тесный контакт с Ириной из аптеки. Она обещала раздобыть новый антибиотик — цепарин и мориамин, подпитать его надо. Дорого это только для больницы будет.

— Как это дорого? Архичрезвычайный случай! Потеряли зубы! Я ей позвоню.

— Не надо, Максим Семенович, мы ж пока договорились. Если будет осечка, мы вам скажем.— Николай Иванович уперся локтями в колени, положил голову на ладони и запустил пальцы в бороду — любимое занятие.

Максиму Семеновичу, видно, не хотелось спускаться к себе, туда, где концентрируются жалобы, комиссии, запросы, запреты, хозяйственные заботы, и он охотно переключился на другую животрепещущую тему, благо Николай подсказал ее.

— А что, Николай Иванович, не мешает хирургу борода? Может, это негигиенично? Как вы считаете, Юрий Михайлович?

Но Николай не дал ответить своему шефу:

— Во-первых, бороды мы знаем и у крупных хирургов. Прежде всего мой тезка Николай Иванович Пирогов был с такой же бородой, если не больше. Так? Пионер нашей асептики Склифосовский был с бородой. В годы недавние ленинградцы Опшель, Греков, москвичи Вейсброд, Спасокукоцкий, Герцен оперировали с бородами. Много их было, и результаты были неплохие.

Максим Семенович что-то хотел сказать, но Пирогов поднял руку:

— Простите, Максим Семенович. Природа зачем-то оставила мужику на лице волосы, и не нам ее исправлять. Мы не должны бороться с природой, мы должны следовать за ней. Не насиловать ее, а помогать за ради милости ее к нам. Природа бсится ретивых активистов, настроенно относится к энтузиастам.

Юрий Михайлович тоже был попытался остановить этот восторженный монолог, но..

— Простите, Юрий Михайлович, но я должен ответить всему миру, который время от времени обращается ко мне со своими сомнениями по поводу моей бороды. Дальше: в нашей стране ликвидация бород всегда была связана с усилением абсолютизма. Петр Первый заставил бояр сбрить бороды, Николай Первый указал, кому усы, кому баки. Бороды появляются вновь при Александре Втором и — отменяется крепостное право, создаются суды присяжных, наконец, лучшее в нашей истории — земские врачи. Пока есть бороды, есть надежда на выздоровление больных. Чухахин если выздоровеет, то только благодаря бороде... Наконец, если не будет у меня бороды, может, лучшая женщина, ниспосланная мне судьбой, пройдет мимо, что уж совсем плохо...

— Иди, Коль, лучше к Ире в аптеку, займись доставанием лекарств, это сейчас важнее всех бород мира.— Юрий Михайлович взял со стола коньяк, положил его в ящик.

Все разошлись.

IV

— Ирочка, привет. Выручай.

— Что, Николай Иванович?

— Больной у нас, знаешь, с перитонитом поступил, тяжелый, еле спасли.

— Ну?

— Несчастье с ним.

— Что такое?!

— Протез в операционной потеряли. Зубы. Жалуются. Надо, чтоб все в ажуре было. Нужен цепапин и мориамин. У тебя есть?

— Коля, это ж очень дорого! Ты же знаешь, сколько на вашего больного в день отведено, включая операционную, наркоз, реанимацию и рентген.

— Ну хорошо, есть же больные, на которых мы почти ничего не тратим.

— О чем говорить! Просто я хочу сказать, что ваша хирургия столько денег съедает, что до конца года нам не хватит.

Николай не слышит про деньги. Если человека одолела идея, факты ему ни к чему.

— Ты для меня, лапонька, можешь сделать? Лично для меня?

— Для тебя я все могу. И для больного, кстати, тоже. Но вы должны помнить, что деньги считать надо.

— Да мы помним, помним. Больной, понимаешь... И протезы... Ты кончила работу?

— Да. Уже ухожу.

— Одевайся тогда, пойдем вместе. И вообще темно уже. Пора. Так сказать, «ночь, улица, фонарь, аптека», все может быть оставлено. Надо уходить.

Ира засмеялась и стала снимать халат.

В воротах больницы они встретились с Юрием Михайловичем.

— А что, если мы зайдем напротив в кафе и пообедаем? — выпалил он с ходу.

Особых возражений не было.

Вошли.

Сели.

Заказали.

Юрий Михайлович ест и молчит — видно, изголодался. А Николай больше говорит:

— Как поется, чтобы быть сильным, надо есть.

— Очень редкая мысль. — Юрий Михайлович, по-видимому, утолил первый голод. Уже совсем другая улыбка на лице. — А зачем нам сила?

— Чтобы, например, я мог оперировать сколько угодно. Если не поем, не могу оперировать в полную силу.

— Полно тебе, Коляк. Запей лучше немного. Мы же целыми днями за столами стоим. И не едим. И ничего — оперируем. У нас планка такая: за столами не сидеть, а стоять. И вообще сила нам ни к чему. — Юрий Михайлович, видно, совсем успокоился и приготовился пуститься в длинные рассуждения. — Сила человека в его слабости. Вот у предков наших были сильные мышцы, крепкие зубы, длинные ногти — и ни к чему им был такой большой черепок, как наш. Гиганты быстро вымерли. А кто послабее, те вынуждены были развивать свой мозг. Чтобы стать человеком, нужна слабость. Потому женщины более человечны, тонки, деликатны, они и выносливее нас. Предлагаю выпить за Ирочку. Алаверды к тебе, так сказать, подружка наша и благодетельница.

Ирочка, наверное, тоже отдохнула немного от работы — появилась уверенность и вальяжность.

— Может, и так, Юрий Михайлович, но женщины любят сильных.

— Видишь, Юра, а ты говоришь — не есть.

— Я говорю — не есть?! Не есть — я никогда не говорил. Но женщин я понимаю плохо, совсем не понимаю. То ли они для меня немые, то ли я для них глухой? Но это между прочим, я про другое. Есть и пить надо, и хорошо, но для поддержания мозга, а не для силы. Для нормальной деятельности силы у нас достаточно всегда, пока мы здоровы. Мозг нужен нам, чтобы знать, куда ведет нас природа.

— Что, назад на травку?

— Никогда! Я говорю: знать и понимать природу, а не чувствовать ее. Назад на травку — это регресс мозга. Предлагаю выпить за наш интеллект.

— У вас в отделении, я вижу, процветает болтовня.

— Юра, она не видит, что мы просто ухаживаем.

— Конечно. И ухаживаем, используя мозг, а не мышцы. Отсюда, может, у нее и разочарование. Что ж! Вы, ребята, еще будете кофе пить, а я, раз уж мы напротив больницы, забегу по деревенской привычке взглянуть на нашу работу — и домой. Ирочка, спасибо за компанию, помни про наши нужды. Коля, вся надежда на тебя.

— Боже, какой утилитарный подход, — улыбнулась Ира.

— Ирочка, господь с вами! — Юра охотно включился в игру. — Просто на дело и потеху у нас один и тот же час.

Ира засмеялась.

— Ладно, закругляем производственную тему. Месть моя будет ужасна и на самой личной почве.

— Коля, ты под ударом.

И Юрий Михайлович удалился, заплатив официантке незаметно для сотрапезников.



Утром, открыв дверь своего кабинета, Юрий Михайлович обнаружил на полу бумагу. Подсунули под дверь. «Заявление. Заведующему отделением от больного Кузнецова В. И. Прошу создать мне нормальные условия лечения (ограничить от шума в палате ночью, стука в переборки, звона посуды и физических прикасаний во время

сна, производимых одним больным, и т. д.). Испытывал неоднократно вышеуказанные воздействия в течение ночи и последующего утра, у меня стали трястись руки и все члены тела, появились бессонница и видения. Прошу отделить меня от указанного больного в любом месте. В случае невозможности отпустить домой. Кузнецов».

Юрий Михайлович подошел к дежурной сестре.

— Кузнецов — это из пятой после резекции?

— Да, Юрий Михайлович, четвертый день после резекции. Инженер.

— У него что, психоз начался?

— Нет, он-то нормальный. В палате рядом психоз. У Шмелева.

— Это с чем? Не помню.

— После непроходимости. Седьмой день.

— Сильно гулял?

— Нет. Не очень. Мы его успокоили. Спит сейчас.

В палате спали все. Наверное, пока не утомили, не спал никто. Юрий Михайлович хотел выйти, но в это время открыл глаза Кузнецов и резко поднялся. Юрий Михайлович приложил палец ко рту, показал глазами на спящих и, сделав успокоительный знак рукой — мол, все будет в порядке, — быстро выкатился из палаты.

С утра уже настроение испорчено. Но к операции все наладится, все исправится.

Восемь пятнадцать.

Пора принимать дежурство у сестер.

Принял.

Пошел к врачам в ординаторскую.

— Коля, в твоей палате у больного психоз. Там целый скандал, заявления. Разберись. А я пойду на утреннее административное совещание.

— Как же так? Я буду заниматься психами, еще по местному что-то надо делать, ты на совещание... Когда же оперировать начнем?!

— Ну хорошо. Я сам все это буду делать.

— Я сделаю, но так не годится.

— Пиши в газету.

Николай махнул рукой и пошел в палаты.

— Да, Николай! Поступил этот Лапин, проследи, чтоб сегодня у него все анализы взяли — нечего с ним тянуть. Может, рентген сегодня успеешь сделать, аортоартериографию, а? Без снимка не стоит его делать — не исключено поражение и ниже.

Чисто медицинским разговором Юрий Михайлович хочет снизить напряжение.

Николай Иванович кивнул и пошел на обход.

Заведующий какое-то мгновение еще глядел ему вслед. Коридор длинный, в торцах его окна. Свет из одного окна и яркое солнце из противоположного отражались в пластиковом полу. Хорошо видна грязь.

— Петр Аркадьевич, убегаю на совещание — прошу тебя, покажи Лидии Сергеевне, какой пол.

— Так не было ночью санитарки...

— Я все про санитарок знаю, но пол должен быть чистым. Скажи Лидии Сергеевне. А то если я пойду указание делать — это уже начальник говорит, сам понимаешь.

— Ладно, Михальч, скажу.

В конференц-зале сидят заведующие отделениями, хозяйственники. Уселся и Юрий Михайлович. Уже начало десятого — больше часа он крутился в больнице, а работа еще не началась.

— Где председатель месткома, где доктор Пирогов?

Юрий Михайлович пытается оставить Николая в отделении:

— Он занят сейчас, психоз у одного больного.

— Но, Юрий Михайлович, не может же быть такое, чтоб руководитель нашей профсоюзной организации не знал, о чем мы тут говорим.

Юрий Михайлович невнятно пробормотал, что не будет делать тайны и все ему расскажет.

Сначала шли обычные доклады всех заведующих отделениями: сколько было за неделю поступивших, сколько выписанных, сколько операций, сколько умерло, у кого нет санитарок, кому не хватило белья и так далее и тому подобное, что могли рассказать наиболее квалифицированные специалисты, сиречь, как предполагается, лучшие врачи больницы.

Юрий Михайлович порадовался, что Николай не сидит рядом, не тратит время на это совсем уж ничемушное обсуждение вопросов, компетентное лишь на уровне хозяйственных работников отделений, больниц, здравотделов или и вовсе на уровне министерств. Он слушал, не уставая удивляться, как некоторые заведующие отделениями совершенно серьезно начинают вступать в дискуссии абсолютно бессмысленные и неразрешимые.

Ира сообщает о последнем совещании заведующих больничными аптеками. Им, оказывается, сообщили, что с нового года растворы, применяемые для капельных вливаний, они не должны делать сами, а использовать только полученные с центральной аптечной базы. Это дороже. Когда физиологический раствор делают в больнице, литр стоит меньше десяти копеек, а централизованно полученный флакон физраствора — рубль тридцать четыреста граммов.

— Правда, есть надежда, что цены изменятся. Конечно, все это значительно облегчает труд в аптеке, мы будем значительно беззаботнее. Но мы в большей степени будем зависеть от внешних обстоятельств, от нужд центральной базы и прочих центров...

Начальство подхватило это сообщение:

— Вот видите, товарищи, как говорится, и рады бы, да не по Сеньке шапка. Мы слишком много оперируем, нам не хватает и уже не хватает никаких денег, никакого белья. Я понимаю, когда экстренная хирургия, привезли по «скорой помощи» — здесь надо сделать все, что в наших силах, и даже сверх того. А вот что касается плановой, не срочной хирургии, тут, товарищи, надо по одежке протягивать ножки. Я понимаю, к хирургам обращаются из других районов, так как отделения сосудистой хирургии пока еще не везде, с местами для сосудистых больных в городе плохо. Но вы, товарищи в приемном отделении, вы должны госпитализировать строго по установленной норме, только по наряду, данному в центропункте, или по направлению поликлиник нашего района, либо в порядке исключения на направлении должна быть подпись главного врача или его заместителя. Мы не должны создавать некую двусмысленную ситуацию. Зачем объясняться и доказывать? Пусть будет все что положено. Мы честны — и это надо правильно оформлять.

На эту тему еще были недолгие словопрения. Юрий Михайлович лишь коротко сказал, что их отделение добились лестных обвинений в излишней, слишком большой работе, но заверяет администрацию и общественные организации, что и впредь будет работать честно и не покладая рук.

Все посмеялись, а Юрий Михайлович продолжал молча про себя обсуждать эту же проблему, молча возражал. Молча искал резоны... Объяснять все за и против вслух было бессмысленно, а по опыту он

знал, что, слава богу, все равно будет, как и было. Ну, попортят немного нервов вначале.

Он отключился.

Юрий Михайлович. Прошлым летом это было. Решили с Игорем в выходной поехать на дачу.

Когда я подошел к метро, он уже стоял там и ждал меня.

— Слушай, Юрка, давай зайдём на рынок. Купим что-нибудь, а?

— Можно, конечно, но для чего?

— Как для чего?! Ну что ты любишь, скажи мне?

— Все люблю. Саму жизнь.

— Так не бывает. Любят какие-то конкретные проявления жизни. Я не верю тому, кто не любит хорошо и вкусно поесть. А ты? Животное — пожует и снова жевать, когда время придет.

— Короче. Мысль давай.

— Ну вот! Вот весь ты тут. «Мысль давай! Работай, ребята!»

— Человек двадцатого века только в работе и проявляется. Я и стремлюсь проявиться. Таков век — век работы.

— Болтун. Надо любить есть — тогда я тебе верю как человеку.

— А я не верю человеку, боюсь человека, который есть любит вкусно, а детей не имеет. Вот он страшен — не за что и не за кого бояться. Если детей нет, ему все позволено.

— При чем тут это? Это философия.

Нелепый этот разговор был уже по дороге к рынку, благо он был рядом.

Я выгадал деньги, подошел к ближайшему красивому, красочному прилавку и попросил дать полкило помидоров. И тотчас с улыбкой стали взвешивать эти прекрасные, словно хорошие яблоки, помидоры. Игорь стоял рядом и оппозиционно молчал. Но только мы отошли от лотка, как он начал брюзжать:

— Кто же так ходит на рынок! Ты посмотри на красоту и обилие. Радуйся. Забудь, что в магазине дешевле. Зато красиво, чисто, улыбочиво. Так мы все сейчас с ходу купим, а дальше что?

— Не понимаю, Игорь, чего ты хочешь? Чего ты привязался ко мне? Хочешь вкусное? На! Хочешь на рынок? На! Чего же ты хочешь еще и как?!

— Милый мой, надо походить, посмотреть, пощупать, наконец, поторговаться. Понял, дурачок? Какой же это рынок, когда не торгуешься?

Юрий Михайлович посмотрел на часы: половина одиннадцатого. Наконец кончилось.

VI

— Ну что, ребята, по машинам? Берем больного в операционную?

— Только что повезли.

Зав пока пошел смотреть еще одного больного. Привезли ночью. Он остался не совсем ясным для дежурных. Неясен он и Васе, который зовет шефа.

Вася, он же Василий Борисович Титов, на ходу рассказывает про больного. Полтора года назад перенес операцию по поводу туберкулезного перитонита. Теперь спаянная болезнь. Временами приступы непроходимости. Вот и сейчас приступообразные боли.

Больной лежит спокойно.

Посмотрели,

Пощупали.

Поглядели снимок.

— У вас спайки. По возможности лучше не оперировать.

— Приступы чаще стали.— Больной активно вступает в беседу.

«При непроходимости они не так уж активно беседуют»,— подумал Юрий Михайлович, а вслух стал объяснять:

— Приступы непроходимости у вас, конечно, есть, но вы, наверное, знаете, что чаще они проходят сами только от лечения, без операции. Мы, хирурги, в таких случаях всегда стараемся обойтись без операции.

— Знаю, знаю. Но вы видите на снимке уровни?

— Вы часто попадаете в больницу с этим?

— Несколько раз уже.

То-то, я вижу, вы к своей болезни подходите вполне научно.

Больной усмехнулся, а Вася шепнул, что больной врач.

— Николай Иванович! Посмотри-ка ты тоже коллегу нашего.

Николай, закончив осмотр, похлопал по плечу больного и сказал:

— Я считаю, что оперировать вас не надо... — И пошел к двери.

— Вот видите, коллега, мы все одинаково думаем. Правда, Николай Иванович более категоричен, чем мы с Василием Борисовичем.

Николай остановился у дверей — видимо, несколько смутился.

— Ну пошли. Да, Николай Иванович, мы тоже так думаем.— И все вместе вышли из палаты.

— Что ж ты, Вася, не сказал, что больной врач? Так ведь легко попасть в дурацкое положение.

— Виноват, Юрий Михайлович. Не подумал.

— Вот и плохо, что не подумал.— Это Титову. А следом Пирогову: — И ты хорош. Изрекаешь решение, хоть из вежливости поинтересовался бы, что говорили до тебя. Даже если не я, а просто другой врач.

— Да ведь ясно же...

— А мне кажется, лучше соперировать.— Вася даже остановился от собственной решительности.— Непроходимость есть, уровни на снимке есть, боли сохраняются. Спайки там, без сомнения...

— Видишь, Коля, есть и другие мнения. Но я бы все-таки сделал блокаду, спазмолитики, посмотрел бы. Вот стимулировать кишечник, наверно, не надо.

— А почему не постимулировать? — Николай спрашивает, видимо, потому, что смущен.

— При препятствии усилим активность — может порваться.

— А по-моему, стоит взять на стол. Лучше сделать напрасно операцию, чем упустить и похоронить. Каждый человек имеет право на пробную операцию.

Юрий Михайлович засмеялся.

Николай Иванович усмехнулся.

Василий Борисович посмотрел на них победно, радуясь, по-видимому, найденной формуле.

— Конституционное право он, конечно, имеет. Но если удастся разрешить непроходимость, пусть лучше воспользуется правом не оперироваться. Ты представляешь, что в животе делается после туберкулезного перитонита? Туда и не войдешь. Все в сплошном панцире. Можно и не найти, где кишка сдавлена.

— Не торопись. Запорешься — костей не соберешь.— Николай пытается убедить Титова безапелляционностью.

— А ликвидируешь сдавление — новые могут появиться. Таким больным осуществлять свое конституционное право надо, когда выхода нет.

— Лучше сделать сто напрасных операций, чем одного похоронить.

— О! Мысль привлекательная! Это мы уже проходили. Но лучше самому подумать каждый раз, чем иссушать мозги удобными афоризмами.

Василий Борисович пошел переодеваться в ординаторскую.

В ординаторской никого не было. Вася снял халат и повесил на крючок. «Копают они под меня.— Снял ботинки и аккуратненько поставил их в шкафчик на самый краешек.— Давно хотя, чтобы я ушел.— Снял галстук, повесил на гвоздик внутри шкафчика.— Пожалуйста, я держаться не буду. Пусть скажут — и я пойду.— Рубашку он повесил на плечики, расправив складки, а брюки тщательно сложил по складочке, шовчик к шовчику.— Конституционное право! Намеряет. А я считаю — надо оперировать.— Брюки тоже повесил и быстро надел свою операционную зеленую пижаму, халат и решительно двинулся к лифту.— Надо!»

Юра переодевался в своем кабинете. Николай сидел рядом уже переодетый.

— Зря ты его, Юра, как следует не обрезал. Спортсмен, а не врач!

— За собой не уследишь, а тут еще других бить. Больно хлопотно. Но вообще такие ребята опасны. Категоричная радикальность! Взять всех на диспансерный учет, всем профилактически сделать операции — и ликвидировать все грядущие непроходимости. Превентивная оперативная санация. Профилактируем будущее. Терминология — залюбуешься, а? Недаром он говорит, что врач прежде всегоследователь... Ну, зарядился порцией желчи, теперь смело могу идти в операционную.

Лифта он не ждал, а стал медленно подниматься по лестнице в операционный блок.

«Нет, не надо его оперировать. Во всяком случае, обождать-то можно. Ведь человек живой. Че-ло-век. Чело века. Лоб века. Лицо времени. Определитель времени. Но и Вася чело времени. И женщины наши лицо времени. Хорошо, что их опять становится меньше в хирургии. Не женское это дело — медицина. Хотя и в начале Возрождения уже были они в медицине. Даже лекции читали в Болонье, в Солерно... Книги медицинские писали. Да еще в стихах. А некая Меркуридис, век тринадцатый, кажется, так и вовсе хирургией занималась. Говорят, успешно. Самодовольное лицо времени сегодня. Женщины впервые!.. Э-э!.. Пока по этой лестнице дойдешь, чего только не придумаешь...»

VII

Больной уже был под наркозом. Начинается наконец рабочий день — рабочее полезное время. Санин снял халат, часы, пошел мыться. Браслет от часов на руке оставил врезавшийся след. Пока моется, одевается — складки расправятся.

А после операции Юрий Михайлович остался наверху в операционном блоке и стал ждать, когда этого больного выведут из наркоза, увезут в отделение, привезут следующего, снова начнут давать наркоз, и лишь после этого он сможет опять пойти в операционную, чтобы оперировать этого следующего больного. Поэтому он решил не спускаться вниз, а остаться тут.

И каждый раз так. Если кто-то был — они болтали. Если оказывался один — вытягивал ноги, положив их на стул, откидывался на спинку кресла, сдвигал свою шапочку почти на глаза, закрывал их и думал. Иногда про работу. Чаще про несущественное, Игоря вспоминал.

«Был бы второй стол — переходил бы от стола к столу. И второго бы анестезиолога. От станка к станку должны переходить. Мы ж рабочие, а так у нас простой, просидь вернее. Сил бы у меня хватило и на десять операций в день, если бы подряд и без траты времени на пустяки. И больные бы не лежали неделями в больницах до операции».

Пришел Николай.

— У Лапина, Юра, сегодня все анализы взяли.

— И резус? Не дай бог отрицательный.

— Если все будет в порядке, мы найдем место, куда в расписание всунуть.

— Нет, на этой неделе все забито. Придется на ту неделю назначать. Если все будет нормально, и если кровь будет, и если здоровы будем, и если...

Они засмеялись.

VIII

Николай Иванович. Операция закончилась. Я пошел делать аортографию. Привезли Лапина. Контраст уже налили в шприц. Я сказал, чтобы одну ампулу приготовила, а она уже и вторую разбила. Ампула же дорого стоит. Ладно. Какой смысл делать замечания, упреки... на все эти обвинительные замечания они лишь ищут возражения, лучше после скажу. Сейчас огрызнется лишь. Что это я за Юркой повторю? Рентгенологи уже в пультовой. Ждут. Смотрят из-за стекла своего свинцового. Иглой прохожу. Вот. Пульсирует. Ну-ка. Так. Кровь пошла. Это я хорошо попал. Это у меня хорошо получилось. Так. Теперь переходник. *Нина, дай переходник.* Уже она наготове с ним. Хорошо. *Новокаин!* Так, промыли. Вот. Пришел Юрка. Сейчас что-нибудь спросит. Чего пришел? *Все сделали, Юрий Михайлович, попал хорошо.* Зачем сразу больному говорить что-то? Я и сам могу успокоить, если надо. Похвалил, что попал сразу. Ясно, что хорошо. Пришел бы да притаился. Что он думает?.. Ведь и я не маленький. *Готовы вы там?* Прикрепляю переходник к игле. Присоединил. Меня уже тоже поздно учить жить. Шприц во втулке хорошо держится. Целую речь мне произнес. Каждый радуется своему успеху. Ясно, что и я радуюсь сейчас. Никакого фанфаронства. Фанфаронство! Он это слово любит. Просто любит это слово и всюду сует его. В конце концов, я не могу сказать, что он хирург лучше меня. Все мы одинаковые. Еще неизвестно, кто лучше. Похвалил. Хотя мужик он хороший. Претензий к нему никаких. И я не хуже. Говорит, радоваться успеху — значит, думать, что он случайность. *Посмотрите, сколько атмосфер на манометре. Нормально.* Случайность, не случайность! Говорит, что, когда барабанят по поводу какого-нибудь успеха, кажется, что радуются неожиданному. Все в меру. Может, и прав. *Все идите отсюда, все. Лапин, мы сейчас все уйдем. Включится автоматически. Будет горячо. В ноги может пойти горячее. Не дергаться. Это не страшно. Лежать спокойно. Понял? Я пошел.* Из-за стекла мутновато видно. Освинцованное. Зачем нам зря облучаться? Молодцы рентгенологи, что сделали. Спасибо. На операций — уж там приходится облучаться. И за вредность нам не платят. Рентгенологам и наркотизаторам платят, а нам нет. А нам вредно и от тех и от этих. *Нажимаю. Следите.* Нажал. Пошел контраст. Ну грохочет барабан. Что твой прокатный стан. И грохот, и жара в операционной, и вентиляции нет — все равно не вредно. От такого грохота и больной может испугаться. *Все! Побежали.* Лежит спокойно. *Горячо было?* Конечно. И в ноги не пошло. Закрыты сосуды. Хм. Хорошо, если больше контраста не пона-

добиться, если сейчас все увидим. Аптека уже воеет от наших трат. Ирка молодец. Достала все лекарства. Хорошая она девка, только все из-за денег орет, ругается. Интересно, а как дома — тоже орать будет? Как дома... как дома орать... *Новокаин дайте*. Еще промою. А он ничего, Чупахин. Может, выскочит удачно. Должен. Должен выскочить. А протезы сделаем. Но хамство — жизнь спасли. С того света, можно сказать, жалоба. Выжил бы! Лишь бы... Тьфу-тьфу, не сглазить бы. *Полежи спокойно*. Если все получилось с первого раза, так на этом и закончим. Суеверный дурак. Если. Если. Верить надо в науку. Что-то Юрия Михайловича нет. Вот и он. Дураки, говорят, легки на помине. Сейчас что-нибудь скажет. Он начальник — имеет право. *Все нормально, Юрий Михайлович. Сейчас снимки посмотрим*. Уже и снимок готов. *Хорошо получилось. Вот, не идет контраст дальше. Закрыты обе подвздошные артерии. Можем кончать*. — Нет, Коля, сгелай снимок еще раз, ниже, на бедре. *Посмотрим. Если глубокие бедренные хорошие, так сделаем все из живота. Не будем и открывать на ногах. Заживет-то так лучше*. — *Может, не стоит, Юра? Контраст жалко. Хорошо получилось*. — *Контраст жалко, Гену жалко*... — *Какого Гену? А, черт... надоел ты с Геной*. Ну дает Юрка! Смеется. «Гену жалко!» А-а, «Гену жалко»? *Что ж мы, сейчас деньги с тобой начнем считать и жалеть, когда мужик у нас тут уже, лежит на столе? Ты же сам понимаешь, что и от этого зависит успех операции*. — *Можно сгелать, конечно. Но...* — *Сгелай, сгелай, Коля*. Может, правда из живота все удастся сделать? *Нина, дай новокаин промыть, приготовь контраст еще*. А-а, он же готов. А я ругаться хотел. Обещал Ире позвонить. Наверное, не ушла еще. Успею. Дождется. Дождется, дождется...

Кого же это мы с ним дожидались? Сейчас что-то не вспомню. Сидели на лавочке, на бульваре. Или нет... Никого мы не ждали — из библиотеки шли. Статью какую-то прочитать надо было. Я-то стал читать, а Юрка взял книгу, что-то вроде «Трех мушкетеров», и всю дорогу на ней сидел. И время от времени болтал. Точно. Мы после библиотеки сидели и никого не ждали. Он на лавочке откинулся, глаза закрыл, лицо солнцу подставил, ноги выгянул и болтал что-то. Мы уже все обсудили, прочитанное мной, а он все про мушкетеров или про кого-то вроде того талдычил. *Опять спокойно. Опять горячо будет. Мы выйдем все... Ну? Было горячо в ногах?* — *Где-то на бедре кончилось*. — *Хорошо. Проявляйте, а я пока еще промою*. И прошла женщина мимо нас — красивая женщина! Я ему показал на нее, а он опять про мушкетеров. Говорит, крайности всегда затеяют суть, маскируют главное. А я ему говорю, что в этой женщине ее красота и есть главное. А он говорит: «Откуда ты знаешь?» «Но она прекрасна». «Прекрасна! Но с человеком еще и поговорить хочется». Ему болтать главное. «Вот чай если горячий очень, то ты чувствуешь в основном горячее, температуру, а не вкус и аромат, — горячо только». «Далекая аналогия — чай и человек». «И человек также. Очень красив, очень толст, очень высок, слишком ярко выражены его внешние национальные или расовые черты, слишком специфический говор — все яркое внешнее обращает на себя основное внимание и затмевает человеческие его качества, человеческую его суть. Понял?» «Как чай, да?» «Как чай горячий. Как одежда яркая, как любая форма». А ведь я всего-то на красивую женщину обратил его внимание. Ему только суть подавай, а разве жизнь из одной сути состоит? Вот Игорь ему и говорил, что жизнь он не любит по-настоящему. А-а! Мы Игоря и ждали. Вернее, он ждал. Аождались. *Николай Иванович, снимки готовы. Посмотрите*. Посмотрю сейчас, посмотрю. Успею еще к Ире. Дождется.

IX

Юрий Михайлович снова пошел посмотреть больного доктора. Вместе с ним Василий Борисович и Петр Аркадьевич.

— Болит так же. Может, привык немного, а может, несколько уменьшилась приступообразность болей.

— К боли, как вы знаете, не привыкнешь. Рвоты не было?

— Нет.

— Живот по-прежнему мягкий. Петр Аркадьевич, посмотри ты, что скажешь?

Они были единодушны: можно подождать. Лишь Вася, по-видимому, остался при своем мнении, но молчал.

— Ты последи по дежурству за ним, Вася, а если что — позвони.

В коридоре их встречает заместитель главного врача по экспертизе. Вся жизнь в больнице проходит в коридорах, все встречи, большинство разговоров, — во всяком случае, начинаются они в коридорах часто. Вот и эта доктор, отвечающая за больничные листы, за перевод на инвалидность, контролирующая врачей, — тяжелая, неблагодарная работа — идет с явно неприятным разговором. По лицу видно, по походке, по всему. Идет как афишная тумба с наклеенными распорядками комендатуры.

— Юрий Михайлович, до каких же пор мы будем мириться с Пироговым, с его бездельем? Когда наконец вы его научите правильно работать, а не бездельничать?

— Что случилось, Варвара Егоровна? Пирогов бездельник?! Да это ж опора в превратной судьбе. К тому же предместкома, а вы такие вещи говорите!

— Его общественная работа меня не интересует. Вы подумайте: из вашего отделения идет больной на ВТЭК. Ермаков, раковый. Ему группу надо. И, конечно, Пирогов!

— А что, Николай Иванович не написал посыльный лист?

— Написал. Написал, подписал и успокоился.

— А что же еще?

— Ну, во-первых, ваша запись должна быть сделана собственноручно в истории болезни. А здесь записан только ваш обход и рекомендации.

— Во-первых, при чем тут Пирогов? А во-вторых, считаю, что все в порядке. Зачем я буду сам писать? Мне некогда. Я затем и защищал диссертацию, чтоб освободиться от писанины, затем и выбивался в начальники. Подпись моя есть — все в порядке. Если нет — давайте подпишу.

— Подпись ваша есть, но Пирогов должен лично прийти с историей болезни ко мне. Представить больного лично. Почему я должна разбираться в ваших записях?

— Пирогов занят целый день. Он с утра делает обход, выписывает больных, записывает все истории болезней, выписки, карты и прочую мишуру. Затем оперирует. Делал аортографию. Перевязки. Какой же он бездельник? У него просто времени не остается.

— Нет времени! Он все делал, что ему положено по должности. Он за это деньги получает.

— Деньги получает! Свою зарплату он отработывает. И, должен вам сказать, с удовольствием и честно.

— Значит, я сама должна там во всем разбираться?!

— Да, вы деньги получаете за это. Раз уж вы деньгами попрекаете.

Юрий Михайлович внутренне ужаснулся своим словам. Пожилая женщина. Грубо. О деньгах дурацкий разговор. Игорь всегда старался дружелюбно, старался смягчить, сгладить.

«Конечно, примеры дружелюбия должно видеть с детства. Дружелюбие. Дружба. Любовь порождает дружбу и поглощает дружбу. Вот Игоря я любил. А дружба, как говорят математики, функция от любви. Или я что-то путаю. Путаю в математике, путаю в понятиях...»

Юрий Михайлович Санин вспоминал Игоря и в операционном блоке и после, сидя один в своем кабинете. Вспоминал часто. Вспоминал и думал про сегодняшнее:

«Николай хотел сегодня в библиотеку. Молодец, много читает. Все знает. Всегда можно спросить, когда, кто, что предложил, чье авторство... Ему еще немного практики — и будет все хорошо. Самоуверен, конечно, но это пройдет. Невоспитан. А я что — лучше? Стеснительность — от самодовольства. Самоуверенность — от уверенности. Мне так больше нравится стеснительность. Ирина ему, конечно, вполне может мозги вправить. Еще видно будет кто кого. И будет ли еще борьба, посмотрим. Пора домой. Ира и Коля. Борьба. Какая это борьба? Пусть ищут друг друга без борьбы. Перепадет и нам что-нибудь. Ему надо больше времени. А он все здесь, в отделении. А если станет уходить? Мир меняется. Все меняется. Меняются наши взаимоотношения и условия отношений. Не бороться с изменениями, а стараться к ним приспособиться без ущерба для других. Ну и для себя. И в медицине наступает эра техницизма, инженерия в медицине. Больной будет отстранен от мук и страданий врача. А страдания больного будут объектом воздействия аппаратов — и только. Увлекательно, но не нравится. Не ругать же новое, новых, новшества? Не противодействовать же? Говорят, в медицине наступает бездуховность. Модное словечко. А Ира и Колька? Пока такое существует, бездуховность не опасна. А если не любовь? Тогда хуже. Медицина пока не наука — это нам и нравится. Врачи рядятся в ученых, а спроси любого — хочет он быть мединженером? То-то. Великое ремесло. Интуиция. Стало быть, и искусство. Игорь бы сказал: надо искать — не бороться, а искать путь... И что это всякая банальность на ум приходит? Надоело. Пока есть ситуация Ира — Коля, мир продержится. А? Впрочем, может, никакой ситуации и нет, я все сочинил с устатку. А отчето мне было уставать сегодня?..»

Х

Пора домой. Юрий Михайлович Санин посмотрел в темное окно, увидел лишь собственное отражение, закинул руки за голову и, сцепив их на затылке, сильно потянулся, уже не видя ничего в стекле, потом встряхнулся, как собака.

— Нет, хватит, пора домой.

Он решительно повернулся к вешалке, стащил с себя операционную пижаму, надел свою цивильную сорочку, брюки надел, заправил в них рубашку, почти уже встал на путь в дом родной, но почувствовал — устал. Санин вспомнил, как Игорь однажды устроил небольшое словесное шоу, рассказывал про свою профессиональную лень. (Когда Санин устает или собой недоволен, что-то гложет его или что-то случается, он вспоминает Игоря. А что ж сегодня?) Редкий случай — Игоря слушали довольно долго. Сейчас не часто удается что-нибудь рассказать. Слушать либо разучились, либо устали слушать — перебивают. Даже когда пишешь длинную фразу, и то сам себя начинаешь перебивать. Игоря никто тогда не перебивал, и он тягуче рассказывал:

«Я ленив. Я чудовищно ленив. Я люблю, чтобы все было близко, чтобы меньше двигаться. Для этого надо рационализировать свою жизнь; пусть все будет под рукой. Я люблю, чтобы мой беспорядок

был моим беспорядком, потому что мне лень что-нибудь искать, а беспорядок при сохранившейся памяти — это порядок, это личный порядок, это мой порядок. Я люблю, чтобы было много пепельниц, потому что мне лень вставать, а пепел на полу не входит в мой порядок-беспорядок. Это уже грязь. И потом, лень подметать, лень обходить кучки пепла на полу, а наступать — опять нарушен мой порядок. Опять грязь. Приходится лавировать между грязью и моим порядком-беспорядком.

Я люблю лежать на тахте, и со мной всегда лежит длинная палка, и я, не вставая с тахты, могу включать телевизор, раздвигать шторы, закрывать дверь. Минимум затрат — максимум успеха. Я не люблю лишний раз переодеваться и стараюсь быть весь день в том, что я надел утром. Я не люблю рыбу, потому что надо много с костями возиться. Я и бороду отпустить готов, чтобы утром не бриться, а ополоснуться чуть-чуть.

Я люблю лениво ходить по улицам. Лениво что-нибудь увидеть и лениво про это что-нибудь подумать. Идет машина, например, крытый фургон. На стенке фургона вопль, надпись, крик. Например: «Не уверен — не обгоняй». Почему так? Почему «не»? Почему с отрицанием и запретом? Без отрицания и запрета перспективнее, прогрессивнее, эффективнее. Поменьше запретов — запреты уменьшают самостоятельность, ухудшают мышление, снижают ответственность. «Уверен — обгоняй».

Потом я прихожу на работу в больницу, в отделение. Я смотрю на якобы уют, который создают в больницах: цветы, зеркала, кресла, столики. Весь уют осмысленный, удобный, нужный... А цветы? Зачем? Они с землей, от них пыль, как и от плакатов «Мойте руки», «Алкоголь — яд», «Никотин убивает лошадь», которые время от времени положено прикалывать, приделывать, приклеивать, прибивать к стенкам.

И не лень разве прикалывать, прибивать, прикреплять, вытирать пыль и убирать?

А что не лень?

Не лень болеть — нас не спрашивают.

Не лень лечить — другого выхода нет.

И почему не возникает мысль, зачем лечить, — одна болезнь кончится, другая будет. Редко удается умереть здоровым, а умереть все равно надо.

Но пока человек жив, его надо лечить. И лечить до самого конца.

И моей лени способствует моя работа, моя профессия.

Лень — это прежде всего трудно на что-то решиться, сделать выбор, сдвинуть себя.

Я пришел на работу. Что мне делать? А все уже решено — лежит больной, у него болезнь, патологический процесс, нарушение в организме, которое, как говорится, требует коррекции, насильственных изменений внутри его организма, вмешательства врача, хирурга.

Не меня спрашивали, когда он заболел, — болезнь пала на него. Не меня спрашивали, когда его повезли в нашу больницу. Не меня спрашивали, когда его положили в мою палату.

Я увидел его, пощупал, послушал, посмотрел, сделал анализы, рентгеновский снимок, снял различные биотоки и колебания тканей и систем его, подумал: ясно, у него в желчном пузыре камни, которые, в свою очередь, вызвали воспаление, а воспаление распространилось на окружающие ткани в животе. Поэтому у него боли, температура и все прочие признаки тяжелого состояния.

Мне нечего решать. Если воспаление в животе — нужно убрать источник его. Если не удастся ликвидировать воспаление различными

лекарствами и действиями, которые можно назначить, а самому дальше только следить за действиями сестры, — придется оперировать.

Казалось бы, лечить-то мне проще, чем оперировать. Нет — проще оперировать. Я знаю, что от камней не вылечишься никакими лекарствами, по крайней мере сегодня мы этого еще не умеем, значит, надо все время держать такого больного на прицеле, на мушке, наблюдать с ножом в руках. Ждать и нервничать, портить нервы больному, родственникам, себе. Не проще ли сделать операцию? Да и не только проще — это единственный выход. Все решено за меня. А я — исполнитель.

Ну не сделаем операцию, полечим — и пройдет; пройдут боли, температура и все прочие явления — останутся камни.

Сегодня больному пятьдесят, и если хорошо пойдет лечение, он выздоровеет, то есть не выздоровеет, а исчезнут боли, и, может, целых десять лет ничто не будет мучить его. В лучшем случае.

Но придет время, и станет ему шестьдесят, семьдесят — и вернется опять болезнь, никуда ведь камни не уйдут, и придется мне, нам оперировать его, но в худших условиях.

Нет, мне лень ждать, волноваться — лучше буду оперировать сейчас.

Больной лежит и ждет моего решения. А все уж решено без меня — жизнью, болезнью его, нашими возможностями, долгом, наконец. И я беру его на операцию, везу его в оперблок, кладу на оперстол.

А сам ухожу в ординаторскую, переодеваюсь, снимаю свой халат, костюм, надеваю операционную пижаму, фартук, потом моюсь, надеваю другой халат, мажу уже спящего больного йодом, надеваю перчатки, разрезаю кожу, останавливаю кровотечение зажимами, перевязываю сосуды нитками, иду глубже, разрезаю следующие, нижележащие ткани, вхожу в живот, подхожу к желчному пузырю, нащупываю там камни, с облегчением убеждаюсь в правильности признаков, известных сейчас медицине, врачам, мне, иду дальше, щупаю ниже пузыря, желчные пути, ввожу в них специальное вещество, делаю рентгеновский снимок этих протоков и все равно не вижу точной, ясной картины состояния этих протоков, вынужден что-то решать.

Удаляю пузырь — это решать не надо, ничего другого нельзя. А вот с протоками неясно, сомнительно. Есть там камни или нет? Я использовал все возможное — и рентген, и давление измерял в них, и пощупал, и осмотрел глазами и пальцами, а к ясному решению не пришел.

Можно уйти из живота, то есть убрать пузырь, все сделать как надо и уйти. А потом ходить и нервничать: вдруг осталось там что-то? вдруг будет рецидив из-за этого? вдруг больного опять привезут в больницу?

Мне лень уже сейчас думать об этом — все равно привезут, мне лень будет потом лечить его, мне надо сейчас сделать что-то единственно правильное, потому что иначе будет после много лишних действий, а не надо лишних действий, и я сестре говорю, чтобы она мне дала такой-то инструмент, так как я вынужден, другого пути нет, не поленилась и делать операцию на протоках.

И если у сестры нет этих дополнительных инструментов на ее маленьком столике, с которым она стояла возле меня, и она вынуждена отойти к большому общему инструментальному столу, я ругаю ее за лень, за беззаботность, за непредусмотрительность, так как все эти инструменты должны быть при ней с самого начала операции, чтобы

не ходить к тому столу. Ну как ей не лень! Хорошо еще, что общий стол находится в полутора метрах от нашего.

И вот я продолжаю операцию, разрезаю протоки, беру специальные ложечки, щипчики, бужи, трубочки, черпаю из протоков ложечками, вынимаю оттуда щипчиками, прохожу протоки бужами, промываю их через трубочки.

И когда все сделано, все хорошо и все закончено, я думаю, что можно зашивать. Нет, не думаю, а знаю, потому что думают, когда не знают, а когда знают, уже не надо думать, надо делать, давно известно, что знания не есть признак мудрости. Кому думать — кому делать. Когда думать — когда делать. Сначала время думать — потом время делать. А часто одному время думать — другому время делать. Эх я стал лениво растекаться мыслью — значит, главное я уже сделал. Но не время еще думать, еще время делать. Расслабился немножко, и хватит.

Да, можно зашивать. Я уже сделал единственно возможное — за меня все уже было решено опытом других.

Теперь решать надо новую проблему. Как зашивать. В данном случае у меня два выхода есть: зашить наглухо или зашить и оставить марлевые тампоны и резиновые трубки. Иногда без них нельзя, а сегодня можно. И так можно и этак можно. Но спокойнее с тампонами и трубками. Если что случится в животе, тампоны и трубки, торчащие из раны, из живота, сразу же покажут. Только наблюдай, все будет само идти. Это мне нравится.

Но посмотреть с другой стороны — больному будет тяжелее, ведь их надо потом удалять — опять боль, опять стоны.

Здесь две лени. Лень нервничать и беспокоиться, не имея подстраховочных тампонов и трубок. Лень потом переживать за лишние боли больного. Две силы, две лени сплелись и схлестнулись. Все-таки больному легче будет, не так больно, если зашить наглухо. Ему-то легче, а мне — наблюдать... Опять все решено без меня и за меня.

Я зашиваю. Я зашиваю протоки, перевязываю остатки пузырного протока, я зашиваю ткани над протоками, я зашиваю то место у печени, где раньше, еще утром, был пузырь, я зашиваю послойно ткани на животе: брюшину и мышцы, потом только мышцы, потом еще один слой, называемый аноневрозом, потом жировую клетчатку, потом кожу, потом мажу йодом, потом наклейку делаю, а уж дальше дело анестезиологов — разбудить больного и отправить его в палату. Я сделал все, я не решал, а делал, потому что каждый раз приходилось делать единственно возможное.

А теперь я иду размыться — это значит я помою перчатки, смою кровь и остальную грязь с них, высушу, вытру полый своего уже грязного, негодного для следующей операции халата, а если есть лоточек с тальком, то руки в перчатках опущу в тальк, обсыплю их этим порошочком и сниму перчатки, вывернув их, чтобы тальк оказался внутри, чтобы потом легче было надевать резиновые перчатки на руки. Перчатки готовы для стерилизации на другую операцию. Я уважаю чужую лень и понимаю, что мне все это сделать на руках легче, удобнее, быстрее, чем если я их гордо скину в раковину и скажу: «Будет жить», а потом операционным сестрам придется все это делать, распластав перчатку сначала на краю раковины, а потом вытирать на столе. Но когда я забываю про лень, перестаю уважать чужую лень, я сбрасываю перчатки в раковину, а фартук и халат на пол.

Больного сейчас разбудят и повезут в палату, я же пойду покурю, покалякаю с коллегами, запишу операцию в историю болезни, потом, чтобы не пришлось еще раз приходить сюда, перепишу в опе-

рациональный журнал, потом напишу направление на исследование отрезанного желчного пузыря, потом пойду соберу камни, которые были вырезаны у больного, помою их и завтра отдам либо больному, либо родственникам его. Лучше я сейчас соберу и помою, а то завтра еще придется долго их всех, родственников и больного, уговаривать, что там не рак,— мне лень, лучше я сейчас все подготовлю, а завтра камни им отдам.

И если жизнь, медицина, моя лень подготовили мне еще операцию, я начинаю все сначала. Но зато когда все операции уже сделаны, я со спокойной совестью могу пойти из операционной в отделение и буду там смотреть больных, делать перевязки, записывать истории болезней, оформлять документы на выписку, заниматься протоколами разных собраний, проверять исполнение разных взятых на себя и на других обязательств... Я лучше все это сделаю сразу после операции, а то мне потом будет лень, мне лень здесь оставаться долго.

И наконец все сделано, и я с остальными врачами и ординаторами отделения ля-ля развожу, лясы точу, калякаю и покуриваю, сообщаем, что будем делать завтра.

Уже давно можно убежать домой — рабочий день кончился,— но лень. Я сижу. Я ленив. Я чудовищно ленив».

«А я что-то никак не убегу».

Санин окончательно, казалось бы, встал на путь, ведущий к дому, но тут открылась дверь и вошел Николай.

— Может, посмотрим еще раз доктора с непроходимостью?

— Я смотрел только что.— Он взглянул на часы.— Минут пятнадцать назад.

— Ну и ладно тогда. Слушай, я вчера прочел одну статью штатников из Хьюстонской группы. Смотри, как они предлагают проводить венозный трансплантат к артерии голени.— Николай открыл журнал и показал рисунки.

Закончив сугубо профессиональный разговор, Николай стал звонить Ире. Может, он затем только и зашел в кабинет.

Юрий Михайлович снова надел халат.

XI

Наконец дом. Наконец сын. Единственное, что дает бессмертие — дети. Если бессмертие нужно. А кто это бессмертие будет создавать? Самому надо. Видишься мало. Воздействия никакого. А может, действует только личный пример. Может, работа и только работа есть лучшее воспитание. Скорее удобное самооправдание. Рассуждать мы все горазды. И неплохо.

И вот дом. Сын.

— Юль, вы давно припли?

— Не более часа.

— А Гаврик не будет есть уже?

— В детском саду обедал. Попозже чего-нибудь съест перед сном.

Телефонный звонок.

— Слушаю... Привет... Угу... Ем, но это ничего не значит. А что такое?...— Долгая пауза. Слушает.— А когда это появилось? Температура не поднималась?.. Я не знаю. Надо посмотреть... Это не срочно... Ну хорошо, приезжайте завтра утром. Что-нибудь около половины десятого... Ну ладно, ладно... До завтра.

— Что, Юра?

— Как всегда.

— Папа...

Юля принесла чай, и одновременно раздался новый телефонный звонок.

— Юр, давай все-таки выключать телефон... Алло... Кто-кто? А, сейчас... Здравствуйте. Сейчас позову. Юра, тебя из больницы.

— Вот видишь! Слушаю.

— Юрий Михайлович, Титов говорит.

— Что, Вась? Что случилось или так?

— Юрий Михайлович, у этого доктора боли усилились, живот немного больше вздулся. Рвота была. Звонили уже из горздрава, про него спрашивали.

— Зонд поставили?

— Нет. Не дает. По-моему, надо оперировать.

— Если даже оперировать, зонд все равно надо в желудок поставить. Уговори. Посмотри еще раз повнимательнее. С ним осторожнее будь. Но если надо, так надо.

— Я возьму его, Юрий Михайлович?

— Валяй. Может, приехать, Вась?

— Мы возьмем, Юрий Михайлович, а если что, так позвоним.

Ладно?

— Помогай вам бог.— Санин положил трубку и замолчал.

А тут и гости пришли. Миша с Неллей. Сын ушел в другую комнату. Но время от времени он, курсируя по дому, оказывался и в этой комнате. Идет разговор, когда говорят обо всем, в том числе и о сегодняшнем больном.

— Понимаешь, Миха, может быть, и надо его оперировать, да не верю. Удерживает меня что-то от этого. Черт его знает. С другой стороны, непроходимость безусловно есть.

— Пусть оперирует.

— Так уже взяли. Вот только, понимаешь, дежурный ненадежный.

— Плохо оперирует?

— Оперирует-то неплохо, но больно решительный. Как Нечаев.

— Какой Нечаев?

— Ну, этот. Из прошлого века. Из тех, которых сейчас называют экстремистами. Он считает, что, если есть болезнь, надо оперировать. Если есть нож — он должен быть употреблен. Хотя бы для блага грядущих больных. Мы, говорит, живем для будущего. Сколько ни пытаюсь ему объяснить, что мы должны думать только о сегодняшнем своем больном, а завтра, может быть, придумают новое лечение и никто оперировать не будет,— все равно... Эпигон превентивной хирургии. Вот я и боюсь.

— А оперирует хорошо?

— Да прилично. В медицине разбирается, понимает ее. Понимает! А вот решительность его меня пугает. Ведь в медицине особенно нет ничего ценнее сомнения. Книг не по специальности он не читает.

Мишина жена быстро включилась в разговор:

— Выгони тогда.

— Вот он такой же решительный. Он хороший хирург. Может, даже новатор. Но в медицине, пожалуй, больше чем где-нибудь консервативность более нравственна. Сердце сдерживает, ум рвется вперед, гуляет. Опасно. Но ум. Не говоря уж о том, что выгнать ты знаешь как трудно! Да он и не заслужил этого. Да и хирургов мало. Сейчас оканчивающие не очень идут в хирургию.

— Почему? — Нелли вступила в разговор и уже теперь легко не

выпустит его из рук.— В наше время, помнишь, как все ребята да и девчата стремились в хирургию? Не тот стал народ.

— Ты, Нелька, все-таки ужасно категорична. Как будто и не прошло столько лет. Мы раньше были напичканы дурацкой романтикой, дурной, без мысли. Мыслей не было — одно чувство. Мыслили чувствами. Хирургия — романтика, окрашенная кровью. Информации было мало. А теперь ребята больше думают, больше знают. Хирургия — работа тяжелая, во многом искусная ремесленность, если понимаешь, что я этим хочу сказать. Не всем такое дело жизни подходит ни по темпераменту, ни по системе жизни. Они сейчас серьезнее, чем были мы. А зарплата — сама знаешь.

— Зато у тебя коньяк всегда.

— Это да. Но дело в том, что Гаврик до сих пор предпочитает молоко.

Еще долго шел разговор, перекидываясь с молодежи на коньяк, с коньяка на собаку, с собаки на кино, на театр, на Таганку, на Никсона, на Малую Бронную, на Марокко,— иногда все эти проблемы шли попеременно, перекрещивались, иногда шли параллельно. Обычный разговор.

Наконец:

— Ну ладно, ребята, уже поздно, мы пойдем. Приходите вы к нам.

— Не так уж и поздно. Гаврик еще не спит. Мне не звонили еще, значит, операция не кончилась.

— Молчи, сглазишь — позвонят еще.

ХИ

Сглазил он еще не скоро. Когда все ушли, когда убрали все со стола, когда Юля помыла посуду, когда Гаврик уже давно спал, когда Юра дал вокруг телефона по крайней мере сто кругов — вот только тогда и раздался звонок к явному облегчению хозяина и неудовольствию хозяйки.

Звонили из операционной.

Вася был на операции — звонила санитарка. Санина просили приехать.

Юра расспрашивать не стал, а быстро начал одеваться.

— Ты ж ему запретил оперировать!

Баба есть баба, таковы их реакции.

— Господи! Ну как же я ему мог запретить! Он видит больного, а я сижу дома и веду светский разговор.

— Раз ты, начальник, усомнился — значит, запретил.

— Не говори глупостей. Чем меньше запретов, тем меньше нарушений.

— Философ ты, Юрка, дурацкий.

Юра уже полностью оделся, но продолжал все равно болтать.

— У тебя деньги на такси есть?

— Рубля хватит?

— Рубль у меня есть, а если назад возвращаться? Дай два, еще такси не поймает.

«Они, наверное, думают, что на работу я еду как на гулянье. Кто они? А если подумать — так и есть. Нечего обижаться. Я и не обижаюсь. Ведь действительно еду где спокойнее, где яснее, где делать надо только то, что умею. Ничего решать не надо, Игорь был прав: за нас все жизнь уже решила. Это и есть лень. Еду для покоя, хоть и не для гулянья. А дома все время надо что-то решать. Делать. Обязательность выше необходимости. Это альтернатива? Это идеал. Игорь прав».

Такси, разумеется, не было. Либо зелененькие огоньки проскакивали мимо не останавливаясь. Наконец один остановился.

— Вам куда? Я в парк.

Санин и сам видел, что машина идет в парк, но сесть попытался:

— Простите, товарищ водитель, я хирург и меня вызывают срочно на операцию в больницу, на Большой проспект...

— Нет. Мне в другую сторону. Я кончил работу.

— Товарищ шофер, там очень срочно надо.

— А мне срочно домой надо.

Санин решил перехватить какую-нибудь из милицейских машин ГАИ, которые ездили по проспекту, наблюдая за порядком. Но появилось такси, готовое везти в нужном направлении. А так была явная возможность сэкономить. Впрочем, если бы гаишники согласились.

Не успел он сесть в машину, как из-за угла выскочила женщина с ребенком на руках.

— Товарищи! Товарищи! Мне срочно в больницу. Он задыхается. Температура!

— Что же вы «скорую» не вызвали, а с ним бежите?

«Игорь бы безусловно решил в пользу ребенка. К тому же там у нас есть врачи».

— Садитесь. Отвезите их до детской, а потом уж меня.

Ребенок не производил впечатления очень тяжелого, и Юрий Михайлович, отвернувшись, стал думать, что на обратную дорогу денег на такси теперь уж точно не хватит.

В операционной хирургии и сестра сидели у стенки, сложив руки, чуть приподняв их перед собой и накрыв салфетками. Рана на животе также была прикрыта салфеткой.

Оказалось, что действительно все в животе было запаяно в сплошной панцирь. При попытке войти в свободную брюшную полость, где нет спаек, была повреждена кишка, выделить которую, чтобы зашить ее, было очень трудно. Помня, что у больных докторов все идет не по людски, решили вызвать зава. К тому же вдвоем эту тяжелую операцию трудно было делать, нужны были еще две руки. Вася все это объяснил. Юрий Михайлович помыслил, и втроем они сравнительно быстро и удачно справились.

Домой он уже не поехал и лег спать в своем кабинете.

ХVI

Утром до прихода всех он осмотрел тяжелых больных. Доктор лежал в реанимационном отделении — состояние соответствовало ожидаемому, то есть более или менее было в порядке.

Вася не выглядел смущенным, он по-прежнему считал, что лучше напрасно соперировать сотню, чем упустить одного.

Чухахин явно поправлялся, и по мере его улучшения факт потери зубов становился все более значительным.

Потом пошел взглянуть на Ермакова, которого надо переводить на инвалидность, а Пирогов лично не представил его комиссии, а Санин собственноручно не вписал заключения. Господи, какая инвалидность! Какие заключения и рекомендации? Больной безнадежен, умирает. Он выглядел мертвее мертвого, скелет в коже.

Пришел Николай.

— Как время провел вчера, Коля?

— Хорошо. В библиотеку не поехал. В кино был...

В это время мимо них проходила дежурная сестра, и Николай,

перехватив ее, стал выговаривать за то, что в истории болезни Лапина не подклеен анализ крови на резус-фактор.

Санин подумал, что, наверное, негоже ему, Коле, делать всем замечания, когда рядом стоит зав.

— Я сколько раз говорил вам всем, Люда, чтобы анализы к утру были расклеены. И Юрий Михайлович вам говорил. Опять я не знаю анализа.

— Николай Иванович, мы еще не получили его.

— Как так?!

— Вчера сделали, сегодня только привезут.

— Ладно, Николай Иванович, не шуми, подклеят еще. Пойдем на пятиминутку — Гену жалко!

Юрий Михайлович решил сгладить конфликтную ситуацию и некоторым образом показал власть. И вообще он не любил конфликты с утра. И не любил страсть Пирогова к замечаниям и указаниям. Может быть, это просто инфантилизм. Пройдет с годами, с практикой. Но начальнические замечания Николая создавали ситуацию какого-то соперничества. Впрочем, может быть, только в голове у Юрия Михайловича.

После окончания пятиминуток — пятнадцатиминутной с сестрами и сорокапятиминутной с врачами — Санин у своего кабинета встретил Петра Аркадьевича.

— Михалыч, пришел анализ Лапина, первая отрицательная группа.

— Вот незадача! Теперь когда еще кровь накопим! Петь, ты сегодня дежуришь? Мы тебя просим, Петенька, ночью позвони по «скорой» на станцию переливания крови. Соври. Закажи эту группу, хоть немного. Закажи, например, на этого доктора. Скажи — кровотечение. Пару ампул они дадут. Уже задел будет.

Во время разговора вошел Николай и тут же включился:

— А завтра я дежурю и тоже пару ампул нашакалю. К той неделе литра два и наберем. Обязательно, Петька, не забудь.

— Хорошо, Михалыч. Позвонить-то позвоню. В прошлый раз я заказываю, вру почем зря, они выспрашивают, выясняют кому и зачем, думаю, попадусь...

— Что же делать, ребята, иначе он у нас долго пролежит — крови не наберем. И койко-день идет. Жалко.

Санин извинительно улыбнулся. Видимо, решил, и правильно решил, что шутка не больно смешна.

— Но если мы попадемся, братцы, головы не сносить.— Николай сделался серьезным.— Они каждый раз так выспрашивают.

— Их положение тоже, я тебе скажу.— Петя за них вступился.— Все звонят, все требуют. А где взять?

— Все равно должны понимать: раз я звоню — значит, мне нужно, и не для себя.

— А им что, для себя?

— Я же здесь с больными, у меня здесь кровь течет.— Николай, по-видимому, забыл, что они договорились врать, а не качать права.

— Кончай, Николай. Надо просто думать, как выходить из этого положения, как обернуться с тем, что есть. Лишь бы человек выжил. И пора на операцию — уже десять. С твоего, Петь, начинаем?

Позвонили из операционной и попросили задержаться с операцией. Какие-то осложнения со светом.

Юрию Михайловичу вспомнился рассказ Игоря о своей работе в районном центре.

«У нас районный центр был небольшой. Хирургия тогда тоже была небольшая, но «скорая помощь» привозила в любое время. А элек-

тричество работало только в зимнее время. Летом же, если привозили ночью, мы пользовались керосиновыми лампами — держали их у нас над головами.

Ну, во-первых, это было тяжело всем. Во-вторых, мы боялись, что эти лампы на нас опрокинутся. И, самое главное, когда приходилось давать эфирный наркоз, а в то время, ты же помнишь, наркоз был самый примитивный — лили эфир на тряпочную маску, и, конечно, паров эфирных было в операционной, так сказать, *quantum satis*, вполне достаточно, и мы, естественно, боялись пожара. Потом один доктор у нас додумался. Мы рядом на столе водружали велосипед вверх колесами, по очереди крутили педали вручную, и свет от велосипедной динамки освещал нам операционное поле. Сам понимаешь, какой был яркий и ровный свет. Мы даже хотели сделать на столе стойло для велосипеда, чтобы можно было крутить педали ногами, но все никак не могли собраться. То плотника не было, то найдем, а он зашьет, то спирта у нас в обрез, а без спирта никто нашу установку делать не хотел.

Потом как-то из ближайшей воинской части привезли ночью на операцию офицера с прободной язвой желудка. Мы попросили прислать к нам нескольких солдат, чтоб они покрутили педали. Солдат было много, они все время менялись. Сил у них, естественно, не то что у наших санитарок и сестер, свет был ровный, ну не ровный — ровнее, мы смогли даже сделать резекцию желудка, а не только, как делали по ночам в полумраке, лишь ушивание отверстия.

Утром приехал командир части с механиками, привезли танковый мотор, установили движок и по ночам, когда была нужда, запускали мотор. Шуму было во время операции! — не приведи господь. Когда у нас ночью шла операция, все вокруг об этом знали. А свет все-таки мерцал. Не очень ровный был.

А потом около больницы построили открытое кино и там, как ты сам понимаешь, было электричество. Я ходил в райисполком, просил воздушку, времянку или как там у них это называется. То мне обещали, но не делали, то отказывали, а я все ходил да лаялся с ними потихоньку.

Однажды, только я собрался уходить домой, прибегает испуганная санитарка, привезли, говорит, с аппендицитом зампредисполкома. Иду в приемное смотреть. Лежит такой симпатичный дядечка. Я вообще-то знал все районное начальство, но этого то ли не видел, то ли не обращал внимания.

Расспрашиваю, осматриваю. Говорит, под утро заболело (а привезли вечером). Заболело, как и положено, сначала наверху, появилась тошнота, потом боль спустилась вправо вниз, и, значит, перед самым приездом была рвота. Ну что тебе говорить: случай ясный. Посмотрел живот. Точно. Аппендицит, но не сказать что бери и хватай быстрее оперировать, не горит, не перитонит, можно и подождать немного. Сам понимаешь, если по совести, надо делать сразу, но беды особой не будет, если часок-другой обождать. Решил подождать, пока не приблизятся сумерки.

Но вот начало смеркаться. Кино заработало. Открытое же — только в темноте работает. Опять иду смотреть живот — типичная, говорю, картина острого аппендицита проявилась и надо сейчас срочно оперировать — время пришло.

Тут как раз приезжает сам председатель исполкома. Я, конечно, говорю, что будем сейчас оперировать, вот только мотор раскочегарим, свет разгорится, а оперировать надо обязательно, и прямо сейчас. Ему интересно, конечно, как скоро наш свет разгорится, а я, сам понимаешь, все преувеличиваю, раздуваю. Он головой качает, сочув-

ствуется, а я все надаю, так сказать, крещендо. И он тоже разогревается, и тут я кидаю, что, дескать, пара монтеров в пять минут бы времянку нам кинула от кино, внутри проводка есть, лампа висит... Да как же так, говорит, Игорь Михайлович, вы ничего нам не сказали раньше, да мы бы давно... А я, натурально, не оправдываюсь, говорю, виноват, мол, дурак был, не смел беспокоить...

Короче, через полчаса у нас был свет настоящий и навсегда. Это ж не операция, а одно удовольствие было: все видно. Он быстро поправился и выписался.

Конечно, элементы скотины во мне были».

XIV

Юрий Михайлович. Да, он думал, что хитер очень, чувствовал себя чуть ли не Макиавелли, но хитрость его была видна всем. Так он и не сумел стать по-настоящему хитрым.

Надо было идти узнавать, что со светом, надолго ли.

И я пошел к начальству.

Главный врач стоял, склонившись над столом. Перед ним на большом столе для заседаний были расстелены планы, схемы, карты. Рядом стояли и так же внимательно смотрели на раскиданные листы незнакомые мне люди из хозяйственной части. Так я себе представляю военный штаб перед или во время боя или даже лучше — наступления.

Главный врач — врач-начальник.

— Что, Юрий Михайлович, вы, конечно, пришли жаловаться на отсутствие света? Что ж, батенька, потерпеть вам придется. Подождите.

— А что случилось, Максим Семенович?

— Сейчас, сейчас. Надо было выкопать канаву. Мы вроде все проверили по плану, выяснили, где можно пустить эту копательную машину, но медицинское образование подвело. Преконфузнейшая ситуация. Как раз кабель и попался. Беда, Юрий Михайлович. Вот, товарищи, смотрите. Я решил, что копать можно в этом месте. — Он решительно ткнул пальцем в план. — Так?

— Да. Здесь копали.

— Видите. Никаких коммуникаций.

— Максим Семенович, вы пока будете разбираться в этих коммуникациях и дислокациях, мне-то хоть скажите — операции нам сегодня удастся сделать или отложить лучше?

— Сейчас узнаем, Юрий Михайлович, сейчас узнаем, погоди немного. Ты знаешь, у нас построить легче, чем починить.

— Человека тоже легче сделать, чем вылечить.

— Вот именно. Сейчас позвоню в районную эксплуатационную контору... Здравствуйте. С вами говорит главный врач больницы... Да нет, нет. Врач главный...

Он долго объяснял, что у нас произошло, и стал требовать, чтобы немедленно исправить. Требовать. А надо было, с моей точки зрения, униженно просить выручить из беды. И, конечно, выясняется, что строительная организация после окончания работ не передала им, эксплуатационникам, то ли планы, то ли проекты — в общем, что-то не передала.

— Будем звонить в строительное управление, — сказал Максим Семенович.

Повторилась та же история.

Пришлось обратиться к Галине из этого управления, с которой у меня был контакт во время строительства, а потом она еще и мать

свою нам дала на обследование. Я расспросил про ее настроение, про мамино здоровье, рассказал про нашу беду. Она в ответ радостно засмеялась и сказала: пусть ей позвонит наш директор, она ему объяснит, как можно попытаться выйти из этого прорыва. Я передал трубку инженеру нашей больницы, который, собственно, тоже не обязан, как оказалось, этим заниматься, но ввиду исключительности обстоятельств все же согласился поговорить.

Вот и все мое участие в бедах и нуждах больницы. А Игорь жил всем этим. Он в этих заботах как в собственной коже. Помню, строили им корпус. Игорь тогда уже вернулся из района. Такой же корпус, как у нас сейчас. Он с первого дня следил за строительством, занимался оборудованием, штатом. А потом захотели отнять у них корпус для других нужд. Он весь город на ноги поднял. Даже что-то вроде фельетона написал в газету.

Написать написал, да никуда не послал. Как отдал мне, так и лежит у меня. Каждый раз вспоминаю, как сталкиваюсь со строительством и хозяйством.

Я ушел к себе. Пока занимался всякой текучкой, выяснилось окончательно, что света сегодня не будет.

Больного сняли со стола.

Прибежала сестра из операционной.

— Юрий Михайлович, операции будут?

— Нет. Отдыхайте.

— Юрий Михайлович, мы вчера задержались. Разрешите нам сегодня уйти пораньше, сейчас.

— А что делать будете?

— Мы в кино пойдем, Юрий Михайлович. Сеанс через полчаса.

— Откуда вы знаете?

— А мы позвонили уже.

— Может, и мне пойти, раз такое дело?

— Пойдемте, Юрий Михайлович, пойдемте!

— Это, конечно, дело. Но ведь вам дай ногтевую фалангу, так вы по локтевой сустав и отхватите. Ладно, бегите, черт с вами.

И эти дети радостно побежали. Как в школе. Надо сказать и врачам, чтоб закруглялись и шли домой, раз нам сегодня такое счастье выпало. И я уйду пораньше. Не спал. В магазин еще Юлька просила зайти.

— Юрий Михайлович, у меня завтра идет Трусов на операцию. С тотальным поражением желудка. Дадите мне сделать? Или сами будете?

Вася, конечно, хочет сделать ее сам. Это и правильно было бы, он уже давно может сделать такую операцию. Вот только за ночь сегодняшнюю его бы наказать. Да уж черт с ним.

— Больной твой? — Это Пирогов спросил.

— Мой, конечно.

— Шеф не может тебе дать или не дать. Больной твой и ты за него отвечаешь. Нельзя дать тебе то, что принадлежит тебе по праву, по специальности, по образованию и прочему.

— Ты что-то, Коля, разгулялся. — Он меня стал раздражать. — Я тебе могу показать на практике, что шеф может и по праву и по обязанности. И что есть ты или он.

— Я про то и говорю. Шеф может отнять — это его право, он сильный. Прерогатива сильного — отнимать.

— У меня, Коля, прерогативы по положению и уставу нашего хирургического ордена, прерогативы не только сильного, но и самого умного, и самого умелого, и всего остального самого. Запомни на всю

последующую жизнь, что прерогатива сильного — давать, а не отнимать. Ты все перепутал.

— Значит, надо отнять у Васьки и отдать мне.— Петя нашел выход из создавшегося демагогического тупика.— Ну я обсмеялся, слушая вас.

— Что вы знаете про моего больного, чтобы вам отдавать его? — Титов стал бороться за свою будущую операцию.

Я еще не решил, кто будет оперировать, а потому безлично сказал:

— А что про него знать? Лучше не знать о нем ничего, чтоб не появилось личного отношения. Тогда оперируешь спокойней — ничто не мешает.

— Нет, Юрий Михайлович, про больного знать надо все. Врач — это прежде всего следователь.— Вася поднял палец и победно посмотрел на всех, наверное радуясь этой своей такой убедительной формуле. Формула сильного человека. С такой же убедительностью он говорит о том, что врач должен быть силен и уверен, как спортсмен...

— Завтра будет видно.— Наверное, я грубо оборвал разговор.— Ясно, Вася, мы с тобой вместе пойдем на операцию, а там будет видно.

Я пошел в кабинет переодеваться. Но Николаю что-то еще надо:

— Юрий Михайлович, Ермакову все хуже. Совсем плох. Я решил не представлять его на инвалидность. Он ведь умрет в ближайшие дни. Если не часы. Совсем плох.

— Если совсем плох, то и не надо. Что зря будоражить его да и всех заваливать ненужной работой. Только с Варварой договорись.

Я стал медленно переодеваться. Думал о полностью пропавшем дне. О Кольке. Много думаю о нем. Раздражаюсь. Вот стал Колька председателем месткома — и начальником себя почувствовал. Я, я, я решил... Что он может решить! Вообще-то приятно быть начальником. Игорь очень любил быть начальником, да так и не стал. Не по должности — по психологии. Я иногда злюсь на Кольку, а однажды вдруг понял, правда потом опять забыл, но все же понял, что просто он инфантилен временами. Хочет показать себя главным, более полноценным. Не завоевание командных высот его волнует, все это делается для полноты ребяческого счастья, которое всегда его переполняет. А чуть только оно его не переполняет, он в дурмане, в тумане, во мраке или, как теперь принято говорить не только в психиатрии, но и в светском обществе, в депрессии. Зря я на Кольку злюсь. То вдруг борода его начинает меня раздражать, то неясная игра с Ириной. Если б еще любовь, ну хоть увлечение, а то из-за помощи отделению. Нет, тут уж я совсем несправедлив, тут я полный кретин. Увлечение все же есть, наверное. Если раньше и не было, то сейчас уж есть. Какое имеет значение, откуда и отчего толчок? Может, это божественный толчок! А девка она хорошая. Игорю бы понравилась.

Не прав я. Во мне самом, наверное, начальник бушует.

Просто он себя временами ощущает и правда Пироговым Николаем Ивановичем.

xv

Пирогов перед уходом решил пройти по отделению посмотреть, где что есть, все ли в порядке. Сделал стандартное замечание сестре на посту, что на столе у нее ералаш, что лежат еще не подклеенные анализы. Потом зашел в палаты. Посмотрел больного с перитонитом.

— Ну что ж, все идет хорошо. Несмотря на то, что вы жаловались, я договорился о ваших протезах. Все будет в порядке.

В коридоре к нему подошла жена Лапина.

— Здравствуйте, Николай Иванович. Ну что мой? Что делать будете?

— Готовим к операции. У него кровь редкая оказалась. Так что сейчас собираем. Скажите родственникам, знакомым своим, на работе — пусть придут, мы проверим группу крови и, если подходит, возьмем у них.

— А если у нас нет такой?

— Нет так нет. Но мы еще можем взять у вас для других не его группу, а у других взять для него, для Лапина. Человек человеку брат и друг. Как говорится, сегодня ты, а завтра я.

— Это да. Это верно, Николай Иванович. Алеше помогут, его любят. И на работе тоже.

— Тем более скажите им.

— У него жизнь тяжелая была, Николай Иванович. Он и фронт самый конец захватил. И работал много. Не берегся, наверное, вот и заболел. Я думала, ему сносу не будет — здоровый был. Все мог сделать, что ни попросишь.

— От работы не болевают. Мы все много работаем. Такая уж судьба у него.

— И детей любит. Со старшей ему трудно, а маленькой все время помогает, вместе задачки решал, в кино ходил с ней. Татьяна, та с подругами — уже большая, а Люда-то с отцом больше. Он говорит мне, что операции боится. Не хочу, говорит, умирать. Так, говорит, хочется еще побыть с вами, с Танькой, с Людочкой.

— Что это у вас с ним за разговоры? Надо помочь ему. Пусть придут кровь дадут. Нас только предупредите когда.

— А Татьяна в медицинский хочет поступать. С учителями занимается. Он ведь еще и столяр хороший. По вечерам делает кому полки для книжек, кому для кухни что. Вот он выйдет, он вам, Николай Иванович, что хотите сделает. Он любит это. И учителя девочке нужны.

— Мы кровь сами доставать будем, но вы своим скажите. Скажите. Все быстрее будет.

— Конечно, Николай Иванович, лишь бы живым был.

В ординаторской никого. Николай Иванович сел у телефона, стал звонить.

— Ира, это я... Ты освободилась?.. А когда?.. Я подожду немного... Может, в кино сходим?.. Поедим напротив, а потом в кино... Тогда давай так сделаем: я поеду в библиотеку посмотрю кое-что, а ты к тому времени сделаешь свои дела и подойдешь, мы поедем там где-нибудь и пойдем в кино. Идет?.. Договорились. На твоих сколько?.. И у меня так же. До встречи.

Николай быстро переоделся в свои гражданские одежды, подхватил портфель и почти бегом ушел из больницы.

XVI

После кино Ира зашла к Николаю.

Когда он зажег свет в комнате, Ира всплеснула руками и кинулась к книжным полкам. По всем полкам перед книгами были расставлены игрушечные автомобильчики.

— Вот не ожидала от тебя такого увлечения! А как ты додумался, что их можно собирать?

— Сначала мне подарили четыре английских машинки. Что с ними делать, я не знал. Детей нет, играть некому. Решил поставить на полку, а потом подарить кому-нибудь. Так сказать, организовал подарочный фонд. А потом узнал, что такого типа в разных вариантах

игрушечек много. Стал искать. Как говорится, слово за слово, машина за машиной — и их уже около ста штук. А потом узнал, что есть почти профессиональные коллекционеры этих штучковин.

- Так никому и не подарил?
- Теперь уже дарить жалко.
- Красота-то какая. А это что за машина?
- Это «фиат». Товарищ привез из турплавания вокруг Европы.
- Господи, да ты на этом фоне и смотришься по-другому!
- Они у меня несут еще и функциональную нагрузку.
- Как это?

— Когда раньше ко мне приходили, то кидались к полкам, смотрели книги, просили почитать. Я страх как не люблю давать книги, а отказывать неудобно. Теперь ахают над моими автомобильчиками, смотрят, щупают, нюхают, спрашивают — про книги и не вспоминают. Машинки же, натурально, никто не просит.

— Хитер ты, Пирогов.— Ира смотрела на него уже совсем другими глазами, вернее по-другому глядела. Может, рачительного хозяина увидела.

— Ириша, может, кофе?
— Нет. Чайку еще можно. Я чай больше люблю. У тебя есть? Давай я заварю.

— Что ты! Я один живу. Я все сам умею. И вообще никакая женщина по-настоящему чай заварить не может.

— Расхвастался. По-моему, ты горячишься, Коленька.

— Разве ты знаешь, до какого кипения надо воду доводить? Разве ты знаешь, как измеряется кипение воды? С чем ты будешь сравнивать размеры пузырей кипящей воды? А уровень кипения бывает разный. Например, пузырь с лягушачий глаз, пузырь с кошачье око. Может, ты знаешь размер глаза дракона?

— Конечно, драконов ты знаешь лучше. Но главное все-таки — побольше заварки. В руководствах это, может, и не пишут, но из жизни я знаю.

— Из жизни! Читать надо, милая, чтобы что-нибудь сделать, тем более настоящий чай. А какой чай и в каких пропорциях? Это целая наука. Мы еще ее изучим с тобой.

Чай Николай сделал действительно отменный.

Расслабившись несколько после чая, Ира стала осматривать кухню, посмотрела на полки, на шкафчик, на холодильник, на плиту.

- А ты хозяйственный.
- Так другого выхода нет.
- А что у тебя есть, кроме сахара?
- Хлеб, масло, колбаса.
- А я сыр люблю больше.
- Завтра будет сыр. Какой только?
- Хороший. А сладкое какое-нибудь еще есть?
- Нет. Чего нет, того нет. Может, выпьем?
- Нет, нет. Об этом не может быть и речи.
- А в чай коньячку немного не хочешь?
- Я же сказала, Коля: не лю-блю! Понял? И ты не пей.
- С трудом, но понял. Как скажешь, душа моя.
- Душа! Вот так и скажу, душ мой. Как вы говорите в своем отделе — шутка.

Помолчали. Помолчали немного напряженно.

— Сейчас допью и побегу.

— А что тебе спешить? Мужа нет...

Ира улыбнулась, протянула к Коле руку, потрепала его по щеке.

— Мужа-то нет, да сын есть, родители есть, стало быть, и дела дома есть.

— Вот не знал, что сын у тебя есть.

— Теперь будешь знать.

Опять помолчали. Коля взял ее руку и поцеловал.

— По-моему, самый раз мне сейчас уходить.

— Почему, Ира?

— Потому что еще немного — и ты начнешь говорить про лекарства, про больных, про деньги на одного больного, а то и...

— Про лекарства не буду, про больных не буду, а про деньги на одного больного ты говоришь, а я стараюсь помалкивать... Можно, я тебя поцелую?

— Перед уходом, Коленька, перед уходом.

Коля опять поцеловал руку, задержал губы у руки.

— А может, подождешь уходить?

— Ладно тебе, Коля, переливать из пустого в порожнее. Лучше проводи меня до автобуса.

— Я тебя на такси отвезу. Не спеши.

— Такси! Я живу в двух автобусных остановках от тебя. Может, еще сын не уснул.

— А как его зовут?

— Смешно сказать — как и тебя. Пошли, пошли, Николай. Вся жизнь впереди.

Ира вздохнула и направилась к двери.

XVII

Наконец наступил день, когда и кровь была, и время, и место в операционной.

С утра Юрий Михайлович побежал по палатам. Лапин спал. Это хорошо. Значит, все, что предварительно назначено было анестезиологом, подействовало хорошо.

Дежурная сестра сказала, что вечером умер Ермаков.

— Что ж, эта смерть законна, никого не упрекнешь, — буркнул зав. — А они хотели на инвалидность переводить.

Дежурный врач сообщил, что с холециститом лег начальник цеха шефского завода.

— Сильный приступ?

— Не очень, но холецистит явный.

— Где лежит? Положить получше. Шаманить на полную катушку. Они нам должны реанимационное отделение оборудовать. Теперь дело пойдет. Зайду к нему после конференции.

— Перевести его, может быть, в отдельную палату?

— Обязательно. Если будем делать операцию, надо сказать заводским, что лежать он после будет в реанимационном отделении.

— Еще поступила с аптечной базы женщина — аппендицит.

— Ну, у вас урожай. Соперировали?

— Да. Гнойный. Ей тоже уважение оказали.

— Николаю скажи, а он уж дальше по инстанции.

В реанимационном отделении Юрий Михайлович посмотрел оперированных вчера. Там уже был Николай.

Санитин подошел к заведующему реанимационным отделением Глебу Игнатьевичу.

— Глеб, сегодня положили начальника цеха с нашего завода. Мы им скажем, что после операции его необходимо положить к вам. Учти. Чтоб за неделю они все сделали.

У Глеба загорелись глаза сразу, а в слова еще не вылилось, что

он хотел или мог сказать по этому поводу. Но Санин уже полетел в палату к этому начальнику цеха.

Потом в палату к женщине с аптечной базы.

Еще двух больных в кабинете посмотрел. Одного просил посмотреть главный врач. Другую — приятель. В перевязочной посмотрел больного, которого оперировал месяц назад, а сейчас звонили из поликлиники и просили осмотреть для решения вопроса о переводе на инвалидность.

Потом... Потом он совсем уж начал переодеваться, но раздался телефонный звонок. Звонила Юля, она сегодня не пошла на работу, Гаврик остался дома, а теперь у нее было экстренное сообщение и вопрос: у Гаврика насморк и можно ли ему выходить на улицу?

А уж потом, когда он уже переоделся, выяснилось, что анестезиологи все еще не готовы; сестры освободились только-только, а...

И наконец операция.

Юрий Михайлович. Лапин спит. Новый наркозный дыхательный аппарат под названием АНД-2 очень шумный. Позже мы привыкли к этому шуму и он не отвлекал, но пока, первые дни...

Электроотсос тарыхтит, как отбойный молоток, намного превышающий все допустимые нормы. Теперь еще и этот трактор с самыми современными атрибутами. Высота полтора метра. Полно всяких шкал, циферблатов, трубок, кнопок, ручек. Равномерно ходит в стеклянном цилиндре поршень. В прозрачном конусе булькает вода синхронно с дыханием. Плотные тяжелые черные трубки идут от больного к аппарату. Гофрированная резиновая трубка ползет по полу от аппарата в дверь и в коридор — уменьшает вредность нашего воздуха, выкидывая выдыхаемые газы вон отсюда. Один провод идет в сеть. Другой провод заземляет, а то и взрывы у нас бывают. Черная трубка ползет из соседней комнаты, где стоит баллон с кислородом. Баллон поменьше с закисью азота рядом. Какие-то баллончики вделаны прямо в аппарат. Научно-фантастический корабль! И все бы ничего, если бы не шум. Теперь, правда, привыкли — можно уже за вредность не платить. Но вот электроотсос шумит. Отсос нам необходим — кровь отсасываем. Анестезиологам необходим — дыхательное дерево очищают. Говорят, где-то в Эльдорадо, а точнее в наших ведущих, или, есть такое слово, головных, институтах существуют бесшумные отсосы. Может быть. А пока где она, та светлая, благоговейная тишина операционной, про которую часто пишут, что «лишь скупые слова отрывистых приказаний хирургов да позвякивания инструментов» нарушали ее? Где? Говорят, где-то близко.

Уже больше двадцати пяти лет я толкусь в операционных, и хоть тишины не было никогда, но и столь шумных и столь необходимых нам аппаратов не было тоже.

О, где та страна Офир, где отсосы бесшумные, а аппараты лишь шуршат, где вредностей поменьше и поменьше, говорят, устаешь? Где она?

И нам обещали, когда начали строить корпус, когда кончали строить корпус, и нам говорили о чудесах современного строительства и призывали возносить благодарности архитекторам. Нам обещали, себе запроектировали и действительно заложили в стены и потолки таинственные коммуникации, которые должны были увести из операционных все шумные аппараты, баллоны, газы и прочее, нам мешающее. Но где это в действительности?! Есть обещанный и построенный кондиционер, но никогда по разным причинам не гуляет по операционным кондиционированный воздух!

Инженеры следить за аппаратурой к нам не идут. Надеемся на

энтузиастов. Но привыкли мы, что энтузиасты в медицине — только медики. Да больные, пожалуй. На этих энтузиастах и держимся. Хотя долго ли может держаться так? А ведь нам людей лечить.

Юрий Михайлович и Николай Иванович обрабатывают операционное поле, то есть закрашивают двойным слоем йода грудь, живот, ноги до самых кончиков пальцев. Помогают им врачи-интерны, молодые хирурги, только что получившие дипломы и отрабатывающие их в течение года по институтскому направлению, уже получающая полноценную врачебную зарплату, но не имея пока самостоятельного значения.

Под ноги спящему больному положена стерильная простыня. Верхняя половина тела укрыта стерильной простыней — уже разграничили сферы влияния с анестезиологами. Они со своими аппаратами остались за простыней. По бокам тела от подмышек до конца стола вниз — стерильные простыни. Все это закреплено специальными инструментами. Под Лапина и под стерильные простыни положены кассеты с рентгеновскими пленками. Юрий Михайлович встал справа. Николай Иванович напротив. Рядом с ними ближе к голове два интерна. Петр Аркадьевич и Василий Борисович тут же ждут команды. Если операция будет расширена, они помогут тоже. Весь врачебный состав отделения налицо. Хорошо еще, что есть интерны и что их прислали к ним на выучку, а то эти операции были бы за пределами возможностей — не хватало б рук.

— Николай, ты со своей стороны открывай бедренную артерию и сразу же рентген, а я пока с Олегом открою живот.

— Как договорились. Только Лева пусть передвинется ближе к ногам.

— Правильно. Лева, обойди меня осторожненько. Стань справа от меня. Начинаем. Девочки, вызывайте рентгенотехника.

Пока Юрий Михайлович открывал живот, Николай выделял артерию.

— Ну как, Коля, выделил?

— Она ничего, мягкая. Глубокую артерию выделяю сейчас — и тогда рентген. А у тебя как?

— Сейчас аорту начну выделять. На ощупь она каменная, как и должно быть.

— Люся, — обратился Николай к операционной сестре, — приготовь контраст для рентгена.

Анестезиолог Ефим Ильич просит предупредить, когда дело пойдет к концу.

С а н и н: Концевой отдел аорты полностью склерозирован. Подвздошные артерии свободны. С твоей стороны, Коль, наверное, ниже на ноге блок. У меня здесь, по-моему, аорта полностью закрыта. Ну ладно, видно будет. Что у тебя?

П и р о г о в: Все подготовлено. Наводите аппарат.

Над головами их протянулась стрела рентгеновского аппарата. Операция приостановилась. Погасили лампу. Нацелили аппарат.

П и р о г о в: Выходите. Сейчас снимки будем делать.

Все стали выходить из операционной. Остался лишь один Николай, который должен вводить контраст. Люся замешкалась.

П и р о г о в: Давай-давай выходи быстрее. Тебе еще рожать придется. Зачем лишний раз облучаться? Я и то один раз в день, и не каждый, позволить себе могу.

Люся убежала.

Снимок сделали. Все вернулись.

С а н и н: Следующий снимок мой.

Пирогов: Как всегда. Выделил аорту?

Саннин: Угу. Лева, иди к нам помогать, пока там снимок ждут. Аорту выделили. На мелкие веточки наложили сосудистые зажимы-бульдожки. Принесли снимок.

Пирогов: Как и думали. Слева надо вшивать.

Саннин: Ну а справа видно, что ниже все более или менее благополучно. Нога благополучная. Протез аорты весь делаем в животе, не на бедре. Так?

Пирогов: Вполне возможно.

Саннин: Я начинаю здесь, а ты вену выделяй. Ребята, мойтесь тоже. Петя, ты иди помогай мне, а Титов к Коле пойдет.

Бубнов с Титовым помылись и тоже включились.

Напротив Юрия Михайловича стали Бубнов и Олег, рядом с ним Лева. В ногах, сидя на табуретках друг против друга, расположились Пирогов и Титов.

Работа шла спокойно. Вначале больше молчали. Иногда что-то просили, иногда кому-то приказывали, иногда кто-то кого-то о чем-то расспрашивал, кто-то о чем-то вспоминал, кто-то про что-то рассказывал.

Все как обычно.

Саннин: Петя, помнишь, мы в прошлом году делали толстой тетке? Ей удалось тогда только с глубокими бедренными соединить. Вот у нее точно такой же тромбоз был. Мы тогда первый раз попробовали выдать, отодвинуть тромб. Помнишь?

Бубнов: Конечно, помню. Подожди, я протез подтяну. Так виднее?

Саннин: Угу. Хорошо шов идет.

Бубнов: Сглазишь.

Саннин: Все-таки насколько черные нитки здесь удобнее. Все видно. Шовчик к шовчику, ниточка к ниточке.

Лева: А когда у нас станут делать черные?

Саннин: Кого спрашиваешь? От нас, что ли, зависит?

Наконец синтетический протез подшили к аорте.

Саннин: Фима, пускаем кровоток. Будет кровопотеря, наверное.

Ефим Ильич Березин: Готовы.

Бубнов: Пустили. Нет, ничего. Грамм двести, Фима.

Березин: Вижу. Общая кровопотеря грамм шестьсот.

Николай все время что-то бубнит, обрабатывая вену для пересадки. Это работа нужная, мелкая, кропотливая, требующая напряжения и скрупулезного внимания. Правда, вена оказалась хорошей, широкой — могла быть и хуже, так все ж полегче.

Пирогов: Ефим Ильич, после пережатия аорты гепарин делать каждые два часа.

Березин: Знаю без тебя. Лезешь ты все, Колюня.

Сначала синтетический протез вшивают справа в животе. Шьет Юрий Михайлович.

Николай Иванович вшивает венозный протез в артерию ниже колена.

Потом протез раздвоенной аорты вшивают слева. Шьет Петр Аркадьевич.

Ефим еще раз вводит гепарин.

Березин: Общая кровопотеря около литра.

Пирогов: Крови хватит?

Березин: Пока полно.

Саннин: Пускаем кровоток по протезу. Коля, у тебя бедренная зажата?

Пирогов: Ну.

С а н и н: Пускаю... Пустил... Кровапотеря так себе.

Б е р е з и н: Вижу.

С а н и н: Швы держат. Более или менее герметично. Люся, салфеточки дай.

Приложили салфетки. Придавили салфетками. Ждут.

С а н и н: Фима, как он? Давление ровно держит?

Б е р е з и н: Все нормально. Оперируйте.

Юрий Михайлович придерживает руками салфетки и вспоминает свою работу и жизнь с Игорем:

«Игорь не делал этих операций в то время. Их начали делать только недавно. А эти операции как раз для его спокойного характера.

Так мучает эта кровапотеря. А впрочем, нет сегодня особой кровапотери. Тьфу-тьфу, не сглазить — хорошо пока идет. Зря я злюсь на Кольку, ну сказал что-то вместо меня. Игорь бы и внимания не обратил. А я обратил. Это не в мою пользу. А я с ним и не соревнуюсь. Нет, Игорь бы тоже обратил. Но никогда ничего бы плохого не сделал. И я ничего не делаю и не говорю.

Помню... Чей же это день рождения был?.. Когда мы с Игорем последний раз пили. Он пожаловался на боли в горле...»

Б у б н о в: Хватит держать, Михальч. Давай посмотрим.

Убрали салфетки. Крови нет. Пульсирует хорошо.

С а н и н: У нас все хорошо. Кончили. Зашиваем живот. А у вас? Все шьют.

Самое время для душевного разговора.

И начался общий разговор. Ни про что. Иногда про дело.

П и р о г о в: Черт возьми... Иголка сломалась.

С а н и н: Я принес еще.

П и р о г о в: Дай другую. Что ты еле шевелишься, Людмила! Веселей, веселей. Уже три с половиной часа ковыряемся.

С а н и н: Не торопи ее. Все идет нормально. Побереги нервы. Все же хорошо.

Николай Иванович шьет, молчит и в раздражении думает: «Опять меня все одергивают, учат... Если их не подгонять — распустятся. А кто из них шов этот может положить, как я?..»

Юрий Михайлович склонился над раной:

— Вы уже кончили совсем! И мы кончили. Хорошо сегодня — синхронно заканчиваем. Давайте вызывайте рентгенотехника.

П и р о г о в: Ефим, пускаю кровотоки... Хорошо идет. Пульсирует.

С а н и н: А внизу?

П и р о г о в: Сейчас посмотрю... Вроде пульсирует. Не пойму как.

С а н и н: Ну-ка покажи. Дай пощупать.

П и р о г о в: Подожди, Юрий Михайлович. Дай мне самому как следует пощупать.

С а н и н: Щупай, щупай. Вверху хорошо. Видна пульсация. Хорошая.

П и р о г о в: Ты не трогай там, а то у меня не поймешь.

С а н и н: Привередлив ты, брат.

П и р о г о в: Нет, хорошо. Посмотри.

Юрий Михайлович положил руку в самую нижнюю рану.

— Прекрасно. Люся, давай контраст.

Снова подложили кассету.

Снова нависла стрела аппарата.

Погасили лампу. Наставили, настроили. Все ушли.

Остался один Юрий Михайлович.

Готово.

С а н и н: Пульсирует хорошо. Ладно, ребята, зашивайте кожу.

А если на снимке плохо, снова помоемся. Сколько оперировали, Ефим?

— Четыре часа сорок минут.

— Прилично.

Все собрались в коридоре операционного блока.

Курят. Возбужденно разговаривают.

Операция прошла хорошо. В самый бы раз сказать: будет жить!

Но... Надо, чтоб еще и ходил.

Несут снимок.

Все идеально.

Скинули операционные халаты, фартуки, надели свои халаты, нацепили часы.

Юрий Михайлович застегивает браслетку часов и сокрушается:

— Крутится браслетка, свободно болтается, а утром врезается.

— Дела! — совсем уж безлично бросает Петр Аркадьевич.

Зашли в комнату для записи операций, но записывать не стали.

Покурили. Посидели. Полялякали.

Потом увидели, как целая процессия во главе с Ефимом повезла больного в реанимацию.

— Рановато повезли. Надо бы его еще повентилировать, не дышался еще, наверное.

Николай все еще озабочен. То же он сказал и Ефиму, когда тот нырнул в комнату.

— Ну что болтаешь! Ты посмотри данные.— Ефим сунул ему под нос бумажку с данными кислотно-щелочного равновесия.— Видишь, какой он хороший. А ты балаболишь.

— Не знаю, Березин, не знаю. Только когда подольше подышишь, как следует отвентилируешь, они лучше.

Ефим хотел ответить, но Юрий Михайлович пресек эту извечную дискуссию между хирургами и анестезиологами. Опыт показывал, что практически эти дебаты ни к чему не приводят. А ругань...

— Ну ладно, не портите настроение. Только сейчас не бросай его. Побудь с ним.

Гурьбой пошли вниз.

— У меня харч есть, пойдём поедим,— сказал Бубнов.

Санин обрадовался:

— Хорошо. Есть хочу страшно. Пошли ко мне в кабинет. Я чайку сделаю.

Кафе или буфета в больнице не было, и Юрий Михайлович держал в кабинете кипятильник, чай, кофе, сахар.

Петя притащил свой харч, взятый им на ночное дежурство. Николай — кефир. Остальные калории даю возбуждение после удачной операции.

Николай подумал словами Юрия Михайловича, что они радуются так, будто эта операция не будничность, а случай экстраординарный, праздник. Впрочем, в сегодняшней операции было еще и непривычное новшество. Они пока лишь трижды делали двумя бригадами — на аорте и на ноге одновременно.

Ели, громко говорили, перебивали друг друга, приставали к Пирогову, просили, чтобы он рассказал, как продвигается роман с Ирой. Потом, уже оседлав Пирогова, они остановиться не могли и стали требовать от него как от председателя месткома «быстрейшего решения проблемы питания дежурных врачей», как сказал бы Максим Семенович.

Когда Николай еще не был председателем месткома, он вместе со всеми шумел, требовал, изредка шутил. Сейчас же предпочитал хмуриться и отмалчиваться.

Ребята приставали к Николаю, он же был не только радостно возбужден, как все, но и немножко раздражен по целой сотне видимых причин и по какой-то одной, настоящей, которую он сам еще не мог вытащить на поверхность.

Был единственный способ прекратить поток их дурацких шуток: переключить на другие заботы. Он вытащил из кармана странички, положил их на стол.

— Юра, ты, может, займешься делом? Основу статьи я написал. Давай посмотрим. Может, чего добавишь?

Юра, набив полный рот хлеба, стал смотреть статью.

— Сегодняшний случай тоже надо, наверное, вставить? — спросил Николай.

— Не торопись. Еще как пойдет. — Петя постучал костяшками пальцев по столу.

— Ты что, Коля, очумел! Бубенчик совершенно прав. Тьфу-тьфу.

— Прошло-то хорошо. Даже если и будет какая неувязка, так операция все равно сделана. Общий результат только хуже будет, и все.

— Ладно тебе, Николай, не то говоришь. И вообще не надо о будущем. Болтаешь, будто не хирург.

— Ну и суеверные же вы, ребята.

— Неверующие всегда суеверны. То есть суетно верят либо в бога, либо в науку, либо и в то и другое, вернее ни в то, ни в другое не верят.

— А и то! Сделано все хорошо, удачно. Чего же еще! Вполне нравственно думать о будущем.

Петька вытаращил на него глаза.

— Ну при чем тут нравственность? Что ты заводишься? Начитался своих криминальных романов — и потянуло на нравственность.

— Ну начитался. Ты думаешь, в нашей работе нет нравственных проблем? — Николай приосанился немного и стал говорить про значительное.

Юрий Михайлович решил их примирить, но на самом деле, поскольку и он был возбужден удачной операцией, тоже стал говорить про значительное, будто выпил, ибо трезвым он обычно про это не говорил:

— Бросьте вы! Главная проблема всем ясна и более всего не разрешена: убивать нельзя. И поскольку веками и тысячелетиями ее разрешают, нам остается лишь честно работать и получать от этого удовольствие. Что мы и делаем. А теперь выпьем. Пусть чай, но выпьем. Халат у тебя завернулся, Коля.

— Спасибо.

— Пожалуйста. Отсюда и вера наша, и суеверие, и прочая маета и суета.

— Еще кипяточку. Сколько мы сегодня за Лапина заработали?

Николай прищурился и поднял глаза к потолку:

— В день за семь часов работы мы получаем в среднем шесть рублей. Подвинь стаканчик, пожалуйста. Угу, спасибо. Так. Оперировали мы четыре с половиной часа, считай с подготовкой — пять. Стало быть, каждый из нас заработал за эту операцию по четыре-пять рублей. Юра, как начальник, пожалуй, на полтинничек больше.

— А вы говорите, Михалыч, удовольствие. Это для удовольствия маловато.

— Мало. А теперь посчитай, сколько эта операция стоит государству. — Николай вдруг стал проявлять чудеса арифметики, бухгалтерии, экономики и прочего чуждого им дела. — Нам шестерым по пять рублей — тридцатка. Операционная сестра, день считай, рубль

два-три набезит. Анестезиологическая бригада — десятка на троих. Контраста мы израсходовали рублей на десять. Протез аорты около десяти стоит...

— Ну, еще посчитай рентгентехника с учетом платы за вредность, гардеробщика, рабочий день главного врача...— Петя чуть задумался.— Два литра крови.

— Кровь у нас набрана бесплатно.— Санин тоже включился в подсчеты.— Выгчи, правда, деньги за метро, на котором я ехал утром, и за такси, на котором я поеду сейчас. К тому же рабочий день у нас давно кончился, кроме твоего, так как ты дежуришь. А я сейчас в свое свободное время волен считать все что угодно и быть абсолютно безответственным.

Все рассмеялись, и, казалось бы, час экономики завершен. Однако Николая не собьешь, и, раз начавши, он остановиться сразу не мог:

— А что ты думаешь, Юра! Все считать надо. Но и это не главное. Нам платит государство. Петька, выльешь на статью. А Лапин этот из государственных производителей выпал. Или частично выпал. В значительной степени, если не полностью, он будет инвалидом.

— Ты, Николай, крупный деятель. Тебя не зря выбрали в местком. Дай лучше закурить — мои кончились. Спасибо.— Юра похлопал по карманам халата.— Ну уж и в спичках не откажи.

В дверь постучали. Вошла Ирина.

— Аптечному приказу и дьякам его поклон и благосклонность наша, а более того нужна нам благосклонность ваша. Иринушка, у нас кончился гепарин. Какие перспективы у хирургов в этом плане, есть ли надежда на ваши запасы? Наши зачатки кончились.

— Если нет, Юрий Михайлович, то будет, только нужду сообщите.

— Читайте, что сообщил, а за обещание и вышеуказанную благосклонность спасибо. Нам так важен блат в аптеке, чтоб вы нам ни в чем не отказывали, что...

— Всегда не отказывать невозможно.

— И тем не менее, Иринушка, коль скоро к нам попала: у нас кончается контраст, сосудистые протезы на исходе...

— Юрий Михайлович,— Ирина сникла,— я, честное слово, не скупа, но ведь действительно не хватает денег.

— Что ж, бросить оперировать? Вот ведь странное дело: когда имеешь дело с жадным человеком, то вместо естественного противопоставления его идеологии своей почему-то всегда поддаешься и сам становишься жадным.

— Я для вас жадная! — Ира чуть не плачет.

— Шучу. Я профилактирую. Коля, прошу тебя, составь списочек для Иры, что нам на сегодня или на завтра нужно из дорогостоящих. Прямо сейчас напиши. А мы с Петром сходим в реанимацию посмотрим Лапина.

Ушли.

— Они что, нарочно ушли? Что-нибудь знают?

— Знать ничего не знают, а ушли, может быть, и нарочно. Его не поймешь. Может быть, показывает широту свою, а может, хочет действительно блат использовать, а может, просто выпендривается. Пойди разберись.

— Ты что, поспорил с ним?

— С чего ты взяла? Пойдешь после работы ко мне?

— Я уже давно кончила, а ты, наверное, еще не готов.

— Нет. Еще нет.

- Я пойду в магазин, мне купить кое-что надо, а потом увидим.
 — Возьми ключ и приходи прямо ко мне. Я ж не знаю, когда приду.
 — А если ты освободишься раньше?
 — Нет...
 Вошел Юрий Михайлович.

XVIII

Ира обнаружила немытую посуду в раковине, неубранный стол на кухне, неподметенный пол в комнатах, и женское естество, а может быть, иные побуждения заставили ее взяться за уборку.

Это была опасная акция.

Ира двигалась, суежилась, покраснелась, ее темные волосы перебрасывались с плеч вперед, закрывая глаза, поэтому она в конце концов сделала при помощи черной аптечкой резинки кольцо, через которое пропустила хвост волос.

Она уже все убрала, даже стерла пыль с Колиных автомобильчиков. Дальше делать было нечего. Взяла с полки книгу, подошла к дивану, постояла минутку, а потом, вроде бы махнув рукой, легла и стала читать.

Еще минут через тридцать она поднялась, пошла на кухню и сделала себе кофе. И лишь еще через полчаса раздался звонок в дверь, и она пошла открывать.

Открыла. И не удержалась от недоумения. Николай пришел с Юрием Михайловичем.

В голове у нее засквозили не очень лестные слова и мысли. Конечно, он ее поставил в двусмысленное положение. Он должен был позвонить, предупредить. Это ей решать, как поступить!

Николай же, увидев Ирину растерянность, решил, что не права она. Он-то знает, что Юра не тот человек, которого надо стесняться. что такую вещь Николай может сам понять и решить за другого, за нее во всяком случае.

Ира видела, что думает Николай: в мысли «не права она» уже содержится «прав я». «Вообще это не по-мужски, а может, как раз по-мужски», — соглашательски завершила она и, распахнув дверь широко, отошла в сторону.

Юрий Михайлович отвел глаза в сторону и подумал, как же это он не замечал, сколь Ира великолепна. Длинная шея, кошачьи глаза, а ниже шеи и вовсе прекрасно. За лекарствами леса не видел, за аптекаршей женщину не разглядел. Он шагнул в квартиру, взял Ирину руку, нагнулся и поцеловал. Это был тот стандарт, которого не бывало в больнице. И напрасно.

Юрий Михайлович сел на табуретку в кухне в углу, приподнял ногу и уперся ею в батарею, спина распласталась по стене.

— Обещан кофе... Или чай.— Наглая краткость Санина явно говорила о некотором смущении.

Потом он осмотрелся.

— Что это ты этикетки коньячные наклеиваешь? Причем одинаковые...

— А ты погляди. Видишь, диагнозы написаны. За какую болезнь, за какую операцию подарен этот сувенир.

— Ну силен! Я до такого не додумался.— Санин подошел к стене и стал читать надписи.— Больше всего холецистита.

— Да. Так получается.

— Интересно.

Николай налил в чайник воду и поставил его на огонь.

— Давай, Коля, я мясо пожарю.

— Я и сам могу. Я все могу.— Коля, как и полагается хозяину, засуетился.

— Давай-давай мне.

— Конечно, Коля. Отдай женщине — это и вкуснее, и приятнее, и легче.

— А я считаю, что готовить — дело мужское. Настоящие хорошие повара — мужчины.

— Считаю, считай — допрыгаешься. И вообще прекрати немедленно. Надо облегчать себе жизнь, а не загружать ее.

— Ладно, Коля, у тебя есть чем мясо отбить? Может, бутылка пустая есть?

— И пустая есть и полная.

— Коньяк, конечно?

— Натурально. Как ты говоришь, престиж нашего отделения пока достаточно высок.

— Ирочка, вы не обидитесь на нас, если мы, не дождавшись...

Возбуждение после операции не покидало их. У Юры это выразилось в некоторой развязности, дозволенной гостю, у Николая — в несколько излишней суетливости хозяина. Он встал, полез в шкаф, достал тарелки. Сел. Снова встал, достал ножи и вилки. Опять сел.

Ирина долго шипела чем-то на плите на огне, что прерывало их плавный пустой треп. Наконец она прекратила этот шип и поставила перед каждым тарелку с мясом.

Сели все.

Коля вскочил.

— Забыл! У меня же кетчуп болгарский есть. В холодильнике.

— Сиди, сиди. Я достану. — Юра повернулся, открыл холодильник, вытащил красненькую бутылочку с соусом. — Ты хозяин, каких мало. Я, когда живу один, у меня только молоко, сыр, масло и яйца. А у тебя полная чаша. Да еще сахар.

— Ты же, Юрий Михайлович, редко бываешь один. Только летом. А я постоянно.

— Ирина, твое здоровье.

Все выпили.

Едят.

— Юра, а как это мы все ж занялись сосудистой хирургией?

— Как-как?! Не помнишь? Сначала мы в институт ходили смотреть. Потом они приезжали делали. Потом мы сами. И все. И нет проблем.

— Это я и без тебя помню. Как решились, откуда идея появилась — этого не пойму.

— Нас тогда за что-то обругали. Выговор дали мне и всему отделению. И это освободило нас от условностей и ограничений. Как пощечина дамы, — Юра поклонился Ире, — освобождает нас от скованности и тоже от ограничений. Мы: ах так! И пошли в бой.

— А вообще я тебе скажу, Юра, что оперируем мы сейчас мало, нечего нам оперировать. Много больниц понастроили, операционный материал растворился по многим отделениям. Операций стало меньше на одну хирурго-единицу. Вот мы и стали искать, на чем руко погреть, на чем их потешить, от чего другие хирурги отказываются.

— Так что ж, дорогие хирурги, много больниц — это плохо?

— Конечно, Ириша, говорю вам ответственно как заведующий отделением. Колька хочет умалить наш энтузиазм объективными причинами, этого ему народ не позволит, но вообще он прав. С увеличением количества больниц стала уменьшаться квалификация хирургов — мало оперируем.

— А как же быть?

— Перестроить работу. Построенные больницы отдать под хронических больных — ведь это проблема, куда класть хроников. В хирургических построить не один стол на отделение, а шесть, скажем, или пять — кому надо сосчитают. Не один анестезиолог на сто больных, а один на стол. Не койка должна быть точкой отсчета, а стол. Больных обследовать амбулаторно. Поступил — завтра же оперировать. В день тридцать операций минимум. Но в организации я ничего не понимаю, это дело не наше — нам надо оперировать. А потому у меня предложение: выпить мне с Ириной на брудершафт. А то Колька на ты, а мы все время путаемся.

— Я не против.

У Иры от выпитого раскраснелись щеки, немного сузились зрачки, совсем зелеными стали глаза. Юра же, наоборот, от выпитого побледнел. Он прочнее вдвинулся в угол и стал рассказывать какую-то историю из своего последнего отпуска.

Потом Николай заговорил о своих планах и операциях.

Ира сказала, что хватит говорить об операциях, потому что, во-первых, надоело, а во-вторых, есть опасность разговоров о лекарствах и деньгах.

Санин стал рассказывать про своего сына — успеха не имело.

Потом о книгах.

Потом был посошок.

Собрались выходить. Юра вальяжно посмотрел на Ирину, перевел взгляд на коллегу и сказал:

— Вы еще посидите, а мне в семью, в свой святой семейный очаг. — Вздохнул. — Гену жалко.

Идея «посидеть» успеха не имела. Во всяком случае, Ира не одобрила. С другой стороны, не видно было, чтобы Санин расстроился оттого, что предложение его не прошло.

Пошли к дверям.

Юрий Михайлович шел впереди и вдруг сказал:

— Игорь бы меня не осудил.

Его не поняли, переспросили, он не ответил, но подумал, что и ему самому непонятен смысл его заявления. Наверное, это уже стало привычной формулой.

— Ну и лестница у тебя, Колюня, — конца нет. Неудобная.

— У нас переход от приемного отделения в хирургию еще длиннее, еще хуже.

— А вы, ребята, кроме как о своей хирургии, можете говорить о чем-нибудь?

— Можем, но редко. — Коля, кажется, включился в тональность шефа. — Нас так воспитали. Мы народ ограниченный. В конце концов, и с женщинами эта тема самая интересная.

— Это я оставляю на твоей совести. Но что касается перехода, еще будет когда-нибудь катастрофа. Повезут как-нибудь тяжелого больного по вашему подвалу — и помрет там, и ничего не успеете сделать. И будет вам «жалко Гену».

— А ты думаешь, мы не говорим про это? — Николай посмотрел в спину своего начальника, который вышел уже на улицу и дожидался их. — Не дают нам разрешения на перестройку.

— Прекрати немедленно. Ты же местком — ставь вопрос. — Теперь Ира взяла на вооружение тональность, идеи и даже слова Санина.

— Что вы все местком да местком! Это вопрос ни производственный, ни отдыха, ни помощи, ни охраны труда. Не подходит под наши градации. Это вопрос лечебно-строительный. Вот — термин!

Ира своим женским изворотливым умом сообразила:

— Вполне можно подвести под охрану труда. Бегать-то приходится далеко. А в приемном покое хирург не положен — один терапевт. Бегать. Бегом надо — для здоровья вредно. Вполне можешь включиться.

— И ты, Брут! — повернулся к ней Николай.

— Она тебе не Брут, она тебе Цезарь на сегодня. Когда будет катастрофа, тогда все забегают. И местком, кстати, тоже. Кто-то умрет, кому-то выговор — в результате перестройка. — Юра рассуждал спокойно, говорил медленно и опять вальяжно смотрел на собеседницу.

— Нельзя строить жизнь и планы на несчастьях и катастрофах.

— Очень оригинальная мысль. — Юра спустился со ступенек подъезда и подал Ире руку.

Следом подошел Николай с уже готовым воспоминанием.

— У нас в области, где я жил раньше, был крутой поворот на дороге у реки. Там автобус проходил. Говорили, что опасно, добром не кончится. Все разговоры шли. А потом опрокинулся автобус, были жертвы. Знаете что началось!

— Знаем, знаем.

— Головы так и летели. По-оснимали-и. Спрямили дорогу.

Рядом с Юрой упал камень. Они обернулись. Два мальчика кидают друг в друга камнями.

— Эй, спать пора! — добродушно крикнул Пирогов.

— В голову попадете, — оптимистично предположил Санин.

Один из мальчиков остановился и неизвестно кому ответил:

— А вам какое дело? — По-видимому, он считал, что головы прохожих или не в счет, или в безопасности.

— Вам что, а нам лишняя работа. Мы хирурги, ребята, — сообщил им Санин.

На мальчиков это впечатления не произвело, правда кидать камни перестали.

В таких веселых разговорах и дискуссиях они прошли короткий путь от дома, от тепла и покоя до стоянки такси, до места надежд, ожиданий и в это время дня утомительных разочарований. Свободных машин не было.

— Ира, подвезти?

— Я рядом живу.

— Да я провожу, Юр, до дома.

— Ну ладно. Мое дело предложить. — И уехал.

Ира с Николаем остались, о чем-то споря.

Машина пошла на разворот, и когда она опять проезжала мимо этого места, Юра увидел, как они медленно шли к Колиному дому.

ХІХ

Утром выяснилось, что Юля заболела. Это значит, что Юрию Михайловичу надо вести Гаврика в детский сад. Детский сад открывался в восемь, когда Юра обычно уже в больнице.

Значит, опять такси!

Юля это понимала, но Юра все равно чувствовал себя виноватым. Почему? Может быть, оттого, что деньги семейные он тратит на такси, а может, оттого, что без серьезных оснований пришел вчера поздно.

Мало какую вину можно найти себе, или товарищу, или любому близкому человеку. Был бы человек поближе, а вина всегда скатится.

Юра помогал Гаврику одеваться, а Юля настаивала, что одевать такого большого ребенка непедагогично. Но Юра спешил и, несмотря на чувство вины, коротко обрезал:

— Ну так я не Песталоцци.

Юля обиделась и замолчала. Извинился он доступным для себя способом: положил на столик рядом с постелью лекарства и принес стакан с теплым чаем.

По дороге они разговаривали. Гаврик говорил, сколь приятны ему пистолеты и автоматы, а Юра талдычил что-то против них, хотя обычно говорил, что бороться с идеями и мыслями детей нельзя, что в борьбе можно только сына потерять.

— Папа вот твой лечит людей. Может быть, и ты будешь лечить, а тебе нравятся вещи, которые ранят и убивают людей.

— Я буду лечить людей, но все равно купи мне, пожалуйста, пистолет, чтоб трещал и на конце зажигался. Ладно?

— Если ты хочешь, я куплю, но мне такие игрушки неприятны.

— Ну и пусть, а потом я вырасту и буду с тобой лечить людей.

То ли это чувство вины, то ли раздражение, что уже с утра его планы ему неподвластны, то ли беспокойство за больную жену, оставленную на самую себя, а может быть, вчерашнее выпитое выходило из него отвратительным назидательным занудством:

— Сначала тебе надо учиться долго, а потом ты будешь, ты сможешь лечить людей.

— Нет. Чтоб лечить людей, учиться не надо.

Юра открыл было рот, но появилось пустое такси. Спасительное такси! Сколько раз оно спасало его от лишнего резонерства, от лишних слов, от лишней пустоты, даже от лишних действий, а лишние действия всегда опасны.

Они сели в такси.

— Тебе нравится ездить в машине?

— Ага. И на пароходе нравится.

— Ты ж не плавал на пароходе.

— А все равно нравится.

— А еще что?

— Телевизор смотреть.

— Хм. А еще?

— Плавать в море.

— Ты ж не был на море.

— Ну и что? А нам читали.

— А еще? — Юрий Михайлович явно зарвался.

— А еще по горам ходить.

— По горам? Тоже читали?

— Читали.

— А еще что читали?

— Ничего не читали.

— А в детский сад ходить нравится?

Юрий Михайлович вышел на опасную дорогу, но Гаврик вступил на путь без поворотов.

— Нравится. И быть доктором нравится.

— А это тоже читали?

Гаврик засмеялся, и было неясно, смеется ли он от радости, смеется ли над шуткой, смеется ли над папой. Гаврик смеялся. А что мог противопоставить смеху Юра? Да и надо ли было? Что-то сказать нужно было, но оказалось не по силам... А Гаврик говорил уже нечто конкретное:

— Пап, пап! Смотри, асфальт намазывают сверху, на старый асфальт. Так земля будет больше, да? Распухнет, да?

— Угу, — весьма распространено ответил Санин.

Что-нибудь сказать определенное, но Гаврик уже входит в двери детского сада.

XX

В больнице Юрий Михайлович прежде всего побежал в реанимацию посмотреть до всех дел Лапина. Мимоходом услышал, как дежурный реаниматор докладывал у себя на утренней пятиминутке: «...стал выходить из бессознательного состояния. Сейчас проявляет интеллект в форме мата». «Вряд ли речь идет о Лапине,— мелькнуло у Санина в мозгу.— Лапин вчера вечером был полностью в сознании».

У Лапина уже был Николай.

— Ну как дела ваши, Алексей Алексеевич? Ноги не болят?

— Я смотрел уже. Все хорошо.

— Живот болит. А ноги нет. Совсем нет. И не мерзнут.

— У него пульс на стопах лупит что надо. Посмотри, какая нога горячая.

— А живот не вздувает у вас?

— Нет. Но болит.

«Проявляет интеллект в форме разумных ответов на вопросы»,— подумал Юрий Михайлович.

— Язык покажите. Влажный. Хорошо. Пойдем, Коля, потом еще посмотрим.

И они прошли в конференц-зал на утреннюю пятиминутку хирургического корпуса.

После доклада дежурных, разбора вчерашних операций и обсуждения предстоящих на сегодня им зачитали несколько писем, поступивших в различные инстанции, в том числе и главному врачу, с благодарностями некоторым врачам. Благодарные просили сократить чтение — не хватает времени на работу.

Потом разбирали случай смерти.

Молодая женщина поступила в больницу с переломом ноги. Ее лечили обычными методами. Нога была в гипсе. На третий день у нее появились некоторые странности в поведении. Затем упало давление, прекратилось дыхание. С ней в течение длительного времени занимались реаниматоры, но эффекта не было, и она умерла. На вскрытии оказалось довольно редкое, но типичное осложнение переломов. Жир из переломанной кости проник в кровь, оттуда в сердце, в сердце оказался врожденный порок, и через не предусмотренное природой отверстие жир из сердца попал в мозг и там закупорил сосуды. От этого и смерть. В этих случаях вылечить невозможно. Пока не умеем.

Родственники говорили, что они «не могут простить этой больнице эту необоснованную смерть».

Необоснованная смерть.

Лечащий врач почему-то начал возмущаться, объяснял конференции, что он в подробностях родственникам рассказал, и ему непонятно, почему они так говорят.

Юрий Михайлович подумал, откуда берутся олухи и почему они, эти олухи, так любят возмущаться.

Затем разбирались сколка травматологов с рентгенологами.

Дело в том, что больница с большим трудом достала два рентгеновских аппарата, так называемых ЭОПа (электронно-оптические преобразователи). Нам, врачам, мало доступно понять принцип их работы, и мы просто говорим ЭОП, зная, что если этими аппаратами пользоваться во время операции, то время ее значительно сокращается. Например, травматолог вводит гвоздь в кость при операции и ему не надо делать снимок, предварительно укладывая кассеты, и потом стоять у окна или сидеть у стены, ожидая, когда его проявят и принесут показать. С ЭОПом он вводит гвоздь и смотрит на экран. Аппаратов этих мало, стоят они тысячи, достать трудно. Наши рентгенологи узна-

ли, что в одной из больниц имеются эти аппараты и никто ими не пользуется. Нам отдали эти аппараты. Перевели с баланса на баланс. В результате выяснилось, что для аппаратов нужны специальные столы, пропускающие рентгеновские лучи, однако фирма нам в нашу больницу... Впрочем, при чем тут фирма, она не с нами имела дело... Столов у нас не было. Их надо было достать. Негде. Надо было сделать. Не сделали. Об этом и дискуссия. Нудная и бесплодная.

Пирогов: Мне смешна эта дискуссия. Кончайте, надо идти работать.

Максим Семенович: Пирогов прав. Все решим в рабочем порядке. Прошу заведующих рентгеновским и травматологическим отделениями остаться. Мы конкретизируем фронт работ, и каждый на отведенном ему участке в установленный срок все сделает. По рабочим местам, пожалуйста, товарищи.

С конференции они расходились смеясь.

Если не смеяться — как выжить?

Юрий Михайлович позвонил домой, получил бюллетень о состоянии здоровья жены и сказал, что позвонит после операции.

Перед операцией он еще раз захотел взглянуть на Лапина.

Тот лежал улыбался. Чувствовал себя хорошо. Жена успокоенно сидела рядом.

Санин пошел помогать на операции Василию Борисовичу.

Николай стоял рядом — смотрел.

Николай Иванович. Помогает. И все норовит сам. Уж коль скоро ты помогаешь, так держи, и все. И молчи. А Ирине он вроде понравился. Дома понравился. На работе-то что. А это мало ли? Очень приятная Ира. Надо подцепить простыню. Кожа открылась. Да. Сейчас он подцепит. Что Васька медлит? Сейчас он сам руку запустит. Точно. Нет. Интересно, Юрка понимает, что делает, или привык так делать; так и идет, как идет. Парень-то он хороший... Заведующий, впрочем... Умный, соображает, слишком уж тактичный, вежливый... Поза это всё. Не верю. Нужно навести порядок. Нужно навести порядок... Что это он делает?.. А-а. В отделении распушенность, а он, видите ли, не может прикрикнуть. Теперь пунктировать надо... Зачем я это вслух сказал? У самой шейки. Вот же проток. А вот сосуд... Опять зря вылез. А чего ж они... Люблю смотреть операции. Часами бы смотрел. Ира сказала, что сегодня у нее дела. Ну и прекрасно. А у Юры сегодня тоже дела? Бужами надо лезть в проток. Все-таки... Бужами проверять будут? Бужами, наверное. Опять зря я. Я бы помог Васе, и ему было бы спокойнее. И что же он всем помогать лезет! Без него, что ли, не справимся? Ше-еф! Сегодня еще местком. Забыл совсем. Кого-то я вызвать должен был. Надо использовать, пока я председатель месткома. А как? Нет ничего в протоках. И так ясно. Юрка говорит, чтобы еды для дежурных добился, — легкое дело! Кончайте, ребята, кончайте. Веселей. Опять черт дернул меня вслух. Пора кончать. Пойду к нему в кабинет, если там никого нет, позвоню Ирине. А то хвост распустил...

Юрий Михайлович. Начали. Ну бери же нож. Когда не сам — всё долго кажется. Надо было сказать Николаю или Петьке, пусть бы они ассистировали. Стоит смотрит, а борода из-под маски вылезает. Хоть бы попросил, чтоб ему маску побольше шили. Специально. Ну что подсказывает? И ведь всегда такое, что и без него обязательно делают. А впечатление, что он как подскажет, так и сделают. Прирожденный начальник. Начальник в суете. Давай, Вася, давай. У меня тоже терпения не хватает. И я подсказываю очевидное. Я еще хуже делаю — не подсказываю, а рукам волю даю. Молчу и делаю. Хорошо разве?

Наверное, так лучше. Словами больше унижаешь. Когда дела не великие — слова хуже дел. Словами получается, что вы без меня ну куда. А если руками, так, кроме него, никто и не видит. Ира, пожалуй, прекрасна. Я только вчера разглядел. Молодец Николай — как он усмотрел. А может, это я натравил его? Придаю себе значение, какого не имею. Чего только себе не припишешь. Как говорится, и на да и на нет приписываю. Еще и Юлька заболела. Вот незадача. Надо домой быстрее. Ну что он тянет? Давай-давай. Ну куда зажим! Сейчас сам положу. Сюда сам положу. Опять подсказывает. Ну гусь! И что б мы делали, если бы он не подсказал. За Гавриком еще заехать надо. Оказывается, у Иры сын. Тогда все легче. Чего легче? А чтоб Кольке жениться на ней. Неизвестно, пойдет ли еще она. Это пока все так только. А вот женитьба, как говорил товарищ Беликов, шаг серьезный. А Колька тяжелый — еще неизвестно, как с ним. Тяжелый. Тяжелый тот, кто делает, что ему нравится. Это эгоист. Так что еще неизвестно. Парень-то он хороший, работага. Но если начальником... Не приведи господь. Сейчас опять подскажет, чтоб бужами проверили. Точно. Плохо я о нем все же думаю. Игорь о людях редко думал плохо. Помоему, редко. Нет ничего в протоках. Впрочем, черт его знает, может, и не редко. Кольке вот нужен бы такой вот Игорь... А может, есть. Пошел. И мне, пожалуй, надо идти.

— Без меня зашивайте. Ладно?

— Конечно. Спасибо, Юрий Михайлович.

ХЖ

В кабинете сидел Пирогов и говорил по телефону.

— Что? С Ирой, наверное?

Николай кивнул.

— Ну ладно. Кончать надо. Шеф пришел. — Николай усмехнулся и положил трубку. То ли своим словам усмехнулся, то ли ее. И тут же с ходу перешел к проблемам глобальным: — Нам нужна газета-журнал. Медицинский еженедельник. Типа «Недели». Тогда все новое быстро бы проходило.

— Бумаги нет.

— Истории болезней выкинуть и все подобное. Столько бумаги освободится! А сегодня какую выпускают газету? Информации в ней мало. А так бы и научные статьи можно.

— Хочешь печататься там и быть великим? — улыбнулся Санин.

— А плохо разве быть великим хирургом? Сегодня подошли родственники, попросили, чтоб я сам оперировал.

— То-то ты на подъеме сегодня. Это, конечно, приятно. Но на счет великого... Знаешь, говорят, на детях великих природа отдыхает. А я, как старая гримза, о себе думаю уже чуть-чуть меньше. Перевожу на Гаврин счет. Пока еще чуть-чуть, хотя пора бы уже побольше. А еженедельник для нашего величия совсем неплохо. Для твоего еще непомерного честолюбия и для моего, чуть начинающего уже убывать...

— И надо это быстро. Нам, всем врачам, это очень нужно.

Санин засмеялся:

— Войди в компетентные, как говорят, органы с ходатайством.

— Сейчас. Разбежался.

— Ты уже председатель месткома. Станешь председателем ЦК профсоюза нашего и все сделаешь. — Юрий Михайлович опять улыбнулся то ли своим словам, то ли возможной перспективе.

— Карьеру профсоюзную рекомендуете?

— Ну тогда пиши диссертацию. Это у тебя быстро получится. Станешь профессором, академиком. А, Коль? — не унимался заведующий.

— А чего спешить с медицинскими публикациями? — повернул вдруг Николай. — Человек все равно смертен. Ни одна медицинская, даже самая сногшибательная статья ни радикального, ни, скажем, даже реального переворота не совершит. Так ведь? — Николай, по-видимому, начал обобщать, а это почти всегда если не ошибка, то на грани ее.

— Пока не пойму.

— Вот если речь идет об оружии, тогда спешить надо, тут все силы и газеты мира запоют. Хотя если подумать — человек смертен и без них, без оружиепридумывателей.

— У тебя, Коль, государственная голова.

— Эхма! Это точно.

И Николай пошел из кабинета массивный, словно крепость, несущая уверенность в будущем. В коридоре он обернулся и увидел, как, победно ступая, идет к кабинету заведующего Титов. «Широко шагает мальчик. Но его необязательно останавливать. Красавец! Бог с ним».

Размашистой и полунаглой какой-то походкой Титов подходил к кабинету шефа. У самой двери он уменьшил шаги, чуть согнулся, или это так только казалось Николаю, стоящему в дверях палаты. Василий Борисович быстро и уверенно поднял руку на уровень глаз, потом опустил ее на уровень груди уже не столь размашисто, согнул палец и тихонечно постучал в дверь.

Николай удовлетворенно усмехнулся, опять подумал, что не надо этого мальчика останавливать, подмигнул, по-видимому коридору, и скрылся в палате окончательно.

— Юрий Михайлович, я перевязывал сейчас аппендицит из пятой палаты. Нагноение! Третье нагноение у нас. Надо операционным сестрам по мордам надавать. Безобразия!

— Не горячись. Во-первых, по данным Московского всемирного конгресса, нагноительные осложнения и до десяти — двенадцати процентов доходят. Так что мы не дошли еще до мировых стандартов. Есть запас. Во-вторых, сильное ли нагноение?

— Нет. Под кожей немного, но нагноение!

— Да не шуми ты. Кто оперировал?

— Я.

— Ну вот видишь. Зачем же сестер бить за это? Не ищи ты виноватых. В крайнем случае, если уж невмоготу, ищи в себе. Улучшай свою оперативную технику — продуктивней будет. Начни сестер валтузить — кроме крика, ничего. Прости за речь, но положение начальника обязывает меня иногда занудствовать.

— А как вам операция сегодняшняя, Юрий Михайлович?

— Нормально. По-моему, все шло хорошо. Я-то держал крючки и думал про свое. По-моему, все хорошо.

— А если все хорошо, чего ж вы мне не дали самому наложить зажим на артерию? Не доверяли?

— Да что ты! Я даже не заметил. По привычке, наверное. На что ты обращаешь внимание! Не будь таким суетливым. Ты, кстати, и во время операции суетишься. Чтобы стать хорошим хирургом, тебе, наверное, надо снять все суетные атрибуты, ограничительные предметы. Скинь. — Санин засмеялся. — Знаешь, начни с кошелька. Выкинь кошелек. Освободи свои деньги от пут, клади их просто в карман, не лазай каждый раз за кошельком, не копошись в нем. Уже намного

станет легче. Сорви с себя галстук, расстегни верхнюю пуговицу рубашки.

Юрий Михайлович устало сел за стол, понимая, что после всей этой разносторонней проповеди Титов должен будет как-то реабилитироваться. И действительно:

— Юрий Михайлович, санитарка с первого поста плохо убирает, шумит на больных, груба. Надо что-то делать. Я понимаю, что у нас их нет, но и так не дело.

— Ты прав. Нет их, и она не работник. Пиши рапорт мне, что плохо работает. Уволим.

— Нет, уволить нельзя.

— Тогда не морочь мне голову. Ладно, мне домой надо. Пойду. Титов ушел, пожалуй, несколько огоршенный.

Санин подошел к окну. По дорожке к корпусу шла Ира. Она шла стремительно, наклонившись вперед. «Летит, как копьё, несущее счастье,— вычурно подумал Юра.— И еще — что это она мне каждый раз в окне попадается?..— Он усмехнулся этому придуманному и неестественному образу.— Воображение у меня дикое, фантомное, вернее нет его, воображения. Вот, помню, Игорь воображал, воображал — вспоминал, такие картины рисовал, а я вроде тоже помню, да разве так?»

XXII

Три дня прошли в необычной суете. Юлина болезнь выбила его из наезженной колеи нормальной работы. Он приходил чуть позже, торопился, не оставался в отделении после операций. Обычные их больничные посиделки вроде бы и пустотой сплошной казались, однако они создавали устойчивость в отделении, спокойную, уверенную неторопливость, съедали суету. Они работали не спеша. Вернее, работали нормально, но жили в больнице не спеша. Эта трепотня оказывалась большей учебой, чем утренние пятиминутки или научные конференции.

Они и вокруг них не говорили: был на работе, иду на работу, он на работе. Говорилось: был в отделении, иду из больницы, задержался на операции. Временами казалось, что это не работа, а жизнь в свое удовольствие и для удовольствия. Наверное, так оно и было. Не высокие материи их побуждали к такой жизни, а забота о собственных удовольствиях. Они были счастливыми — им всем очень повезло.

Но стоило ему всего несколько раз поспешить из больницы домой — и сразу стала «работа».

Странное дело. А ведь такое отношение к работе как к удовольствию тоже ненормально. Может быть, оно от собственной ограниченности или от ограниченных возможностей?

Маловероятно. Все маловероятно.

Так думал Юрий Михайлович уже дома перед сном. Он вспоминал весь сегодняшний день. И получалось так, что если раньше его подночные воспоминания опрокидывались к различным больничным ситуациям дня, то сегодня в голове всплывали домашние эпизоды и разговоры. Может быть, именно их ему и не доставало для полной гармонии? Может, иногда возникающие где-то в печенках его недоброта, раздражительность, ревность к кому-то или чему-то связаны именно с односторонностью, которая противна гармонии?

И все-таки его воспоминания даже о доме хоть каким-нибудь углом цеплялись за работу — сегодня не за отделение, за работу.

— Сейчас, подожди, Юля, я вынесу помойное ведро.

— Не надо, я сама.

— Ничего. Вынесу.

— Тебе же нельзя, грязь, завтра операция.

— Нечего быть святее папы римского. Раз у меня такие условия существования, значит, можно.

Он вспоминает, анализирует, обдумывает, стягивая рубашку, штаны, и все это в медленном темпе. Куда спешить? Спать, что ли?

Наконец он лег, взял книгу и стал читать.

Мысли все отлетели, он погрузился в события выдуманные, а может, и документально достоверные, но не связанные непосредственно с его существованием. Его это не очень волновало, он стал засыпать и уже протянул руку, чтобы погасить свет, как раздался телефонный звонок.

Банально, дешево, привычно, скучно: засыпающий хирург ночью в постели — и вдруг телефонный звонок.

На-до-е-ло.

Кто дежурит?

Петька.

Он зря не позвонит.

Видно, судьбе уже надоело, что в спешке он сделал больницу «работой». Потому и звонок.

Юрий Михайлович держал руку над трубкой, почему-то ожидая второго звонка.

Не хотелось брать трубку. Почти наверняка ехать.

Так не хочется!

Второй звонок.

— Я слушаю.

— Юрий Михайлович, Бубнов говорит.

— Что случилось, Петя?

— У Лапина кровотечение.

— У Лапина? Откуда?

— Из верхней раны на бедре.

— Сильное?

— Прилично. Залило сразу всю постель. Одеяло.

— Что сделали?

— Придавили рукой. Сестра держит. Сейчас поднимаем в операционную.

— Дела! Откуда ж это?

— Не знаю. А что может быть? Для инфекции еще рано.

— Что бы ни было, брать надо.

— Конечно. Но что делать?

— Смотря что увидим. Мне приехать, Петь?

— Решайте сами. Что увидим, неизвестно. Наверно, лучше приехать, Юрий Михайлович.

В этом «Юрий Михайлович» была извиняющаяся интонация.

Когда Юрий Михайлович оказался в вертикальном положении, сна уже не было ни в одной клетке мозга, даже тело, а не только мозг, бодрствовало.

На этот раз бог помог — и прямо у подъезда остановилось такси. Из машины вышел мужчина, зажегся зеленый огонек.

Через двадцать минут он был в своем кабинете.

Еще через пять минут в своей зеленой операционной пижаме он шел по длинному коридору оперблока. Сквозь стекла над дверьми операционных на него падал синевато-мертвящий свет кварцевых ламп, которые, говорят, убивают всех микробов, накопившихся за день работы. Этот отвратительный свет горел под потолком. Если горит этот мертвый свет — операционная сейчас не работает. Юра по-

дергал дверь — заперта. Остановился. Все эти ненужные обдумывания, заглядывания в операционные — на самом деле оттяжка времени. Впереди из открытой двери на темный пол коридора падало золото света единственной работающей операционной.

Ночная операционная, всегда готовая для экстренной, неожиданной работы, выглядит совсем иначе, чем днем. Когдаходишь в дверь, видишь желтый отсвет обычного электрического света, а на черном фоне ночного окна, занимающего всю стену, резко выделяется и громадная лампа, висящая над столом, и белые фигуры хирургов, анестезиологов, сестер. Все подчеркивает максималистскую безапелляционность экстренной хирургической работы. Движения издали не видны — какая-то застывшая нерешительность. Черно-белое несоответствие безапелляционности и нерешительности лишь мелькнет перед глазами вновь вошедшего хирурга, и тотчас происходит перееливание в иное качество: из положения наблюдателя в состояние участника.

Петя стоял, склонившись над ногой Лапина.

Лицо на столе белое, граница губ сливается с кожей.

— Много потерял?

— Видишь, белый. Не подсчитаешь. Все в крови было. Смотри, Михалыч, протез расслоился, что ли? Или дыра в нем?

Юрий Михайлович увидел выделенную им еще в прошлый раз артерию, вшитый в нее под углом лавсановый гофрированный протез, три изогнутых сосудистых зажима.

— Смотри, снимаю зажим.

Петины пальцы сдавили зажим, инструмент раздвинулся. Протез запульсировал как истинный, а не искусственный сосуд, и следом почти в тот же миг мощная струя ударила из стенки протеза.

Разжались пальцы, сомкнулся инструмент — струя оборвалась.

— Отсос.— Петя протянул руку к сестре.

— Что же это такое? Шов лежит хорошо. Прямо из протеза. Такого я не видел никогда.

— Может быть, дефектный протез?

— Черт его знает. Но этот участок надо менять.

— Может, попробовать ушить?

— Нет. И шов испортим и заузить можем. Надо менять.

— Тогда мойся, Михалыч.

— Иду. А вы Кольке не звонили?

— Нет.

— Это неприлично, больной его, может обидеться, и справедливо. Имеет право.— Санин сомкнул губы в улыбке, хотя этого под маской никто не увидел, и направился в предоперационную.— Надо ему позвонить, а уж он как захочет.

Николай пришел, когда дефектный участок был уже заменен и накладывались последние стежки на месте соединения протеза с сосудом.

Он встал позади Юрия Михайловича:

— Ну что у вас?

— Сейчас уже убрали и восстановили. Вон возьми этот кусок. Посмотри, какая в нем дыра.

— А вы сверху кровоток уже пускали? Там хорошо?

— Конечно, пускали. Смотрели. А как же! — Санин отвечал быстрыми, как шлепки, словами.— Посмотри отрезанный кусок.

Николай отошел от стола и стал рассматривать лежащий на столе у окна кусочек протеза.

— Да-а. Расслоился протез. Может, фабричный дефект, а?

Помолчал, повертел в руках трофей сегодняшней беды. Не зная,

как быть и что решить, чувствовал себя мартышкой с очками. Они там, за столом, занимались делом, они знали, что делать, а ему только рассуждать да гадать оставалось.

— А может, это ты пинцетом, когда шил, а?

— Все может. Ну, заменили. Будем пускать кровоток. Так. Хорошо. Чуть подсачивается кровь, но это остановится само.

— Михалыч, здесь бы один стежок.

— Сейчас. Сейчас придавим маненько, подсушим, подождем. Тогда и решим. Вообще-то должно остановиться. Отсос, пожалуйста.— Затарактел мотор отсоса. Юрий Михайлович поморщился.— Все. Убери салфетки. Подтекает. Лучше, правда, прошить еще.

Шьет. Насупился почему-то.

— Хорошо. Затягиваю. Все, Михалыч, не течет.

— Я боюсь, Петь, что у нас теперь венозный протез сядет. Все-таки он долго был без кровотока. Как бы не закрылся. Как бы там тромб не образовался.

Пирогов: А сейчас там пульсирует?

Санин: Сейчас пульсирует. Но либо слабее, либо мне просто кажется.

Пирогов: Ерунда. Кончайте быстрее. Зашивайте.

Санин: Ты только пришел, а уже торопишь.

Бубнов: Ладно. Все хорошо пока. Идите, Юрий Михайлович. Мы зашьем.

Санин отошел от стола, посмотрел на черное окно операционной, потом в открытую дверь. В коридоре на фоне черного окна стоял Николай и курил. Юрий Михайлович свернул к раковине, стал размышлять. Скинул халат, вытер им руки. Отошел, встал в дверях операционной и спросил Петра Аркадьевича:

— Ну как? Пульсирует?

— Мы уже не видим. Зашили.

— Угу. Ну ладно, пойду покурю.

Вышел, встал рядом с Николаем, закурил.

— Зря ты, конечно, пришел, но не звонить вроде бы негоже.

— Конечно. Спасибо, что позвонили. Я бы, наверное, тоже позвонил.

— Ну со мной вообще другое дело — я заведующий. Не знаешь, достала Ира гепарин? Боюсь, затромбируется все к черту. Сейчас нужен гепарин.

— С другой стороны, через протез может кровить с этого гепарина.

— И не говори. Сейчас не будем делать. Утром. Ира вроде обещала, что сегодня достанет.

Николай пожал плечами. Он стал вспоминать Иру, ее странную улыбку перед уходом. Удовлетворенную улыбку. Почему? Может, он не так понимал ее улыбку? Потом вспомнил, как, выходя из подъезда, она откинула камешек ногой. Может, он все не так понимает?

Николай посмотрел на Санина, тот с хмурым видом выпускал дым изо рта и ловил его носом.

— Юрий Михайлович, вы что такой хмурый?

— А с чего мне петь псалмы радости? Ты хочешь, чтоб я был такой же, как после первой его операции?

Николай вспомнил день и вечер после первой операции и ничего не ответил.

Помолчали.

— Может, обойдется, Юра?

— Да ладно. Пока все. Все сделали. Пойдем вниз. Сейчас дож-

демся, когда ноги можно открыть, пощупаем пульс и пойдем. Если только не придется остаться.— Он усмехнулся.

— Его в реанимацию?

— Конечно.

— Кто-нибудь из родственников был, когда закровило?

— Кажется. Не знаю.

— А это очень важно.

— Конечно, важно.

Опять замолчали.

Юра тоже вспомнил Иру и подумал, что ей, пожалуй, идет, когда она выпьет. Потом он вспомнил их брудершафт, вспомнил, что губы у нее чуть горчат, подумал, что живется ей скучновато...

Сняли простыни, пощупали ноги — хорошие. Пульс на ногах прощупывался. Хорошая мужская нога с пульсом. Молодая нога, крепкая.

Юрий Михайлович. Игорь сидел в кресле спокойно, выпускал дым изо рта — это был период, когда он курил трубку.

Мы говорили о Стасике, говорили о том, какой он хороший, какой он талантливый, как мы его любим.

Мы были молодые, поэтому нам на целый вечер хватало одной бутылки сухого вина, а предметом разговора Стасик был чисто формально, так как говорили мы в основном о женщинах, вернее о девочках, и, хваля Стасика, мы говорили о его девочке Наде, какая она хорошая, красивая, веселая, добрая, умная.

Игорь вспоминал, как она танцует, как она улыбается, как ходит она рядом со Стасиком.

Я говорил, что Стасик ей под стать, и что она Стасику под стать, и что она ему улыбается, и что он ей улыбается.

Такой глупый, глупый разговор. Сейчас бы я поговорил о том же более поверхностно и более горько, сейчас я стал понимать в этом что-то. Я бы поговорил с Игорем, да Игоря уже нет. Я стал понимать?! Тоже маловероятно.

Потом мы стали говорить о нашей работе. Мы ведь только кончили институт.

Я рассказал о своем первом приеме в поликлинике.

Ко мне на мой самый первый самостоятельный прием первым моим пациентом пришла врач-терапевт. Это надо же, первый больной — врач. Да я был уверен, что она знает больше меня. В институте мы больше занимались серьезными, тяжелыми болезнями. Поликлинические болезни проходили стороной. Все наши интересы в институте были связаны с больницей. Работать же приходилось начинать в поликлинике. Хирургия больничная и хирургия поликлиническая — это просто совсем разные медицинские специальности, а не одна большая, другая маленькая.

И вот пришла ко мне, еще почти не доктору даже, больная-доктор. Представляешь! И с порога стреляет в меня: здравствуйте, коллега. Здравствуйте, отвечаю я и прежде всего спрашиваю про самое пугающее, что услышал в ее приветствии. Спрашиваю, врач ли она. Она отвечает, что врач, но терапевт, поэтому пришла посоветоваться с хирургом: у нее болят ноги, но никакой явной патологии она не видит и я, возможно, смогу рассеять все ее страхи и недоумения. Вот так. Она женщина смелая, укладывает ноги свои на топчанчике, предоставляя мне отличнейшую возможность осмотреть их с самой скрупулезной педантичностью. Я же не могу ей сказать об уровне моих практических навыков. Делать нечего, смотрю. Ноги как ноги, не изуродованы, не отечны. Я подумал, что, пожалуй, зря она быстро разудалась и не дада мне возможности прийти в себя и подумать хоть нем-

ножку. А теперь думать надо, глядя на ее вытянутые голые ноги. Короче, я понимаю, что она не права, и начинаю выпрашивать и опрашивать. Начались всякие «где болит?», «как болит?», «когда болит?», «а здесь болит?», «а тут?» и так далее. Я, задавая вопросы, думал в основном, как время оттянуть, пока не увидел явную патологию. Это для меня было, как земля для вахтенного в бочке вперёдсмотрящего где-нибудь на паруснике XV века.

Я увидел плоскостопие явно выраженное, но по молодости лет еще не знал тогда, что этот диагноз надо сообщать больным с большой осторожностью. Чаще всего люди, жалующиеся на боли в ногах, обижаются, что к ним так несерьезно отнеслись и, вместо того чтобы серьезно и вдумчиво искать настоящую болезнь, отделяются поверхностными диагнозами да пустыми отговорками. Я ликовал, сообщив доктору диагноз, еще не зная, что больной, даже если он и доктор, все равно больной и, кроме знаний, ему нужны элементы шаманства, а лицедействовать я еще не умел. Я еще не знал тогда, что медицина делится на врачевание и науку. В институте мы думали только о медицинской науке, нас учили только науке. Врачевание — значит, вылечить любыми средствами: и шаманством можно, и лицедейством можно, и наукой тоже... Все средства хороши. Лишь бы вылечить. А наука — это поиск пути в сторону истины. Не вылечить, а найти. А тогда еще...

Кроме того, я не знал еще, что больной врач — это просто больной, но с большей амбицией, с большими осложнениями, с более частыми вариантами отклонений от нормы, которые есть не только наяву, но и рождены воображением и самомнением наученного интеллекта. Я еще не знал того, что тысячелетия назад знали древние индийцы: «Дураков лечить легче». Я еще не знал, что быстрый диагноз радует только врача, быстрота диагноза позволяет думать о себе хорошо, позволяет радоваться верному глазу, точной руке и многообразию знаний. Я еще не знал, что быстрота диагноза разочаровывает больного, даже если он врач. Больному надо, чтоб с ним посидели, поговорили, подольше слушали, щупали, вздыхали, наглядно думали. Больной должен все сказать, что накопилось у него за годы, дни или мгновенья болезни. Ему всегда кажется, что он упустил самое важное.

Главное противоречие: врачу нравится быстро, больному наоборот (если он в кабинете уже, а не в очереди в коридоре).

Даже операции, когда я хвалился, показывая свою умелость, и говорил, что сделал ее быстро, за десять, пятнадцать, тридцать, шестьдесят минут, — это вызывало разочарование больных, их родственников и умаление заслуг хирурга.

Я еще не знал тогда и до сих пор не могу понять, зная теперь, этой реакции больных на диагноз плоскостопия. Большинство разочаровывается, некоторые обижаются. А доктор, особенно если он молодой, в коридоре очередью ожидающих осуждается.

Молодые доктора, не ставьте быстро диагноз плоскостопия!

У больного доктора было плоскостопие. Я показал и объяснил, почему болит «здесь и здесь», почему отдает «сюда и сюда» и что может быть в результате ношения супинаторов «там и тут». Я был доволен собой и не видел поэтому, что мой больной коллега был явно разочарован.

Игорь молча выслушал меня и поинтересовался лишь возрастом больной. Молодая ли она, спросил он. И я ответил, что относительно молодая, но не слишком, так как было ей, наверно, чуть больше тридцати. Таково было тогда наше отношение к возрасту.

И Игорь стал вспоминать свой первый прием в поликлинике. К нему пришла просто молодая девица с панарицием — палец раздуло, у ногтя явный гной, ночь не спала. Надо было оперировать. Это то легче, сказал Игорь, чем диагноз ставить. Заморозь, говорит, да разрежь и почувствуй себя облегченным. А девочка, рассказывает он, на Надьку похожа, такая же стройная, как Надька, такие же ноги длинные. На Надьку, говорит, похожа — оперировать, говорит, трудно, стало быть. Но надо все равно, сделал он ей два укола в палец, потом сказал, что обождать немного нужно, пока заморозка подействует. Он ей укол, а она только раз ойкнула, когда первый укол, и сидит молчит и глядит на него. Как Надька, глядит. Ему даже показалось, как Надька на Стаську. Чтоб не отвлекаться, он побыстрее разрешил. Быстро сделал. Палец старался не изуродовать — на Надьку похожа. И вот он сетовал, что во время этой операции в первый день своей работы он очень нервничал, и, как назло, весь этот первый день шли на прием одни женщины — и без них-то тяжело, а тут ну одни они идут. И мы оба тогда решили, что хорошо бы в первый год работы, пока не привыкнем, хорошо бы женщин на приеме поменьше было.

А после я рассказывал, как взялся иголку удалять из руки. Женщина полы мыла и загнала иголку в руку. Я тогда не знал, что такое удалять иголку, сейчас бы я не стал с такой решительностью удалять иголку.

А потом Игорь рассказывал, как накануне он со Стасиком и Надькой в кино ходил утром перед врачебным приемом и Стаська шумел и дурачился, а Надька смеялась, а ему было неудобно, потому что рядом была его поликлиника и он боялся, как бы больные его не увидели в такой нереспектабельной ситуации.

А через две недели Игорь завербовался в плавание по Северному океану корабельным врачом. Уехал. Или надо говорить — ушел в плавание. Года три, наверное, плавал. Вот.

А почему я это вспомнил, интересно?

— Пойдем, Николай, поспим. Мне даже неудобно, что ты пришел. Ты спал уже?

Николай поглядел на Юрия Михайловича, тот опустил нос к зажигалке, прикуривал.

— Спал. Начинал спать.

— Я уехать хочу. А ты?

— Я домой уже не пойду. Никого нет.

— Да, конечно. Пойдем взглянем его в реанимации, и пойду я.

XXIII

И утро началось с реанимации. Санин прежде всего туда, но Лапина уже перевели в палату. К ним много поступило за ночь. В палате уже был Николай, который стоял у изножья и щупал пульс. Юрий Михайлович двинулся к Лапину. Пирогов поднял глаза, убрал руку с пульса и, молча кивнув, вышел в коридор. «Не сказал бы, чтоб это было крайне вежливо, — раздраженно подумал Юрий Михайлович. — Я никогда не уйду, хоть и начальник. И даже скажу, что увидел. А уж ординатор и подавно мог бы остаться. Даже доложить».

В предельном раздражении он опустил руку на столу.

— Ну как, Алексей Алексеевич, дела?

— Что ж дела. Вот пришлось еще раз.

— Знаю. Я ж и оперировал ночью.

— Не знаю. Мне наркоз дали.

— Что ж делать. Алексей Алексеевич, такая уж работа.

— Вижу, какая работа. А что случилось у меня?

— Протез, который мы всталили вместо испорченной артерии, расслоился, разлохматился.

— А что ж такой протез? Не проверили?

— Не знаю. Проверяли, конечно. Может, фабричный дефект. А может, инструментом... Ну хорошо, терпи, Алексей Алексеевич, выздоравливай.

Юрий Михайлович вышел в коридор. Какой-то мужчина в халате прошел в соседнюю палату.

— Что за люди здесь ходят? Почему из отделения проходной двор сделали?

Сестра испугалась — к такому тону не привыкли:

— Это зубной протезист пришел мерку снимать у Чупахина.

Юрий Михайлович отвернулся в досаде и столкнулся с больным.

— Здравствуйте, Юрий Михайлович. Вы что же не зайдете?

Юрий Михайлович не узнал этого врача с непроходимостью. Он вообще плохо узнавал больных в разные стадии их выздоровления. Стадия послеоперационная кроватная и стадия хождения по коридору — больные совсем разные, абсолютно для него неузнаваемы. И уж нечего говорить, когда они в своем цивильном платье приходят с улицы или встречаются, так сказать, в миру. Тела, по которому можно узнать больного, совсем не видно, и оно немислимо деформировано самыми неожиданными одеждами. В одеждах тела нет.

— Некогда. Мы ходим, когда человеку плохо, а если все в порядке — чего ж ходить. У вас все в порядке?

— Абсолютно.

— Ну вот видите. — Юрий Михайлович похлопал по плечу больного. В своей обыденной жизни он никогда не позволял себе этого жеста, а в общении с больными довольно часто.

После утренней конференции Максим Семенович просил остаться заведующих отделениями и председателя месткома.

Остались.

XXIV

И Лапин был хорош. И все больные были хороши. И операции прошли сегодня хорошо. Ничто не предвещает ничего плохого, хотя ох как ничего это не значит! Как говорится, тьфу-тьфу, не сглазить бы. Поэтому они ходили все время к самому волнующему больному. А волновал их, конечно, больше всего Лапин. У этих сосудистых больных как начнутся осложнения, так только вози то в операционную, то в реанимационную, то в палату. То радуешься, щупая пульс, то в ужасе не знаешь, что делать, когда вдруг перестаешь его прощупывать, то радуешься, что нога горячая, то начинаешь придумывать, отчего бы она вдруг стала опять холодной. Так трудно хирургам решиться на повторную операцию, и как раз у сосудистых больных повторные операции — явление не столь редкое, как при уже привычных брюшных операциях. Конечно, впереди им еще, наверное, не раз предстояли неприятности и волнения, но пока, но сейчас Юрий Михайлович Санин благодумствовал.

Короче, в отделении все спокойно, и Юрий Михайлович Санин со спокойной совестью отправился домой. Он ушел сегодня сравнительно рано, сравнительно успокоенный, сравнительно удовлетворенный. В автобусе народу тоже было сравнительно мало, он кинул пятак в кассу, сторвал себе билетик, засунул за браслетку часов, кото-

рая сегодня не болталась, а туго обжимала руку. Потом Юрий Михайлович уселся у окна поуютнее, немножко сгорбился, сжался в отличие от той гордой посадки, которая была ему присуща на всяких заседаниях и совещаниях. Казалось бы, свободен, отвлекись от дел своих, подумай о доме, о женщинах, о развлечениях, наконец, у тебя сын растет. Но проклятая работа именно потому, что не проклятая, не выходила у него из головы. Сейчас он думал об оборудовании. Они с главным врачом повезли в горздрав заявку на рентгеновский аппарат для сосудов. Начальник начертил резолюцию: «Обсудить целесообразность». С этой резолюцией они пошли в планово-финансовый отдел. Женщина, начальник отдела, финансист или плановик, выслушала их и, как говорится, не сказав ни единого слова, вобрала и свою резолюцию: «Нецелесообразно». А потом все же сказала: «Разговор окончен». А он сейчас сидел и думал, что их рентгеновский аппарат для снимков сосудов не отвечает современным стандартам, что на нем трудно работать, но все же они ухитряются делать неплохие снимки, что в институте, где оперируют на сосудах, оборудование не в пример лучше, что уже больше десяти лет существуют сосудистые центры, где делают эти операции, которые делают и они. Что вообще, наверное, врачи, приезжающие в эти институты на учебу, не диссертации должны создавать, а прежде всего научиться делать эти операции, и тогда разъехавшиеся из институтов ученики могли бы создавать в разных местах страны филиалы центров сосудистых и оперировать. А так у нас до сей поры очень мало мест, где производятся эти операции. Эти полуманиловские мысли наконец перебились зрелищем бегущего человека. Этих бегунов от инфарктов стало много, а кто его знает на самом деле, хорошо это или плохо. Есть люди, которые здороваются от этого, а есть и которые умирают. Спорт неизвестно, полезен или нет, но одно безусловно плохо — это когда его бросают. Если б люди могли никогда его не бросать. А ведь как только бросают, так сразу полнеют, а это и есть, наверное, самое плохое. И вообще столько думать о теле, все заботы о теле своем, столько времени отдавать телу своему. Вот когда это делают только для удовольствия, наверное, и пользы больше. Дальше его мысли потекли так непонятно, что, слава богу, над ухом раздался оклик, перебивший бесплодную трату мозгового вещества, если, конечно, мысль материальна. Короче, оклик:

— Ваш билетик?

Санин машинально стал рыскать по карманам, забыв от неожиданности, куда билет он положил, потом вспомнил, но не успел вытащить из-за браслетки, как нетерпеливый и, по-видимому, не больно доброжелательный контролер, молодой парень, облеченный властью, вновь прикрикнул:

— Что вы из себя дурочку строите! Проходите, гражданин.

И сразу же — гражданин, сразу отключен от всех равноправных товарищей своего общества, уже на подозрении и даже осужден: гражданин!

Санин пожал плечами, вытащил билетик и отдал контролеру.

— Давно бы так, а то строит дурочку из себя.

Либо эта идея мальчику понравилась, либо называть мужчину дурочкой был его дежурный прием, как есть дежурные приемы и у Юрия Михайловича, когда он в палате разговаривает с больными. Пожалуй, только приемы Юрия Михайловича помягче.

Но все равно в крайне благодушном настроении Юрий Михайлович добрался до дому. К вечеру он и вовсе размяк, появилась какая-то сентиментальность, может, от усталости, а может, от прямолинейности жизни последних дней. Он ходил по квартире, смотрел на спя-

щего Гаврика, вроде бы даже умилялся. Потом, укладываясь спать, почти что стал вслух мечтать:

— Завтра суббота. Можно поспать. Днем поеду в больницу, посмотрю, как там. Гаврика возьму с собой.

— Только ненадолго.

— Конечно, ненадолго. Там у меня все в порядке. (Ох как нельзя хирургам так говорить — сглазить можно.) Заеду, посмотрю и уеду с ним. Погуляем там немного. — Дальше Юра заговорил о другом: — Ты подумай — сплошником идет производственная жизнь. Все мысли уложены там и в том направлении. Жизнь не складывается же только из работы, рабочих мыслей, тем. Правда, сколько других бессмысленных тем снимает. Зато беззаботность. Ни друзей сейчас не вижу, ни компаний, ни выпивок — один раз с Колькой выпили, да и то. Жизнь прямолинейна, как луч. Да и на кой это все. А книги только утром в метро да в автобусе. Хочу уж не знаю чего. Хочется... Не знаю чего... Безобразия хо...

Юля посмотрела на него — он спал. Часто так кончались у него приступы благодушия. Длинный монолог непонятно о чем — и сон с середины слова.

Юля еще немного почитала, потом погасила свет. По потолку еще ходили отсветы проезжающих машин, потом они стали реже мелькать. Потом вообще лишь единичные машины промелькнут по потолку, и опять все. «Ему тяжело, он жалуется, а мне рядом... Жалеет себя, а обо мне ни слова... Лег. Спит. А я? В конце концов, его жизнь заполнена удовольствием сплошным. Он и сам считает свою работу удовольствием. Идет на работу как на гулянье. А я?! С утра как заведенная: Гаврик, работа, магазин, стирка, готовка — ну все... Спит. Безмятежно спит — ни забот, ни горя. На лице полный покой. А ведь только что с беспокойством говорил о больном. Может, сходим вместе куда-нибудь завтра? Поехать, что ли, с ним в больницу, а потом погулять?.. Черт его знает. Лучше не загадывать. Но ведь семейная жизнь нужна не только для разглядывания спящего мужчины. Даже есть утром не успеваю ему приготовить...» Юля с ожесточением включила свет, взяла опять книгу, но вскоре спала и она.

Около четырех часов раздался телефонный звонок. Как будто и не спал. Почти одновременно со звонком он протянул руку и снял трубку. Постепенно стала просыпаться и Юля.

— Слушаю.

— Ты не спал, Юра?

— Нет. Не спал.

— Я уже слышу — сразу трубку взял.

Параллельно с разговором Юра стал думать, почему он всегда стесняется, что спит. Всегда, когда разбудят по телефону, почему-то всегда говоришь, что не спишь. Что удивительного или предосудительного в ночном сне? Что-то случилось, наверное. Опять!

— Да спал, конечно. А сколько времени, Коль?

— Четыре.

— Ты дежуришь?

«Оттягиваю настоящее», — подумал Юра.

— Да. Послушай, босс, плохо дело.

— А что? С кем?

— Опять Лапин.

— Лапин. Конечно...

— Шунт венозный затромбировался.

— Брось! Почему? — По-видимому, Юра только сейчас по-настоящему начал просыпаться.

— Откуда я знаю почему. Нога холодная. Боли появились. Пульсации ни на стопе, ни на шунте нет.

— А сверху на бедре?

— Все в порядке. Надо брать, наверное?

— А давно случилось?

— Около часа ночи я смотрел — все было хорошо.

— Дела! Опять оперировать! Импи́чмент придет. Во всяком случае, ноге.

— Ему-то, может, и нет, а ноге вполне может. Ноге импи́чмент — надо брать.

— Да-а. А почему ты его стал смотреть? Пожаловался?

— Мы с вечера оперировали. Два аппендицита было. Прободная язва желудка — резекцию сделали. Ущемленная грыжа. Травма живота — печень зашили и резекция кишки.

— Ну вы поработали!

— Как назло. В час я его посмотрел между операциями. А сейчас кончил и решил заглянуть. Он не спит. Говорит, болит немного. С ним жена сидит. Я пощупал — привет!

— Да. Чего ж. Брать надо. Устал? Небось в крови по самую бороду?

— А что делать?

— Хорошо, Коль. Бери его потихоньку. Не очень торопись. Я сейчас все равно такси не найду. Часа через два поеду. А ты не торопись начинать. Время, по-видимому, еще есть.

— Ну лады. До встречи.

Юра положил трубку, потянулся в постели.

— А-а-а,— простонал он.— Спать хочется.

— А что, ехать надо?

— Угу. Немножко посплю и поеду. Сил нет. Хорошо, что Колька дежурит.

В восемь часов он уже поднимался в кабинет. Николай был в операционной. Юра понимал, что дел здесь надолго. Не торопился. Переоделся в кабинете. Спросил у сестры, как дела в отделении. Может, опять оттягивал момент. Кто его знает.

Пирогов оперировал сидя.

— О-о! Слава богу! Сил нет никаких. Мойся быстрее, я уже не могу.

Николай был серый, нос заострился. Конечно, это бывает редко, но вторая ночь подряд в больнице, столько операций сделали — посереешь.

Лапин не был бледным — не кровотечение же. Не был синим, не был багровым — за него дышали, ему лили кровь. Он спал.

Санин помылся, на него надели стерильный халат, перчатки, и подошел к столу. Ассистировавший Олег подвинулся.

— Вот смотри. Наверху я переложил анастомоз. Мне казалось, он заужен. Удалил катетером все тромбы, пустил кровоток. Пошел, а через пять минут опять все затромбировалось. Тромб начал образовываться от глубокой артерии. Я ее вскрыл, убрал склеротическую бляшку, положил заплату из вены, расширил вход в артерию. Снова убрал катетером все тромбы. Опять начало тромбироваться. Проверили свертываемость — хорошая. Гепарин все же добавили. Выше пульсирует хорошо. Разбирайся сам. Я больше не могу, Юра.

— Иди-иди. А ты, Олег?

— Я подожду еще. Через час придут сегодняшние. Сменят. Ладно, Юрий Михайлович?

— Угу. Дай мне катетер Фогарти.

Перед тем как завести в сосуды катетер, Санин предупредил анестезиолога:

— Сейчас флаш проведем.

— Что-что? Что это значит?

— Неграмотный! Юшку пустим, значит. Опять не понял? Кровь пустим.

— Давайте. Приготовились.

— Все хорошо. Где Николай?

— Юрий Михайлович, он заснул. Он здесь, в оперблоке. Позвать?

— Не надо. Подождем. Пощупай, Олег.

— Да и так видно, что пульсирует. Но у нас уже так было. Давайте подождем.

— Было уже. Ребята,— обратился он к анестезиологам,— может, еще раз проверим свертываемость?

— Все хорошо, Юрий Михайлович. Еще раз проверяли.

— Ну подождем.

Стоят ждут. Вернее, сидят.

— Поспать не дали.

— Мы так устали, Юрий Михайлович. Все время оперировали. Ни минутки перерыва. Чертова ночь.

Юрий Михайлович посмотрел на операционную сестру. Девочка сидела на вертящейся табуретке у своего инструментального столика. «Тоже не блещет свежестью,— подумал Юрий Михайлович.— Сейчас их всех сменят. Анестезиологи тоже сероваты. Вот это и есть настоящая работа. Конечно, у хороших хирургов все должно быть спокойно, без езды непрерывной в свое свободное время. Может, лекарства какие нужны? Позвонить в аптеку. Никого что-то не вижу пока. Не приходят. А Колька спит. Умаялся. А нервничал не по поводу, вел себя утром несправедливо, вот и умаялся больше обычного. Я веду себя праведно? Конечно...»

Пришла новая операционная сестра. Девочка ушла, еле-еле передвигая ноги.

Появился сменщик у анестезиологов. Чего-то шепчутся. Передают ситуацию, рассказывают что и как. Планируют, наверное, что-то.

— Ну посмотри! Опять тромбы образуются. Кровоток есть, но вроде тромбы появляются. Подождем еще.

Собственно, ждать и смотреть уже нечего было. Ясно—сейчас кровоток будет перекрыт. Но что делать, неизвестно. Надо подумать.

Вскоре сменился и Олег. Напротив сел Лева.

— Вот, Лева, мы сделаем так: еще раз удалим сгустки, снова восстановим кровоток и пойдем на склерозированную артерию, пока кровь идет вниз по шунту. Может, мы пустим кровообращение по старому руслу. Исправим его.

Лева одобрил, хотя смутно представлял, что уже сегодня было. Но раз шеф говорит, значит, правильно. По ходу видно будет, правильно ли это на самом деле.

Убрали сгустки. Восстановили кровоток по шунту. Обнажили артерию. Склеротическая бляшка закрывает артерию на протяжении двадцати сантиметров. По этому участку кровь не проходит совсем. Артерия—как каменная палка.

В первый раз они создали обходной путь, не открывая этого пораженного места. Так как обходной путь все время закрывается, они стали пытаться восстановить старое русло.

Санин сделал поперечные разрезы артерии выше и ниже этого участка. Через нижний разрез завел специальную металлическую петлю, которую им сделали по их чертежам, или эскизам, как говорили техники, шефы на заводе. Этой петлей отслоили внутреннюю оболочку

ку артерии, пораженную склерозом. Петлю провели вверх до верхнего разреза и через него удалили всю бляшку с внутренней оболочкой.

Вот и вся технология. Так быстро и коротко описал, а сколько это длилось! А какая разница — удалили.

А за это время в венозном шунте снова образовались тромбы и вновь перекрылся кровоток. Но хоть какое-то время кровь шла к нижним отделам ноги.

— Какая свертываемость? — опять спросил анестезиологов Санин.

— Нормальная.

— Отчего же это так получается? Всюду шито хорошо, препятствий нигде нет. Все проверено.

Он опять склонился и стал зашивать сделанные разрезы на артерии.

Иголки маленькие — видно их плохо, нитки белые — черных нет. Тоже видно плохо. Стежки идут один к одному, близко-близко.

Юрий Михайлович кладет стежок за стежком и рассуждает:

— Где-то я читал, что чуть ли не девяносто процентов утомляемости за счет глаз, за счет зрения. Ты нитку веди, чтоб стежки рядом ложились. Ты же близорукий, а такая работа для близоруких — просто подарок. Так вот, мы еще утомляемся и от плохого света. Человек — животное дневное, а не ночное. В темноте он утомляется. Поэтому света должно быть много и он должен быть яркий. А то иногда придешь в какой-нибудь дом, а там такой будуарный полумрак. Здесь недотянул нитку. Да не так сильно — порвешь стенку; внутреннего-то слоя нет. Вот. Хорошо. Так вот, полумрак, он, может, и уютный, да от него сил почти нет. Я домой прихожу — всюду свет зажигаю. Теперь завязываем и переходим ко второму разрезу.

Наконец так, с разговорчиками (собственно, это были не разговорчики, а монологи — болтает шеф, развлекается), но все-таки зашил оба разреза на артерии. И сверху и внизу.

— Пускаю кровоток.

Кровь пошла хорошо. Артерия расширилась, запульсировала.

Юрий Михайлович победно огляделся:

— Ну! Жалко Гену!

Он только сейчас обнаружил, что все в операционной сменились. Ни одного человека не осталось из тех, с кем он начинал. Собственно, он видел эти смены, но осознал только сейчас. Стоят, нет же — сидят ждут, как будет вести себя артерия.

Пришел Николай.

— Поспал?

— Да, немного полегче стало. Думал, совсем умру. А что у вас?

Юрий Михайлович с гордостью показывает ему реконструированную артерию.

— А там? В вене?

— А в вене опять все тромбируется.

— Здесь это ненадолго. Через год забьется.

— Год! Сейчас бы вытянуть, а там видно будет. А ты смотри, как глубокая расширилась с заплатой. Кровоток и там и здесь. Вполне ногу компенсирует кровью.

— Наверное. А не затромбировалась глубокая?

— Пока нет.

— А ты промыл?

— Что б я делал без тебя, Коль!

— Я пойду, Юрий Михайлович, вниз. Записывать много надо. Ты спустишься, я еще буду.

— Это если все будет хорошо — спущусь.

— Ну да.

Николай пошел из операционной. Санин посмотрел вслед. Это не была походка отдохнувшего человека.

Через некоторое время стали образовываться тромбы на участке, только что лишенном внутреннего склеротического слоя.

Наркоз давал дежуривший сегодня Глеб Игнатьевич.

— Юрий Михайлович, может, нам добавить гепарина?

— Вы же следите за свертываемостью — вот и решайте.

— Свертываемость-то хорошая, но ведь сгустки.

— Да мы много делали. А впрочем, пожалуй, сделай. Выхода другого нет.

Санин еще что-то проворчал и погрузился в рану.

— А кровопотеря большая, Глеб?

— Литра полтора.

— А кровь есть?

— Полтора перелили. Возместили полностью. Но мы еще заказали по «скорой».

— Вот что. Я сейчас в этом месте артерию рассеку всю, от разреза до разреза. Обработаю внутреннюю стенку на глаз, в открытую, а потом наложу венозную заплатку на всю длину.

Лева испугался даже — двадцать сантиметров! Это ж сколько времени! Такими стежочками, да с двух сторон! Почти полметра сосудистого шва!

— А что ты можешь предложить? Плюнуть разве и зашить раны? Лева пожал плечами.

— Ну и молчи тогда. Я другого выхода не вижу.

— А где ж вы вену-то возьмете? Мы на ту операцию ее всю забрали.

— Во-первых, с другой стороны... Правда, не хочется портить другую ногу... А!.. Шунт же все равно не работает. Сейчас сниму его и возьму кусочек для заплаты. Двадцать сантиметров всего.

Шунт пересекли, перевязали, подготовили заплату. Вскрыли артерию, обработали изнутри.

Все готово.

— Начинаем шить. Давай нитки.

Лева вздохнул.

— Не вздыхай. Не нравится — уходи из хирургии, пока не поздно. Мы-то уж старые люди, а часами здесь шитьем занимаемся. Держи нитку.

Они начали шить.

За это время приходили хирурги, которые приняли сегодняшнее субботнее дежурство, смотрели, цокали языками, качали головами, уходили, снова приходили. Опять появился Николай, смотрел, молчал. Один раз хотел было что-то сказать, но оглядел всех, всю бригаду, и отвернулся. Смолчал. Это ему не всегда удается. Постоял он, постоял молча, а потом и говорит:

— Юра, я пойду домой, ладно? Потом позвоню.

Это было очень необычно для него.

Санин уже несколько утомленный и поэтому раздраженно ответил:

— Иди, конечно.

Он поерзал на табуретке и снова стал шить не отвлекаясь, время от времени бурча что-нибудь вроде «подтяни», «держи», «натяни», «посуши».

И никаких посторонних слов, что с ним бывало не часто. Впрочем, может быть, просто не было никого, достойного его обычных разговоров. Некому было пасовать. Раньше он любил разговаривать и красоваться перед девочками, операционными сестрами. Они стимулировали

его и на подвиг и на звон. Сейчас ему нужны были только товарищи, которые мыслили приблизительно так же, как он. Или, по крайней мере, чтоб он предполагал приблизительно одинаковую их реакций, интересов. Чтобы они были неожиданны, но в сторону его желаний. В общем, он был эгоист в своих привязанностях. Николай — да. Петя — тоже. А больше он вокруг никого и не видел.

Вот и сидел он и почти молча шил. Храбрый портняжка.

Говорят, и вселенная имела начало и грядет ее конец. Перед последними стежками он снова взял катетер. Как шомполом прочистил им вверх и вниз. Потом взял другой катетер и через него промыл сосуды вверх и вниз. Затем пощупал все руками — вверху и внизу. Наконец снял сосудистый зажим сверху, посмотрел и пощупал, каков ток крови внизу, и со вздохом сказал:

— Хорошо.

И замолчал. Постоял, то ли собираясь с мыслями, то ли набирая силы... Конечно, силы набирал. Зачем сейчас мысли? Мысли потом понадобятся. Как и во всякой жизни, часто приходится обращаться к мыслям, к сожалению, после использования сил. Иногда напрасно, иногда иначе нельзя, а иногда так получалось.

Пulsировало действительно хорошо.

Кровь сквозь швы какое-то время еще просачивалась, но после недолгого прижимания салфетками перестала.

Все хорошо.

Но хорошо у них сегодня было уже не раз.

Стали зашивать. Три раны. Одна вверху на бедре спереди, другая посередине бедра сбоку и третья ниже колена сбоку.

Еще пока их зашьешь — намаешься.

Шьют раны.

Сначала верхнюю. Посмотрели — все пульсирует. Сперва мышцы сшивают над артериями, венами и протезами. Потом подкожный слой. Потом кожу. Зашили. Пощупали уже через кожу.

Пульсирует.

Затем стали нижнюю рану шить. Опять слой за слоем. Опять предварительно пощупали — пульсирует.

И так слой за слоем, слой за слоем, шов за швом, и каждый раз пульсирует, пульсирует; зашили и нижнюю рану.

Теперь самую большую в средней части бедра. В том месте, где он так долго пришивал заплату.

Юрий Михайлович пощупал артерию, и вдруг зажим, который он держал в руках, полетел в пол.

— Стустки! — Посмотрел на зажим на полу. Вздохнул. — Извините. Стоит молча.

— Что, Юрий Михайлович? — Лева уже испуганно смотрит на него. Даже не испуганно — отчаянно.

— Что-что! Стустки опять. Тромбируется.

— Ногу отрезать? — странно спросил Лева то ли с надеждой, то ли с испугом.

— Да не могу я ему ногу отрезать. Не могу. Надо было хоть предупредить. Обговорить. Как я ему ее отрежу? Господи, а там жена еще с ночи сидит.

Все молчат.

— Давай катетер опять. Попробую удалить их еще раз и проверим заодно, работает ли глубокая.

— Юрий Михайлович, уже два часа дня. Операция идет почти десять часов. Это уже третья — он не выдержит. Надо минимально.

— Что ж вы мне предлагаете?

— Не о ноге думать — о жизни. Импичмент будет, Юрий Михайлович.

— Еще раз попробую катетером — и все. Можно?

— Смотрите сами. Я сказал, что меня волнует.

— Я не буду расшивять шов. Я выше надрежу, ладно?

— Это ваши подробности. Я не понимаю.

Надрезали. Прочистили. Сгустки убрали.

— И все. Зашиваем. Глубокая работает. Затромбируется так затромбируется. Может, глубокая скомпенсирует. Отрезать сейчас не будем. Срочности нет. Если затромбируется, посмотрим, где отграничится гангрена. И он сам увидит, что надо ногу убирать. Ему легче будет. Легче. Да-а.

Ему легче будет!

Когда начали зашивать рану, вся подкожная клетчатка стала кро-
воточить.

— В чем дело, Глеб? Какая свертываемость?

— Проверяем. Уже ввели фибриноген, аминокaproновую кислоту.

— В любом случае нужна теплая кровь, свежая.

— Где ж взять?!

Юрий Михайлович. Игорь зашил сосуд и удовлетворенно разогнулся. Победно разогнулся.

Еще бы! Случай смертельный. Неделю назад этой женщине сделали резекцию желудка по поводу рака. Рак был запущен, и успех операции был сомнителен. Даже в случае успеха она в течение года могла умереть от метастазов. Но могла быть и удача, могла и десять лет прожить и... кто ее знает, как пойдет. Рак — никогда не знаешь. Думаешь, хорошо — через год уже нет. Думаешь, поздно — через десять лет встречаешь.

Прошла неделя — и вдруг эмболия легочной артерии.

Утром она хотела встать, но внезапно ей стало плохо, она упала на кровать, посинела.

Когда все сбежались, она дышала часто, вены на шее набухли, руки синие, ноги бледные, боль в груди. Давление падало на глазах.

Игорь стал срочно поднимать ее в операционную, не спросив даже обязательного ритуального согласия на операцию. Больная не отказывалась — не могла. Набежали реаниматоры, и уже они сопровождали больную рядом с каталкой.

Ему говорили: что ты, Игорь Михайлович, сошел с ума, это не тот случай, Игорь Михайлович, когда надо уродоваться, пусть лучше сейчас она умрет сразу, чем будет долго, мучительно умирать от метастазов.

Игорь сначала молчал, но потом довольно кротко, но коротко сказал, что никому при раке неизвестно, чего ждать, чтобы катились все вон, чтоб не отвлекали его от дела и что потом поговорит, а сейчас ему некогда, надо действовать.

Реаниматоры ему говорят, что пульс только на сонных артериях, что сердце бьется очень слабо, а он, набывшись, словно лбом сейчас будет стену прошибать, сказал, что раз слабо бьется, значит, еще бьется.

Он еще и халата стерильного не надел, когда реаниматоры сказали, что зрачки стали широкими, и он, схватив скальпель и не соблюдая в полной мере стерильность — был только в пижаме, — как мог быстрее распахнул грудную клетку, лишь крикнув: «Помогайте!» — и подошел к сердцу и начал делать массаж. Он восстановил сердечную деятельность, пожалел, что из-за спешки сделал разрез не в лучшем месте, и, продолжая говорить про подход к нужному сосуду,

подошел к нужному сосуду, подготовил все, вскрыл нужный сосуд, нашел эмбол, удалил эмбол, все сделал и потом зашил нужный сосуд — легочную артерию, зашил сосуд и удовлетворенно разогнулся. Победно разогнулся.

Все смущенно молчали.

И вот тут начался фибринолиз. Как сейчас у них, у Лапина, так и у них тогда, после той операции. Кровь текла из всех швов, по всей ране.

Это ужасная картина, когда фибринолиз, когда из мельчайших отверстий, невидимых простым глазом, отовсюду, где есть хоть малейший дефект, сочится кровь.

Тут уже стало ясно, что ничего не поможет. Можно спасти иногда и при фибринолизе, но в этой ситуации... Игорь спросил у реаниматора, нужна ли теплая кровь, реаниматоры ответили, что нужна теплая кровь. Игорь спросил, а не первая ли у нее группа, и реаниматоры ответили, что первая у нее группа. И Игорь сказал им, что у него первая группа крови, а это и так уже все знали давно. Не первый день работали вместе. И вот уже сестры все готовят, а Игорь уселся у столика и подставил руку, и жгут ему уже наложили, и кровь начали набирать из его вены и перекачивать ее больной.

Все понимали, что никчемно и бесполезно это, но никто не отговаривал Игоря, может, жалели его труд, его усилия, ему сочувствовали — больной-то уже ничто не должно было помочь: слишком много на одного человека. У него взяли двести граммов, и на его место сел анестезиолог, а потом еще санитарка, девочка, после десятого класса не поступившая в институт, три года сдающая и такая неудачливая. А потом по телефону со всей больницы набрали людей с такой же группой крови. А всего полтора месяца назад никак в больнице не могли набрать желающих сдать кровь по разнарядке, спущенной им из каких-то инстанций и организаций.

Ни один из присутствующих не сказал, что все это бессмысленно. Кровь нужна, и кровь сдавали. И все видели и понимали, что кровь нужна. И никто не сказал, что это бессмысленно.

Эффект был. Кровотечение остановилось. Теплая кровь, свежая кровь помогла.

Но потом стало падать давление...

«Да, хорошо ему было. А у Лапина кровь отрицательная. У меня положительная. Где же взять?»

— Позвоните по отделениям. Неужели на всю больницу не найдем?

— Суббота сегодня, Юрий Михайлович.

— Звоните, звоните. Не тяните.

По отделениям нашли трех человек: один врач и две сестры.

После переливания вроде стало лучше.

— Слушай, Глеб, а ведь если мы ликвидируем фибринолиз сейчас, то потом начнутся тромбозы. Мы все делаем для этого.

— Да. Конечно.

— И тогда все насмарку.

— Видно будет. А что делать? Вы зашили раны, Юрий Михайлович?

— Да. Зашил.

— Не течет из швов?

— Нет.

— Ну так размывайтесь. Будь что будет. Сейчас уже ничего нельзя.

— Вижу.

Санин пошел в предоперационную, снял халат, помыл руки — короче, сделал все, что входит в понятие «размыться».

Потом снова вошел в операционную, открыл ногу и стал щупать пульс. Не нащупал, но нога была отечная и, может быть, просто не сумел прощупать сквозь толщу набухших тканей.

— Глеб, у него вены плохие, а капать все время надо. И долго.. В лучшем случае.

— Вижу. Знаю.

— Наладь ему в подключичную вену. Ладно?

— Ладно. Вы не забыли, Юрий Михайлович, зашить артерию и все прочие раны?

— Я?! Что?

— Занимайтесь своим делом, а я свое знаю.

Санин хмыкнул, покрутил головой, поиграл бровями, и ему даже полегче стало. «Ишь ты, устал, наверное. А действительно, чего я лезу?»

Пошел вниз.

Пять часов.

Позвонил домой, сказал, что, наверное, скоро будет. Еще немножко посмотрит и придет.

XXV

Юрий Михайлович. В реанимации спокойно. В зале стоит шесть кроватей. Лапин лежит посередине зала. На крайних кроватях лежат больные с травмой черепа. Оба похожи друг на друга. У обоих обритые головы. У одного трубка, через которую дышит. Трубка соединена с дыхательным аппаратом, который равномерно и не очень громко всхлипывает.

Другой больной дышит сам.

Оба они без сознания, загружены: один лекарствами, другой загрузился сам — состоянием, травмой.

Люди делятся прежде всего на мужчин и женщин. У этих больных не поймешь, кто из них мужчина, кто женщина. Я не вижу — они сейчас одинаковы.

У наших некоторым образом клиентов, когда они в тяжелом состоянии, далеко не всегда видны различия. Различия, приводящие к противоречиям и к объединению. У нас, особенно в реанимации, им не до объединения — они одинаковы. Вот так же трудно различить в самом маленьком возрасте, мальчик или девочка, и в очень старом пол неясен, не к чему, нет объединений, нет борьбы — нет различий.

Еще на двух кроватях лежат больные после операций. Они молчат, смотрят. В сознании. Одному вчера удалили две трети желудка. Он хорош. Второй тоже хорош — это уже Колина работа, по дежурству.

Каково им смотреть на все, что здесь происходит? Все на виду — полная уравниловка. Ре-а-ни-ма-ция! Терпеть надо, если состояние твое, сознание включает в себя понятие, различие: терпеть — не терпеть.

А Лапин посередине зала. Тоже загружен — нарочно загрузили. Спит. Отключили сознание. Можно растормошить, конечно. Но зачем? Глаза у Лапина закрыты. Одышка небольшая.

Посмотрим, как ноги. Нет, та все же теплее. Может, еще не включилось все полностью. Пульса не могу прощупать. Отек. Может, поэтому? А может, затромбировалось все к черту.

Что будет, то будет. Выше головы не прыгнешь. А мы что делаем? Послушать надо. Легкие вроде дышат хорошо, одинаково. Но это их дело. Пусть реаниматоры слушают.

Пойду домой. В конце концов, что будет, то будет. Выше головы...

Ну конечно, сидит жена его у дверей, ждет меня. А с ней еще кто-то. Что я скажу?!

— Юрий Михайлович, как дела у Алексея? Это сестры его, Юрий Михайлович.

— Дела не очень. Очень сильное поражение склерозом. Чего только мы не делали! Закрываются сосуды ног, и все.

— Да мы знаем, Юрий Михайлович. Уж столько вы времени старались. Спасибо вам. И в выходной приехали.

— При чем тут это? Был бы прок.

— Простите, доктор, а какое состояние сейчас? Объясните нам. Совсем другой тон, другая грамотность, так сказать.

— Состояние тяжелое. Делаем все. Поражение склерозом этой, худшей ноги такое тяжелое, что не уверен, удастся ли ее нам спасти.

— Юрий Михайлович, а жив-то будет? Жить бы остался.

— Погоди, Аня. Успокойся. Что, доктор, может, ногу придется отрезать?

— Конечно, может. Сейчас мы действительно больше о жизни думаем, а не о ноге.

Жена плачет.

— Скажите, доктор, а что такое с кровью было? Вы искали по отделениям. наших ведь много сдавало кровь для него. Мы со своей стороны сделали все.

— Спасибо. Вы нам помогли с кровью. Но сейчас нам понадобилась свежая, теплая кровь. У него перестала сворачиваться, а в таких случаях надо переливать прямо от донора больному. Это экстренная ситуация.

— А почему перестала сворачиваться?

— Мне трудно вам это объяснить. Это очень специальный разговор.

— Юрий Михайлович, а можно к нему пройти?

— Нет. В реанимацию нельзя. К тому же вы не поговорите с ним — он спит сейчас.

— Вы должны нас пропустить хотя бы из чувства вины — уж третий раз делаете операцию.

— Я ничего не должен. Я должен лечить на полную возможность своих сил и умения. И вообще, я вас первый раз вижу, а вы меня учите. Я с женой все время дело имел.

Мне казалось, что меня обвиняют. А, как правило, я думаю, нас обвиняют как раз те, которые чувствуют какую-то вину перед своим родственником. Чем-то они виноваты, наверное. Не прав я. Сорвался. И откуда у меня такая волчья реакция? Игорь был невероятного терпения человек в подобных случаях. Сколько раз были при мне сходные разговоры — ни разу не сорвался. Он от брюха добр был, а я стараюсь.

Дальше я говорил, в основном обращаясь к жене.

Домой я пришел в бодром состоянии. Решил погулять с Гавриком, поиграть — много благих намерений было у меня.

Гаврик сидел на тахте и смотрел мультфильмы.

— Здравствуй, Гавриил Юрьевич!

— Здравствуй, пап, здравствуй, не мешай.

— Я подожду, почитаю, а потом вместе поедем?

— Тише.

Я лег на тахту рядом с Гавриком, взял книгу и, даже не раскрыв ее, в тот же миг заснул, какой-то периферией мозга почувствовав мимолетную боль в животе, но она меня не отвлекла от сна. А когда вечером я проснулся, Гаврик уже спал. Ничего не болело. Просто усталость.

Усталость, боль, обстоятельства жизни; но дальше я не спал, я думал (о себе, о медицине, о времени).

Нет — устал.

...Больной отяжелел. И, как всегда в таких случаях, начинаешь думать и искать объективную причину этой возникшей тяжести. Часто думаешь и ничего не делаешь, когда ничего сделать нельзя. Иногда, с ног сбиваясь, что-то делаешь, почти не думая и не ища причин, а если можно или нужно, запускаешь эти два процесса параллельно. Но нередко точно ясно, что делать, и сделав это точное, ясное и необходимое, пускаешься в плавание по всем закоулкам памяти, вытаскивая на поверхность своего мышления весь опыт прошлого хирургии и извлекая из памяти все подробности проведенной операции, всего течения и лечения болезни. Сначала начинаешь думать, что есть какая-то причина, не зависящая от тебя, а потом ищешь причину в своих действиях, в своих ошибках...

«Где я виноват?!»

Нам хочется, да и легче было бы найти вину в обстоятельствах внешних. Когда после операции умирает больной, всегда находится причина смерти и часто кажется, что можно было устранить ее. Если каждый раз заниматься самокопанием (мы-то это делаем всегда) или копанием, что пытаются делать не посвященные в наши подробности, то вполне может сложиться впечатление: если бы мы не ошибались, люди бы жили вечно. Но не наши ошибки приводят к сто-процентной смертности на земле. (И все же копать и приходится и надо. По крайней мере, нам.) Почему же нас так часто, и часто несправедливо, упрекают (и прежде всего мы сами себя)? А такая работа... Ты режешь (ох как не любим мы этого слова, боимся, наверное, и ханжески поправляем употребившего этот термин — оперируем), а больной умер. Вполне достаточная причина для упреков.

Вот и ищешь причины во всем. Даже возмездие привлекаешь в качестве объективной причины. Мы думаем о возмездии хирургу. Возмездие падает на человека за грехи его странно и страшно, проявляет себя неожиданно и бьет в самый корень твоего существования.

И начинаешь думать...

Виноват ты — а погибает больной. Погибает после твоей операции. Может, это и не так, но более нравственный, более порядочный хирург надежнее.

Это я для себя решил как будущий больной, как потенциальный пациент хирургов.

Вот и смотришь по сторонам, приглядываешься к медицинским школам, к хирургическим клиникам, к хирургическим личностям. Приглядываешься и узнаешь их историю, историю искомой школы хирургической и личную историю хирурга, или, как говорят врачи, узнаешь анамнез. Узнаешь, на каком этапе развития эта школа, эта клиника, этот хирург.

Всякая новая медицинская школа начинается с разрушения канон, устоев и традиций. Пока новая школа создается, она свои новые установки возводит в догму, и, как это ни странно, второй этап после первого разбойного разрушения — косность. И больным плохо. В период косности создаются традиции и обряды, которых лишены были истосковавшиеся по ним больные, — все считают, что они нужны, их

жаждут и представители школы, поэтому хватаются, кроме дела, и больше, чем за дело, за мелочи: например, чтоб представитель их школы выглядел rispetабельно, носил определенного цвета или формы халат, или бант, или шапочку.

В конце концов в этой клинике на фоне демагогии, хамства и ханжества, на основе созданных традиций возникают устойчивые положения, появляется стабильность, приобретается, наконец, законное право на разные суждения о болезнях и лечении — положение больных улучшается в пределах сегодняшних возможностей. Но растут новые ученые, тяготеющие к школе, им опять трудно удерживать себя в рамках. Они опять уже не видят больных, а только болезни, хотя и говорят, что «лечить надо не болезнь, а больного».

Конечно, мы в медицине должны быть более лабильными, искать новое, применять новые средства и методы лечения. (Речь идет только о средствах. Цель конечная, к сожалению, у всех людей одна.) Косность школ, демагогия руководителей устоявшихся школ, их бездумное хватание за уже старые традиции опасны. Но и новации в медицине опасны: объект — живые люди.

Нужда в существовании школ в медицине вообще сомнительна. В русской науке самый великий хирург — Пирогов. У него не было школы.

Школы борются с противниками. А надо бороться только со смертью: прогресс, наверно, — это прежде всего борьба со смертью. Любой прогресс. В любой области.

Устоявшаяся школа создает режим, когда лечат только по инструкции и «как принято у нас», «по методике, принятой в клинике».

Лечить по инструкции! На основе нивелированных знаний, умений...

Опасно.

С другой стороны, появление устойчивых клинических режимных учреждений — явление стихийное, они сдерживают медицинских экстремистов, иначе плохо будет живым. Радикализм продвигает вперед, но опасен, играет чужими жизнями. Корсерватизм медленен, но берегутся чужие жизни, посему более нравствен.

Как найти правильную линию?

Наверное, надо противостоять внутри себя. Утрясется, переменится. Наука все равно идет вперед. И пусть она идет вперед... Но не в больницах — в лабораториях. Пусть медленно идет вперед... Думая так, я, так сказать, зарабатываю себе алиби ко дню страшного суда — встречи с собственной совестью.

Один больной тяжелый. Лапин — то ли вытянет, то ли ногу отрезать придется, а то ли умрет. И я уже болтовню бессвязную и в меру бессмысленную и пустопорожную развел на тысячи слов. Мелькают слова, мелькают мысли, мелькают страхи.

Страшно мне, наверно.

На что мы руку поднимаем каждый день!

А ведь, как говорится, не я дал, не я и...

Страшно.

И так почти каждый раз.

Я ли виноват, они ли, жизнь?..

XXVI

К вечеру, выспавшись, пришел в больницу Николай.

Сидит на этаже с дежурными, лясы точит, но про Лапина не спрашивает, в реанимацию не идет — боится. Говорит:

— От здоровья, вернее от болезни, люди плохо выглядят только перед смертью.

Дежурный поглядел на Николая не без раздражения и сказал:

— Знаешь, иди ты в реанимацию.

И он пошел в реанимацию.

— Глеб, как дела?

— Ты как заведующий: по ночам ходить стал.

— Больной-то мой.

— А черт его знает как. Не пойму. Одышка появилась. Давление колеблется. Ты знаешь, чем кончилась операция?

— Знаю. Мне Петька рассказал. Пойду посмотрю его.

Лапин не спал. Беспокоен.

— А почему вы его не загрузите?

— Не получается. Вводим в вену, а реакция у него на все, что ни введем, какая-то ослабленная.

— А-а. Вы в подключичную вену поставили?

— Конечно.

— Ну, это ваши дела. А я ногу посмотрю. Алексей, нога болит?

— Болит, Николай Иванович, все болит.

Пирогов поднял одеяло, пощупал ногу и стал думать и сомневаться: какая же нога теплее, а не одинаковы ли они; и все же та, другая нога, казалось ему, лучше — теплее. Действительно так или казалось, что так, кто его знает. Они все время говорили об этой имеющейся или отсутствующей теплоте, как будто, решив эту проблему, они решили бы проблему жизни. В конце концов, можно измерить специальным электротермометром для кожи: но они понимали, что и это всего не определит. Когда нога холодная, мертвая — сразу видно. Но что-то надо смотреть, щупать, решать. Проще всего было щупать пульс и сравнивать теплоту. Ни Юрий Михайлович раньше, ни Николай Иванович сейчас не решались сказать, что эта нога холоднее, та теплее. Тогда надо сразу что-то делать. А что делать?

Сидит Пирогов в ординаторской, сидит рядом Бубнов. Тихо. За окном темно. Петр Аркадьевич пишет, Николай Иванович курит. Наконец он прерывает молчание и сообщает, что пульса он не прощупал, а его собеседник, который все время лихорадочно записывает одну за другой истории болезней свалившихся на него сегодня больных, этот собеседник, не беседующий с ним, легким, послушным и, наверное, ни к кому не обращенным мычанием подтверждает, что сообщение это правильное, но нехитрое, что да, мол, никто не прощупал и не стоит его отвлекать этим всем известным фактом. Однако Пирогов продолжает собственную мысль и лениво цедит о том, что ноги у больного разные, температура у них разная, что сосуды, по-видимому, непроходимы. Опять на эту нехитрую, но все же точную и уже известную информацию пишущий собеседник мычит и отделяется умеренной жестикуляцией, подтверждающей, по-видимому, прежнюю мысль его. И тут Пирогов, опять же расслабленно, выбивает наконец Бубнова из его состояния и переводит в близкое к своему сообщением, что собирается Лапина вновь взять на стол.

Петр Аркадьевич перестает писать. Оторвав взгляд от бумаги и переведя его на Николая, он улыбается и цедит, что тот совершенно очумел, потому что непонятно, зачем и с какой целью надо брать на стол, так как шеф долго делал, переделывал много и, по его, по Петькиному мнению, сделал все что возможно, и если действительно сосуды окажутся непроходимы, то пришла пора думать о жизни Лапина, а не о его ноге, так как совершенно неясно, сколько же может выдержать один человек, так как болезни, посещающие человека, не увеличивают силы, а, наоборот, уменьшают, и хирурги должны помнить, что у клиентов их сил не больше, чем у остальных людей, а, наоборот, меньше, а то, что перенес их больной, не каждый здоро-

вый выдержит, и что для их хирургических действий нужны очень здоровые люди, а у Лалина, которому столько сил еще надо, такой тяжелый склероз, а силы его, Лапина, на исходе.

Но и Пирогова не собьешь — мало ли что было сделано, а он, может быть, попробует еще, пойдет и скажет реаниматорам, что больного на стол пора подавать. То ли Пирогов решил, что он и впрямь Пирогов, то ли дразнил Петьку, то ли накачивал себя на какой-то подвиг, а подвига он жаждал всегда, но поза его оставалась прежней — расслабленной и неколебимой. Разговор дальше шел в том же русле: Петр Аркадьевич говорил, что зав сделал все возможное и нечего его переделывать, и что он, как дежурный доктор, не позволит, и что реаниматоры такого тяжелого больного не разрешат оперировать вообще; Пирогов же в ответ мычал про то, что зав делал одно, а ему, может, удастся сделать иное, что он сам позвонит заву, а с реаниматорами они поговорят.

На том и порешили, позвав предварительно для продолжения этой пустой болтовни в компанию к себе еще и Глеба.

Не надо судить Пирогова или Бубнова, не надо соглашаться с ними или не соглашаться, судить их за пустой разговор, думать, что лучше бы им делом заниматься, не надо становиться на сторону Николая, Петра или Юры — такова природа ситуации вокруг отяжелевшего больного после операции.

Пожалеем их, пожалеем себя, пожалеем больного. В любой тяжелой ситуации жалость — это лучшее, что создают нравственные устои цивилизации, к которой мы принадлежим.

Мы их пожалеем, им стыдно сейчас перед собой, перед другими, перед больными и здоровыми, им стыдно, как будто они во всем виноваты, что, может быть, действительно так, а может быть, и нет, но какое все это имеет значение? Хорошо мне сейчас сидеть в покое и уюте, и благодушно вспоминать все, и наслаждаться собственной благосклонностью.

Пришел к ним Глеб. А природа реаниматора-анестезиолога совсем другая. Их работа, может, и потяжелее. Хирург закончил операцию и пошел переживать, курить и лясы точить, а анестезиолог остается, больного, что называется, раздыхивает, а понаучнее — вентилирует, стабилизирует, приводит к виду, удобному для существования. Но анестезиолог более отстраненно относится к больному. Ему легче смениться и передать больного в другие руки, сдать, так сказать, по смене. Он на больного смотрит более объективно. Он, пожалуй, более научно подходит к больному. Больше знаний и меньше интуиции пресловутой, эмоций, искусства, ремесла. А известно, что эмоции появляются, когда не знаешь, не понимаешь, неизвестно, как делать. И наоборот. Когда знаешь — делаешь или не делаешь. А не знаешь — надеешься, боишься, радуешься, любишь, стыдишься, жалеешь и прочее, что делает человека человечным.

Только не спорьте, не возражайте — читайте, вернее слушайте, и все. Я знаю, что самое трудное слушать. Все сказанное не абсолютно. Эти эмоции оттого, что не знают. Как говорят, в науке отрицательный результат — тоже результат.

На такой болтовне и держится прогресс, по крайней мере в хороших хирургических отделениях.

— Глеб, предлагаю консилиум. Как говорит наш главный врач, не в пример тебе человек культурный и образованный, мы должны решить проблему Лапина *ex consilio*. — По всему видно, что Николай ни в чем не уверен.

— Что еще?

— Я хочу брать Лапина.

- Куда?! Зачем?
- Переделывать Колька хочет ногу. Говорит, пропадет нога. Как говорит зав, Гену жалко.
- Какого еще Гену? Нельзя. У него одышка. Что происходит, непонятно. Что ни вводим, действует странно. Что там переделывать?! Я всю операцию смотрел — он сделал все. Что же еще можно?
- А я попробую сам.
- Сам!
- Да я вообще считаю, что его даже для ампутации сейчас брать нельзя. А для реконструкции!.. Звони начальнику и решай с ним.
- И позвоню.— Набирает номер.— Юра, нога не очень. А?
- А что?
- Похолоднее. Пульс прощупать не могу.
- А что ж там можно еще сделать? Я, по-моему, использовал все три попытки. Да и ты отвалился.
- У меня трех не было еще. Может, попробовать? Нога-то пропадет.
- Я не представляю, что там можно переделать. А сам он как?
- Тоже не очень. Одышка. Давление нестабильно.
- Так как же ты возьмешь?! Прямых признаков гангрены нету?
- Прямых нет.
- До утра подождем. Реаниматоры его немного улучшат, тогда подумаем. Он в сознании, не загружен, разговаривает?
- Так нормально все, рассуждает даже. До завтра, говоришь?
- Ты его на всякий случай подготовь, что нога, мол, не ахти, как бы не пришлось... И так далее.
- Это-то я сделаю. А вот хотелось бы... Ну ладно, Юра. Отдыхай.— Положил трубку.— Нет, ребята. Я вам скажу, что вообще-то я бы попробовал сам сделать. Может, и получилось бы что-нибудь.
- Да нельзя его сейчас трогать! Нельзя, понимаешь?
- Тогда лечите. А я пойду. Петь, позвони если что.
- Как и в начале разговора, Бубнов опять превратился в собеседника, пользующегося исключительно мимикой, жестом и мычанием.
- Ну я пойду. Устал я с вами все равно. Пойду спать.
- И он говорит, что уставать надо только от операций, а проведенный разговор, с его точки зрения, усталости давать не должен.

(Окончание следует)



В МИРЕ НАУКИ

Д. БИЛЕНКИН,
В. ЛЕВИН



В ПОИСКАХ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ»

В последние годы много пишется и говорится о том, сколь необходимо всем «экологическое сознание», тот минимум природоведческой культуры и осмысления сложных связей со средой своего обитания, без которого невозможно разумное хозяйствование человека на Земле.

Искать, как известно, можно лишь то, чего нет. И коль скоро мы обращаемся друг к другу с призывом наконец обрести «экологическое сознание», то, выходит, либо мы когда-то лишились его, либо не имели вообще.

Но тогда возникает неожиданный парадокс...

Вот что подсмотрел Экзюпери при встрече с пустынной лисицей-фенекком. «Мой фенек останавливается не у каждого кустика. Он пренебрегает некоторыми из них, хотя они и увешаны улитками... Что он — играет с голодом? Не хочет разом утолить его, чтобы продлить удовольствие от своей утренней прогулки? Не думаю. Слишком уж его игра соответствует необходимости. Если бы фенек утолял голод у первого же кустика, он бы в два-три приема очистил его от живого груза. И так — от кустика к кусту — он полностью уничтожил бы свой цитомник. Однако фенек избегает всего, что мешает размножению. Он не только черпает еду для каждой трапезы со ста коричневых кустиков, но даже никогда не снимает сразу двух улиток, сидящих рядом на одной веточке. Все происходит так, как если бы он отдавал себе отчет в том, что рискует. Ведь стоило бы ему насытиться, не принимая никаких предосторожностей, и улиток бы не стало. А не стало бы улиток — не стало бы и фенекков».

Ситуация, ныне неплохо изученная зоологами и экологами. Вот, например, свидетельство Гржимеков. Наблюдая в Африке за миграцией копытных животных, они установили, что «гну и зебры в Серенгети исколон веков делают то, что современные скотоводы догадались ввести в практику только два десятилетия назад»: животные все время пасутся на молодой, самой питательной траве, не стаптывая ее при этом под корень.

Получается совсем уж нелепо. Искомое нами «экологическое сознание», выходит, присуще тем существам, которые и разумом-то не обладают! А мы что же, пришельцы с другой планеты? Или чужими на Земле нас сделал собственный разум?

Еще парадокс из совсем другой, казалось бы, области. Нас нередко тешит мысль, что созданная нами и подвластная нам техника всегда исправно служит нашему благу. Проверим это. Оказывается, все стихийные бедствия — землетрясения, бури, наводнения, цунами — уносят ежегодно в среднем 250 тысяч жизней. И примерно столько же сейчас уносят одни лишь автомобильные катастрофы!

Быть может, кроме «экологического сознания», нам следует занять еще какое-нибудь «техническое разумение», чтобы оградить себя от новой, нами же созданной и часто губительной силы?..

Считается, что самая трудная задача познания — это нахождение ответа на до-

ставленный вопрос о природе. Всякий раз принято проверять истинность ответа, но часто ли мы проверим истинность вопроса? Свыше тысячи лет алхимики настойчиво вопрошали природу: можно ли простой металл обратить в золото? В XX веке, когда их опытов и след простыл, вдруг был получен ответ: «Можно. Но не нужно, не выгодно...» Казалось бы, дела давно минувших дней. Но исторически совсем недавно, уже в современной физике, длился вековой спор о том, что есть свет — волна или поток частиц? (Заметим в скобках, что обе точки зрения были подкреплены точными экспериментальными данными.) И снова ответ природы оказался парадоксальным: «Верно третье! Вы имеете дело с волночастицами...»

В истории познания подобные ситуации возникали не раз. Ошибочна, как видим, может быть сама альтернатива «или — или». Видимо, любой касающийся нового и сложного явления вопрос требует отношения к себе, как к предварительной гипотезе. И система вопросов, очевидно, предпочтительней утверждения одного — единственного. То же самое, конечно, приложимо и к поиску ответов.

Именно так следует относиться к тому анализу, который мы начали с выдвижения двух, в общем, тривиальных парадоксов.

Муза! я принесу тебе наше здесь и наше сегодня,
 Пар, керосин и газ, экстренные поезда, великие пути сообщения,
 Триумфы нынешних дней: нежный кабель Атлантики,
 И тихоокеанскую железную дорогу, и Суэцкий канал, и
 Готардский туннель, и Бруклинский мост,
 Всю землю тебе принесу, как клубок, обмотанный рельсами и
 Пароходными тропами, избороздившими каждое море,
 Наш вертящийся шар принесу...

Этими словами Уолта Уитмена XIX век как бы передавал эстафету оптимизма грядущим поколениям. Тысячелетнее «порабощение человека природой», казалось, кончилось в этот век паровых машин, электричества, стальных путей и океанских левиафанов. Поэтический гений Уитмена, словно из космоса, единым взглядом окинул весь земной шар и увидел в нем лежащую на ладони заготовку, которую нужно лишь отточить на станке цивилизации и закалить в горне технологического разума.

А в начале XX века другой поэт увидел ту же картину в совсем иных красках.

Свершился переворот. Жизнь уступила власть
 Союзу трупов и вещи.
 О человек! Какой коварный дух
 Тебе шептал, убийца и советчик сразу:
 Дух жизни в вещи влей!
 Ты расплескал безумно разум,
 И вот ты снова данник журавлей.

Это — Велимир Хлебников, увидевший в силуэте воспетого Уитменом подъемного крана остов чудовищного железного Журавля, который «клюв одел остатками людского мяса...».

Сейчас, из исторической дали, нетрудно разглядеть в этих полярных образах единую основу. Изумленный своими собственными свершениями, восхищенный новообретенной машинной мощью, человеческий разум не мог не стремиться осознать место этой мощи в тысячелетней цепи истории. И это осознание колебалось от обо-жествления тех благ, которые сулят безграничное умножение технической мощи, до ужаса перед ней как бездушно-холодной и неуправляемой стихией, которая отрезает человечество от прежнего опыта бытия. Смятение охватило не только впечатлительных художников: оно коснулось и тех, кто шел в авангарде научно-технического прогресса. «Хотя я влюблен в науку, меня не покидает чувство, что ход развития естественных наук настолько противостоит всей истории и традициям человечества, что наша цивилизация просто не в состоянии сжиться с этим процессом», — писал выдающийся физик XX века М. Борн.

Легко заметить, что весь разбег этих мнений — от самых оптимистических до самых мрачных — все же уместается в берегах альтернативы «или — или» Легко также убедиться в том, что любая из этих полярных точек зрения может быть подкреплена

вполне весомым набором фактов. Спор в этой плоскости делается затяжным и, пожалуй, бесперспективным. Поставим вопрос иначе: уместается ли в этой плоскости сама проблема?

Примерно к концу XIX века в массовом сознании утвердился стереотипный образ нашего далекого предка как угнетенного природой существа, который предельным напряжением сил оборонялся от хищников и добывал себе пропитание, непрерывно корпел над изготовлением грубых каменных орудий. Клишированный художественной, научно-популярной, даже учебной литературой, этот образ прочно осел в нашем сознании.

Тем не менее он весьма иллюзорен. Лишь в последние десятилетия археологи научились воспроизводить орудия труда палеолита и неолита. Выяснилось, что изготовление их требует не месяцев, лет, тем более десятилетий, как думалось прежде, а считанных дней, даже часов. (Мимоходом зададим себе вопрос: сколько времени с учетом плавки металла требует изготовление современного топора?) Обнаружилось также, что каменные орудия обеспечивают производительность труда, конечно, меньшую, чем их стальные аналоги, но разница все же не астрономическая. Об общей эффективности древнего хозяйства дают представления подсчеты археолога С. Бибикова, согласно которым один палеолитический охотник скорее всего мог прокормить и прокармливал кроме себя еще двух человек. Вероятно, эти подсчеты нуждаются в уточнении, но общую ориентировку они дают. Тут нелишне вспомнить, что и сейчас непосредственным производством пищи занят едва ли не каждый третий житель Земли... Что же касается свирепых хищников, которые якобы держали первобытных людей в страхе, то сколько-нибудь серьезных врагов нет даже у приматов.

Вряд ли случайно, что мнение об «угнетенном природой первобытном человеке» сложилось именно тогда, когда Уитмен писал свой апофеоз технической мощи человечества, когда многим ход исторического развития представлялся в виде неуклонно восходящей кривой освобождения от власти природы, когда неоспоримой казалась мысль, что общество, изобретшее паровоз, конечно же по всем показателям куда выше общества, до этого паровоза не дорвавшегося. С этой точки зрения все предыдущее бытие человечества представлялось удручающе несовершенным. Такой взгляд «сверху вниз» заведомо приводит нас к выводу о безусловном превосходстве человека в автомобиле над человеком, который и колеса-то не знал. Подобный «исторический расизм», быть может, и льстит самолюбию, но это зрение сквозь закопченное тщеславием стекло. В этом оно очень созвучно внешне противоположному, весьма древнему, но не исчезнувшему видению прошлого в ореоле «золотого века». И там и здесь господствуют эмоциональные оценки типа «лучше — хуже», которые настолько произвольны в своей интерпретации, что всерьез руководствоваться ими в анализе невозможно. Хороши были бы физика или химия, если бы процессы в них изучались с позиций «лучше—хуже», «выше—ниже»! Конечно, оценочный момент необходим и неизбежен в истории, как и в любой науке, ибо человек — мера всех вещей. Но прежде нужно понять, как и почему возник тот или иной процесс, какую роль он играет в общей системе, каковы его параметры и закономерности, чего от него в итоге можно ждать. А уж потом оценивать, что нас устраивает, а что нет, и думать об управлении процессом.

Выступая несколько лет назад на философском симпозиуме в Москве, один известный советский радиоастроном полшутя задал такой вопрос: «И чего этим кроманьонцам не сиделось? Самых опасных хищников они подавили, в их распоряжении оказалась богатая, незагрязненная планета. Нет, потянуло их к прогрессу...»

Шутка шуткой, но она, между прочим, вводит нас в самую глубину проблемы взаимоотношения человека с природой.

Говоря коротко, человек стал прогрессировать потому, что не прогрессировать он не мог. На орбиту разума его вывел импульс всей предшествующей эволюции.

Объяснений этому меньше, чем фактов. Самый общий взгляд на ход биологической эволюции открывает в ней ясно видимую линию перехода живого вещества из доклеточного состояния в одноклеточное и многоклеточное, четкую линию дальней-

шего усложнения организации этих многоклеточных существ, постепенного развития в них все более сложного по устройству и деятельности комплекса органов функционирования. Далее мы с той же очевидностью наблюдаем расширение освоенных жизнью пространств, охват ею водной толщи, затем суши и воздуха. Третья характерная черта этой динамичной картины: увеличение с ходом геологического времени разнообразия форм жизни, сосуществование в ней простых и сложных организмов, а в результате этого структурное и функциональное усложнение самой биосферы.

Все это хорошо известные факты. Перед мысленным взором невольно встает образ могучей в своем самодвижении реки, которая, однажды возникнув слабым ручейком в истоке, далее все крепчает и ширится, все напористей прокладывает свой путь, заставляясь в боковых заводях, кое-где растекаясь болотцем, а то и пересыхая в отшнурованных старицах. Всякий образ, конечно, условен, но в данном случае он все же дает наглядное и достаточно верное представление о некоторых важных тенденциях биоэволюции. То, что происходит на ее стремнине, мы называем прогрессивной тенденцией развития. С застойной, консервативной она соотносится примерно так, как заводи и старицы обычной реки соотносятся с русловым течением.

Конечно, следует помнить, что этот образ возникает при охвате взглядом сразу двух-трех миллиардов лет эволюции. При таком масштабе скрадываются тысячи деталей, тушуются задержки и попятные микродвижения, исчезают из виду белые пятна, изучение коих может привести к новым существенным открытиям. Впрочем, уже известное о главном и основном в эволюции настолько прочно, что новые знания скорей всего расширят, а не отменят нынешние, подобно тому как теория относительности, расширив горизонт физики, не отменила ньютоновскую механику.

Сложней с объяснениями, почему жизнь эволюционирует именно так. Подробный ответ на вопрос может дать разве что монография, мы же остановимся на нескольких моментах. В популярной литературе нередки подсчеты, через какой срок поверхность земного шара покрылась бы тлями, лягушками или, допустим, носорогами, если бы все их потомства выживали стопроцентно. Эти заведомо абстрактные подсчеты вскрывают, однако, одно крайне важное противоречие. А именно: потенциальная способность живого вещества к самоумножению безгранична, тогда как запасы пригодной энергии и пищи всегда конечны. Это противоречие создает то, что В. Вернадский назвал «давлением жизни». Оно возбуждает внутреннее напряжение в самой жизни, которое вовне разряжается ее экспансией, поиском новых сред обитания, новых источников вещества и энергии. Каждый шаг в этом направлении приводит и к появлению новых форм жизни (например, пресмыкающихся и млекопитающих на суше, птиц в воздухе). Возрастает разнообразие биосферы, идет ее структурное и функциональное усложнение.

Почему все отрегулировалось именно таким образом? Да потому, очевидно, что любая система может существовать лишь тогда, когда она функционирует и видоизменяется так, чтобы сохранить себя и максимально упрочиться. А для этого ей надо обрести оптимальное в данных условиях состояние. И коль скоро земная среда непостоянна, избыточное размножение становится одним из гарантов самосохранения и укрепления.

Требование оптимизации, это осевое «правило игры», вроде бы должно было привести к окончательной адаптации всего живого, к полной остановке эволюции. Ничего подобного, конечно, не наблюдается, и не только потому, что активность планеты далека от постоянства. Обратная связь вездесуща. Например, удачноеобретение панцирной защиты обеспечило моллюскам стабильность и процветание, но привело к связыванию и захоронению в осадках огромных масс углекислого газа, что, конечно, сказалось на физико-химическом состоянии земной среды и потребовало от живого вещества ответной реакции. Биосфера сама становится могучей геологической силой и источником мощных, порой катастрофических для многих организмов потрясений среды.

Борение ее подсистем ведет и к другим далеко идущим последствиям. Вот частный, но наглядный тому пример. Ясно, что скорей выживают те хищники, которые лучше наступают и побеждают свою жертву. Но и среди жертв больше шансов выжить у тех особей, которые хитрей и энергичней спасаются. Такой отбор совершен-

ствует силу, ловкость, систему высшей нервной деятельности как тех, так и других. Возрастающее разнообразие биосферы множит сети информационных связей, вносимые ее развитием сдвиги динамизируют среду; все это осложняет существование животных. Процесс самовозбуждает себя и идет все более ускоренно, что полностью отражает палеонтологическая летопись.

Земная среда многообразна, мозаична, в ней множество самых разных, в том числе стабильных «экологических ниш». Вид может очутиться и в такой нише, узко специализироваться, подладиться к ней и так законсервироваться порой на целые геологические эпохи. А может — его воли здесь не больше, чем у капли в реке, — попасть на эволюционную стремнину.

Все сказанное, конечно, лишь грубый очерк реальности, но в целом он передает суть. Изумительное подчас совершенство, поразительная точность «экологического поведения» животных — результат цели проб и ошибок, добытый ценой бесчисленных¹ в каждом поколении жертв, зеркальное отражение существующих «правил игры». Биоэволюцию даже нельзя назвать бесстрастной, как нельзя назвать бесстрастным или равнодушным процесс трансформации звезд. Он идет так, а не иначе, вот и все. В понятии «прогрессивный путь» эволюции, в нарастающей сложности влекомых по этому пути существ для нас заключен лишь тот положительный смысл, что он-то и вызвал нас к жизни. Здесь, говоря схематично, «правила игры» диктовали развитие все более эффективных органов переработки информации, что было неизбежным ответом на все усложнявшуюся самой эволюцией обстановку. Этот закон, закон цефализации, был открыт еще в прошлом веке. Конечным итогом его действия было становление разума.

И вот в игру слепых сил природы включился человек. Но тут сразу же возникает вопрос: мог ли он играть «не по правилам»?

Именно этот вопрос, если разобраться, издавна и мучительно терзал человеческую мысль, хотя сам человек до поры до времени плохо отдавал себе отчет в его сущности. Терзал именно потому, что игра «по правилам природы» означала ту же бессмысленность животного существования, вела через бесконечность эволюционных проб и ошибок, сулила гекатомбы жертв и бесчисленные страдания, тяжкие для человека с его тонкой способностью осознания и чувствования.

Роль всевластия природы в становлении верований иногда чересчур узко сводят лишь к страху человека перед молниями, ураганами и другими внешними проявлениями скрытой мощи. Нет, в ядре верований лежат куда более глубокие вопросы жизни и смерти, смысла и цели, истока и конца всего сущего. Всесторонний анализ возникновения и развития столь сложного явления, как религия, не наша задача, но кое-что отметить следует. Для ранних верований характерна подчеркнутая связь человека с животным миром; в утверждении этого кровного родства человек черпал себе силу и поддержку. Поздние же религии отличает не только единобожие. Полная как радостей, так и горестей действительная жизнь в них явно и тенденциозно мистифицирована: буддизм объявил ее цепью страданий, христианство — юдолью печали.

Казалось бы, это не только вывод из опыта социальной практики классового общества, но и губительный для нее приговор. Если жизнь столь дурна и невыносима, то зачем дальше влачить ее? Но нет. Земному, физическому, социальному в религиозных воззрениях отчетливо противопоставлено иное, возвышенное, «настоящее» бытие, безысходному — спасительное, бессмысленному — исполненное высокого смысла. Реальное и иллюзорное здесь как бы поменялись местами. Зато как в результате возвысился человек над тем же миром животных, какой божественный свет воссиял над ним! Сознание произвело операцию самоанестезии, тем более блистательную, что, дав ответ на «роковые вопросы» и указав спасительный выход, оно не помешало человеку и дальше повседневно хозяйничать в той жизни, которую он сам объявил горестной, низкой, а то и вовсе призрачной.

Но возникшие при этом искажения осязательны и по сей день. Вот одно из них. Мы и поныне вольно или невольно смотрим на животный мир сквозь фильтры религиозных мистификаций, унизивших животное, чтобы возвысить человека. И тогда

многие факты нас прямо-таки ошарашивают, стоит нам с ними столкнуться лоб в лоб. Вот пример такой ситуации. Внимательный натуралист, прекрасный знаток природы Э. Кольер не мог понять, зачем бобры свалили могучие, затеняющие весь берег тополя. «Теперь на расстоянии тридцати ярдов от берега не было ни одного взрослого тополя. Бобры скосили их, как косилка — поле пшеницы. Вначале нам это казалось бессмысленным, так как деревья в большинстве оставались лежать сваленными в кучу, их кора и ветки были почти нетронуты. Нам казалось, что бобры срезали эти деревья зря. Но за пять лет мы поняли, в чем дело. Это не было напрасным переводом леса. Это было частью грандиозного плана...» И точно. Берега преобразились, там выросли буйные травы, кустарники, туда потянулись животные, насекомые и птицы. Возник новый, более сложный, более богатый и разнообразный, а потому более устойчивый биоценоз. Получается, бобры преобразовали природу так, словно им были ведомы новейшие знания экологов!..

Между тем истинный смысл этой проблемы был выяснен основоположниками марксизма-ленинизма без малого сто лет назад. «Само собою разумеется,— отметил Ф. Энгельс,— что мы не думаем отрицать у животных способность к планомерным, преднамеренным действиям. Напротив, планомерный образ действий существует в зародыше уже везде, где имеется протоплазма...» и далее: «Нам общи с животными все виды рассудочной деятельности: индукция, дедукция... абстрагирование... анализ... синтез... и, в качестве соединения обоих, эксперимент... По типу все эти методы — стало быть, все признаваемые обычной логикой средства научного исследования — совершенно одинаковы у человека и у высших животных. Только по степени (по разному соответствию метода) они различны»¹. Ниже Ф. Энгельс отмечает, что диалектическое мышление является чисто человеческим свойством, но оно возникает лишь на поздних стадиях его истории.

Поразительно, как долго и с каким трудом естествоиспытатели пробивались в этом вопросе сквозь исторически сложившиеся стереотипы видения, чтобы лишь теперь, да и то не вполне, прийти к давно обретенному диалектическим материализмом выводу!

Древнейший наш предок был, как и животные, звеном экосистемы, обладал тонко отрегулированным «экологическим поведением», обязывающим его соблюдать прежние «правила игры». Именно это и обеспечивало ему стабильное существование в природе. Появление орудий труда, дав человеку преимущество в конкурентной борьбе с животными, еще не порвало прежние экологические связи. Охота, простейшее собирательство — так и медведь живет! Даже став Разумным, человек продолжал заниматься точно же таким, как и у животных, трудом по добычанию пищи, созданию жилищ, выращиванию потомства, обеспечению своей безопасности. Разница — принципиальная, определившая в конечном счете всю дальнейшую историю, — состояла в другом. Вот как формулирует ее философ Г. Волков: «Если животное имеет лишь один путь в борьбе за существование — совершенствование своих естественных органов жизнедеятельности, то человек получает возможность создавать и совершенствовать также органы искусственные»². Правда, микроскопический зародыш чего-то подобного можно усмотреть уже в сознательном — для нападения и обороны — использовании камней бабуинами; даже в действиях некоторых птиц, которые находят или обламывают палочки, чтобы с их помощью добыть себе пищу. Подобные факты лишь один раз подтверждают неслучайность появления разума, и все же это очень отдаленный подход к орудийно-разумной деятельности.

Орудия труда, однажды появившись, обеспечили человеку оптимальное вживание в уже существующую систему природных взаимоотношений. И этот первобытный, а можно сказать — животный, принцип хозяйствования человека на Земле оказался очень устойчивой системой. Рискнем сказать — самой устойчивой в истории человечества: она длилась миллионы лет. И это понятно, она была отшлифована всем опытом биозволюции и вобрала всю сумму достижений ее прогрессивной линии. Раскачать, тем более поломать ее не смогли даже очень сильные внешние возмущения. А недостатка в них не было, поскольку становление человека пришлось на пе-

¹ Ф. Энгельс. Диалектика природы. М. 1948, стр. 142, 178.

² Г. Н. Волков. Истоки и горизонты прогресса. М. 1976, стр. 27.

риса крупных оледенений, которые колебали климатическое и биологическое равновесие.

Не так давно все казалось просто: сильные и частые потрясения природной среды оттачивали разум на оселке трудностей, обуславливая его совершенствование. Сейчас этот процесс видится куда более сложным. Начнем с того, что мощные и резкие потрясения среды были быстрыми лишь в геологическом смысле. Для сменяющихся поколений они были медленными (мы, например, живем в межледниковье, но такими ли бурными нам кажутся изменения климата?). Фон жизни — да, тот был изменчив. В остальном же... Гоминиды эволюционировали. Менялся их облик, их мозг, возникали как прогрессивные, так и тупиковые ветви развития. — все шло, как «в старые добрые времена». А тип хозяйствования оставался прежним. Более того, медленно и слабо изменялись, казалось бы, самые подвижные элементы системы — орудия труда. Так, предтечи каменных рубил — орудия типа чопперов — оставались неизменными примерно полмиллиона лет.

«Труд, — писал К. Маркс, — есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой»³. Неизменность связей между человеком и природой, заторможенное совершенствование орудий труда в нижнем палеолите лишней раз указывает на исключительную устойчивость животного способа существования, который даже под ударами великих оледенений в общем и целом остался оптимальным для гоминидов, ибо не привел ни к общему их регрессу, ни тем более к вымиранию.

Так прошли сотни и сотни тысячелетий жизни homo. Возник «гомо сапиенс» примерно 40—50 тысяч лет назад. Прошли еще 10 тысяч лет. И еще. И еще. Ледники, как и прежде, будоражили биосферу, то надвигались, то отступали. Человек уже обладал современным мозгом. А палеолит продолжался, способ существования, хозяйствования оставался прежним, технэволюция не обрела нового качества.

И вдруг 10—12 тысяч лет назад наступила так называемая неолитическая революция. Радикально — и в поразительно короткие с исторической точки зрения сроки — изменился сам принцип хозяйствования человека: от охоты и собирательства он переходит к земледелию и скотоводству. (Правда, и то и другое нельзя назвать беспрецедентным в природе. Многие виды муравьев пасут тлей, словно дойных коров, а некоторые из них, муравьи-листорезы, имеют ухоженные грибные плантации. Но это, конечно, лишь робкие аналоги скотоводства и земледелия.) Впервые в истории Земли живое существо принялось сознательно и целенаправленно расширять ареалы одних растений за счет других, теснить диких животных, множа стада домашних, совершенствуя при этом полезные для себя виды.

А ведь же произошло никаких особых, необычных по сравнению с прошлым геологических пертурбаций, которые можно было бы истолковать как внешнюю причину неолитической революции. Заметно лишь одно существенное изменение — именно на рубеже неолита изменился экологически «привычный» человеку фаунистический комплекс: вымерло немало крупных, начиная с мамонта, животных. Они вымерли, хотя и пережили вместе с человеком все предыдущие потрясения окружающей среды. О причинах этого явления не утихают споры. Но все больше исследователей склоняются к мнению, так сформулированному биологом Э. Алексеевой: «Если сейчас, на наших глазах, без особых перемен климата каждые несколько лет человек стирает с земли по одному виду, мы не приписываем их гибель каким-то неопределенным причинам, а прямо говорим, что их уничтожил человек. Репиться же на подобное утверждение в отношении мамонта и других крупных животных конца плейстоцена многие не могут, так как до сих пор недооценивается ни уровень развития самого палеоантропа, ни степень его прямого и косвенного воздействия на природу...»⁴

Совместное существование человека с мамонтом и другими теперь уже ископаемыми животными было очень долгим. Известны палеолитические стоянки, где огонь непрерывно горел более тысячи лет. Дичь, значит, в окрестностях хватало.

³ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 188.

⁴ «Природа», 1976, № 6, стр. 105.

Ясно, что в таких условиях не было серьезного стимула что-то существенно менять в способе хозяйствования (поговорка «от добра добра не ищут» вполне могла возникнуть еще в палеолите). Что же тогда нарушило экологическое равновесие? На этот счет есть разные гипотезы. Нам представляется более верным мнение тех ученых, которые считают главным виновником перемен самого человека. «Уже сейчас,— отмечает С. Бибииков,— на основании палеоэкономических данных определяются основные черты экономического развития позднепалеолитического общества на востоке Европы. Как представляется, в первой половине и ближе к концу позднепалеолитического века экономическое состояние обществ, освоивших в основном равнинный ландшафт, было устойчивым, и охота вполне обеспечивала жизнедеятельность коллективов. При таких благоприятных обстоятельствах население увеличивалось и создавались лучшие возможности для сохранения потомства»⁵.

Но рост населения не мог не потребовать, в свою очередь, усиления охотничьей деятельности. Аналогичные ситуации миллиарды раз возникали в ходе биоэволюции. Но там обе стороны — охотник и дичь — находились в равном положении, поскольку совершенствование тех и других определялось целиком биологическими закономерностями. В недрах же первобытного общества зрела технoэволюция, и все отрегулировалось совсем иначе. Чем больше людей, тем больше им нужно пищи,— тем энергичнее совершенствуются средства и методы охоты и тем больше создавались среди животных опустошения... «Давление жизни» человека, вооруженного даже лишь каменным топором, в ту пору впервые в истории оказалось сильнее сдерживающих возможностей природы. «Победительное» шествие нового хозяина Земли постепенно стало разрушать устоявшийся принцип его взаимодействия с природой, пока окончательно не оказался разорван незримый «экологический договор» с нею. Человек, обеспечивая продолжение жизни своего вида, подрубил сук, на котором сидел. И в какой-то момент, если схематизировать случившееся, охотник оказался перед дилеммой: либо умереть с голоду, либо изобрести что-либо небывалое. Ему, добытчику, срочно пришлось переквалифицироваться в пастуха и земледельца. Именно срочно: биоценозы обладают большим запасом прочности, но в конце концов надламываются, судя по всему, скачком. Именно этим, видимо, и объясняется столь быстрый срок переобучения.

Но это, так сказать, внешняя причина — природа как бы отомстила за «вероломное» нарушение «мирного договора» с нею, заставив человека искать выход. Но каким образом человек так быстро нашел его? Какие внутренние резервы обеспечили столь быстрый и кардинальный интеллектуальный прогресс, коль скоро мозг «гомо сапиенса» внешне не изменился?

Существует мнение, что даже у современного человека активно используется всего лишь несколько процентов клеток головного мозга, а остальные находятся, так сказать, в резерве. Если это действительно так, мы сталкиваемся с загадкой, пожалуй, более фундаментальной, чем все то ли действительные, то ли мнимые явления телепатии, ибо все нефункциональное, бездействующее в организме обычно вырождается и отмирает. А тут природа в своей конструкторской деятельности словно позаботилась о далеком грядущем человеческого интеллекта!..

Да, разум пределал путь от кремневого топора до компьютера. Однако ни один здравомыслящий человек не рискнет заявить, что мозг Демокрита или Аристотеля был менее развит, чем мозг Гегеля или Эйнштейна. При дальнейшем углублении в историю след письменных источников обрывается, но остаются изобретения древних. Не так давно исследователи попытались восстановить древнейший способ выплавки железа. Задачу облегчало знание конструкции тогдашних печей. И все же вооруженные всеми достижениями физикохимии, всем многовековым опытом металлургии исследователи провозились несколько лет, прежде чем разгадали секрет примитивной технологии. Спустимся еще дальше по ступеням истории — и мы убедимся, что знания неолитического человека качественно, возможно, не уступали нашим — они просто были совсем другого рода. История научных экспедиций, например, свидетельст-

⁵ «Советская археология», 1969, № 4, стр. 22.

уует, что как только дело касалось взаимоотношений с дикой природой, исследователи или оказывались почтительными учениками людей каменного века, или в противном случае не достигали цели, а то и гибли. В частности, успех Амуцдсена в покорении Южного полюса и трагедия Скотта во многом были предопределены тем, что первый всецело использовал знания «отсталых» эскимосов, а второй больше полагался на «передовую» технику того времени.

«Зачем дикарю такой же мозг, как и члену научного сообщества? — остроумно заметил исследователь этой проблемы биолог Б. Медников.— А затем, что каменный топор придумать не легче, чем лазер». Но этот вывод, казалось бы, приводит нас к очередному парадоксу. Как мог один и тот же разум то дремать в течение десятков палеолитических тысячелетий, то проявлять чудеса изобретательности в течение десятков веков? То обеспечивать лишь медлительное на протяжении последующих эпох развитие техники, то осуществлять настоящую хозяйственную революцию? Равный самому себе разум на такие перепады, казалось бы, неспособен.

Способен, и для этого вовсе не обязателен колоссальный, «про запас», резерв нервных клеток.

Как известно, в последнее время развернулись интенсивные опыты по общению с приматами либо посредством языка жестов, либо с помощью компьютера, на клавиатуре которого их учат набирать осмысленные сообщения. Обычно опыты ведутся с шимпанзе, но один исследователь решил поработать с менее «интеллектуальной», как считалось, гориллой. Вот каким оказался результат: за четыре с половиной года горилла обучилась осмысленному употреблению 225 знаков. Она стала «разговаривать знаками» сама с собой, принялась изобретать знаки — названия новым для нее объектам, придумывать игры с их использованием. С помощью знаков она научилась выражать свои чувства, обманывать (обычно после какого-нибудь озорства) и упоминать о вещах, удаленных от нее в пространстве или во времени. Для определения возможностей гориллы был применен стандартный тест оценки языковых способностей. Выяснилось, что языковое развитие гориллы «...соответствует норме, обычной для отсталого в образовательном отношении ребенка того же возраста» («Сайенс ньюс», 1977, № 11).

Что же, природа и горилле дала колоссальный, на всякий случай, резерв мозгового вещества? Конечно! Но резерв резерву рознь. Общеизвестно, что мускульную систему можно детренировать так, что и десятикилограммовый груз окажется непосильным для нормального, так сказать, среднестатистического человека. Но это обратимое, особенно в молодости, состояние. Усиленной тренировкой можно добиться того, что тот же самый человек вскинет на плечи центнер, а то и больше. К сожалению, у нас нет меры для определения зависящих от тренировки перепадов интеллектуальных усилий. Мы лишь знаем, что эти перепады могут быть очень значительными.

Известно далее, что все физиологические системы рассчитаны на кратковременное, столь значительное прежде в борьбе за существование «пиковое» усилие. Чем-то подобным, возможно, обладает и мозг (якогда поразительна мгновенность точных решений в критической ситуации).

Наконец, третье, едва ли не главное: как физическая, так и умственная деятельность может быть приложена к чему угодно. Вот это, пожалуй, и дает ключ к пониманию парадокса тождественности индивидуального разума самому себе на протяжении десятков тысячелетий.

На что направлен интеллект той же гориллы? На поиск и добычу пищи, ориентировку в сложных природных ситуациях и тому подобное. Отключим все эти заботы, переориентируем гориллу на ставшее теперь для нее жизненно важным общение с человеком, подкрепим эту направленность стимулом и тренировкой, как это было сделано в эксперименте. И вот вам феноменальный, казалось бы, результат... Удивляться тем более нечему, что приматы — стадные существа, их мозг — развитый инструмент коммуникативной деятельности. Кстати, и обучение человека построено на ориентации и тренировке, и если младенец, как это бывает, попадает на воспитание к животному, то он со своим мозгом «гомо сапиенса» вырастает все-таки зверем.

Разум человечества коллективен, но поскольку его слагаемые в потенции всегда одинаковы, напрашивается вывод: в каждый данный момент исторического времени, при данной на этот момент численности людей интеллектуальный потенциал человечества в целом постоянен. Перемена — в широких пределах — только реализуемая мощность. И вектор ее направленности. В периоды стабильности, когда можно (и нужно) следовать «завету предков», действовать традиционно, стереотипно, возможности «общественного интеллекта» используются в малой степени. В резко изменившихся условиях, когда от изобретательности зависит многое, если не все, словно кто-то незримый нажимает акселератор, и современники сами бывают поражены невиданным взлетом человеческого гения. «Дух века» не выдумка, не призрак, а реальность вполне конкретных жизненных обстоятельств. (Тут, кстати, становится понятным частое в истории несогласование пиков, например, художественной и научно-технической активности. Интеллектуальные ресурсы общества, по существу, всегда конечны, и ориентация общественно-интеллектуальной «энергии» зависит уже от конкретных исторических обстоятельств данного места и времени.)

Излишне, очевидно, доказывать, что сама потенциальная мощь общечеловеческого разума растет со временем за счет увеличения народонаселения. Но вряд ли это главный фактор интеллектуального прогресса, ибо чем больше людей, тем больше сумма потребностей, даже если они не развиваются от поколения к поколению. Гораздо важнее иной фактор: всякое новое поколение использует аккумулированную в исторической памяти, закреплённую традициями, орудиями труда, всеми средствами информационного общения интеллектуальную энергию всех предшествующих поколений. Здесь происходит противоречивый, но диалектически единый процесс, наблюдаемый на всем протяжении человеческой истории. Одно дело мыслить, не ведая ни о ранее изобретенной технологии, проведенном и подтвержденном эксперименте, ни об открытых законах и усовершенствованных методах мышления, и совсем другое — разум, вооруженный предшествующим опытом поколений. Все это вместе взятое и обеспечивает в целом возрастание общечеловеческого интеллекта при качественной неизменности индивидуальных «мыслительных устройств», ведет ко все большему и большему прогрессу сознания. И всегда, на любых исторических этапах, очень многое зависит от социальных условий, от вектора направления этого прогресса.

«Всякое развитие,— писал К. Маркс,— независимо от его содержания, можно представить как ряд различных ступеней развития, связанных друг с другом таким образом, что одна является отрицанием другой»⁶. Вектор интеллектуальных усилий безмянных творцов-неолитической революции был определен необходимостью «изобретения» новых принципов экологического поведения, принципиально отрицающего предыдущий опыт существования. Но это «изобретение» было бы невозможным на пустом месте. И создатели неолитического способа хозяйствования конструировали его, опираясь на весь предшествующий опыт палеолитического знания всеобщего закона природы — цикличности. Собиратель и охотник прекрасно знал, не мог не знать, и сроки вызревания съедобных злаков, и пути сезонных миграций животных, на которых он охотился, и время нереста, и сроки плодоношения. Как показывают исследования последних лет, человек палеолита имел лунный календарь, как бы организующий его каждодневную хозяйственную деятельность в единую систему взаимосвязи с природными циклами. И, если говорить, конечно, обобщенно, именно совокупность конкретного опыта хозяйствования и жизненная необходимость пересмотра его принципов позволили человеку в столь короткие сроки отработать новое экологическое поведение, еще больше укрепиться на планете.

Переход к скотоводству и земледелию дал человечеству куда более обширные, чем прежде, резервы пищи. Во времена палеолита на территории современной Франции согласно некоторым подсчетам жило от 5 до 15 тысяч человек. «В эпоху же развитого энеолита,— отмечают этнографы С. Арутюнов и А. Хазанов,— около пяти тысяч лет назад, население Франции составило 5 миллионов, а в наши дни здесь живет

⁶ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 296.

примерно 50 миллионов человек. Значит, за последние пять тысяч лет население этой страны увеличилось всего в десять раз, а за такой же срок при переходе от палеолита к неолиту, от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству возросло в тысячу раз!»⁷.

Рассматривая неолитическую революцию даже исключительно с точки зрения укрепления и сохранения вида «гомо сапиенс», мы должны назвать ее эпохальной. И тем более должна казаться необъяснимой та технологическая и демографическая «спячка», в которую — после такого стремительного взлета общественного интеллекта — вновь впадало человечество. После освоения пахотного земледелия, скотоводства, выплавки металлов дело доходит, казалось бы, до курьезов: на протяжении многих веков не научились даже оптимальным приемам запряжения тяглового скота (лошадей и ослов)! Дело, впрочем, не в частных фактах, пусть даже типичных. Если мы сравним средства производства Шумера со средствами производства средневековой Европы, то мы не обнаружим меж ними принципиальной разницы, хотя, конечно, увидим целый ряд новинок. В течение долгих тысячелетий после неолитической революции человек заботился главным образом об отработке новообретенного тиша хозяйства, об его эволюционном усовершенствовании. Именно это стало генеральным направлением деятельности общечеловеческого интеллекта, ибо новый тип хозяйства оказался чрезвычайно устойчивым, предоставлял человеку богатые возможности.

Но эту устойчивость и эти возможности определял уже не отлаженный миллионнолетиями механизм природного равновесия, а искусственное — и отныне уже навсегда — постоянное конструирование новых взаимосвязей с природой.

Скотоводство и земледелие поставили человека в иные, чем прежде, взаимоотношения с биосферой. Если человек раньше, подобно животным, оптимально приспосабливался к существующим экосистемам, то теперь он занялся все более масштабной со временем их перестройкой. Каждое конкретное действие в этом направлении — расширение возделываемых земель, ирригация, выведение новых сортов культурных растений и новых пород скота — было актом созидания. Но как мы знаем из истории в то время не было, да и не могло быть исторически одновременного учета последствий. Появление классового общества, частное владение землей, орудиями и средствами производства резко обострили эту тенденцию, привели к отчуждению человека от природы. Всюду и везде преследовались ближние цели, практические задачи. Такое хозяйствование не требовало и не могло требовать от людей глобального, дальновидного мышления. Экологическое хозяйствование неизбежно оставалось частичным, клочковатым.

Но сама природа едина и неделима. Она существует и развивается таким образом, что любая серьезная перестройка частей целого возбуждает в ней сложные, долговременные и масштабные процессы, охватить которые упертый в свой клочок земли, в свою узкую профессию человеческий взгляд бессилён.

Таков был корень противоречия. Прошел неолит, люди начали обеспечивать свою жизнь в природе более совершенными орудиями, а принцип экологического поведения оставался прежним. А следовательно, оставалась и основа противоречия. Но конструкторско-экологические возможности человека значительно росли. И все больше и больше «деталей» природы он постепенно включал в свои «конструкции». И все больше и больше вырастали последствия неизменно существующего противоречия. Они не давали о себе знать грозно, пока деятельность людей влекла за собой лишь локальные, сравнительно небольшие перемены. Там, где они накапливались, там, где человек не успевал или не мог по социальным или техническим причинам ликвидировать непредвиденные последствия своего хозяйничанья, вспыхивали локальные экологические кризисы (пример тому — поглощение пустынями многих очагов древних цивилизаций). А сюрпризы природа подносила все чаще и чаще...

Все созданные людьми биоценозы культурных растений из-за бедности их видового состава оказались куда слабее природных. Человек мог поддерживать их существование лишь ценой постоянных и значительных усилий. Он оказался вовлечен-

⁷ «Знание — сила», 1974, № 10, стр. 20.

ным в войну уже не с отдельными, как прежде, хищниками, а со множеством видов растений и животных, которые со всех сторон угрожали его полям и садам. (Кстати, именно с тех времен существует в нашем сознании стойкое деление всех существ природы на полезные, бесполезные и вредные.) Помимо всего, слабость культурных биоценозов сделала уязвимой занятую ими почву. Человек рано был вынужден взять на себя ее сбережение (природоохранительные мероприятия проводились уже в древнем Китае). Но опустошительные войны, ломая хозяйство, делали ту же почву легкой добычей пустынь и эрозии. Хищническая эксплуатация земель Карфагена римлянами подкосила хозяйство этой житницы древнего мира. Древнее кораблестроение свело, например, ливанский кедр и оголило благодатную землю. И многое тому подобно.

А тип хозяйствования, обретенный в неолите, по существу не менялся. Все это очень напоминало эксплуатацию лежащего на поверхности рудного пласта: пока есть возможность идти вширь, нет нужды углубляться, а когда необходимо идти вглубь, то первые шаги делаются сравнительно легко, при помощи прежних орудий и методов, которые затем становятся все более неэффективными. (Сравнение представляется тем более подходящим, что прежде всего именно потребности горного производства привели к появлению паровых машин и сложных механизмов.)

Но даже и после этого принцип хозяйствования не изменился. Прикованные к «галере» своего привычного экологического поведения, люди, как гребцы, плывущие против все усиливающегося течения, вынуждены были прилагать все большие и большие усилия, все чаще и чаще взмахивать веслами. Конечно, продолжая сравнение, можно сказать, что в какой-то момент человечество заменило в своей «галере» весло на колеса с плицами — когда произошел промышленный переворот XVIII века. Но ведь принцип-то движителя остался прежним!

Естественно, все происходило гораздо сложнее. Но совокупность конкретных обстоятельств, которые вызвали к жизни промышленный переворот в XVIII веке, слишком хорошо известна, чтобы ее здесь излагать. Мы лишь хотим подчеркнуть те колоссальные, еще и теперь не исчерпанные возможности, которые открылись перед человеком после «изобретения» скотоводства и земледелия. И конечно же, безбрежность этих возможностей не могла стимулировать общественный интеллект на какие-либо революционные преобразования принципов взаимоотношения с природой.. «От добра добра не ищут».

Но вот что любопытно. Перед неолитической революцией наблюдались резко возросшие темпы техноразвития. Например, в развитии так называемой перигордской палеолитической культуры, за период с 22 000 до 18 000 лет до нашей эры, выделено шесть этапов, каждый из которых заметно отличается от предыдущего и последующего набором каменных орудий. За четыре тысячи лет сменилось шесть «поколений» таких орудий! С нашей точки зрения, это очень медленный процесс. Но если взять не абсолютные, а относительные соотношения, то все выглядит совсем иначе. Сейчас поколения станков сменяются примерно в десять раз быстрее, чем полтора столетия назад. Верхний палеолит, оказывается, знал подобный темп ускорения: против прежних десятков и сотен тысяч лет, требуемых на обновление орудий труда, всего тысячи!

На экологическое поведение нашего палеолитического пращура это ускорение техноразвития влияния не оказало. Но нам из нашего исторического далека оно видится предвестником неолитической революции, то есть технологическим признаком приближения качественно нового экологического поведения.

Промышленный переворот XVIII века также не изменил принципов привычного, уже «неолитического» способа хозяйствования в мире природы, несмотря на то, что произошло, как писал В. И. Ленин, «крутое и резкое преобразование всех общественных отношений под влиянием машин»⁸.

Так нельзя ли по исторической аналогии сделать самый общий вывод о том, что переживаемая нами научно-техническая революция, предвестником которой был промышленный переворот XVIII века, в конечном счете подготавливает условия для ста-

⁸ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 231.

новления нового типа хозяйства и нового типа экологического поведения? Поведения, так же отрицающего прежнее, «неолитическое», как то, в свою очередь, отвергло палеолитическое?

Сопоставляя «неолитическую революцию» с НТР, мы, разумеется, не хотим доказать их тождество. Развитие идет по спирали, перед нами лишь отдаленно схожие его витки, что и позволяет извлечь из прошлого кое-какие уроки. Прежний тип хозяйствования в какой-то степени можно сравнить с домом, который ветшает, а рядом строится новый. Соответственно этому и необходимо расходовать средства так, чтобы и старый не обвалился раньше времени и новый старый обрел стены и крышу.

Такая стратегия тем более необходима, что нас опасно подгоняет время.

Внешне схема там и здесь вроде бы приблизительно одинакова. Нарастание потребностей людей ускоряет технoзволюцию; она все сильнее воздействует на природную среду, что и вызывает в ней кризис. Но если раньше кризис коснулся лишь отдельных, самых важных для пропитания человека биоценозов, то теперь возникла угроза для всей земной природы. Возросшая техническая мощь человека в условиях существования двух противоположных социальных систем сделала более вариантным сам ход истории. Помимо оптимистической перспективы мира и социального прогресса человечества сегодня реально существуют и угроза его самосожжения в ядерной войне и экологической — даже в условиях мира — катастрофы. Ее угроза более обща, чем обеднение биосферы или исчерпание запасов пресной воды; все это, хотя и с колоссальным ущербом, поправимо. Куда опаснее другое: не меняясь биологически, мы быстро изменяем среду своего обитания в целом. И еще одно обстоятельство. Быстрое умножение числа новых проблем, убыстрение их движения оборачивается новым качеством — та сумма изменений, которая прежде раскладывалась на несколько поколений, теперь приходится на одно поколение, что для психики далеко не одно и то же. С такой ситуацией мы еще не сталкивались, но ее последствия ощущаем везде и во всем.

Таким образом, если еще в историческом вчера все могло идти (ишло) путем саморегуляции, как бы помимо человеческой воли и сознания, то теперь уповать на саморегуляцию было бы опрометчиво.

Конечно, работа, сама жизнь требуют сегодня (и еще будут требовать) репродуктивной деятельности, отчего интересы завтрашнего дня вступают в конфликт с нуждами сегодняшнего. Огромен момент и чисто психологической инерции. А промедление уже опасно: или мы решим проблемы, или они «решатся» сами, но скорей всего отнюдь не так, как нам желательно. Тут, как показывает история, очень многое зависит не только от мобилизации интеллектуальных ресурсов общества, но и от его направленности, творческого использования.

«Лишь сознательная организация общественного производства с планомерным производством и планомерным распределением, — подчеркнул Ф. Энгельс в «Диалектике природы», — может поднять людей... в общественном отношении точно так же, как их в специфически биологическом отношении подняло производство вообще»⁹. Современность придала этому тезису марксизма особую актуальность. Борьба за мир, за коренное переустройство общественных отношений, за социальный прогресс сегодня теснейшим образом связана с борьбой за предотвращение экологического кризиса, и от успеха всех этих усилий зависит судьба самого человечества. Мы можем изменять многое — технику, социальные отношения, тип хозяйства, но состояние окружающей среды в ее главных и основных чертах нам менять не позволено. Пожалуй, это можно назвать основным постулатом современного, уже планетарного экологического сознания, которое сегодня — впервые в истории — становится реальным фактом и фактором нового экономического поведения на Земле, одновременно и подталкивающего и отрицающего все предыдущие виды экологической деятельности.

Еще лет пятнадцать — двадцать назад природа воспринималась как все более покорная нашей воле данница. Даже в науке лишь немногие замечали, что в основе наших с ней взаимоотношений лежит глубинное, изначальное, все обстраиваемое нами

⁹ Ф. Энгельс. Диалектика природы. М. 1948, стр. 17.

противоречие. Когда же оно там и здесь давало о себе знать наглядно и веско, то эти предостережения рассматривались лишь как случаи частных, изолированных ошибок, просчетов или как результат буйства исключительных стихийных сил. Даже там, где ответ природы на действия человека был прямым и недвусмысленным, загрязнение и биологическая смерть какой-нибудь речки казались чисто местным бедствием. И то многие, подчас неглупые люди считали это не бедствием, а оправданной и терпимой платой за материальный прогресс. Еще трудней давалось понимание, что и загрязнение водоемов, воздуха, и неурядицы с каким-нибудь ДДТ, и эрозия почв, и даже многие якобы чисто случайные засухи — все это нерасторжимые звенья одной причинно-следственной цепи. Грозовой фронт долго продолжал видеться движением отдельных незначительных туч на лазоревом небе научно-технического прогресса.

С трудом верится, что так было всего лишь пятнадцать — двадцать лет назад. Введомое прежде лишь горстке ученых, слово «экология» ныне стало всеобщим достоянием. Конечно, требуемое экологическое понимание, тем более поведение, успело стать далеко не всеобщим. И все же максимум за пятнадцать лет в сознании человечества произошла подлинная «экологическая революция» — явление и срок, пожалуй, беспрецедентные в истории.

Сейчас события развиваются далеко не так, как в преддверии неолитической революции. Тогдашний человек, понятно, не мог не заметить убыль каких-нибудь мамонтов. Но подобные спады бывали и раньше, для природных процессов характерна цикличность. Нечего, следовательно, что-то предпринимать, не могут же мамонты исчезнуть совсем, они всегда были, как воздух, вода, солнце!.. Мы же в считанные годы уяснили тенденцию, просчитали, когда примерно исчезнет наш последний «мамонт», какой нам ориентировочно остался срок для перестройки взаимоотношений с природой, и принялись действовать. Не всегда так, как хотелось бы, но надо учесть, что здесь мы боремся с самими собой, с нашими укоренившимися привычками. Уже ясна, к примеру, необходимость охраны экосистем от распада, перевода обширных территорий на заповедный режим, но те же земли часто нужны для развития сельского хозяйства, промышленности. Мы уже знаем, что истреблять хищников не следует, а на деле продолжаем делить все виды существ на полезные и вредные. За прежним стилем экологического поведения стоит громада традиций, сиюминутных интересов, частнособственнических во многих странах выгод. Прежние стереотипы мышления активно поддерживает непосредственная практика, ибо сегодняшние заботы всегда конкретны и чувствительны, а завтрашние туманны и малоосозаемы.

К счастью, этому противостоит многое. Прежде всего надо учесть, что в структуре социалистического хозяйства, основанного на общественном владении землей, всеми средствами производства, впервые в истории возникает реальная возможность преодоления тех факторов, на которых зиждилась клочковатая близорукость прежней экологической деятельности человека.

Мы уже говорили, что частнособственнические отношения, капиталистический культ наживы отчуждали человека от природы, накидывали на нее сеть рвачества и эгоизма. Социализм меняет саму экологическую предпосылку этой становящейся все более опасной при современной технологии тенденции. О социалистическом принципе хозяйствования как единственно возможном, разумном и бескризисном пути развития системы «человек — природа» существует обширная научно-философская и популярная литература, так что подробно останавливаться на этом аспекте здесь нет острой необходимости. Но подчеркнуть его принципиальную значимость в решении экологических проблем нужно.

«Буквально на наших глазах, — пишет член-корреспондент Академии наук заместитель председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике Д. Гвишиани, — за какие-нибудь пять — семь лет моделирование глобального развития, или глобальное моделирование, прошло путь от первых экспериментов отдельных групп энтузиастов до самостоятельной области научных исследований...»

Очевидно, что глобальное моделирование не может не стать сферой острой идеологической борьбы, так как оно связано с формированием более или менее конкретного представления о будущем человечества. Здесь неизбежно противостоят друг другу две противоположные концепции — коммунистическая и капиталистическая. Од-

нако было бы ошибочно игнорировать тот факт, что некоторые аспекты разработанных глобальных моделей содержат позитивный материал, отражают гуманистическую озабоченность ученых судьбами человеческого общества. В ряде моделей содержится глубокая критика социальной организации капиталистической системы, ее неспособности противостоять грозящим кризисным ситуациям.

Все это делает бесспорно оправданным сотрудничество ученых всего мира в создании научно обоснованного представления о путях решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством.

Безусловно, на пути реализации этой идеи стоят серьезные препятствия, и это прежде всего капитализм, который все сильнее тормозит прогресс человечества в самых различных областях жизни человечества, в том числе и в сфере совместного «природоожительства». Современный мир, отмечает Д. Гвишиани, разделяют глубокие социальные, экономические и политические противоречия, резко усиливается разрыв в развитии отдельных регионов Земли, не прекращается гонка вооружений. «Однако,— продолжает автор,— необходимо учитывать и то, что за последние шестьдесят лет возникли и стали оказывать значительное влияние на ход исторического развития новые, ранее не существовавшие факторы, позволяющие оптимистически смотреть на возможность консолидации человечества»¹⁰.

Нет, ни прогресс разума, ни прогресс техники отнюдь не делают человека чужаком в природе. Ни чужаком-властелином, как это прирезилось Уитмену, ни чужаком-рабом, как опасался Хлебников. Социальный прогресс — это возрастание самоценности человека, его внешней и внутренней свободы и по мере познания учета и использования законов природы перестройка своих взаимоотношений с ней, изменение «правил игры».

Ведь все наше господство над природой, как справедливо заметил Ф. Энгельс, «состоит в том, что мы, в отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и правильно их применять»¹¹.

¹⁰ «Вопросы философии», 1978, № 2, стр. 14, 21, 24.

¹¹ Ф. Энгельс. Диалектика природы. М. 1948, стр. 143.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИЗ НАСЛЕДИЯ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ

15 января 1979 года исполняется шестьдесят лет со дня убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта, убийства, явившегося трагичнейшей страницей Ноябрьской революции и последующей истории Германии. Ныне, так же как на протяжении истекших лет, событие это, несомненно, вызовет на многих широтах эхо публицистически злободневных, разных по жанру и по направленности откликов.

В основу предлагаемой публикации положен трехтомник писем Розы Люксембург Леону Йогихесу-Тышке (Варшава, тт. I, II — 1968, т. III — 1971). Издание это, тщательно подготовленное, щедро прокомментированное профессором Феликсом Тыхом, явилось вехой в истории научного изучения наследия и воссоздания истинного облика Розы Люксембург.

Начиная с 1893 года из разных городов Европы в иные периоды ежедневно, а порой и дважды в день Р. Люксембург пишет Л. Тышке на польском (в основном), немецком, русском, французском языках, пишет, не боясь их смешения и вольно пользуясь оборотами, которые в контексте кажутся более выразительными; Тышка отвечает ей по-русски.

Человек безграничной отваги, редкостной воли и трагической судьбы, Тышка (1867—1919) юношей вступил в нелегальную организацию, связанную с «Народной волей», подвергся аресту, эмигрировал в Швейцарию. Там в 1890 году он познакомился с Розой Люксембург, эмигрировавшей из царской России, чтобы тоже уйти от ареста и преследований полиции. Вместе с Р. Люксембург создавал и возглавлял Социал-демократию Королевства Польского и Литвы — СДКПиЛ. Вслед за Р. Люксембург переехал в Германию. Так же как Р. Люксембург, в революцию 1905 года вернулся в Польшу, чтобы участвовать в восстании рабочих Варшавы. Тогда же оба были арестованы. В годы мировой войны вместе с Р. Люксембург создавал «Союз Спартака». Так же как Карл Либкнехт и Роза Люксембург, был освобожден из тюрьмы революцией. Основывал компартию Германии и на учредительном съезде стал членом ее Центрального Комитета. Вновь арестованный во время январских сражений 1919 года, вырвался на свободу, но, так же как Либкнехт и Роза Люксембург, не покинул поле боя. Убитый карателями в тюрьме Моабит, пережил своих соратников на два месяца.

Конечно, Тышка не был свободен от ошибок — тех же в основе своей, о которых писал Ленин в «Заметках публициста» (1922), говоря о Розе Люксембург, — от ошибок в освещении проблем независимости Польши, в оценке меньшевизма (1903)... Но, думается, и к Тышке применим итоговый ленинский отзыв: несмотря на эти ошибки, он был и остается орлом (Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 421—422).

В интернациональном рабочем движении начала века едва ли найдется деятель, чье истинное значение настолько не совпадало бы с количеством сведений, о нем сохранившихся. Практик, сосредоточивший в своих руках организационное руководство партией и ее подпольной деятельностью, Тышка был больше чем мастером — он был художником и фанатиком конспирации. Даже ближайший его соратник Юлиан Мархлевский, прошедший рука об руку с ним почти тридцать лет, вынужден был заметить в некрологе, что о юности Тышки ему, а равно и другим товарищам ничего не известно: Тышка избегал говорить о себе, никого не посвящал в свою личную жизнь. Замечание это относится и к тем примерно пятнадцати годам, на протяжении которых Тышка был мужем Розы Люксембург. Их отношения оставались «незаконными» и скрытыми от постороннего глаза, они и разрыв свой сохранили в тайне. В самые драматические его минуты, как раз в дни V (Лондонского) съезда РСДРП, Тышка без-

оговорочно поддерживает позицию Розы Люксембург; их политический союз прочен, как бы ни складывался союз личный.

Одна из причин разрыва — всегда проявлявшаяся разность сильных и независимых натур. Роза Люксембург была духовно богаче, многограннее Тышки, считавшего, что настоящий революционер не имеет права растрачивать время и силы на что-либо «постороннее», в том числе на искусство. Например, в конце 1916 года к рождеству арестантка Роза Люксембург пересылает арестанту Тышке вырванный из альбома лист с рисунком (она отлично писала маслом — сохранился ее автопортрет, сохранились тюремные письма с рисунками на полях). И получает ответ: «Отклонено с благодарностью».

В подготовленный Ф. Тыхом трехтомник входит 918 писем! 918 бесценных документов, в которых политико-партийное неотделимо от личного, а лирическая исповедь от исторической драмы. Собрание этих писем приближается к жанру эпистолярного романа или культурно-исторической эпопеи. Богатейший аппарат издания позволяет прочесть эпопею в уже скрытых от нынешнего читателя, но неизменно важных деталях, причем столь многочисленных, что о них нельзя уже говорить как о «новых подробностях». Они поистине обновляют облик Розы Люксембург.

Стержнем предлагаемой публикации является тема искусства. Порою мотивом для включения какого-либо письма в эту подборку служит брошенное мельком, случайное, однако примечательное упоминание о произведениях прозы, поэзии и живописи. Само собой, журнальная публикация не претендует на полноту, но, думается, высвечивает ту сторону наследия, которая долгие годы оставалась в тени, и дает представление об облике Розы Люксембург, о развитии, пройденном ею за два десятилетия.

Первые письма вылились из-под пера молодой женщины, истосковавшейся по любимому, по другу, единственному среди многих в пока еще чуждом новом мире.

И в Париже и в тихих городах Швейцарии сыновья Польши, ее искусство — прежде всего Адам Мицкевич — близки Розе Люксембург так же кровно, как революционная Россия, представленная поколением народника Лаврова, марксиста Плеханова, революционно-демократического поэта Некрасова.

Политэмигрантке, посвятившей себя целиком революции, нелегко: «Ой, Дзедзя, тяжела шапка Мономаха!» Нечастые посещения драмы (Сара Бернар) или оперы («Фауст» Гуно) вызывают мечтательный вздох: «О если бы ты сидел рядом!» Но в эту франко-швейцарскую и все-таки студенческую пору, несмотря на долгие дни разлуки, в параграфы деловой корреспонденции врываются ликующие строки: «Люблю тебя! Люблю тебя! Люблю тебя!» И вместе с ними, вслед за ними — ощущение молодости и счастья.

Через каких-нибудь два-три года тональность писем меняется. Автор европейски известных статей против Бернштейна, Роза Люксембург — в первом ряду революционных мыслителей, в интеллектуальном центре самой мощной из партий европейской социал-демократии — немецкой.

Завоеванное признание бесспорно: «Что произошло в этом году? Дары на меня сыплются как из рога изобилия», — пишет Роза Люксембург, отпраздновав 5 марта 1899 года двадцать восьмой день рождения. Роскошно переплетенное собрание сочинений Гёте, многотомная энциклопедия и пр. пр. И Меринг и Каутский убеждены, что Роза Люксембург обязана сесте за эпохальный труд. Редактор «Лейцигер фольксцайтунг» Бруно Шенланк восхищен и горд блестящим публицистом своей газеты, считает ее превосходным стилистом, настаивает на статьях с полной подписью...

В первые годы эмиграции Роза Люксембург занималась итальянским и английским, овладела французским, немецкий из иностранного превратился для нее в родной. Одновременно она знакомится, вернее, вращается в литературу, искусство — в культуру Европы.

Прежнее одиночество не преодолено, но оно заглушено водоворотом политико-литературных обязанностей.

Вряд ли во вступительной заметке следует предлагать разбор всех оттенков публикуемой переписки. Надо полагать, вдумчивый читатель самостоятельно продолжит анализ и по-своему увидит тему, первостепенно важную как на исходе XIX, так и в последней четверти XX столетия, — искусство и революция, революция и культура.

[Кларенс] Понедельник [20.III.1893]*

...Сегодня с утра совершенно серо — в первый раз. Дождя нет. Небо сплошь в тучах разной величины и оттенков, оно похоже на глубокое бурное море. Озеро блестит гладкой стальной поверхностью. Горы окутаны дымкой и печальны. Dent du Midi¹ видно будто сквозь мглу. Воздух мягкий, свежий, напоенный запахом яблонь и трав. Тишина, птицы щебечут словно сквозь сон, тихо и монотонно. Я сижу недалеко от дома, под деревом, на траве, около той тропинки, которая ведет к колодцу. Трава огромная, буйная, цветов в ней, особенно больших желтых, — как маковых зерен. Над ними кружатся пчелы такой массой, что вокруг меня сплошное жужжание**. Пахнет еще и медом. Иногда вблизи пролетит, громко шумя, большой жук. Мне грустно и одновременно очень хорошо на душе — я бесконечно люблю тихую, задумчивую погоду. Жаль только, что она меня настраивает скорее мечтать, чем работать...

[Кларенс] Суббота, 9 часов вечера [15.IV.1893] ***

Я только что с вокзала. Кругом темная, темная ночь. Горы надвинулись как черные массы. Звезды мерцают так неприветливо. Дует холодный ветер. Я одна-одинешенька опять. Кругом мертвая тишина — только однообразный шум воды из колодца со двора да скребание крысы за печкой. Моя милая Оленька² опять уехала, вернулась в свое беспросветное житье, в свое «ревущее безобразие». Она, бедная, здесь значительно оживилась и освежилась. Начитались мы газет и «Нойе цайтов», я ей рассказала много вещей, ходили мы на горки и в городе были. О том, что знаешь, я с ней поговорила, и она в результате приняла решение очень для меня неприятное, именно, что отдаст это дело вполне в мои руки, чтобы я, увидевшись раньше, решила, встретиться ли ей или нет.

[Париж] Воскресенье [11.III.1894]

...Любимый мой! Когда я тебя увижу? Мне так не хватает тебя, что просто душа иссохла! Знаешь, золотой мой, сейчас почти полночь, а внизу вокруг дома гомон, шум, крики газетчиков, как в полдень.

Что я делала сегодня? Спала около 3-х часов. Потом к Адольфам³ пришли Морек⁴ и еще один рабочий-поляк. Так что делать уже ничего не пришлось. К тому же в голове у меня такой кавардак, что я ни на что не способна.

Ах, золото, если бы ты сейчас был со мной! Мы прокатились позднее трамваем до Булонского леса и обратно. Посмотрели Трокадеро, Триумфальную арку, Эйфелеву башню и Гранд Опера. Я оглушена криком. А сколько здесь прелестных женщин! Собственно, все они прелестны или, по крайней мере, так выглядят. Нет, решительно не приезжай сюда. Сиди в Цюрихе...

[Париж] Понедельник [12.III.1894]

...Золото мое, мне с тобой сейчас так странно — ты довел меня до того, что я стыжусь писать обо всем личном, о своих чувствах и впечатлениях. Мне кажется, что это очень плохо — если писать не только о делах...

[Париж, 29.III.1894]

...Не сердись, что я даю тебе полный отчет, — просто стыдно, что ушла такая сумма; мне кажется, ты даже представить себе не можешь, как я здесь трачу деньги. Вот снова за две недели: Ядзе — 23, в гостиницу — за квартиру (с обслуживанием) — 17, доктору и за лекарство (для глаза) — 5 фр., всего 45 фр. Кроме того, мы были раз в Эльдorado, раз на Саре Берн[ар] — это по одному франку, раз в студенческом кафе, раз на экскурсии в Сен-Клод. На все ушло у меня 15 франков, но помни, что я за них плачу — у них нет, а я иначе не мо-

* Даты, установленные на основании содержания и других данных, здесь и в дальнейшем печатаются в квадратных скобках. На полях приписано рукой Тышки: «Письмо из Кларенса в Женеву весной 1893 года».

** Здесь и далее слова, выделенные полужирным шрифтом, у Розы Люксембург написаны по-русски.

*** Все письмо написано по-русски.

гу. Ну, об этом кончено, больше не истрачу ни за что, мне страшно стыдно, что я столько промотала...

[Париж] Четверг, вечер [5.IV.1894]

...Вот сижу у себя (то есть в гостинице) за столом и пытаюсь взяться за прокламацию. Дзедзя мой! Мне не хочется!! Голова болит, все гнетет меня, на улице ужасный шум и грохот, в номере отвратительно... Я хочу быть с тобой, я не могу больше! Подумай, еще минимум две недели, так как в это воскресенье я из-за прокламации не смогу подготовиться к докладу и придется ждать следующего воскресенья. А потом еще российский реферат, а потом буду у Лаврова.

Дзедзя, когда же все это кончится — я начинаю терять терпенье. Речь идет не о работе, а о тебе! Почему ты не приехал ко мне? Если бы ты был рядом со мной, я не боялась бы никакой работы. Сегодня у Адольфов в самый разгар беседы и работы над прокламацией я внезапно почувствовала такую усталость и тоску о тебе, что чуть не взвыла. Боюсь, как бы в мою душу не вторгся прежний дьявол (как было в Женеве и Берне) и неожиданно в один прекрасный вечер не привел бы меня на Gare de l'Est⁵.

Чтобы утешиться, я рисую себе картину, как засвистит паровоз, как я буду прощаться с Ядзей и Адольфом, как тронется поезд и я поеду к тебе. Ах, боже, мне кажется, что меня от этой минуты отделяет по меньшей мере стена из Альпийских гор. Я представляю себе, как буду приближаться к Цюриху, как ты будешь ждать меня, как я выйду из вагона и помчусь к дверям вокзала, а ты будешь стоять в дверях, в толпе, и не сможешь побежать ко мне навстречу — а вот я к тебе побегу.

[Париж, 7.IV.1894, утро]

Мой драгоценный муж!

Только что погасила лампу. Через окно кухоньки Адольфов, в которой я сижу, пробивается холодный и белый свет утра. Уже шесть часов...

Третьего дня — в четверг вечером, когда я писала тебе, что сижу в гостинице за прокламацией и что мне страшно не хочется писать, — у меня так ничего и не получилось. Никакими силами я не могла преодолеть боль и пустоту в голове. В отчаянии я легла в постель и читала «Пана Тадеуша», а мысли и чувства были о тебе.

Сегодня, то есть вчера, в пятницу, сразу же после обеда принялась за прокламацию. Начала просто переводить твою. Казалось бы, перевод — вещь легкая и быстрая. Но увы, просидела над ним, с небольшим перерывом на ужин, до 12 часов ночи. Понимая, что у меня осталось мало времени, решила закончить непременно сегодня, то есть вчера, и завтра же, т. е. сегодня, сразу отдать в набор. Но так как для этого необходимо было согласие Адольфа и Ядзи, то я сидела у них, чтобы сразу же прочитать им и внести поправки в те места, которые будут резать слух, соблюсти стиль, язык, пунктуацию, а также некоторые «тонкости». Вещь получилась, как мне кажется, очень изящной и сильной. Но эта сильная вещь тянулась, к сожалению, до 5 утра. Потом Адольф и Ядзя легли на свою софу, а я села, чтобы еще раз перечитать и сверить перевод с твоей прокламацией, так как при них я писала по памяти. Так что эту ночь я совсем не спала, да и сейчас не ложусь, потому что некуда...

[Париж] Среда, 12 часов дня [11.IV.1894]

...Золото мое, послушная твоей воле, иду сегодня в оперу на «Фауста». О, если бы ты сидел рядом!..

[Париж, между 22 и 27.III.1895]

...6. Вообще с корректурами и рукописями, которые тебе посланы, не тужи; читай и сразу же отсылай обратно следующей почтой. А то мне все время приходится ждать.

7. Понравился ли тебе майский номер? Мы здесь в совершенном восторге.

8. Ответь мне, черт побери, помещать ли в февральском номере материал о ростовской забастовке!!

9. Будь здоров.

10. Люблю тебя! 11. Люблю тебя. 12. Люблю тебя!

На столе у меня две вазочки с пармскими фиалками, розовый абажур, и новая фарфоровая расписная чернильница, и новые туфли, и новая вуалька, и новые перчатки, и новая щетка, и я красива!...

[Париж] Вторник, 12 часов ночи [9.IV.1895]

...Господи, когда же я напишу о «Работнике»⁶ и закончу для «Справы»⁷, чтобы пойти в библиотеку! Я понимаю всю важность статей о «Роб[отнике]» и поэтому заставляю себя, но мозг у меня попросту спит. Ужас! Здесь же нет совершенно никого, кто бы мог меня заменить, когда я не в состоянии писать! Адольф просто не сумеет написать. Ой, Дзедзя, тяжела шапка Мономаха!

[Париж] Среда, 10.IV.[18]95

...Была с Войнаровской⁸ у Лаврова. Старик производит впечатление раненого льва в берлоге. На Бельтова⁹ и социал-демократов разъярен страшно. Оценивает Бельтова как «вещь **оччень слааабую**»... Спрашиваю его с невинной миной — в чем именно? Отвечает: **«Ведь он ничего не доказывает, бездоказательно, но, главное, тооон, кааакой тооон!»** Его, наверное, задело за живое. Но старик, видимо, совсем сдал, так как **не прочитал** еще Бельтова! Говорит, что только перелистал и тотчас одолжил «разным барышням» (?), которые хотели сразу же прочесть. И спрашивает меня язвительно: **«У вас там, в Цюрихе, ведь 25 экземпляров сразу выписали?!»**...

[Швейцария, 16.VII.1897]

Дзедзя, милый, знаешь, почему я пишу тебе письмо, вместо того чтобы высказать все при встрече? Я больше не умею, я больше не могу говорить с тобой свободно о таких вещах. Я сейчас впечатлительна и подозрительна, как заяц. От самого незначительного твоего жеста или ничего не значащего слова у меня сжимаются сердце и немеет язык. Я могу лишь в том случае говорить с тобой откровенно, если чувствую себя в атмосфере теплоты и доверия, а это бывает у нас теперь редко!

Сегодня я была переполнена удивительным чувством, которое вызвали у меня несколько дней одиночества и размышлений. У меня накопилось так много, о чем рассказать тебе, а ты был рассеянным, насмешливым и считал, что не нужна тебе «лирика», то есть именно все, чем я была занята в ту минуту. Мне это причинило боль, а ты рассудил, будто я просто недовольна, что ты так быстро уходишь. Я бы и теперь не решилась написать это письмо, но мне придало смелости то небольшое участие, которое ты проявил ко мне при прощании, на меня повеяло прошлым, тем прошлым, при воспоминании о котором я каждую ночь, перед тем как заснуть, зарываюсь в подушку и плачу. Мой дорогой, мой милый, ты, наверное, уже с нетерпением пробегаешь глазами по строчкам — «чего же она хочет, **наконец**»?

Знаю ли я, чего хочу? Хочу тебя любить, хочу, чтобы у нас царила та мягкая, полная доверия, идеальная атмосфера, которая была когда-то. Мой дорогой, ты меня часто понимаешь чересчур упрощенно. Ты думаешь, что я вечно «дуюсь» потому, что ты уходишь или что-нибудь в этом роде. И не можешь себе представить, как глубоко переживаю я, что наши отношения стали для тебя чем-то чисто внешним. О, не говори, дорогой мой, что я этого не понимаю, что они не стали внешними, что мне это кажется. Я знаю, я понимаю, что все это значит, и понимаю потому, что чувствую. Раньше, когда ты мне говорил об этом, слова эти были для меня пустым звуком, сейчас — тяжелой действительностью. О, я прекрасно ощущаю, я чувствую все, наблюдая, как ты, нахмурившись, молча и в одиночестве переживаешь свои хлопоты и неприятности, говоря мне взглядом — **«не твое дело, смотри себе свои дела»**, чувствую, когда вижу, как после какой-нибудь крупной ссоры ты переживаешь случившееся и обдумываешь наши отношения, как приходишь к каким-то выводам и принимаешь какие-то решения, поступая со мной таким образом, что я остаюсь вне твоих мыслей, и

только собственным умом могу понять, о чем ты думаешь; чувствую после каждого нашего примирения, когда ты вновь отстраняешь меня и, погруженный в свои мысли, принимаешься за работу; чувствую, наконец, когда мысленно охватываю всю свою жизнь, все свое будущее, которое мне представляется будущим куклы, управляемой каким-то механизмом. Мой дорогой, мой милый, я не жалею и ничего не хочу, хочу только, чтобы ты не считал каждую мою слезу бабской сценой.

Откуда мне знать? Наверное, я во многом, а может быть, в первую очередь сама виновата в том, что между нами нет равных и теплых отношений. Но что же мне делать — я не умею, не умею вести себя! Я не знаю как, я никогда не сумею даже обдумывать создавшееся положение, не сумею делать выводы, не сумею выдерживать по отношению к тебе какую-нибудь определенную линию поведения — каждый раз я поступаю так, как мне подсказывает чувство. Когда у меня накапливается избыток любви и обиды, я бросаюсь тебе на шею, когда ты отталкиваешь меня своим холодом, сердце у меня разрывается и я ненавижу тебя так, что убила бы. Золотой мой, ведь ты все можешь понять и рассудить. В наших отношениях ты всегда это делал за нас обоих! Почему же сейчас ты не хочешь сделать этого вместе со мной? Почему оставляешь меня одну? Ах, боже мой, я тебя так зову! А может быть, это правда — я чувствую все чаще, что ты меня любишь уже не так, как раньше? Правда, правда — я чувствую это так часто...

[Монако, 14] Май, 1898

...От Адольфов получила следующие подарки: «Историю»¹⁰ Меринга, оба тома без переплета, «Историю»¹¹ Вебба в переплете, Мицкевича в переплете и один оригинальный пейзаж, написанный маслом! Я, конечно, не хотела брать книг, но Адольф мне их насильно запаковал (он их уже прочитал). Должна уже кончить, так как Адольф с Зосей¹² шумят около меня, так что я не знаю даже, что пишу.

[Берлин] Вторник, вечер [17.V.1898]

...А ргорос, «солдата» — он действительно «был и есть» повсюду. Фактически офицеры представляют здесь господствующий слой; они тоже проживают в меблированных комнатах, и я везде попадаю или в комнату после офицера, или на офицерское соседство. Учитывая ту опасность, которая может тебе угрожать в этом случае, и твой постоянный страх, как бы жена твоя «не удрала с офицером», я, конечно, избегаю такого соседства, как морового поветрия. И все же представь себе, рисунки Thönu¹³ не карикатуры, а прямо фотографии с натуры — их здесь миллион на улицах...

[Берлин] 20.V [18]98

Мой любимый!

Наконец-то после пяти дней ожидания я получила сегодня (!) сразу оба твои письма: от пятницы и понедельника. Первое из-за невнимательности почтальона путешествовало три дня по Берлину. Но сначала о делах.

1. Я еду в Нижнюю Силезию, наверное, только послезавтра...

8. Бебелю я ничего писать не буду, так как это совершенно лишнее. An meinen Taten soll er mich erkennen*.

А ргорос, одна забавная подробность: больной и исстрадавшийся Шмуйллов здесь все время носился за Гуго фон Гофмансталем, подружился с ним и отправляет его к своей жене в Мюнхен. Боюсь, как бы этот забавный муженек вскоре не стал im Bunde der Dritte**...

[Берлин] Вторник [31.V.1898]

...11. Книжки и Бетховена можешь — если хочешь — выслать и во время моего отсутствия. Здесь будет хозяйничать моя кузина...

Кор[олевская] Гута, четверг, 9.VI [18]98

...О личном я могла бы написать столько (представь, какая уйма новых впе-

* Он должен узнать меня по моим делам (нем.).

** В этом союзе третьим лишним (нем.).

чатлений), что не знаю, с чего начать. Но прежде всего — у меня нет ни одной свободной минуты. Самое главное и самое сильное впечатление произвели на меня здешние окрестности: ржаные поля, луга, леса, огромная равнина и польская речь, польские крестьяне в округе. Ты не представляешь себе, какое это для меня счастье. Я будто заново родилась, будто вновь обрела почву под ногами. Не могу наслушаться их речи, надышаться здешним воздухом! Вчера мне пришлось около часа дожидаться обратного поезда в Легницу. Вот уж полазила я там во ржи, вот уж набрала васильков и куколя. Для полного счастья мне необходимо было только одно, вернее, только «один». Я уже решила: на каникулы в Швейцарию не поеду, а ты приедешь сюда (деньги те же), и мы поселимся в какой-нибудь силезской деревне. Я больше чем уверена, что ты здесь оживешь и испытаешь такое же наслаждение, как я, когда увидишь кругом, куда ни кинь взгляд, крупнейшее ржаное поле (колосья уже выше меня!), коров на лугу, которых пасет пятилетний босоногий мальчонка, и наши сосновые леса! И наших крестьян, истощенных, чумазных, но — красивой породы! В Канджине я встретила три семьи, две — польских крестьян и одну еврейскую, уезжающие в Америку! Какая нищета! Меня душили слезы, и все же я была счастлива, что могу смотреть на них. Я ведь сказала, для счастья мне недостает только тебя, но как же это «только» велико...

[Берлин] Пятница [24.VI.1898]

...Бывают случаи, в которых стоит потрудиться, не щадя ни времени, ни сил, даже над мелочами. К примеру, это касается статьи «Шаг за шагом»¹⁴ или полемики против Бернштейна. В таких случаях труд не напрасен: его ощущают в единстве стиля, в завершенности и гармонии формы. Однако работа вроде той, что пришлось вести над статьей «КР»¹⁵ для «Саксонской» (рабочей газеты) или над докторской диссертацией¹⁶, — чистое безумие. По справедливости ее никто не оценит, да, пожалуй, и не заметит. Понятно, я говорю не про опечатки и другие погрешности, исправлять которые необходимо, а о тех мухах, что вырастают в слонов под микроскопом твоего литературного педантизма. Вообще, оглядываясь назад и подсчитывая сумму наших усилий, затраченных в прошлом, а потом сравнивая ее с суммой наших результатов, просто теряешься...

Но довольно об этом — надо работать бодро, радостно и легко, обдумывая все тщательно, однако без проволочек, на уже достигнутое не тратить слов, быстро принимать решения, сразу выполнять их — и дальше, вперед! До сих пор я так поступала, не совершая ошибок; если же на этот раз я так поступить не смогла — вина не моя; я была подготовлена и, получив к тому возможность, полностью решила бы свою задачу...

...Начала вести размеренный образ жизни, взяла в библиотеке книги (Куно Фишер¹⁷ и другие), буду каждый день регулярно читать их. Не забудь мне выслать Gaspey¹⁸ и итальянскую грамматику. Есть ты уже тоже перестал из-за этой корректуры! Это ужасно. Наверное, снова выглядишь, как смерть. Любимый мой, возьми себя снова в руки, ешь много и регулярно, хорошо? Мой единственный, напиши мне об этом!! И гуляй! Ведь тебе там есть где гулять, а я здесь куда пойду?

[Берлин, 3.VII.1898]

Пожалуйста, не забудь послать мне следующие книги: Gaspey и итальянскую грамматику, а также немного беллетристики из библиотеки Мейера и «Универсальной», еще «Мадам Бовари» и Штирнера¹⁹.

[Берлин, между 12 и 20.VII.1898]

...Хочешь знать, как я провожу дни, ну хорошо. Утром часов в восемь я просыпаюсь — и прыг в переднюю, хватаю газеты и письма, потом — юрк под одеяло, чтобы прочесть самое главное. Потом я делаю холодное обтирание (регулярно, каждый день), потом одеваюсь, потом на балконе съедаю хлеб с маслом и выпиваю стакан горячего молока (хлеб и молоко доставляют мне домой), потом одеваюсь для прогулки и иду на часок в Тиргартен (регулярно, каждый день в любую погоду). Потом возвращаюсь домой, переодеваюсь и пишу статейки для

Парвуса²⁰. Обедаю я дома в 12.30, за 60 пфеннигов, у себя в комнате. Обеды великолепны и ничуть не вредят здоровью. После обеда бух на тахту — и спать! Около трех встаю, пью чай и сажусь или писать статьи и письма (в зависимости от того, чем занимаюсь с утра), или читать книги. У меня имеются библиотечные: Елунчля «История государственного права», Канта «Критика чистого разума», Адлера «История социально-политических движений», ну — и «Капитал». Часов в пять-шесть пью какао, снова сажусь за работу либо иду на почту отправлять письма и статьи (что делаю очень охотно). В восемь ужинаю (не пугайся!): три яйца всмятку, хлеб с маслом, сыром или ветчиной и еще стакан горячего молока (литр в день).

Очень люблю работать вечером. Я сделала себе красный абажур для лампы и сижу за письменным столом у открытого балкона: комната в розовом свете выглядит чудесно и свежий воздух из сада проникает через балконную дверь. Часов в двенадцать я завожу будильник, напевая что-нибудь под нос, потом готовлю таз воды для утреннего обтирания, потом раздеваюсь — и бух в постель. Дзедзя доволен? Я тоже...

[Берлин] 10.IX[1898]

Воистину наши планы встретиться этим летом напоминают одну любовную историю из «Гартенлаубе»²¹: мечты и грезы или тихая любовь с препятствиями. Я намеревалась пробыть с тобой даже больше чем месяц, так как рассчитывала, что мы оба будем усердно работать, я вернусь домой по крайней мере с двумя совместно написанными докладами и у меня не будет больше нужды готовиться для выступления — это потребовало бы еще много времени. А тебе не пришлось бы пропускать из-за этого начало семестра²².

Не забывая себе голову тем, что Цюрих мне не нравится; мы будем все время вместе, что мне до Цюриха? Меня так радует, что каждый день с тобой рядом я буду отправляться на прогулку к цюрихской горе. Напиши тотчас же и сообщи наконец твое окончательное решение...

[Берлин] Понедельник [28.XI.1898]

...Почему ты не высылаешь Бетховена?!

[Берлин] Четверг, вечер [1.XII.1898]

...Жду Бетховена, чтобы чувствовать себя по-домашнему.

[Берлин] 3.XII [1898]

...Вчера была у Меринга и вернулась домой с грустным убеждением, что мне ничего другого не остается как сесть и написать ein grosses Werk*. Так же как Каутский²³, Меринг меня сразу же спросил: «Arbeiten Sie an einem grosseren Werk?»** Причем спросил так серьезно, что я ощутила необходимость daran arbeiten***. Ничего не поделаешь, наверное, у меня вид человека, который обязан написать ein grosses Werk. Мне не остается ничего иного как оправдать всеобщее ожидание. Не знаешь ли ты, о чем я напишу это великое творение?

Дорогой мой, может быть, ты освободишь меня от подробного отчета о моих визитах к Бебелю и Каутскому, а я тебе зато обстоятельно расскажу о моем разговоре с Мерингом, который куда интересней. Во-первых, Меринг заявил несколько раз, что я очень хорошо редактировала «Зексише арбайтерцайтунг», значительно лучше Парвуса, «man sah, dass das Blatt wirklich redigiert war»****, и что «Зексише арбайтерцайтунг» лучше всего редактировалась в период моей работы в газете. То же самое он сказал Каутскому.

Во-вторых, и он и она (а кажется, и другие старики) воспринимают Ледебур²⁴ только как временный перерыв в моей редакционной работе и совершенно уверены в том, что я вернусь в Дрезден и тогда смогу eine Diktatur ausüben*****. Они говорят об этом с такой забавной уверенностью, что я была даже удивлена.

* Великий труд (нем.).

** Работаете ли вы над более значительным произведением? (нем.).

*** Над ним работать (нем.).

**** Видно, что газета действительно редактировалась (нем.).

***** Осуществлять диктатуру (нем.).

В-третьих, он сказал мне, когда речь зашла о Бернштейне: «Sie haben ihn gut verhanen in der «Leipziger Volkszeitung», es hat mir viel Freude gemacht»*.

[Берлин] 7.XII [1898], вечер

...Шенланк²⁵ посоветовал мне непременно подписаться на какую-нибудь крупную буржуазную газету, лучше всего на «Танте Восс»²⁶, что я немедленно сегодня же и сделаю. Он хочет меня познакомить со множеством народа, в том числе с Хартлебенем²⁷ (новеллистом) и с Харденом²⁸, причем уговаривает, чтобы у Хардена я обязательно писала, в чем я сразу же отказала ему...
...Насчет Бетховена еще нет ответа.

[Берлин]. Понедельник, вечер [12.XII.1898]

...О Бетховене мне все еще ничего не сообщили!..

[Берлин] 15.XII 1898

Дорогой мой, сообщи мне немедленно важнейшие данные о Степняке²⁹ и его творчестве, просил меня об этом Шенланк для библиотекаря рейхстага. а я ничего не знаю. Пока сообщила, что это Кравчинский и что он совершил покушение на Мезенцова. Правда ли это?..

[Берлин] 21.XII [1898]

...Как раз нынче поутру — точно гром с ясного неба — заказ от «Лейпцигер фольксцайтунг» непременно до завтра отослать статью о Мицкевиче, потому что все остальные органы, включая «Нойе цайт», свои выступления о Мицкевиче уже подготовили. Само собой, такого рода просьбу я не могла отвергнуть, пришлось тотчас садиться и писать. К счастью, под рукой была история польской литературы Спасовича. Но в то же время потребовалась статья «Экономическому обозрению», для которой нет материала! Так что в эти дни не вздохнуть!..

К рождеству напишу тебе подробней, теперь же надо быстрее возвращаться к Мицкевичу, ведь у меня еще ни малейшего представления, чем должна буду заполнить бумагу...

[Берлин] 22.XII.1898 **

...Заодно посылаю тебе рождественский подарок — Штрауса³⁰. С этой книгой я, кажется, села в лужу. Судя по названию, более подходящего подарка к рождеству Христову трудно и пожелать, но когда я заглянула в нее, оказалось, что книга до ужаса, сугубо теологическая. Тебе, наверное, будет скучно читать! Я соблазнилась, думая, что книга старого издания: она была выставлена как antiquarisch ***. Но, полистав предисловие Целлера, я сразу заподозрила, что она и в историческом смысле немногого стоит. У Штрауса, как я заметила, со времени первого издания книги взгляды изменились. Я опасаюсь, не получилось ли так, как часто бывает, что Штраус стал отступником и переименовал все, что написал раньше. А так как эпохальным было его первое издание (1842), то, возможно, это издание ровным счетом ничего не стоит. Но что поделаешь — раз я задумала купить книгу, отступать не хотелось.

Может быть, у тебя хватит мужества одолеть эту премудрость (по крайней мере первую, историческую часть). Тогда напиши мне, о чем там речь. Меня, во всяком случае, привлекли автор и название, а еще я думала, что это доставит тебе удовольствие. Так что ешь «на здоровье»!

Я пишу тебе, на минуточку прервав бумагомаранье: корплю над статьей о Мицкевиче, которую я должна отослать сегодня же³¹. Шенланк хочет (возможно, из-за конкуренции с «Нойе цайт») поместить эту статью непременно mit voller Unterschrift ****, так что я стараюсь не ударить лицом в грязь. А это трудно из-за недостатка времени...

* Вы крепко всыпали ему в «Лейпцигер фольксцайтунг», мне это доставило большое удовольствие» (нем.).

** Дата написана рукой неизвестного.

*** Антикварная (нем.).

**** За полной подписью (нем.).

[Берлин] Понедельник [26.XII.1898]

...В субботу (24) утром получила твое длинное письмо, вечером — телеграмму, вчера воскресенье твой подарок и открытку, а в ней — критику моего подарка. Сердечно благодарю тебя за Мольера, хотя в моем образовании — признаю это с полным смирением, — кроме незнания французской классической комедии, есть и другие громадные пробелы и хотя я уверена, что этот запоздалый подарок (для меня он почти легенда) — прямое следствие «Жизни Иисуса». И пусть этот факт противоречит хронологической последовательности истории литературы. Я прекрасно знала заранее, что ты будешь смеяться над моим Штраусом, потому что отлично знаю тебя. Я надеялась получить вместе с Мольером большое письмо, но пришлось только облизнуться: мне о тебе совершенно ничего не известно. Правда, я тоже пишу нерегулярно и недостаточно, но зато уж о себе все, в подробностях. А твои письма — всегда только ответы на деловые вопросы.

...Лишь в четверг мне принесли свежие субботние тетрадки, но в четверг я была занята Мицкевичем, так что только в пятницу, в последний день, нашла в библиотеке материал, да и то далеко не блестящий. Мне пришлось работать до самого поезда. К несчастью, я совершенно зря трудилась и спешила: в субботнем номере, как сообщил мне сегодня Лед[ебур], моя Rundschau* не была напечатана из-за идиотов служащих, занимающихся почтой. Они оставили в почтовом ящике рукопись и вынули ее лишь в половине первого, когда было уже поздно (печатать начинают в час)... Напишу сегодня Ледебуру, не может ли он поместить в завтрашнем номере эту Rundschau, чтобы не зачерствела, а в субботний пойдет свежая.

...Почему я пишу о Мицкевиче? Не потому, как ты полагаешь, что Шенланк размахивает руками, а потому, что это польская тематика (важная и для немцев: вся пресса поместила большие статьи: «Нойе цайт», венская «Арбайтерцайтунг» — статью Дашинского³², даже в буржуазной прессе были большие статьи!), и я обязана была ее коснуться. Я старалась — насколько это было возможно, не нарушая эстетической достоверности, — чтобы он лил воду на нашу мельницу; старалась показать его в связи с историей национализма, а не с точки зрения его философских воззрений в период помрачения духа, как это сделал М. Беер³³. Я очень хорошо знаю, что это не то, чего от меня ждут и для чего я приехала в Берлин, но я вовсе не ободряюсь этими вещами, как другие. Совершенно ясно, что это лишь Gelegenheitsarbeiten**, а то, что важно теоретически, будет написано о Бернштейне.

[Берлин] 30.XII[1898]

Как меня обрадовало, что ты похвалил моего Мицкевича! Чрезвычайный случай! Я просила Шенланка строго отредактировать мой язык и мой стиль, а он ответил, что «entzückt und stolz auf die Stilistin Rosa»***. Но ты всегда найдешь у меня десяток ошибок. Не забывай, однако, что я написала сразу же набело, в один день, и едва успела просмотреть написанное!

Признаюсь, в последнее время я пишу вообще все (обзоры, статьи об Америке) сразу же набело и больше не переписываю! Это прогресс, не правда ли?..

Бетховена мне наконец возвратили, не заплатив ни гроша компенсации. Отдала вставить стекло, портрет уже висит...

Берлин, 2.I[18]99

...В предпоследнем номере «Кладдерадач», как мне сообщил Шенланк, была помещена карикатура, где я и Либкнехт изображены изгнанниками на Teufelsinsel****, я ему там готовлю суп. (Это сатира на идиотскую передовую в «Форвертсе» две недели назад, где он высказался за ссылку анархистов.) Кули этот номер, потому что я не выхожу из дому.

...Если бы я могла выйти, я бы пошла в российскую читальню и просмотрела бы в каком-нибудь журнале за год «Внутренние обозрения», чтобы знать, что

* Статья-обозрение (нем.).

** Случайные работы (нем.).

*** Восхищен и горд стилисткой Розой (нем.).

**** Чертовом острове (нем.).

важного произошло в России за 1898 год. Но я не могу выйти, а по памяти боюсь писать, вдруг упущу что-нибудь важное по незнанию или забывчивости.

[Берлин] Воскресенье, ночью [19.II.1899]

...Шенланк пригласил меня вечером на оперу (давали «Тристана и Изольду»), на что я с удовольствием согласилась, надеясь, что мне это даст немного передохнуть. Шенланк принес билеты в первый ряд партера! Ничего не говоря, приняла с благодарностью (я была в голубом парижском платье и белых перчатках). А после спектакля спокойно возвратила ему 10 марок за билет. Он, конечно, пытался протестовать, но должен был взять деньги. Трата меня не очень обрадовала, так как я должна сейчас считать каждый грош. Но иначе поступить было нельзя. Мне хотелось показать ему, что я ни от кого ничего не принимаю. А прогос, конечно, нас видел один Genosse* из рейхстага, и безусловно уже вся «партия» или, по крайней мере, Vorstand с Katzbachstr[asse]** будут иметь на неделю тему для разговоров — дескать, Шенланк и фр. Люксембург сидели, разряженные «в пух и прах» в первом ряду кресел.

[Берлин] 6.III[1899]

Мой дорогой, любимый Дзедзя! Целую тебя тысячу раз за милейшее письмо и за подарок, который еще не получила. Что произошло в этом году? Дары на меня сыплются как из рога изобилия. Представь себе, что от Шенланков я получила 14-томного Гёте в роскошном переплете! Вместе с твоими книгами это составит целую библиотеку, и моей хозяйке придется дать мне новую полку, кроме тех двух, что у меня есть! Я очень обрадована твоим выбором, впрочем, ты и сам об этом догадываешься. Ведь Родбертус³⁴ мой самый любимый писатель-экономист, которого я могу читать 100 раз подряд, получая интеллектуальное удовольствие. Ну а «Handwörterbuch»³⁵ превосходит самые безудержные мои мечты! У меня такое чувство, будто я не книгу получила, а обрела какую-то вотчину, имение с угодьями. Знаешь, когда мы объединим все книги, у нас получится очень хорошая библиотека, а когда мы устроимся по-человечески, придется покупать книжный шкаф с полками под стеклом...

[Берлин, 20.IV.1899]

...Шенланк, баран, снял у меня в самый последний момент с обложки «Gegen Bernstein und Genosse»*** по «техническим» соображениям, чтобы на обложке не было много линий. Можешь вообразить, как это меня возмутило, но я уже ничего не могла сделать, было поздно. Кроме того, я должна была по просьбе Шенланка опустить «авторские» вставки к его предисловию насчет того, что брошюра имеет неизбежные недостатки газетной работы и т. д. Он считает брошюру таким идеалом, что боится каким-либо словом умалить ее ценность. Я должна была ему в этом уступить, принимая во внимание огромный труд, который он проделал, читая по два раза каждую корректуру, чтобы не было типографских ошибок, из-за которых я всегда устраивала ему sof noir****.

Предисловие мне очень понравилось, хотя, по всей вероятности, оно вызовет viel böses Blut***** как «демагогия» etc. Предупреждаю тебя, что последний абзац, которым я заканчиваю, — «Die Menge tut es»***** — взят из известного стихотворения Гейне того же названия. Последняя строфа у Гейне звучит так:

Но берегитесь, беда грозит,
Еще не лопнуло, но трещит!
Ведь Бранденбургские ворота у вас
Грандиозностью славятся и сейчас.
И в эти ворота, дождетесь вы чести,
Всех вас вышвырнут с прусским величеством вместе.

«Все зависит от массы». Этими словами заканчивается каждая строфа.

* Товарищ (нем.).

** Президиум с Катцбахштр [ассе] (нем., ирон.).

*** «Против Бернштейна и товарищей» (то есть бернштейнианцев) (нем.).

**** Шутливое сочетание из древнееврейского слова sof (жизнь, судьба) и французского noir (черный).

***** Большое озлобление; буквально — много злой крови (нем.).

***** Народ сделает это (нем.).

...Знаешь, что я сделаю сегодня вечером? Пойду на «Севильского цирюльника». Представь, здесь выступает Фострем³⁶. Попробую, может быть, музыка освежит меня, а то я еле-еле плетусь.

Берлин, 22.IV.1899 [открытка]

...Была на Фострем — изумительно!

Берлин, 23.IV.1899

...Прочитала брошюру³⁷ целиком, по-моему, она производит довольно сильное впечатление. Что касается стихотворения Гейне, ты снова ошибаешься — это одно из наиболее популярных политических стихотворений...

Берлин, 3. V. 1899

...Вчера была в театре на «Свадьбе Фигаро»! Вот кучу, а? Если бы ты знал, как живоотно это на меня подействовало. Чувствую себя словно после купания в озере и пою сегодня целый день...

[Берлин] Пятница [5.V.1899]

...3-го я неожиданно получила подарок. Шенланк прислал мне из Вроцлава — смотри его речь и майскую резолюцию в «Л[ейпцигер] ф[ольксдайтунг]» и в «З[ексише] а[рбайтерцайтунг]» — 4 тома «Дон Кихота» в прекрасном переплете. В моей библиотеке уже куча книг. А когда «доползет» второй том словаря? Писала ли я тебе, что была на «Свадьбе Фигаро»?..

Сейчас здесь выступает Превости³⁸, но нет денег.

[Берлин—Фриденау, около 13.I.1900]

...Вообще ты совсем не замечаешь, что все твои письма постоянно несут характер недовольства: единственное их содержание — это нудное, педантичное менторство, такие «письма учителя к любимому ученику». Я понимаю, тебе хочется делать мне критические замечания, я понимаю их полезность вообще и необходимость в отдельных случаях. Но, прости ради бога, у тебя это уже просто перешло в болезнь, в дурную привычку! Я не могу тебе сообщить ни одной вещи, мысли, факта, чтобы не получить в ответ нуднейшее, безвкуснейшее назидание. Ей-богу, это становится скучным! Тем более что это односторонние, ибо что касается тебя, то, во-первых, ты не предлагаешь мне материал для критики и поучений, да и у меня не возникает нелепого желания тебя поучать; когда же я тебе делаю какие-нибудь замечания, ты их просто не слушаешь.

...Твои теперешние советы и критика моей здешней «деятельности» опять выходят за рамки советов и указаний близкого друга, снова превращаются в сплошное менторство. Мне остается, ей-богу, лишь пожимать плечами и избегать в следующем письме писать обо всем, что не вызвано острой необходимостью, дабы не вызывать неприятных наставлений и назиданий. И кроме того, какую ценность могут иметь в моих глазах твои нотации, если они у тебя постоянно зависят от настроения. Скромный примерчик: на прошлой неделе я пожаловалась тебе, что помимо и даже против моей воли я попала в сети дружеских отношений с К[аутскими]. Ты написал мне, что тебя очень радует эта дружба: ради меня. И тут же в последнем письме по поводу вечеринки у К[аутских], которую я тебе описала не для «критического разбора», ты широко и обильно распространяешься на тему о вредности и ненужности входить в дружбу с К[аутскими]. Как увязать одно с другим? Попросту в первом случае ты был в хорошем настроении, а во втором — в плохом и все перекрасил в черный цвет, решил спасти меня, чтобы я не «сошла на нет». Еще одно замечание: мне вообще импонируют только те советы и правила, которые советчик применяет к себе. Так вот, когда ты делаешь мне замечания, будь добр, добавляй всегда информацию о том, как у тебя обстоят дела в этом отношении...

[Берлин—Фриденау] Понедельник [2.VII.1900]

...В субботу Каутский спутал мои планы, так что я отложила письмо на воскресенье, а весь воскресный день у меня отняли Лопек [Бейнц] и «Янек» Мушиянский³⁹, один из старых профсоюзных деятелей, который приехал на несколько дней в Берлин и просил меня вместе с ним осмотреть Потсдам. Любо-

пытные типы эти профсоюзники! Один лучше другого. Этот милостивый франтик, занимающийся в настоящее время историей искусства, ездит для осмотра галерей. Мы все время говорили с ним о картинах, о выставках, но ни слова о революции. Против этого я совершенно ничего не имею, так как страшно не люблю революционных дискуссий, особенно с революционерами в отставке, да еще в воскресенье...

[Берлин—Фриденау] 17.VII.1900

Прежде всего — самые сердечные мои поздравления! Я все время надеялась, что завтрашний день мы проведем вместе, но теперь должна удовольствоваться письмом. Ты весь день просидишь один над докладом и едва успеешь оглянуться вокруг, как день уже пройдет. А между тем я пришла к заключению, что все праздники надо проводить празднично, как делают люди повсюду на целом свете, потому что это единственные приятные минуты в монотонной работе и только в эти короткие мгновенья вообще замечаешь, что означает — жить!

У нас обоих ни разу еще не нашлось «времени» вместе отпраздновать наши праздничные дни. (Плут этаким, ты уже улыбаешься иронически и замечаешь, что речь идет, собственно, лишь о твоём дне рождения, но это неверно, ведь мы вместе еще никогда не отмечали никакие праздники так, как принято.) Вот увидишь: это твой последний день рождения «в старом стиле». Отныне мы начнем жить по «новому стилю», то есть как все остальные люди. Нет, мы будем жить лучше, чем «остальные», я чувствую, что у нас за душой богатство, которого недостает очень многим.

Я мечтаю, например, что свободные часы мы посвятим изучению искусства, которое в последнее время меня приковывает к себе. Это было бы замечательно, не правда ли? Вот так вдвоем после серьезной работы читать историю искусства, посещать галереи, бывать в опере!..

[Берлин—Фриденау] Воскресенье вечером [22.XII.1901]

...2-й номер «Зари» вышел; если тебя интересует, то пошлю тебе, напиши, если хочешь. Там много интересного...

[Берлин — Фриденау] Суббота, 4.I [1902]

...Еще один из российских курьезов, который страшно меня позабавил. **Ученый комитет** в Петербурге направил в **Академию наук** предложение, чтобы за п р е т и л и писать по-русски без твердых знаков, причем комитет руководствовался двумя мотивами: «1) опускание твердых знаков представляет потрясение старых основ русского правописания, 2) оно не дает возможности... отличать грамотного человека от неграмотного». Это ли не божественно?

[Берлин—Фриденау] 6.I.1902

...В этом месте я должна была прервать письмо на несколько часов, так как пришел Меринг, чтобы пойти вместе со мной посмотреть две картины Цунделя⁴⁰, которые временно находятся в Берлине. Потом Меринг вернулся со мной и просидел у меня снова около полутора часов. Мы очень мило побеседовали. Все время он с восхищением поглядывал на портрет своей жены, который висит над письменным столом. Меринг предложил мне написать биографию Маркса для французского издания произведений Маркса. Написать ее Мерингу предложил Лафарг. Меринг отказался, но не желая, чтобы Лафарг обратился к Каутскому, хотел направить его ко мне. Я ответила, что в данном случае мне пришлось бы ограничиться компиляцией из других работ, а заниматься компиляцией у меня нет ни малейшего желания. На это Меринг, смеясь, ответил, что прекрасно меня понимает, так как отказался по той же причине.

...Здесь дома все в порядке, только вокруг постоянно столько музыки, что в голове у меня все время звенит. Вот и в этом письме я едва понимаю, что пишу, — меня уже несколько часов подряд убаюкивают Шопеном.

[Берлин—Фриденау] 9.I.1902

Посылаю тебе «Зарю». Хоть она меня очень интересует, но я постараюсь достать другой экз. для себя. Читай ее, она тебя духовно освежит.

[Берлин—Фриденау] Вторник вечером 14.I.1902

А прогос, что касается «Зари», то псевдонимы следующие: Т.Х 1 Ленин — это Ульянов; Мартов и Ignotus — это Цедербаум; «Ст».— это Старовер, или Потресов; Невзоров — это Нахамкес, а Ортодокс — это угадай?.. Люба Аксельрод!!! ...

Берлин — Фриденау, 17.I.1902

...Чтение «Зари» действует на меня очень возбуждающе и вызывает во мне массу разных мыслей относительно нашей работы, наших задач, планов на ближайшее будущее...

Берлин—Фриденау, 21.I.1902

...«Искру» посылаю тебе сразу по получении. Не понимаю, почему ты жалуешься, что она устарела. Ты знаешь, наверно, что она выходит теперь каждые 2 недели...

[Берлин—Фриденау] 24.II.1902

...Сегодня вечером иду на концерт известного скрипача Губермана (польский еврей из Замостья, ему 19, и он дает концерты с 9 лет). Билет мне достал брат, который с Губерманом на «ты», так как отец последнего был репетитором брата, когда он учился в гимназии. Одновременно достала билет и для жены Меринга, что ее страшно обрадовало. Меня также, так как могла оказать ей услугу. Жаль только сегодняшнего вечера...

[Берлин—Фриденау] 27.II.1902

...Сегодня перед обедом я, нарядившись, пошла к Францу, чтобы поблагодарить его. Я отнесла ему большую чудесную азалию, всю в цветах (за талер). Меринги были очень обрадованы, а она до сих пор благодарит за билет на концерт Губермана. Действительно было так чудесно, что я все еще нахожусь под впечатлением его божественной игры. Знаешь, Иоахим⁴¹ вместе с Сарасате⁴² этому юноше достойны разве что сапоги чистить, и для всего мира это уже признанный факт. Каждый раз во время приездов в Берлин мы будем ходить вместе на все его концерты, *das steht schon fest**...

[Берлин—Фриденау] 5.III.1902

...От Мерингов получила сегодня «Lessing Legende»** и прелестный горшочек с цветущей розой. От Муни⁴³ — четыре больших горшочка с гиацинтами, от Муллау — три с фиалками (они были заказаны по почте у садовника в Фриденау). Завтра еду в Познань...

[Берлин—Фриденау] 11.III.1902

...О моей статье в «Нойе цайт» Меринг говорит, что так писал только один человек — К. Маркс...

...Сегодня была у Мерингов (на дне рождения жены), подарила ей три горшочка гиацинтов (не помню, писала ли тебе, что они мне подарили ко дню рождения прелестный горшочек с розами и «Легенду о Лессинге» с надписью: «*Seinem treuen und tapferen Kameraden — der Verfasser*»***.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Горная вершина в Швейцарских Альпах.

² Любеж Олимпия, жена немецкого социал-демократа Карла Любека.

³ Речь идет о семье одного из основателей социал-демократии Польши, Варского-Варшавского, — Адольфе и его жене Ядвиге.

⁴ Варшавский Мауриций, брат Адольфа, в начале 90-х годов слесарь.

⁵ Вокзал в Париже, откуда отправлялись поезда в Швейцарию.

⁶ «Роботник» (1896—1906) — нелегальный орган ППС.

⁷ «Справа роботника» — орган СДКП, печатался в Париже с 1893 года. Роза Люксембург была его редактором.

⁸ Войнаровская Цезарина Ванда (1858—1911), представитель СДКПил во II Интернационале.

⁹ Под псевдонимом Н. Бельтов Г. В. Плеханов, полемизируя с народниками, выпустил книгу «К вопросу о развитии моиметического взгляда на историю» (С.-Петербург. 1895).

* Это решено уже твердо (нем.).

** «Легенду о Лессинге» (нем.).

*** Моему верному и отважному товарищу — автор (нем.).

¹⁰ Имеется в виду «История германской социал-демократии» (Штутгарт. 1897—1898) Франца Меринга (1846—1919), виднейшего публициста и теоретика партии, деятеля ее революционного крыла, вскоре соратника и друга Розы Люксембург; дальше в письмах упоминается и жена Меринга Ева.

¹¹ Вероятно, речь идет о труде Сиднея Вебба (1859—1947) «Социализм в Англии» — о польском переводе этой книги (Львов. 1891) или немецком (Геттинген. 1898).

¹² Дочь Адольфа и Ядвиги Варских.

¹³ Тени Эдуард (1866—1950) — немецкий художник-карикатурист.

¹⁴ «Шаг за шагом. К истории буржуазных классов в Польше». «Нойе цайт», т. 1, 1897/98.

¹⁵ КР — криптоним Розы Люксембург.

¹⁶ «Промышленное развитие Польши» (1897) — докторская диссертация, защищенная Розой Люксембург в Цюрихском университете.

¹⁷ Фишер Куно (1824—1907) — немецкий философ-гегельянец, автор десятитомной «Истории новой философии» и других трудов.

¹⁸ Гэски Томас — автор многократно переиздававшегося учебника английской грамматики.

¹⁹ Штирнер Макс (псевдоним Каспара Шмидта, 1806—1858) — немецкий философ-анархист, сторонник крайнего индивидуализма.

²⁰ Парвус (псевдоним Александра Лазаревича Гельфанда, 1867—1924) — в конце XIX и начале XX века участник социал-демократического движения России и Германии, публицист и редактор партийной прессы. Во время первой мировой войны агент германского империализма, занимавшийся крупными спекуляциями.

²¹ Немецкий журнал, поставлявший чтиво на мещанский вкус.

²² В этот период Л. Тышка учился в Цюрихском университете.

²³ Каутский Карл (1854—1938) — многолетний редактор центрального теоретического органа немецкой социал-демократии «Нойе цайт». В эти годы еще ортодоксальный марксист. Роза Люксембург порвала с К. Каутским, когда он перешел на центристские позиции, но сохранила отношения с его женой Луизой (1864—1944).

²⁴ Ледебур Георг (1850—1947) — социал-демократ, член рейхстага с 1900 по 1918 год, в ту пору редактор «Зейтунге арбайтерцайтунг».

²⁵ Шенланк Бруно (1859—1901) — в эти годы редактор левой социал-демократической «Лейпцигер фольксцайтунг».

²⁶ Буквально — «тетка Восс»; либерально-буржуазная «Фоссише цайтунг», выходившая с 1704 года. В 1824—1934 годах издавалась в Верлине ежедневно.

²⁷ Хартлебен Отто Эрих (1864—1905) — прогрессивный немецкий писатель, поэт и драматург.

²⁸ Харден Максимилиан (1861—1927) — публицист и литературный критик, редактор еженедельника «Ди цукунфт». Журнал освещал проблемы политики и культуры, в первую очередь литературы, искусства, театра.

²⁹ Кравчинский Сергей Михайлович (псевдоним — Степняк, 1851—1895) — автор «Подпольной России», публицист, народник.

³⁰ Штраус Давид Фридрих (1808—1874) — философ и теолог, автор знаменитой «Жизни Иисуса».

³¹ Статья была опубликована в «Лейпцигер фольксцайтунг» к столетию со дня рождения Мицкевича. Юбилей вызвал множество откликов в европейской печати.

³² Дащинский Игнатий (1866—1936) — один из основателей и руководителей Польской социалистической партии, депутат сейма буржуазной Польши.

³³ Веер Макс (1864—1937) — историк социализма. Уроженец Галиции, эмигрировавший в Германию. В начале 90-х годов был редактором «Фольксштимме». Автор статьи о Мицкевиче, опубликованной к столетию поэта в «Нойе цайт».

³⁴ Родбертус Карл Иоганн (1805—1875) — немецкий экономист и политик.

³⁵ Речь идет о многотомной энциклопедии политических наук «Handwörterbuch der Staatswissenschaften».

³⁶ Фострем-Роде Альма (1856—1936) — оперная певица.

³⁷ «Социальная реформа или революция?»

³⁸ Превост Францестина (1867—?) — итальянская певица.

³⁹ Мушинский Ян — член Союза польских рабочих.

⁴⁰ Цундель Георг Фридрих (1875—1948) — художник, член социал-демократической партии.

⁴¹ Иохим Йозеф (1831—1907) — венгерский скрипач, композитор, дирижер, педагог.

⁴² Сарасате Пабло (1844—1908) — испанский скрипач и композитор.

⁴³ Максимилиан, брат Розы Люксембург. Подарки получены ею к дню рождения.

Подготовил к печати М. КОРАЛЛОВ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЮРИЙ КУЗЬМЕНКО



В КОНЦЕ ВЕКА

Советская литература: годы восьмидесятые — девяностые

Истраиваясь на волну футурологии, решусь предугадать, что читатель откроет эту статью со смешанным чувством любопытства и недоверия. В самом деле — кому не интересно узнать, что день грядущий нам готовит? Но где он, тот волшебный кристалл, в котором различимы очертания будущего? И не пустые ли это хлопоты — предсказывать пути развития столь прихотливой, зыбкой, сложной, специфической сферы, какой является художественная культура?

Оснований для скептицизма хватает. Любителям поэзии, например, известен эксперимент, связанный с «Днем поэзии 1969». Видные наши поэты и критики охотно откликнулись на просьбу его составителей поразмышлять вслух о том, какой представляется им советская поэзия 70-х годов. Прогнозы эти не забылись. И теперь, десять лет спустя, Ал. Михайлов, некоторые другие авторы сборника смущенно разводят руками: удачные попадания редки, большинство тогдашних прогнозов не подтверждено реальным развитием литературы.

С тем же любопытством и вниманием вглядываемся мы сейчас в годы 80-е. А там, за ними, открывается рубеж последнего десятилетия XX века. Что ожидает нас и наших детей на этом чистом, еще не заполненном ничем пространстве истории советской литературы? Какие высоты окажутся под силу нынешним молодым, подающим надежды писателям? Какие имена перейдут из безвестных школьных журналов успеваемости на обложки книг, заставив говорить о себе в нашей стране и за ее пределами? Какие художественные открытия наложат свою печать на облик литературы годов 80-х и 90-х, кануна XXI столетия?

Плотна завеса времени, закрывающая завтрашний день литературы. Многие, что относится к конкретным художественным явлениям, принципиально не предсказуемо — иначе литература не была бы литературой, движимой выходящими за рамки канонов талантами и гениями. И все же то здесь, то там брезжит свет, позволяя заглядывать за порог грядущего. Подходят к этой черте, переливаясь через нее, сегодняшние литературные течения и тенденции...

Рискованна тема, сложна задача. Тем не менее приглашаю читателей в необычное путешествие по страницам ненаписанного. Условимся лишь, что нельзя очертя голову сразу пускаться в прогнозирование будущего. Вначале стоит подумать о принципах этого прогнозирования, поискать возможные точки опоры.

1

До сих пор мне встречались три типа прогнозов в области литературы. Назову их эссеистским, историческим и социологическим.

Для писателей и критиков наиболее характерен первый из этих типов — эссеистский. Заключается он в том, что пишущий или говорящий высказывает свои предположения, не слишком заботясь об их аргументации. Иногда, правда, выстраивается целая концепция, но она опять-таки опирается главным образом на то, что автору этой концепции так кажется. Чаще всего такие прогнозы делаются с большим взглядом вперед, лет этак на сто или двести. Наши поэты постулили опрометчиво, предсказывая развитие поэзии на ближайшее десятилетие. Если бы речь шла, предположим, о 2070 году, контроль за верностью прогнозирования оказался бы куда более проблематичным.

Типичным примером эссеистского прогноза может служить книга В. Турбина «Товарищ время и товарищ искусство», выпущенная в 1961 году издательством «Искусство». Смелая по замыслу, талантливо написанная, эта книга тем не менее сейчас основательно забыта. Напомню по этому главные ее положения. «Я хочу наметить прогноз развития искусств,— заявил В. Турбин.— Начать вычисления нового орбита орбиты художественной мысли — всегдашнего спутника рода человеческого». В самом сжатом виде этот не просто прогноз, а прямо-таки «приказ по армии искусств» выглядел так:

«— Перестроить творческий вымысел. Демонтировать его. Не вечно же нам трепетно внимать речам и подвигам литературных героев! Разумнее посмотреть, силой какой власти поэты научились создавать их...

— Не втяскивать в уста токаря или доярки хрустальные ямбы, а просто показать рабочему и крестьянину, как рождается и облекается в слово мысль. Приобщать их к секретам языкотворчества. Стать импровизаторами!

— Время! Лирика сорок веков предсказывала его относительность, и физика подтвердила ее правоту. Будем совершенствоваться. Будем, состязаясь с физикой, показывать само движение мысли человека, постигающей относительность времени...

— Стоя на пороге новых времен, попытаемся охватить взглядом всю прошедшую историю рода человеческого! Писать исторические романы — дело, несомненно, почетное. Но что, если связать воедино Петербург XIX столетия и... Древний Египет? Современную Америку и Вавилон? Октябрь 1917 года и античность?..

— Пространство! Живопись издавна демонстрировала превращение трехмерного пространства в двухмерное. Она свободно маневрировала с пространством. И теперь не довольно ли раскрашенных фотографий? Не пора ли кисти живописца рассказать людям о тайнах постижения ими диалектики пространства?..

— Все порознь — за совершенное познание времени, пространства, движения. Все вместе — за союз искусства с наукой, с физикой и математикой. За содружество форм и формул. За совершенство в исследовании хода человеческой мысли, ее методов, ее исканий...»

Факт известный: дает себя знать, а еще

больше — грядет научно-техническая революция. Надо думать о том, какие последствия вызывает век НТР в сфере художественной культуры. Но почему искусство должно вести себя таким самоубийственным образом — «демонтировать» свою специфику, фактически отдать свои формы на милость формул? Вопрос излишний для эссеистского метода. Мы знаем уже, что основа его одна: автору так кажется.

Через всю книгу В. Турбина проходит отчетливо выраженная неприязнь критика к традиционному, органичному для реализма психологическому анализу. В духе некоторых теоретиков 20-х годов он всячески третировал этот психологический анализ, уверял читателей в его устарелости и обреченности. «Я убежден,— писал В. Турбин,— что на наших глазах в область предрассудков отойдут бывшие некогда чрезвычайно полезными теории, предусматривающие «психологизм» неприменимым условием художественности». И вообще, по его мнению, «время наше нуждается в общих планах. Оно ждет синтеза».

Обратим внимание: «на наших глазах...», «время наше...». Следовательно, в данном случае речь идет не о неведомых веках, когда наши потомки будут наслаждаться демонстрацией языкотворчества и созерцать обнаженные каркасы художественных конструкций. Речь идет о нашем времени. И поскольку после выхода книги В. Турбина прошло уже почти два десятилетия, резонно спросить: оправдываются ли хоть в какой-то мере его филиппики во здравие синтеза и за упокой психологизма?

Увы, увы — совсем наоборот. Ирония состоит в том, что труд В. Турбина появился на свет в самом начале нового большого этапа развития литературы и искусства, связанного с вступлением страны в период зрелого социалистического общества. А на этом этапе в силу ряда причин, о которых у нас еще пойдет речь, произошло определенное ослабление синтезирующего эпического мышления, компенсированное интенсивным развитием аналитического и лирического начал. Для этого этапа оказалось характерным углубление психологического анализа, использование самых многообразных средств проникновения в микромир человеческой личности.

Разумеется, эссеистские прогнозы неизбежно приводят к подобным результатам. Какая-то часть из них оказывается в дальнейшем близкой к истине. Но все это

напоминает известную игру в спортлото, где неведомо как некоторым счастливым удаётся угадывать три-четыре цифры.

Как уже сказано, второй встречающийся метод прогнозирования — метод исторический. Здесь мы вступаем на почву науки. Ученый рассматривает тенденции развития того или иного вида искусства на протяжении длительного времени и старается предугадать, какое продолжение получат эти тенденции в будущем. Ярким примером такого рода прогнозирования служит работа академика Д. С. Лихачева «Прогрессивные линии развития в истории русской литературы», опубликованная несколько лет назад в журнале «Новый мир», а затем вошедшая в сборник «О прогрессе в литературе» (Л. «Наука». 1977). Оговариваясь, что таких прогрессивных линий в истории русской литературы значительно больше и что все они представляют собой тесно связанный комплекс, Д. С. Лихачев останавливается на следующих восьми моментах.

1. Постепенное снижение прямолинейной условности. В ходе тысячелетнего развития русской литературы шаг за шагом исчезают символы, аллегории, понятные лишь посвященным, уменьшается роль различного рода «матриц», канонов, литература во всех отношениях как бы сливается с действительностью, сохраняя с ней, однако, необходимую «разность потенциалов».

2. Возрастание организованности. Меняются пропорции организованного и стихийного, рационального и иррационального начал. Внешняя организованность литературы диктуемая канонами, сменяется организованностью внутренней, более высокой. Литература осознает сама себя, порождая нового спутника — критику.

3. Возрастание личностного начала. Из века в век растет роль творческой личности, создающей произведения литературы. И нельзя сказать, что мы дошли до предела в возрастании личностного начала, потому что движение литературы заключается в открытии на этом пути новых и новых возможностей.

4. Увеличение «сектора свободы». Другой гранью того же процесса является увеличение степеней свободы литературы вместе с возрастанием числа жанров, стилей, форм, с преодолением различного рода норм и правил. Свобода, однако, остается диалектически связанной с необ-

ходимостью, социальная детерминированность литературы не исчезает, становясь лишь более сложной и опосредованной.

5. Расширение социальной среды. Преодолеваются рамки сословности, рамки литературного этикета, литература избирает предметом изображения все новые и новые слои общества, прорываясь к широчайшему демократизму.

6. Рост гуманистического начала. Происходит этот рост неуклонно, но не плавно, а как бы толчками. По мере развития открывается ценность того или иного класса, сословия, затем отдельной человеческой личности.

7. Расширение мирового опыта. Перед русской литературой распахивались все более многообразные богатства литератур соседних народов, затем мировой литературы в целом. В ходе этого процесса ее национальное своеобразие отнюдь не уменьшалось, а приобретало новые грани, проявлялось на каждом историческом этапе по-новому.

8. Расширение и углубление читательского восприятия литературного произведения. Когда-то менялась и приспособлялась к восприятию новых поколений читателей форма старых, внутренне неизменных произведений. Далее обнаружилось стремление к неизменяемой, «вечной», огражденной авторским именем форме, но с изменяемым, прочитываемым по-новому содержанием.

«Надо всегда иметь перед глазами тысячелетнюю перспективу русской литературы, — заключает свою работу Д. С. Лихачев. — Это важно для понимания современности и для проникновения в будущее. Завтрашний день продолжит не только сегодняшний, но и вчерашний, и те дни, что были давно. По достоинству оценить современность можно только на фоне веков. Наша современная литература заслуживает своей оценки не в узких пределах XX века, а в перспективе всемирно-исторического развития литературы».

Надеюсь, что даже из такого краткого пересказа статьи Д. С. Лихачева очевидно: речь в ней идет о процессах и явлениях чрезвычайно существенных, важных для понимания перспектив развития литературы. Исторический метод, или, другими словами, метод экстраполяции основных линий художественного прогресса из прошлого в будущее, — необходимый инструмент научного прогнозирования.

Что же представляет собой метод социологический? Здесь, к сожалению, в моем распоряжении нет какой-то одной современной статьи или книги, которая позволила бы с такой же наглядностью продемонстрировать его основные особенности. Придется обратиться к некоторым давним примерам.

«Наше время... по своему общему состоянию неблагоприятно искусству»¹, — говорил Гегель. И делал вывод, что искусство утрачивает свою общественную необходимость, рано или поздно должно будет сойти с исторической арены.

Перед нами прогноз, и прогноз социологический, поскольку вывод Гегеля вытекает из его понимания диалектики взаимодействия искусства и общества. Искусство по самой своей природе призвано утверждать эстетический идеал — идеал свободы, лежащий в основе понятия красоты; этот идеал связан с безвозвратно ушедшим героическим состоянием мира и оказывается утопическим, нереальным, недостижимым в условиях развитой государственной жизни, всеобщей зависимости индивида от внешних обстоятельств; следовательно, искусство обречено, оно закономерно должно уступить свое место философии.

Принимая гегелевское положение о тесной связи между состоянием общества и состоянием искусства, другие мыслители XIX века не соглашались с великим немецким философом в одном пункте: они не считали существующее «прозаическое состояние мира» конечной формой общественной жизни. А это сразу ставило по-иному вопрос о будущем художественной культуры.

Р. Вагнер (в работе 1849 года): «Истинное искусство может подняться из своего состояния цивилизованного варварства на достойную его высоту лишь на плечах великого социального движения; у него с ним общая цель, и они могут ее достигнуть лишь при условии, что оба признают ее. Эта цель — человек прекрасный и сильный; пусть Революция даст ему Силу, Искусство — Красоту»².

Н. А. Добролюбов (по поводу книги рассказов М. Вовчка): «Мы не можем искать

у него эпопеи нашей народной жизни, — это было б уж слишком много. Такой эпопеи мы можем ожидать в будущем... Самосознание народных масс далеко еще не вошло у нас в тот период, в котором оно должно выразить всего себя поэтическим образом»³.

М. Е. Салтыков-Щедрин: «Изменяемость общественных форм... предвещает человеческому творчеству обширное будущее»⁴.

С перспективами социально-освободительной борьбы, несомненно, связан известный прогноз, содержащийся в письме Энгельса Лассалю: «Полное слияние большой идейной глубины, осознанного исторического содержания, которые Вы не без основания приписываете немецкой драме, с шекспировской живостью и богатством действия будет достигнуто, вероятно, только в будущем, и возможно, что и не немцами. Во всяком случае, именно в этом слиянии я вижу будущее драмы»⁵.

А разве не социологическим прогнозом, опирающимся на опыт революционного движения, заканчивается знаменитая ленинская статья «Партийная организация и партийная литература»? «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся...»⁶.

В. И. Ленин написал однажды: «Социальная структура общества и власти характеризуется изменениями, без уяснения которых нельзя сделать ни шагу в какой угодно области общественной деятельности. От уяснения этих изменений зависит вопрос о перспективах, понимая под этим, конечно, не пустые гадания насчет того, чего не ведает никто, а основные тенденции экономического и политического развития, — те тенденции, равнодействующая которых определяет ближайшее будущее страны, те

¹ Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений. «Художественная литература», 1935, т. II, стр. 262—263.

² Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений. М.—Л. «Художественная литература» 1935, т. VII, стр. 454.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 29, стр. 492.

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 104.

⁵ Гегель. Сочинения. М. Соцгиз, 1938, т. XII, стр. 11

⁶ Р. Вагнер. Искусство и революция. Петроград. 1918, стр. 25.

тенденции, которые определяют задачи, направление и характер деятельности всякого сознательного общественного деятеля»⁷.

Для любого, кто хочет испытать себя в области социального прогнозирования, этот ленинский совет весьма кстати. Не пускаться в пустые гадания насчет того, чего не ведает никто, а рассматривать важнейшие тенденции общественного развития, искать их равнодействующую в той или иной сфере — вот задача исследователя.

2

Выбор сделан: опорой дальнейших размышлений будет метод социологический (с учетом наблюдений и выводов историко-литературного характера). Нам придется прибегать к известной формуле социального прогнозирования: если... то... В данном случае она означает предположение или даже утверждение, что если в обществе произойдут такие-то изменения, то литература отреагирует на них таким-то образом.

Подобную формулу принципиально отвергают теоретики, исповедующие тезис о независимости искусства от действительности, об извечной автономии художественного творчества. Говоря «если... то...», мы, напротив, исходим из убеждения, что в основе развития искусства лежат объективные социально-исторические факторы, что существуют определенные законы взаимодействия искусства и действительности, что эти законы в принципе познаваемы. Но знаем ли мы эти законы? Способны ли мы на данном уровне наших знаний учесть все бесчисленное множество общественных факторов, которые так или иначе воздействуют на искусство, определяют его завтрашнюю «погоду»? Равноценны ли между собой эти факторы, или среди них можно обнаружить какие-то ключевые, определяющие, важнейшие? Согласимся, что эти вопросы никак нельзя отнести к самым проясненным в нашей науке.

Широкое распространение — и поверхностное усвоение — марксизма породило в свое время соблазн увидеть решающий фактор художественного прогресса в области экономики. Этот вульгарный материализм, естественно, оказался не в состоянии объяснить множество исторических «несообразностей», когда примитивный уровень

производственного развития в прошлом или же сравнительная экономическая отсталость той или иной страны в новое время отнюдь не препятствовали расцвету художественного творчества.

Столь же несостоятельным оказался позднее вульгарный социологизм. Жесткая метафизическая «привязка» искусства к сменявшимся друг друга на исторической арене ведущим классам создавала иллюзию кардинального разрешения проблем, издавна волновавших эстетическую теорию. Однако и эта социология тут же упиралась в типичные неразрешимые для нее вопросы и противоречия, хотя бы в вопросе о том, чем объяснить непреходящее значение подлинных художественных произведений.

Поиски главного звена во взаимодействии искусства и общества продолжают и сейчас, на новом уровне понимания социально-исторической обусловленности художественного творчества.

Г. Кузнецын в книге «Политика и литература» высказывает мысль, что решающим ускорителем художественного процесса, фактором, который возбуждает и концентрирует творческую энергию народа, является наличие всеобъемлющего политического конфликта. Именно этим, по его мнению, объясняется интенсивное развитие искусства в свое время в отсталой Германии, в крепостнической России.

Ю. Андреев, в целом соглашаясь с точкой зрения Г. Кузнецына, пыгается сформулировать более общий закон, определяющий периоды ускоренного и плодотворного творческого развития. «Связь литературного развития с экономическим положением общества, — пишет исследователь, — осуществляется не прямо, а главным образом через политическую ситуацию. Политическая ситуация, при которой литературному творчеству отдаются свои силы талантливые личности, может возникнуть как в условиях передового для своего времени общества, имеющего возможности для успехов в разных областях деятельности, так и в условиях исторически вынужденной концентрации сил в литературной сфере»⁸.

Еще более широкий ответ на вопрос о главных факторах поступательного движения искусства дает академик А. Егоров. «Сравнительная значимость различных исторических эпох и в определенном смысле

⁷ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 186.

⁸ Ю. А. Андреев. О неравномерности литературного развития. «Русская литература», 1973, № 3, стр. 64.

целых формаций для художественного развития человечества, — полагает А. Егоров, — зависит от того, в какой мере социальные отношения этих формаций и эпох выявляют человеческое в человеке, способствуют ли они (а если способствуют, то в какой степени) гуманистической устремленности искусства, каково участие народа в создании художественной культуры и в какой степени ее ценности принадлежат народу. Эти обстоятельства не могут не сказаться на сравнительной эстетической ценности художественных явлений разных эпох, а в пределах каждой эпохи — различных художественных течений, школ, отдельных художников, на характере искусства, его идейно-эстетической сущности, постижении им правды жизни, насущных потребностей общественного развития»⁹.

Попытаюсь сформулировать свое понимание этого вопроса — понимание, которое было изложено в книге «Мера истины» (1971), в сборнике «Литература и социология» (1977), в статьях, опубликованных в журнале «Вопросы литературы». По вполне понятной причине здесь придется опустить исторические экскурсы, подробные теоретические обоснования и ограничиться основными положениями. И еще одна оговорка. Я говорю о своем понимании, но «моими», по сути дела, являются тут разве только некоторые акценты, в целом же речь идет о давно известных социологических и эстетических истинах, которые мы, правда, не всегда помним, не всегда учитываем в своей литературно-критической практике.

Где может происходить решающая смычка между процессом общественно-историческим и процессом литературным? Очевидно, там, где находится что-то общее, в равной мере им принадлежащее. Мы должны найти грань, от которой в одну сторону пролегают пути в специфическую область искусства, а в другую — к глубинной сути общественного развития. В самом общем виде подобная грань давно найдена и названа. Это общественный человек, меняющийся в ходе социального прогресса. Но правильнее говорить не о человеке как таковом, а о подвижных, исторически изменчивых отношениях человека и общества. Потому что человек — это всегда и мир человека, внешние ус-

ловия, с которыми он сообразует свою деятельность, обстоятельства, определяющие его возможности.

Что лежит в основе исторической эволюции отношений человека и мира? Ответить на это значит раскрыть и обосновать едва ли не все основные положения исторического материализма. Речь идет о занявшем не одно тысячелетие пути человека к свободе, но пути необычайно сложном, противоречивом. Периоды формирования новых общественных отношений, открывавшие носительный простор для социально-исторического творчества, сменялись эпохами затвердения, «ожесточения» устоев данной формации, превращения их в окопы для дальнейшего развития. В соответствии с этим «человек творящий» сменялся на исторической арене «человеком творимым» и наоборот. Сквозь это пульсирование исторического творчества просвечивал еще один глобальный процесс, оказавший доступным целеустремленному марксистскому анализу. На докапиталистические формации пришлось ступень «первоначальной цельности» человека, еще весьма близкого к природе, еще не ограниченного со всех сторон социальными условиями и глубоким разделением труда. Развитой капитализм явил миру ступень всестороннего отчуждения личности. Коммунизм решает задачу возвращения «человека к самому себе как человеку общественному, т. е. человеческому»¹⁰, оказываясь тем самым адекватным подлинному, реальному гуманизму.

Почему меняющиеся отношения человека и мира оказываются решающим фактором, определяющим характер исторической эволюции искусства? Или, если взглянуть на тот же процесс с другой стороны, почему искусство столь отчетливо, с поистине сейсмографической чуткостью вычерчивает малейшие изменения в исторически складывающихся отношениях человека и общества, характера и обстоятельств? Видно, потому, что то или иное состояние этих отношений накладывает глубокий отпечаток на состояние общественной психологии, общественного сознания, на мироощущение личности — иными словами, на всю ту социальную атмосферу, в которую погружено искусство, которую оно своими специфическими средствами материализует, закрепляет, выражает. И потому еще, что изменение отноше-

⁹ А. Егоров, «О поступательном развитии искусства» (в сб. «Искусство и общество». М. «Наука». 1972, стр. 23).

¹⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 42, стр. 116.

ний человека и мира влечет изменение эстетической оценки действительности, а значит, и появление разных способов утверждения искусством эстетического идеала.

Если иметь в виду лишь главную, определяющую линию воздействия действительности на искусство (отвлекаясь от других, менее важных факторов, не учитывая обратного воздействия искусства на действительность), перед нами оказывается следующая историческая и логическая последовательность процессов.

1. Смещается в ту или иную сторону подвижный баланс взаимодействия человека и окружающего его мира, личности и общества, характера и обстоятельств.

2. Перестраивается, меняя свою преобладающую окраску, сфера общественных эмоций, приобретает новые особенности восприятие мира.

3. Происходит существенная внутренняя перестройка в области художественной культуры: меняется типология искусства, приходит в движение система жанров, художники начинают ориентироваться на иные традиции в культуре прошлого, теория пересматривает свои представления о задачах искусства.

Достаточно сложный даже в таком схематическом изложении, этот процесс, разумеется, еще сложнее в реальной действительности. И понятно, насколько наивны попытки напрямую проецировать на искусство какие-то явления жизни, например последствия научно-технической революции. Одно дело передать приметы НТР в художественном произведении через сюжет, повседневные заботы и даже характеры героев. И другое дело ожидать, что НТР приведет переворот в глубинной сути искусства, в способах художественного отражения реальности. Здесь идет в счет только то, что затронуло взаимоотношения человека и мира, расширило возможности социального творчества, получило отклик в подвижной плазме общественных эмоций.

«Схема», о которой идет речь, позволяет яснее увидеть еще одну сторону дела. Наука справедливо отвергла поверхностную, вульгарную «социологию формы», трактующую, скажем, о дворянских ямбах или о буржуазности жанра романа. Но это не значит, что социология должна отказаться от всякого касательства к вопросам поэтики. Связь между социально-историческими процессами и эволюцией художественных

течений, жанров, форм существует — надо эту связь понять, выделить, обнаружить.

Ленин отметил однажды свое стремление читать Гегеля материалистически. И мне думается, что очень важно, в частности, «прочитать материалистически» выдвинутое Гегелем понятие «состояние мира». Все, что говорится по этому поводу в знаменитых гегелевских лекциях по эстетике, позволяет утверждать, что это понятие охватывает собой и исторически сложившееся положение человека в системе общественных отношений («человек творимый» или «человек творящий»), и возникающую на этой основе общественно-психологическую ситуацию. По Гегелю, состояние мира — это «способ духовного существования»¹¹, отвечающий или не отвечающий эстетическому идеалу, это «духовная действительность»¹², определяющая то или иное состояние искусства.

Наиболее благоприятным для художественного творчества Гегель считал героическое состояние мира. Неотъемлемые черты этого состояния — глубокое единство человека и мира, непосредственная самостоятельность индивида в его общественной деятельности, наличие высокой цели, концентрирующей в себе все помыслы народа. Героическому состоянию мира соответствует эпическое искусство, средоточием которого выступает цельный и крепкий героический характер. Неумолимый ход истории приводит, однако, к появлению иного состояния мира — прозаического. Это состояние «развитой государственной жизни»¹³, которое характеризует упорядоченными, закрепленными в государственном праве общественными и нравственными нормами, появлением сложных, многократно опосредованных отношений между человеком и обществом. На этой основе рождается иное, по гегелевской терминологии, романтическое искусство, уже не дающее нам «зрелища самостоятельной и целостной жизни, свободы, лежащей в основе понятия красоты»¹⁴.

Что стоит за положениями Гегеля в реальном процессе общественного и литературного развития? Думаю, что героическому состоянию мира соответствует отмеченная марксизмом ступень первоначальной цельности личности, прозаическому — эпоха

¹¹ Гегель. Эстетика. В четырех томах. М. «Искусство». 1968, т. 1, стр. 205.

¹² Там же, стр. 188.

¹³ Там же, стр. 194.

¹⁴ Там же, стр. 158.

разложения этой первоначальной цельности, появления «частного» индивида в условиях промышленной революции и развитых буржуазных отношений. В первом случае Гегель опирался на опыт античного искусства и искусства эпохи Возрождения, во втором — на романтизм и зарождавшееся реалистическое течение, искавшее способы косвенного, опосредованного утверждения эстетического идеала.

При всех поправках, которые мы должны вносить в эстетику Гегеля, прежде всего в его представления об исторических перспективах художественного творчества, несомненно одно: великим мыслителем выделена, отмечена, закреплена в теоретических понятиях действительная связь, существующая между состоянием мира и состоянием искусства. С учетом этой закономерности мы лучше поймем сложные процессы развития искусства в нашем столетии.

Что показывают наблюдения за процессами художественного развития? Есть литература, рожденная десятилетиями борьбы за социализм. Есть современная литература — литература развитого социалистического общества. Связанные между собой неразрывной преемственностью, как и стоящие за ними эпохи, эти два этапа литературного процесса обладают неповторимыми особенностями, своим закономерным типологическим и идейно-эстетическим своеобразием.

В. И. Ленин отмечал привычку многих людей, желающих, но не умеющих быть социалистами, «абстрактно противопоставлять капитализму социализму»¹⁵. Мы в основном избавились от этой ошибки. И ничто не мешает нам видеть повторяемость каких-то явлений, если она действительно имеет место. А такая повторяемость — разумеется, не буквальная, опосредованная условиями принципиально разных формаций, — дает себя знать, в частности, в области художественной культуры.

Эпоха становления социализма обладает всеми чертами обрисованного Гегелем героического состояния мира. Эпоха зрелого социализма, если за неимением лучшей воспользоваться той же гегелевской терминологией, несет в себе некоторые типологические черты состояния прозаического. Как и прежде, в основе этого изменения лежит определенный сдвиг в отношениях человека и общества, характера и обстоя-

тельств, порождающий различия в мировосприятии, мироощущении, социальной психологии. По уже выясненному нами закону это определило собой многие особенности литературно-художественного процесса.

Что принесло с собой сопровождавшее эпоху становления социализма героическое состояние мира?

Прежде всего возрождение на новом уровне эпического художественного сознания, казавшегося достоянием далекого прошлого. В связи с этим произошла глубокая перестройка жанровой системы литературы. Отступила или получила особое, эпическое наполнение лирика, приобрели ведущую роль жанры романа и поэмы во главе с романом и поэмой особого, эпического звучания. Ведущим героем литературы стал эпический герой, активность которого направлена главным образом вовне, на решение какой-то немислимо трудной исторической задачи, на преобразование мира, окружающей жизненной среды. Особую ценность приобрели традиции народного эпоса, Шекспира, Л. Толстого, отвечавшие интенсивным поискам средств эпического воссоздания действительности.

Как отразилась в литературе происшедшая в середине века несомненная новая перестройка в состоянии мира?

По преимуществу эпический социалистический реализм, характерный для первого этапа, стал главным образом социально-аналитическим. В системе литературных жанров обнаружилось преобладание повести, бытовой драмы, лирического стихотворения, претерпели существенные внутренние изменения жанры романа и поэмы. Вызвал особый интерес писателей литературный герой, ищущий ответ на сложные проблемы времени, в том числе на вопрос о смысле и цели своей жизни, способный усваивать и перерабатывать уроки бытия, противостоять давлению неблагоприятных обстоятельств. Вместе с усложнением общественных отношений, дифференциацией читательских интересов дала себя знать устойчивая тенденция к росту многообразия литературы, сопровождающаяся использованием самого широкого диапазона форм и жанров, размытием жанровых границ, усилением субъективного, «пересоздающего» авторского начала. Более созвучными новым условиям и потребностям художественного творчества стали традиции мастеров реалистической литературы XIX—XX веков, в особенности А. П. Чехова.

¹⁵ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 204.

Можно ли было предвидеть основные направления развития художественной культуры в нашей стране в эпоху становления социализма, а затем в пору зрелого социалистического общества? При условии знания того, как реагирует искусство на изменения в отношении человека и мира, на связанные с этим явления социально-психологического порядка, — можно.

Трудно найти что-либо более сложное, чем предвидение появления конкретных произведений. Но даже здесь можно было с немалой долей уверенности утверждать, что эпические ситуации революционной поры и великой освободительной войны должны «сгуститься» в произведениях особого эпического размаха, концентрирующие в себе главные проблемы эпохи, передающие биение пульса народной жизни на крутых изломах истории. Такой прогноз мог и не подтвердиться. Несомненно, однако, что «случайность» создания романа М. Шолохова «Тихий Дон» и поэмы А. Твардовского «Василий Теркин» явилась формой проявления необходимости.

3

Исходные позиции определены. Возможные направления прогнозирования намечены. Пора, оторвавшись от спасительных берегов прошлого и настоящего, пуститься в рискованный путь по неведомой территории будущего.

Первое «если», которое надо принять во внимание, — положение в мире. Будем исходить из того, что на протяжении последних двух десятилетий XX века нас ожидает беспокойный, полный тревог и опасностей, но все-таки мир, сохраняемый усилиями стран социалистического содружества, разумом и волей миллиардов жителей планеты. Будет продолжаться, приобретая новые акценты и формы, соревнование двух общественных систем в экономике, политике, духовной жизни. В ходе этого соревнования для человечества станут яснее перспективы решения важнейших глобальных проблем лишь на путях социалистического преобразования общества.

Второе неперемное «если» — положение в стране, ход коммунистического строительства. Наша наука не дает прогноза, когда именно всестороннее развитие социалистической системы приведет к качественному скачку, к вступлению страны во вторую, **высшую** фазу новой общественной форма-

ции. Это были бы «пустые гадания насчет того, чего не ведает никто». Однако вряд ли можно сомневаться в том, что этот рубеж окажется за пределами ближайших двух десятилетий. Первая половина XX столетия стала временем становления социализма в нашей стране, революционного перехода от одной формации к другой. Вторая половина века является временем зрелого социализма, временем развития и совершенствования нового строя на его собственной основе.

Как выглядят с учетом этих двух «если» перспективы развития художественной литературы?

Эстетической революции, коренным образом меняющей способы художественного отражения реальности, не предвидится. Литература 80—90-х годов будет в основном развиваться в русле тенденций, обнаруживших себя в годы 60—70-е.

Таков главный вывод, к которому подводят все предшествующие размышления. Может быть, некоторым читателям этот вывод покажется либо слишком робким, либо слишком самоочевидным, не требующим столь долгих обоснований. Но, право же, он, этот вывод, основан не на том, что автору так кажется, а на конкретных, доступных проверке социологических и эстетических заключениях.

На протяжении ближайших двух десятилетий будет продолжаться длительный современный этап литературного развития, начавшийся в 60-е годы, — этап, связанный с эпохой зрелого социализма, с определенным эстетическим состоянием мира. Но из этого совсем не следует, что литература во всем останется той же самой, что и сегодня. Конечно, в ней будет происходить известная тематическая и жанровая перестройка, с течением времени ослабнут одни и заметнее проявят себя другие нынешние творческие тенденции. Не ограничиваясь оценкой общей ситуации, было бы важно понять существо тех общественных процессов, которые будут воздействовать на развитие литературы, определить хотя бы некоторые направления ее дальнейшей эволюции.

Для начала, так сказать, для разминки, выберем вопрос полегче. Что произойдет в ближайшие десятилетия с нашей интенсивно и плодотворно развивающейся в последнее время литературой на военную тему?

Пока эта тема, строго говоря, не являет-

ся исторической. О Великой Отечественной войне писали и продолжают писать очевидцы и участники событий, литераторы, для которых суровая военная пора стала временем их гражданской зрелости, расцвета или становления их таланта. Неумолимое время делает, однако, свое дело. Даже солдаты последнего военного призыва, родившиеся в 1926—1927 годах, уже отметили свое пятидесятилетие. В конце 80-х они достигнут пенсионного возраста.

На протяжении 80-х годов будут появляться книги, которые сейчас создаются или задумываются хорошо известными нам писателями военного поколения. Будут и многочисленные варианты того, что мы уже знаем, и книги широкого звучания, пронзительного трагизма — итоги продуманного и пережитого за минувшие десятилетия. Вероятно, окажутся восполненными некоторые заметные пробелы в нашей военной прозе. Можно ожидать, например, появления значительного романа о битве под Москвой в 1941 году — времени величайшего напряжения всех сил, поистине эпической ситуации, когда от усилий каждого зависела дальнейшая судьба народа, страны, всего человечества. Однако в целом нет оснований думать, что в предстоящем десятилетии литература поднимется на качественно новый уровень в художественной разработке военной темы.

В последние годы обратило на себя внимание одно примечательное явление. Военная пора — время действия романа И. Чигринова «Плач перепелки», повестей В. Распутина «Живи и помни», А. Макарова «Человек с аккордеоном». Это яркие произведения, исполненные подлинного драматизма. А возраст авторов таков, что годы войны пришлось на их самое раннее детство. Не свидетельствует ли это о том, что тема войны будет продолжаться в литературе независимо от смены поколений?

Мне представляется, что это не совсем так. Во-первых, хотя бы краем, но война захватила часть жизни названных писателей. А в послевоенные годы они жили и формировались среди людей, для которых недавняя война была главным событием их биографии. Во-вторых, ракурс изображения того времени оказывается у этих более молодых писателей таким, что отсутствие личного опыта может компенсироваться их последующими жизненными впечатлениями и творческим воображением. Лишь несколько страниц посвящает, например, В. Распу-

тин фронтовой жизни своего героя. Эти страницы необходимы писателю, чтобы мотивировать роковой шаг Гуськова после очередного ранения. И скажем прямо — в них нет той покоряющей психологической глубины и достоверности деталей, которая свойственна прежним произведениям да и многим другим эпизодам той же повести В. Распутина.

Думаю, что перед нами первый симптом превращения темы Великой Отечественной войны из темы автобиографической в тему историческую, раскрываемую уже не на основе личного опыта автора. В 80-е годы такое обращение к времени войны станет более распространенным и широким. Наконец, в последнем десятилетии нашего века тема Великой Отечественной окажется уже по преимуществу исторической.

Что означает это в художественном отношении?

Как можно судить по известным аналогиям (скажем, по отображению революции и гражданской войны в годы 20-е и 70-е), полувековая дистанция существенным образом меняет подход писателей к воссозданию исторических событий:

уходит та «стихийная» детализация, которая идет от обилия непосредственных впечатлений, отбор деталей строже подчиняется основной идейной направленности произведения;

в прошлом акцентируются те проблемы и коллизии, которые имеют непреходящее значение;

соотношение времени отображаемого и времени, с высоты которого писатели обращаются к отображению исторических событий, смещается в сторону последнего;

получают большее значение условные художественные формы, помогающие сосредоточить внимание на самой сути социально-исторических процессов.

Очевидно, что эти и некоторые другие изменения будут происходить в раскрытии темы войны, по мере того как к ней будут обращаться писатели новых и новых послевоенных поколений. При этом не надо забывать, что соответственным образом будет меняться и сама аудитория, к которой обращают свои произведения литераторы. Читать исторические романы, повести, поэмы о Великой Отечественной войне будут люди, для которых эта война станет такой же отдаленной легендарной реальностью, какой для большинства сегодняшних читателей является время революции.

Дождемся ли мы появления эпического романа о Великой Отечественной войне, равного по масштабу и значению «Войне и миру» Л. Толстого? Вера, что такой роман появится, высказывалась уже в годы войны. «Будущий Толстой сейчас не пишет — он воюет», — заметил однажды И. Эренбург. Убежденность в появлении подобного произведения сохраняется в течение всех послевоенных десятилетий. Критики размышляют об особенностях этого будущего романа почти как о непреложной художественной реальности. «Думается, — писал, например, И. Козлов, — что та военная эпопея, о которой у нас уже давно говорят, спорят, называя ее то советской «Войной и миром», то Главной книгой о войне, будет содержать и добрую долю публицистики. В силу многих обстоятельств, диктуемых и глубиной мысли, для которой вряд ли хватит только образного выражения, и назначением этой мысли — объяснить эпоху, события, человека, и, конечно же, полемикой, которую ведет советская литература, защищая от наших идейных врагов большую правду о великом, непреходящем подвиге народа...»¹⁶.

Я уже говорил, что предугадывать появление отдельных произведений — дело ненадежное и неблагодарное. И все-таки есть некоторые объективные факторы, позволяющие сделать исключение из правила.

Среди 20 миллионов жизней, унесенных войной на нашей земле, были сотни писателей и тысячи тех, кто мог бы ими стать. Вражеская пуля или осколок снаряда решали сплошь и рядом, быть или не быть в будущей литературе множеству книг, повествующих о великом эпическом событии XX века. Вполне возможно, что среди этих ненаписанных книг оказались бы и более значительные, более яркие, чем книги состоявшиеся, нам известные. Этого, увы, не знает и не узнает никто. Остается исходить из того, что было и что есть.

Для глубокого изображения баталий 1812 года Толстому достаточно было личного участия в Крымской войне почти полвека спустя. Мало что изменилось за это время в характере войны. В нашем столетии все меняется куда круче и стремительнее. Передать неповторимую атмосферу времени, дать развернутую реалистическую картину Великой Отечественной войны способен лишь тот, кто на ней был. Но здесь

опять-таки может идти речь лишь о ныне живущих, хорошо знакомых нам писателях.

Главное же, видимо, состоит в самом различии двух Отечественных войн, пережитых нашим народом, тех социально-исторических условий, в которых они происходили. В отличие от той, первой, Великая Отечественная война породила свой эпос уже в ходе величайших сражений, без всякой «исторической дистанции». Вторая волна этого эпоса пришла на 60-е и особенно 70-е годы. Понятно, что в искусстве количество никогда не заменяет качества. Но не стоит, видимо, и слишком прибедняться, думая о большой и честной литературе на военную тему, созданной на современном этапе художественного развития.

Полагаю, что с немалой долей вероятности можно утверждать: Главной книгой о войне была и останется великая «Книга про бойца», написанная А. Твардовским в 1941—1945 годах. Будущие поколения узнают о войне, почувствуют связанные с ней безмерные страдания и высочайшие взлеты человеческого духа вместе с героями произведений, созданных и по горячим следам событий, и много лет спустя, к двадцатилетию, тридцатилетию, а теперь уже и столетию Победы.

Подумаем теперь о перспективах тематического направления, связанного с жизнью села. За этим условным обозначением, разумеется, стоит нечто большее, чем просто тема произведений. Деревенская поэзия, деревенская проза несут в себе обширное социально-нравственное содержание, богатый и сложный мир человеческих эмоций, являются значительной и своеобразной частью современной литературы.

Чтобы заглянуть в будущее, в данном случае особенно важно помнить и учитывать прошлое.

Тысячу лет, если не брать дальше, жила на земле крестьянская Россия, сохраняя поразительную устойчивость в демографическом плане. На протяжении всего XIX века — века ликвидации крепостного права, запоздалого пришествия капитализма — соотношение деревни и города упорно держалось на отметке 9:1. Даже в 1920 году, после всех потрясений первой мировой войны, революции, гражданской войны, процент сельского населения достигал 85. А дальше эта цифра ринулась вниз с небывалой, немислимой прежде скоростью. 1926 год — 82, 1939-й — 67, 1959-й — 52, 1961-й — 50, 1970-й — 44, 1978-й — 37...

¹⁶ «Новый мир», 1975, № 5, стр. 244.

В 80-е годы из каждых 10 граждан страны 7 будут жить в городах.

Чувствуешь бедность воображения, мешающую охватить масштабы и значение случившегося. Многие сотни лет поколение за поколением передавали друг другу эстафету примерно одних и тех же условий жизни, тяжелого, скудного, подневольного, но неотрывного от природы, украшенного своими радостями крестьянского труда. И вдруг словно водопад, куда в пене и грохоте ринулась неторопливая равнинная река, — шесть десятилетий, в течение которых рассыпался крестьянский материк, стала городской недавняя деревенская страна.

Обратим внимание на то, что и впереди страну ожидает длительная историческая полоса относительно стабильного соотношения жителей города и перестроенного, обновленного села (только с почти обратной по сравнению с прошлым пропорцией городского и сельского населения). С учетом этого особенно очевидно, насколько уникальны, неповторимы в истории страны прожитые нами десятилетия. Никогда не играли такой роли в жизни народа и не будут играть процессы миграции. Никогда не было и больше не будет так, чтобы примерно в одно время десятки миллионов людей, родившихся в деревне, оказались жителями города.

Известно, что есть некоторые закономерности формирования художественных талантов. В полосы мирного, будничного развития таланты появляются поодиночке, входят в искусство сравнительно неприметно. Крупные общественные катаклизмы рожают таланты целыми созвездиями, группируют их в отчетливо выделенные поколения. Так было в пору Великой Октябрьской социалистической революции, так было в пору Великой Отечественной войны. Не явился исключением и этот, правда особый, более длительный, катаклизм, о котором здесь идет речь. Исчезновение старой деревни, появление десятков миллионов горожан в первом поколении создали зону высокого эмоционального напряжения, в которой, словно алмазы в бурлящем разломе земной коры, зародились, сформировались богатейшие россыпи талантов.

Менялось ли изображение деревни на протяжении истории советской литературы? Безусловно. Литература проделала на этом направлении большой, сложный, не лишенный противоречий путь, о котором немало писалось в нашей критике специ-

ально. Если взять главное, мы обнаружим едва ли не диаметрально противоположность в подходе к деревне на первом и втором этапах литературного развития. 20—30-е годы: затмевает другие подходы, становится преобладающим мотив преодоления в деревне с помощью социалистического города всего отсталого, темного, косного, собственнического, индивидуалистического, что вступало в противоречие с задачами строительства новой жизни. 60—70-е годы: выходит на первый план мотив сохранения в качестве непреходящего достояния социалистического общества всего ценного в традициях деревни — своеобразного национального уклада, близости к природе, трудовых навыков, народной морали.

Теперь можно задать себе вопрос: как будет развиваться деревенская литература дальше с учетом миграционных и некоторых других социальных процессов?

Заметим прежде всего, что перед нами процессы постепенного, длительного характера, от которых нельзя ждать каких-то внезапных последствий в области художественной культуры. Второе, что надо иметь в виду, это довольно большие различия в соотношении города и села, в характере демографических проблем, скажем, в центральной России, Эстонии, Молдавии, Узбекистане, в других наших республиках. А это вместе с различиями собственно художественного порядка не может не накладывать своего отпечатка на раскрытие сельской темы.

Деревенская литература была и будет всегда, пока живет на земле народ, сеющий хлеб, хранящий вместе со всеми многовековые, обновленные и преображенные социалистическим строем традиции. И есть все основания полагать, что в 80—90-е годы не произойдет никакого резкого поворота в подходе литературы к отображению жизни села. Как и в наше время, будет преобладать пафос сохранения позитивных ценностей деревенского уклада. Появятся новые яркие таланты, рожденные любовью к земле, острым чувством невозвратимости каких-то сторон народной жизни. Получит более широкое и многообразное развитие наметившийся уже теперь экологический поворот темы «человек и земля».

Хотелось бы рассчитывать на то, что время и опыт сделают деревенскую литературу в последние десятилетия XX века мудрее и зорче в идейном и социологическом

плане, помогут ей успешнее избегать ловушек идиллического, внеклассового изображения прошлого, абстрактного противопоставления города и деревни. На предстоящее время приходится адресовать и надежду на более яркое, полнокровное художественное отображение жизни современной деревни с ее новыми заботами, большими делами, острыми социально-нравственными коллизиями. Понятно, это уже не прогноз, это социальный заказ, адресуемый нашей изобильной талантами деревенской литературе самим временем.

Если вернуться к прогнозированию, привлечь во внимание следующее. Массовая миграция сельских жителей в города подходит к своему пределу. Соотношение жителей города и сельской местности начинает стабилизироваться на новом, оптимальном для развитого социализма уровне. Вместе с этой стабилизацией на протяжении ближайших десятилетий будет неуклонно уменьшаться громадный пока массив горожан в первом поколении и соответственным образом будет увеличиваться, становясь преобладающей, доля жителей, родившихся и выросших в городе. Имеет ли это для литературы какое-то значение? Видимо, да. Включается долгодействующий, но неуклонный социальный процесс, размывающий резко возросшую на определенном этапе «маргинальную», промежуточную между деревней и городом среду — могучий источник талантов и едва ли не основную читательскую аудиторию деревенской литературы. И хотя, повторяя, этой литературе суждена долгая жизнь, вполне может статься, что ее звездный час, когда она затмила своей яркостью все остальные направления, больше не повторится, останется позади, в 60—70-х годах.

Живейшим образом нас интересуют перспективы так называемой производственной темы. Мы радуемся тому, что «ныне эта тема обрела подлинно художественную форму»¹⁷, получила актуальное общественное звучание, особенно в драматургии. Вместе с тем соизмерение сегодняшних романов, повестей, пьес как с литературой периода первых пятилеток, так и с масштабами реальной трудовой деятельности народа вызывает понятную неудовлетворенность сделанным, заставляет ждать от литературы значительно большего. Насколько обоснованы эти ожидания?

¹⁷ «Материалы XXV съезда КПСС». М. Политиздат. 1977, стр. 79.

Прежде всего: произведения о предприятиях и стройках первой и десятой пятилеток совсем не одинаковы в типологическом отношении. «Согъ» Л. Леонова и «Время, вперед!» В. Катаева, «Темп» Н. Погодина и «Колхида» К. Паустовского, «Человек меняет кожу» Б. Ясенского и «Гидроцентральный» М. Шагинян — это яркие эпические произведения. Повести о Строительстве с заглавной буквы (как написал это слово в очерке «Волховстрой» А. Толстой), наполненные пафосом социалистического преобразования мира и человека. «Территория» О. Куваева и «Пуск» И. Герасимова, «Человек со стороны» И. Дворецкого и «Премия» А. Гелмана — это произведения аналитического характера, раскрывающие социально-нравственные, социально-психологические коллизии современного советского общества.

Труднейшая историческая задача преодоления экономической отсталости, создания фундамента социалистической индустрии совпала в пору первой пятилетки с формированием нового человека, новых, коллективистских отношений между людьми. Пафос социального переустройства жизни, охвативший страну, получал наглядное, зримое воплощение в первых металлургических комбинатах, первых тракторных заводах, первых электростанциях. И не было поэтому для общественного сознания производства, техники, экономики, строительства как таковых. Каждое из этих понятий было до предела пропитано социальными, классовыми эмоциями, напрямую смыкалось с проблемами самого существования нового строя, скорейшего достижения его идеалов. Как сказано в романе А. Мальшкшина «Люди из захолустья», «всеобъемлющее напряжение обволакивало работающую день и ночь страну», все и вся определяла собой «воинствующая и жгучая действительность» социалистического преобразования. «Именно этот мир неотрывно притягивал мысли, — может быть, потому, что он сейчас торжествовал, потому, что он как тема главенствовал в ежедневных разговорах, в газетных телеграммах, в статьях, в научных и художественных книгах, потому, что все, что делалось им, повелевало и этими улицами, и городами, и государственной политикой, и даже искусством».

Легко понять, почему стройки первой пятилетки неудержимо влекли к себе лучших, талантливейших писателей того вре-

мени. Обратим лишь внимание на то, что стоявшая перед ними творческая задача, как правило, не требовала профессионального знания той или иной области производства. Несколько месяцев или недель, проведенных на Магнитке и Сталинградском тракторном, в Кузнецке и на Балахнинском целлюлозном комбинате, оказалось достаточно для создания книг, вошедших в историю советской литературы, составивших в совокупности яркий эпос социалистического преобразования.

Советские литераторы продолжают традицию, заложенную их предшественниками полвека назад. Тюмень и БАМ, Атоммаш и КамАЗ, КМА и гигантские гидроэлектростанции Сибири служат конечными пунктами многих писательских командировок. Каждая такая поездка позволяет писателю лучше ощутить масштабы дел, которыми занята страна, требовательнее, строже подойти к результатам собственного труда. Но путь от «писательских десантов» до книг, раскрывающих жизнь трудовых коллективов, оказывается ныне более сложным, как усложнились вообще связи между техникой и людьми, между производственным и социальным.

Думая о перспективах раскрытия производственной темы, надо иметь в виду, что в наше время невозможна такая концентрация на этом направлении писательских талантов, какая произошла на рубеже 20—30-х годов. И потому, что литература вместе со всем советским обществом решает одновременно множество серьезных задач. И потому, что аналитический подход к отображению мира труда предполагает глубокое знание писателем сути дела, которым заняты его герои, отношений людей в производственной сфере, множества подспудных коллизий, скрытых от постороннего взгляда. А это в полной мере доступно лишь писателям, приходящим в литературу с заводов, фабрик, нефтепромыслов, связанных с производством всей своей жизнью.

Думаю, что преодоление былой «производствозависности», оживление интереса и писателей и читателей к этому тематическому направлению — явления не случайные и не кратковременные. Производственная тема оказывается сегодня для нашей литературы главной сферой социального анализа, художественного исследования диалектики развития общества зрелого социализма. Здесь находит свое отчетливое проявление партийность позиции писателя, получает

реальное выражение его стремление участвовать в осмыслении и постановке проблем, от решения которых зависит движение нашего общества вперед, с которыми связаны перспективы исторического соревнования социализма и капитализма.

Интересен и важен вопрос о соотношении в литературе исторической и современной тематики.

Как уже отмечалось выше, современная советская литература имеет дело с двумя разнокачественными в эстетическом отношении «состояниями мира» — прошлым и нынешним. При этом на протяжении 60-х и 70-х годов литература, тематически связанная с эпохой становления социализма (включая годы войны), не только не уступала литературе на современную тему в значительности и актуальности, но, как правило, была в центре внимания, определяла собой основное содержание и направление литературного процесса.

Причины такого положения многообразны. Это и общественная потребность в художественном осмыслении опыта социалистического строительства, и особая привлекательность для писателей острейших социальных коллизий, испытывающих человека на пределе его возможностей, и не преодоленные еще трудности художественного воплощения современного состояния мира. Не будем забывать, однако, и того простого факта, что на протяжении последних двух десятилетий тон в литературе задавали писатели, юность и молодость которых, столь важные для творческой биографии, приходился на 20-е, 30-е, 40-е годы.

Тридцать пятая годовщина Победы, отмечаемая в 1980 году, означает, в частности, что даже по формальному признаку первые родившиеся после войны писатели перестают числиться в категории творческой молодежи. И на протяжении 80-х годов в литературе и искусстве будет происходить не обычная смена поколений, а нечто более существенное для литературно-художественного процесса. Впервые литературное дело переходит в руки писателей, не знающих иной общественной атмосферы, кроме атмосферы будничного повседневного труда, мирной созидательной жизни. У этих писателей немалые преимущества перед их предшественниками в отношении образования, профессиональной творческой школы. Но им не довелось пройти той школы социального воспитания, кипучей общественной деятельности, которая в годы револю-

ции, социалистического строительства, Великой Отечественной войны обеспечивалась самим временем.

Писатели, чье гражданское и творческое становление пришлось на послевоенные годы, уже заявили о себе в литературе. При всех неизбежных противоречиях и сложностях художественных поисков их творчество развивается в русле традиций советской литературной классики, писателей старших поколений. Тем не менее очевидно большее тяготение молодых литераторов к отображению современности. И есть основания полагать, что вместе с этой особой сменой поколений будет происходить относительное уменьшение числа произведений, тематически связанных с эпохой 20—40-х годов, при возрастании удельного веса и роли в литературе современной тематики.

Что можно сказать о художественных особенностях литературы 80—90-х годов?

Два главных этапа литературного развития, о которых идет речь в этой статье, резко различаются с точки зрения художественного многообразия.

Для литературы 20—40-х годов характерна центристская тенденция: от большего многообразия к меньшему. Вопреки тому, что пишут об этом наши идеологические противники, появление подобной тенденции связано с глубокими социально-эстетическими причинами. Под воздействием самой жизни преодолевалась идейная пестрота литературных течений. В процессе активнейшего творческого обмена поднимались к общему, более высокому уровню многие национальные литературы. Все глубже осознаваемое героическое состояние мира перестраивало типологию литературы и систему литературных жанров в едином, эпическом направлении. Итогом этого процесса явилась литература периода Великой Отечественной войны, всецело сосредоточенная на решении одной исторической задачи, подчиняющая этому весь арсенал своих художественных средств, все свои идейно-творческие возможности.

Иная, противоположная тенденция у литературы развитого социалистического общества: на новом уровне идейной зрелости она устойчиво движется в сторону все более широкого художественного многообразия. За этим опять-таки просматриваются весомые социально-исторические факторы. Как уже сказано, литература опирается на разные состояния мира, выражает новые потребности общества, решающего одно-

временно многие сложнейшие задачи, отвечает на возросшее многообразие эстетических интересов и вкусов. Росту художественных возможностей социалистического реализма содействуют плодотворнейшее взаимообогащение уже не только литератур народов СССР, но и литератур братских социалистических стран, активное усвоение опыта прогрессивной мировой литературы.

Получит ли эта тенденция продолжение в 80-е и 90-е годы? Уверен, что получит. Такого же мнения, кстати, придерживается Ю. Андреев, выступивший с прогностическими размышлениями в журнале «Вопросы литературы». «Безусловно,— утверждает он,— прогнозируя будущее нашей литературы, мы будем исходить и из роста многообразия изобразительных средств и форм нашей литературы. Будущее — за этой тенденцией, которой мы сейчас должны оказывать всемерную поддержку в ее борьбе с обилием серых, схожих по манере, выдержанных в одном и том же — натуралистическом — ключе произведений»¹⁸.

Обречены на заведомую неудачу прогнозы, согласно которым будущее в литературе и искусстве принадлежит какому-то одному течению, одной творческой тенденции. В предстоящие десятилетия художественная культура социалистического общества будет еще более богатой и многообразной. Что же касается того, какие тенденции получат особое развитие, здесь одной социологии, разумеется, недостаточно. Мы вступаем в область, которая характеризуется значительно большей неопределенностью.

В последние годы, например, выявился целый ряд диахронических произведений, где тесно переплетается время минувшее и время сегодняшнее («Циклон» О. Гончара, «Берег» Ю. Бондарева, «Старик» Ю. Трифонова). Как оценить это явление? Легко сказать в духе В. Турбина, что перед нами образцы экспериментирования писателей с понятием времени, тенденция, которой принадлежит будущее. Однако обращает на себя внимание, что все эти романы написаны писателями старшего поколения, стремящимися выразить остро ощущаемое ими чередование эпох. Такого стремления может и не оказаться у писателей, знающих лишь одно состояние общественной жизни. Вернее всего сделать вывод: в предстоящие десятилетия форма диахронического повествования, несомненно, будет применять-

¹⁸ «Вопросы литературы», 1978, № 6, стр. 68.

ся и совершенствоваться. А станет ли она заметной особенностью литературы 80—90-х годов, зависит от факторов, которые в настоящее время не поддаются точному учету, во всяком случае требуют более глубокого изучения.

Примерно таким же может быть характер разговора о некоторых других проявляющихся ныне сравнительно частных творческих тенденциях.

4

Бесчисленным количеством прогнозов встретила печать царской России XX век. Все они выглядят сейчас историческим курьезом, способным лишь позабавить современного читателя. Но вот что писал тогда же, в январе 1901 года, из Нижнего Новгорода одному из своих адресатов М. Горький: «Новый век я встретил превосходно, в большой компании живых духом, здоровых телом, бодро настроенных людей. Они — верная порука за то, что новый век — воистину будет веком духовного обновления. Вера — вот могучая сила, а они — веруют и в незыблемость идеала, и в свои силы твердо идти к нему. Все они погибнут в дороге, едва ли кому из них улыбнется счастье, многие испытают великие мучения, — множество погибнет людей, но еще больше родит их земля, и — в конце концов — одолеет красота, справедливость, победят лучшие стремления человека»¹⁹.

Каких только наименований не получал с той поры наш подходящий ныне к концу XX век! Думается тем не менее, что одним из самых прозорливых, самых точных было и остается определение, данное в первые дни нового века молодым пролетарским писателем, провозвестником революции. Великой правдой этого века является прежде всего то, что он привел в движение миллиарды людей на всех континентах, взломал твердыни частнособственнического мира, поистине стал веком духовного обновления. Каждое из событий XX столетия в отдельности может показаться случайностью, результатом стечения каких-то обстоятельств. Взятые вместе, эти события свидетельствуют о том, что через все оставшиеся позади войны, революции, дерзкие порывы в будущее, трагические ошибки, удачные и неудачные эксперименты, отливы и приливы социального движения пробивают себе дорогу потребности переустройства общества

¹⁹ М. Горький. Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 28, стр. 150.

на новых, коммунистических началах. Это в конечном счете поиски таких форм жизни, которые могли бы обеспечить беспрепятственное развитие и безопасность человечества в условиях раскованного атома и открытого космоса.

Мы оглядываемся на путь, проделанный литературой социалистического реализма начиная с «Мещан» М. Горького, датированных 1901 годом, пытаемся заглянуть в недалекое уже будущее, когда можно будет отметить столетие нового литературного направления. И одним из главных в этих размышлениях оказывается вопрос о дальнейших судьбах художественного эпоса.

«Шекспиризация» искусства, предугаданная марксизмом, стала реальностью, когда загремели отдаленные раскаты величайшей социальной революции. Первым показал возможность этой «шекспиризации» М. Горький. После революции путь эпического отображения взвихренного небывалыми событиями мира открыли для себя другие художники. Богата советская литература 20—40-х годов, новая действительность отражена ею в самых разных художественных ракурсах. И все же главное, что принесла она с собой в мировую литературу XX века, это эпос революции, эпос социалистического преобразования общества, эпос Великой Отечественной.

Эпос XX века отличается от эпоса «детства человечества» тем, что он осознает себя как эпос, видит земное, социальное содержание человеческой судьбы, раскрывает реальную диалектику взаимодействия характера и обстоятельств. Это эпос, прошедший школу реализма XIX века, умудренный гигантским историческим опытом. Органическое, каждый раз неповторимое сочетание эпического и социально-аналитического начал определяет новаторство романа-эпопеи М. Шолохова, других выдающихся произведений советской литературной классики.

Эта линия советской литературы не прерывается и на современном этапе, в пору зрелого социалистического общества. Тематической основой произведений эпического характера выступает та же бурная и героическая эпоха формирования нового строя. Вспомним хотя бы «Соленую Падь» С. Залыгина, «Кровь и пот» А. Нурпеисова, «Сибирь» Г. Маркова, «Потерянный кров» Й. Авижюса, «Живых и мертвых» К. Симонина, «Блокаду» А. Чаковского. Прошлое и современность, как две реки, сливаются в

этих произведениях в единый поток. И от того, чье течение пересиливает, во многом зависит тип романа, характер повествования. Если в советской литературной классике мы имеем дело, так сказать, с непосредственным эпосом, создававшимся внутри эпического состояния мира, то современный эпос оказывается ретроспективным, опосредованным, в большей мере пронизанным социально-психологическим анализом. Мало того, значительная часть современной литературы о минувшем вообще лишена выраженного эпического начала.

Критика не теряет надежд на подъем художественного эпоса в будущем. Прошла дискуссия о состоянии в современной литературе «романного», по сути дела эпического, мышления. Появляются книги литературоведов, названия которых говорят сами за себя: «На эпическом направлении», «В ожидании эпоса». Что можно сказать по этому поводу?

Много преград встречает литература на эпическом направлении. Взвешивая все за и против, никак не приходишь к однозначному, легкому выводу.

Упорядоченная, размеренная, будничная жизнь общества стимулирует, как мы знаем, не эпическое, а социально-аналитическое, социально-психологическое направление в искусстве. Оно не хуже эпоса (с этой прямолинейной оценочной квалификацией мы, кажется, уже расстались), но оно решает иные, свои творческие задачи.

Есть еще одно обстоятельство, о котором размышлял в связи с работой над «Блокадной книгой» А. Адамович. «Возможно, и было это свойственно традиционной эпопее,— писал он,— стирать остроту и боль «данного момента», растворять во временной перспективе. Мол, то, что конечно для индивидуума, это для народа и человечества всего лишь страничка книги исторического бессмертия!» Теперь же, когда возможная термоядерная война на место отдельного человека грозит поставить все человечество, одно из двух: или эта эпопея «действительно анахронизм, потому

что нравственно не обеспечена; или должна от чего-то отказаться и приобрести что-то новое»²⁰.

Вопрос существенный. Я бы добавил к нему и то, что эпопеи возникали в моменты (или повествовали о таких моментах), когда конкретность задачи, четкость размежевания противостоящих сил делали мир предельно простым. Для нас — при всей очевидности противоборства двух систем — мир достаточно сложен, перспективы его отдаленны и непостижимы. Наш неизменный в принципе исторический оптимизм («...в конце концов одолеет красота, победят лучшие стремления человека...») несет в себе горькое сознание цены, уже заплаченной человечеством за торжество этой красоты, не отделим от тревоги за будущее.

В альтернативе, предложенной А. Адамовичем, все же реальнее второе. Эпопея не анахронизм, она лишь действительно должна в чем-то измениться, приобрести какие-то новые свойства. Мало толку в заклипании «времени жаждет синтеза!», потому что жаждет оно многого. Но среди этого многого ему, времени, и нам, его носителям, никак не обойтись и без синтеза. Бескрылой, провинциальной будет литература, погруженная лишь в мелочи быта, в заботы повседневности, неспособная к эпическому масштабу мышления. Такой советская литература не была на всем протяжении своего существования и, конечно, не будет в конце столетия.

Условна дата — 2000 год, рубеж XX и XXI веков, второго и третьего тысячелетий. Но так уж устроены люди, что приближение этого рубежа не может не волновать воображения, не получать отзвука в социальных эмоциях. И чуткая к этим эмоциям литература, видимо, будет настойчиво искать возможности широкого осмысления остающегося позади века, будет стремиться понять и показать его как трудное становление на Земле цивилизации нового типа, как эпическое движение человечества от прошлого к будущему.

²⁰ «Литературная газета», 4 мая 1977 года.



Е. СТАРИКОВА



ПАМЯТЬ

Мы всё прощаемся и прощаемся: с детством, друг с другом, с самими собою. «Долгое прощание», «Трава забвенья», «Последний срок», «Последний поклон»... А это только прямые отражения в названиях наименее известных книг бесчисленных исповедей, воспоминаний, покаяний, вопрошаний о прожитом, пережитом и неизжитом, которыми полна наша литература — и та, что в кругу всеобщего внимания, и та, что проходит словно бы стороной или глубиной по отношению к видимому течению. Процесс-то единый.

Говорят, воспоминания — удел стариков. А ведь еще так недавно в историческом масштабе, всего сто или с небольшим столетий назад, литература наша была полна предрасветными снами, предчувствием дня грядущего — для народа, нации, страны. А потом еще несколько десятилетий, и уже не в снах, а наяву мы торопимся изо всех сил в будущее, не оглядываясь: «Вперед, время. Время, вперед». И вдруг еще совсем немного — в историческом-то масштабе — и долгое, долгое прощание, и низкие, низкие поклоны назад — в детство, в биографию предков, в прошлое свое и общее. Так дороги, так ненаглядны стали одни его черты, так страшны, неотвязны и обязывающи — другие.

Неужели мы так быстро постарели? Или только перешли некий новый перевал истории, когда просто нельзя не оглянуться назад? Ведь и после 1917 года оглядывались, писали мемуары, сочиняли исторические романы и пьесы, ловили историю за хвост, но чтобы оттолкнуться от нее и уйти в будущее. И точка отсчета будущего от прошлого видна была яснее ясного. Ну а сейчас где он, в каком месте пройденного с тех пор пути, в какой час бегущего вперед вре-

мени оказался он, этот перевал, заставляющий нас озирать путь пройденный, может быть, с большим пристрастием, чем путь предстоящий?

Первый и главный ответ совсем простой: война. Победная, великая, кровавая, страшная. Вот и Виктор Астафьев пишет в одной из газетных статей: «...Короткое и твердое, как железо, слово — «война» — ...сделалось водоразделом всей современной жизни: «это было до войны», «это после...»...» Не очевидно ли, что оттуда, с заветного майского дня сорок пятого года, началась новая наша история, окончательно и неотвратимо слившая жизнь каждого человека с историей мировой?

Но вторишь сегодня вслед за писателями долгим прощанием, слушаешь мольбы о забвении, кладешь последние и нескончаемые поклоны ушедшему и ушедшим и видишь не один великий перевал расставания с прошлым, а множество. Какой миг истории ни возьми, каждый взывает о совестью памяти.

Не раз приходилось удивляться: почему такой патриархальной тишью и гладью кажутся иным нашим сорокалетним писателям предвоенные годы? Это тридцатые-то годы! Ну, а для тех, кто старше и моложе, конечно, есть и иные вехи. Называть их даже и не надо: они у каждого памятливого человека на уме, как таблица умножения у прилежного школьника.

Одно ясно: какую веку ни приняли бы мы себе за точку отсчета времени, гнать это время вперед и вперед, не оглядываясь на прошедшее, не захватив с собою в дорогу хоть что-то из пролетевшего и чуть было не поросшего травой забвенья, нам больше не хочется. Хочется задуматься. Хочется вспомнить и помнить. Хочется воскресить

в памяти то, что к счастью или к несчастью, но воскрешению въяве не подлежит, не подвластно ни заклятию возврата, ни заклятию бесследного исчезновения.

«Память моя, память, что ты делаешь со мною?! Все прямее, все уже твои дороги, все морочней обрез земли, и каждая дальняя вершина чудится часовенкой, сулящей успокоение. И реже путники встреч, которым хотелось бы поклониться, а воспоминания, необходимые живой душе, осыпаются осенним листом. Стою на житейском ветру голым деревом, завывают во мне ветры, выдувая звуки и краски той жизни, которую я так любил и в которой умел находить радости даже в тяжелые свои дни и годы.

И все не умолкает во мне война, сотрясая усталую душу. Багровый свет пробивается сквозь немую уже толщу времени, и, сплюснутая, окаменелая, но не утерявшая запаха гари и крови, клубится она во мне.

Успокоения хочется, хоть какого-нибудь успокоения. Но нет его даже во сне...» — так пишет В. Астафьев в одном из своих рассказов, а вернее, лирических исповедей, какими чаще всего и являются его рассказы последних лет.

Первую часть своего «Последнего поклона» Виктор Астафьев опубликовал в 1968 году, и писал он ее целых десять лет, видимо, урывками, в свободное от «настоящей» работы время. А главной работой для него в то время были рассказы для детей и один роман «из колхозной жизни», о котором автор, по собственному признанию, поминать не любит, считая своей неудачей, хотя и поучительной. И публикуя тогда «Последний поклон», писатель совершенно определенно ставил точку в воспоминаниях о своем деревенском сибирском детстве и продолжать их не собирался, о чем недвусмысленно свидетельствовали слова автора: «Вот и перелистал я страницы детства. Писать их было радостно. Прощаться с ними грустно. Расскажешь о детстве — и вроде бы уж навсегда расстанешься с ним». И эпиграф к последней главе тогдашнего «Последнего поклона», еще и названной «Последним поклоном» же (еще одна формально закрепленная концовка в воспоминаниях), взятый из Кайсына Кулиева, гласил о том же:

Мир детства, с ним навечно расставанье...

Кажется, очевидно: перелистал, задержался

там, где чувствовал потребность, и навеки расстался, чтобы обратиться к другим дням, к другим судьбам.

Но вот в 1977 году В. Астафьев снова бьет еще один и опять будто бы последний поклон собственному прошлому. Ну и поклон! Хроника бедствий, проклятие погранному отрочеству. «Счастливая, невозвратимая пора детства...» Нет, Астафьев не повторит ни с горечью, ни с иронией эти классические слова, но именно здесь, на этих горестных, страшных, беспощадных страницах о бедствиях и приключениях игарского беспризорника 30-х годов (кажется, о таком мы еще не читали?), он вспомнит мимоходом Николенку Иртеньева. Без невозможных сравнений, без сентиментального всхлипа, просто так, показывая, что не совсем уж был лыком шит тот вшивый мальчишка, который как ни голодал, а научился воровать только книги из городской библиотеки. Но все-таки, вероятно, и не без внутреннего умысла вспомнит? Да что там Николенка Иртеньев! Снились ли Дэвиду Копперфилду или «маленькому оборвышу» Гринвуда — этим классическим сиротам XIX века — мера страданий бездомности, голода и одиночества в популярной зиме? Тут могут еще прийти на ум относительные сравнения из более близкого времени, из XX века. Ну, может быть, Алеша Пешков, ну, может быть, «Правонарушители» Л. Сейфуллиной с их ранними университетами. Но о литературном ряде, в который вписывается или не вписывается В. Астафьев, потом. Пока надо понять, как рождалась, как строилась эта книга — «Последний поклон». Не сразу рождалась: целых двадцать лет. И не просто строилась, а постепенно вбирая в себя жизненный и литературный опыт ее автора, на ходу перестраиваясь в связи с этим опытом, прямо всасывая одно из уже написанного им в иных жанрах и туго отжимая из этого написанного другое.

Так, оборвав горестные забубенные воспоминания о бездомных скитаниях приходом в детский дом игарского беспризорника, В. Астафьев, сделав солидный временной пропуск в его биографии, присоединил к «Последнему поклону», помещенному в издании своих повестей 1977 года, уже публиковавшийся ранее рассказ «Пир после победы» — рассказ о возвращении на родину в послевоенную весну молодого фронтовика. Присоединил без всякой сю-

жетной последовательности (она как будто никогда и не заботит В. Астафьева), видно, для равновесия и, так сказать, щадя читательские чувства: не оставлять же нас в беспросветности заполярной ночи? Но утешитель В. Астафьев плохой, ложку дегтя он всегда припасет для сородичей и соотечественников, никак не намереваясь кормить их одним медом и по справедливости даже считая, что в чистом виде вряд ли он и полезен.

Однако прекрасна, несмотря на старые раны и новые царапины, была та весна 1945 года, прекрасна в описаниях Астафьева она на каменистых и цветущих берегах Енисея, прекрасна и своим звучанием и овоими угадываемыми ассоциациями в названии рассказа, ставшего заключительной главой одной из частей «Последнего поклона», прекрасны вера и надежда, заключенные в концовке этой главы, отодвигающей темень предшествующих глав за черту прошедшей войны:

«И в сердце моем, да и в моем ли только, подумал я в ту минуту, глубокой отметиной врубится вера: за чертой победной весны осталось всякое зло и ждут нас встречи с людьми только добрыми, с делами только славными. Да простится мне и всем моим побратимам эта святая наивность — мы так много истребили зла, что имели право верить: на земле его больше не осталось».

Так высказалось в 1967 году, под этими словами (чуть исправив их) снова подписался В. Астафьев в 1977 году. Это ли не точка в воспоминаниях о детстве, оставшемся там, за «глубокой отметиной» войны?

Ну, а в 1978 году в номере первом «Нашего современника» появилось еще четыре главы все из того же «Последнего поклона». Теперь уж и не так неожиданно: формального прощания автора с читателем не было, было даже как бы обещание что-то разъяснить и добавить в противовес «святой наивности» отвоевавшихся побратимов. Неожиданно, может быть, лишь то, что автор не начал с ответа на эти слова о «святой наивности» и не продолжил, например, рассказ о пребывании героя в детском доме: астафьевская «педагогическая поэма», беспощадная, начинающаяся картиной похорон недавнего беспризорника, избитого до смертельной болезни, целиком осталась в давней и необычной для Астафьева своей внутренней законченностью по-

вести с жестким названием «Кража». А сейчас писатель вдруг вернулся снова к самым далеким воспоминаниям деревенского детства, вспомнил когда-то пропущенные и обернувшиеся чем-то драгоценным еще и еще его подробности.

Так, первая глава новой части «Последнего поклона» «Гори, гори ясно» вся целиком посвящена описанию, я бы сказала, почти этнографическому по обстоятельности подробностей таких забытых или полузабытых ныне народных игр, как бабки, лапта, неведомая, например, мне игра в кол (может быть, чисто сибирская?) и веселые горелки, игра, всегда волновавшая явным, всенародным признанием в избирательном и иногда тайном тятотении друг к другу ее участников. И неужели нигде уже не играют теперь в лапту, что потребовалось такое подробное, прочувствованное ее описание? А ведь в отличие от бабок в лапту на нашей памяти играли не только в деревнях, но и во всех российских городах, на всех улицах и во всех дворах. И если для бабок исчезла, как это точно объяснил В. Астафьев, сама ее «материальная база», то кусок-то деревяшки, нужный для лапты, вероятно, еще найдется? Ну, а в горелки кто-нибудь где-нибудь играет? Ей-богу, не знаю. Не видела давно.

И вот то, что не знаю, не вижу, а помню, прекрасно помню горячий азарт при игре в лапту и тайное замирание сердца в горелках (а вдруг никто не выберет, не протянет руку, вдруг никому не нужна?) — уже одно это говорит о реальной почве такого скрупулезного «этнографизма», который проявил в своих новых последних «поклонах» В. Астафьев. Л. Н. Толстому в «Воскресении» не надо было объяснять читателю, что такое горелки. Как многое изменилось на наших глазах из того, что не менялось столетиями! Как быстро оно уходит из нашей общей памяти!

«Этнографизм», «натурализм», усиленное фиксирование и жадное накопление социальных, бытовых, обрядовых подробностей приходят в литературу волнами, чередуясь с периодами потребности в отвлеченной обобщенности и условности. И чем выше волна обобщенной мысли и отвлеченной условности изображения, чем дальше воображение художников отрывалось от грешной земли, чтобы обозреть ее же с подлунной или даже надзвездной высоты, тем неизбежней приходится следующему поколению пишущих (или тому же поколению,

но на следующем этапе работы мысли и чувства) возвращаться к новой стадии процесса накопления и сохранения крупинок реального бытия.

В иные эпохи это внимание к будничной правде в ее наиреальнейших подробностях обращено к современности. Так родилась в 40-х годах прошлого века русская «натуральная школа» из насущной потребности узнать точно и в подробностях, как и чем живут демократические низы богоспаемого отечества, которому со всей очевидностью предстояли большие исторические перемены. Тогда деятели литературы бросали друг другу упреки-призывы: «Мадагаскар нам едва ли не известнее Орловской, Вятской губерний». И на какую гигантскую волну общемирового масштаба поднялась следом возросшая на почве «натурализма» и могуче оттолкнувшаяся от этой предварительно исследованной почвы русская литература!

Со многими отличиями, но в чем-то и схожее внимание к прозаическим подробностям текущего сиюминутного бытия в его остросоциальном аспекте возникло в советской литературе в середине 50-х годов. Девятого вала общемирового масштаба, правда, пока не заметно, но и малая волна честного накопления примет реального существования рядовых сограждан сыграла свою историческую роль. И когда в середине уже 60-х годов сменила ту волну новая — волна острых, пристрастных воспоминаний о своем собственном прошлом и прошлом своих родителей и прародителей, — она вобрала в себя инерцию и энергию и той, предшествовавшей: накопление, а в данном случае и восстановление и реставрацию мельчайших подробностей ушедшего быта, нравов, обрядов и выросших на их почве характеров недавнего прошлого.

Творчество В. Астафьева, и в частности его «Последний поклон» как некий двадцатилетний итог этого творчества в смысле процесса, охарактеризованного выше, очень показательны. Рассказывая, например, о самых первых побуждениях написать книгу, ставшую через двадцать лет «Последним поклоном» в его сегодняшнем виде, автор ее прежде всего говорит о своем желании восстановить некую конкретную истину о прошлом Сибири в противовес расхожим отвлеченным представлениям о нем:

«В 50-е годы, когда в Сибири развертывалось строительство Братской и Красноярской ГЭС... в нашей литературе появилось

немало произведений, повествующих в стихах и прозе о покорении и освоении этого края. Тогда-то меня насторожило и больно задело одно обстоятельство. По некоторым книгам получалось так, будто бы здесь до этой поры никого и ничего не было. И захотелось мне сказать свое слово о Сибири... В то время и были сделаны первые зарисовки. Я начал писать, не думая еще, что из этого получится книга...» А говоря тогда же о своих будущих планах, о желании написать книгу о войне, В. Астафьев и предполагаемым ее названием («Рассказы на госпитальной койке»), и некоторыми акцентами в замысле подчеркивает, что и в этом великом пласте прошлого его интересует будничная правда и неоднозначная, еще не подогнанная ни под какие тезисы пестрота жизни рядовых его современников: «...Собираюсь написать какую-то бытовую картину войны с разных точек зрения, увиденную разными людьми...» (разрядка моя. — Е. С.)

Однако совершенно понятное, не требующее, кажется мне, долгих разъяснений наше общее стремление восстановить и сохранить смытые временем подробности нами же прожитого приводит к тому, что в современной литературе сейчас иногда как в современном же антикварном магазине: не то удивительно, что в таком магазине среди отжившей дешевой рухляди (дешевой не по цене, а по истинной ценности) редко-редко блеснет истинная находка, созданная мастером иных времен, — это-то в порядке вещей, дарования ни в какой области на полу не валяются, — а удивительно то, как потребитель легко принимает отжившую рухлядь старинного ширпотреба за истинный шедевр, и только потому, что сделано не сегодня: *made in the past*. Происходит какая-то, видимо, неизбежная, но и не совсем здоровая реакция на недавнюю «модерновость» вкусов, отталкивание от них, но одновременно и некая абберрация зрения.

Процесс этот общемировой, обратная, так сказать, сторона технической революции, и понятно, что в него сегодня попадает писатель вместе с читателем: желание восстановить и сохранить забытые или утерянные ценности прошлого куда как современно (еще час, ну, еще день, и будет совсем поздно), писатель и читатель жадно и благодарно стремятся удовлетворить это желание. Однако тут весьма часто дешевая подделка под старину и под народность

легко сходит за утерянный и вновь обретенный клад. Ведь невиданная широта, с какой в наше время приобретают массы первичные навыки культуры и первейшие сведения о ней, возможна, по-видимому, только при определенном уменьшении ее глубины. Что же удивляться резким зигзагам на этом пути? Другое дело, надо ли оставаться по отношению к ним молчаливо-равнодушными. Думаю, не надо.

Все вышесказанное имеет целью попытку наметить некий прежде всего исторический ряд, в котором должно найти место книгам В. Астафьева, точнее — его «Последнему поклону», чтобы соотнести его творчество хоть в малой мере и хотя бы в отвлеченной форме с тем, что происходит вокруг. Без этой попытки как понять явление? А что Виктор Астафьев — явление знаменательное, кажется, давно уже доказывать не нужно.

Но чтобы перейти из общеисторического ряда в ряд литературный, с ним безусловно связанный неразрывно, но имеющий и свои особенности, необходимо сделать хотя бы две оговорки.

Во-первых и особенно: для литературы, обращенной ли к настоящему или к прошлому — все равно, высшей ценностью является правда. Понятие это, спору нет, для художественного творчества, неизменными атрибутами которого являются вымысел и поэтическая фантазия, очень сложное. Но здесь речь идет об элементарном свойстве этого понятия: каждый пишущий, да и говорящий, то есть каждый человек, сознательно обращающийся к слову и со словом, прекрасно знает, когда он лжет, когда он приближается хотя бы ради житейской экономии сил, когда он не может добиться истины в силу своего «словесного» несовершенства и когда он до нее действительно добивается. Так вот, В. Астафьев в «Последнем поклоне», этой, по собственному признанию его, самой большой и неизбывной любви, беспрепятственно и неустанно добирался через дебри своей цепкой, беспощадной, непрощающей и вопрошающей памяти до правды — своей и нашей, общенародной. Отсюда бесчисленные редакции «Последнего поклона», восстанавливающие все новые и новые подробности жизни героя-рассказчика, вбирающие в себя то, что появлялось раньше в виде отдельных рассказов. Отсюда композиционные перестановки частей книги в разных ее публикациях. Отсюда же и публичное признание писателя при окон-

чании двадцатилетней работы: «Вполне возможно, что пройдет время... и я вернусь к «Последнему поклону».

Во-вторых и неотъемлемо от во-первых: в лучших образцах современной прозы самого последнего времени, подвластных общему стремлению раскопать, накопить и сохранить подробности и черты прошлого, происходит одновременно и стремление при сохранении всей точности реалий оторваться от груды голых фактов, преодолеть натурализм и этнографизм ради некоего высшего синтеза правды.

Стремление к высокому синтезу при повышенном внимании к точности бытовых реалий осуществляется сегодня разными, хотя и давно известными в искусстве путями: и чудом высшего, на мой взгляд, рода обобщения — созданием реалистических характеров, сопрягающих в себе не всегда подвластные простой логике противоречия бытия; и изобретением форм смелой условности, метафорически обобщающих наблюдения художника над этим же бытием (таковы, например, образы Хозяина в «Прощании с Матерой» В. Распутина и царь-рыбы у В. Астафьева); и пафосом высокого лиризма, глубиной открытого чувства, поднимающего и объединяющего невообразимую пестроту жизненных случайностей в нечто общее, силой гипнотического внушения должно вызвать в нас, читателей, ответное сочувствие. И как различны сегодня соотношения этих, иногда противоположных, иногда одновременных путей, степени художественной гармоничности их пересечения (что означает в конечном счете степень ясности мысли, владеющей художником и внушаемой им читателю)...

Творчество В. Астафьева в целом, а его «Последний поклон» в частности, лучший, показательнейший и этому пример: тут так причудливо столкнулись, так густо сплелись, а в лучших местах книги и прочно сплелись тенденции современной прозы, о которых речь шла выше. Нелегкая работа в них разобраться. Но так манит надежда внести хоть каплю ясности в то, что все еще предстает как бы загадкой, в то, что мерцает тайной, заключенной в каждом органическом явлении.

Пока только одно бесповоротно: когда говорил об Астафьеве, сразу же надо отсеять подозрения в эстетской стилизации под старину и народность, в стороннем любовании национально-обрядовыми чертами народной жизни. Вот уж в чем

неповинен, так неповинен. Разве только чуть-чуть в живописном этнографизме языка, усиливающимся от книги к книге?

Во всяком случае, В. Астафьев с его жестким опытом русского крестьянина по происхождению, к тому же советского гражданина 1924 года рождения, то есть кое-что помнящего и за «глубокой зарубкой войны», да и сами «зарубки» носящего на себе, знает истинную цену любым подделкам под народность. Исторический опыт его поколения отразился и выразился довольно откровенно во всех книгах Астафьева, но прямее всего в «Последнем поклоне».

Не только любовью, благодарностью и вниманием, но и нескрываемой горечью, но и открытой издевкой, но и легкой усмешкой сопровождает он тени ушедших «сродственников»: их характеры и жизненные истории, прекрасные, причудливые, забавные, страшные, и составляют сбивчивый узор рассказа о начальной поре земного существования героя-рассказчика «Последнего поклона».

Он и отца родного не пожалеет. Нет, здесь это не расхожее присловие, здесь это буквально, хотя, надо думать, речь идет не о собственном отце, а о некоем собирательном типе. И не за что герою-рассказчику жалеть такого отца. Пожалеть скорее надо тех, кого столкнула и сталкивает судьба с, увы, знакомым характером нашего соотечественника, чья жизнь представляет не сразу постигаемую трезвым разумом «невеселую комедию, кураж, за которым ничего больше не последует, кроме стыда, ерничества и неловкости». Знаменателен и по смыслу и по строю повествования зачин главы с символическим названием «Бурундук на кресте», намекающим на некое кошунство, и с таким пронзительно иронически-горьким звучанием здесь детского, городского обращения к отцу: «Папа мой, деревенский красавчик, маленько гармонист, маленько плясун, маленько охотник, маленько рыбак, маленько парикмахер и не маленько хвастун...» Глава «Бурундук на кресте» рассказывает о развале крестьянской семьи, покидающей родную Овсянку вслед за той ее частью, что «во главе с прадедом Яковом Максимовичем спокойно спала, впаивая мертвыми телами в непробудную вечную мерзлоту» Заполярья, о горе мальчика, разлученного с деревенским миром — достаточно жестким, бедным и непростым, но полным для него поэзии органической

жизни, а значит, смысла. Разлука маленького героя с родным миром, чувственно, с детской зоркостью воспроизведенная на страницах «Последнего поклона», не утратила заряда истинного драматизма ни из-за малого масштаба вместившихся событий, ни из-за подчеркнута индивидуальной характеристики частного выражения примет нашей общей истории, ни из-за иронического порою тона рассказа о ней.

Несколько иным предстают отношения героя-рассказчика с предшествующим поколением «отцов» — с дедами, в частности с отцом отца, дедом Павлом. Рассказу о нем и его безудержной страсти к рыбной ловле, заразившей внука, посвящена была в предыдущих частях «Последнего поклона» глава «Карасиная погибель» (и как в этом ироническом сочетании простонародного звучания обоих слов и грозного, пророческого смысла второго из них не узнать астафьевского почерка, отражающего его позицию по отношению к сюжету повествования?). Картежник, обманщик, драчун, матершинник, одноглазый плясун, дед Павел воистину отец своего сына, а сын («папа») — измельчавший вариант отца. Но почему же одному нет прощения, только презрительная издевка, а первому, прародителю, есть, все-таки есть, хотя герой-рассказчик так и не может решить, любил или не любил он этого игарского своего деда? Может быть, потому, что в «папе» все «маленько», кое-как, не по-настоящему, а в дэде все крупно, определено, искренне-безудержно? Прощение безудержью «гибельно-сладкой стихии страстей» в подобных русских характерах и в самом деле может вытекать только из истинности и искренности их артистизма, не преследующего никакой «пользы», из бескорыстия их азарта.

Но нет, не здесь пролегал для Астафьева черта между отцом и дедом, между не прощением одного и удивлением перед другим. И ведь мелкая доля артистизма, и фальшивая вспышка искренности, если так можно выразиться, искренности бессовестности, есть и в «папе». Черта между дедом и отцом пролегал в другом измерении: первый платит сам, и сполна за «гибельно-сладкую стихию страстей», им владеющих, второй заставляет платить за них других, встречных и поперечных, в первую очередь встречных женщин и случайно рожденных детей, легко и просто сам уходя от расплаты в младенческую безответственность.

Вот уж подлинно, по определению Достоевского, «случайные семейства» XX века, вот уж истинно отечественная традиция в преломлении условий новейшего времени.

В художественном же плане астафьевского повествования счет, предъявленный внуком «отцам», очень точен: первый, дед Павел, гибнет на наших читательских глазах, утонув в весеннем Енисее, что без особых сантиментов, но картинно изображает рассказчик как некий естественный конец стихийного человека; второй, «папа», бесследно по отношению к сюжету книги растворяется в очередных семейно-бытовых неурядицах, перекладывая заботы земные на свои жертвы. И в то время как «папа» не оставляет сыну никакого духовного наследства, кроме горечи непрощающей памяти и искусства изощренного мстительного презрения, дед, заражая внука азартом каторжно-трудной и гибельно-опасной в «инопланетном» морозе енисейского Заполярья страстью к рыбной ловле, приобщает его — через ругань, колотушки, жадность добытчика — к встрече с природой на равных, с красотой естественного земного мира. Немалое наследство.

Это ведь здесь, на страницах, посвященных в «Последнем поклоне» деду Павлу, впервые в творчестве В. Астафьева возникает образ царственно огромной и таинственной рыбины, «чудища речного» как некоего символа природных сил, властелином и безвозмездным эксплуататором которых легковерно вообразил себя однажды человек и легкомысленно долго еще воображал. Так появился первый эскиз того же, но развернутого образа, давшего название известному и трудноопределимому по шкале существующих жанров сочинению В. Астафьева «Царь-рыба».

И это здесь, на страницах, посвященных деду Павлу, описывает герой-рассказчик чудо-озерцо, лесную свою находку, пленившую и внука и деда прелестной заповедной красотой, о которой даже старый матерщинник заговорил вдруг в самом возможно высоком для себя стиле: «Ишь, какое озерцо — зеркальцо! Упряталось, понимаешь, в арёмнике! Ах ты, ах ты! Вот и не верь тут... насчет бога. Есть че-то, есть! Прячет от нас, поганцев, экую вот невидаль! А то ить захаркаем!»

О том, как первыми начали «захаркивать» божественную красоту лесного озера восхищенные его первооткрыватели, запугав и погубив в поставленных тут же се-

тях стаю уток-нырков вместо рыбы, о том, как рухнула мечта мальчика получить от восхищенного чудесной находкой деда в награду «сатинету» или какой другой мануфактуры на рубаху (а может быть, даже не надевавшие еще им кожаные ботинки?), рассказано будет тут же и с большой долей горечи и насмешки над легковерием своей былой доверчивости.

Но здесь же, и не кто другой, как Драчун и ругатель дед Павел, обращаясь к внуку, изречет и нечто совсем уж другое — общее и высокое: «Счастлив ты, однако, парнишонка. Не участью-долей, душой счастлив. Красивое да доброе видеть, может, в этом-то счастье и есть? Кто знает». Благодарно воспримет это знание внук от дедов. Во всяком случае, став через десятилетия писателем, положит его в основание своих отнюдь не утешительных сочинений.

Впрочем, небезынтересно для представления о развитии этого писателя сопоставить встречу с лесным чудом в «Последнем поклоне» с астафьевским рассказом 50-х годов «Васюткино озеро». Озерцо-то по всем приметам осталось то самое, только в давнем том рассказе мальчишескую находку отнюдь никто не «захаркивал», а служила она тогда верой и правдой для выполнения рыболовецкого плана бригадой, возглавляемой славным отцом героя. И то сказать, «Васюткино озеро» — рассказ для детей, а «Последний поклон» — сочинение для весьма взрослых. Но, думается, не только в жанре дело, но и во времени. Теперь писатель не склонен искать утешений сюжетного свойства, теперь он громадной глыбе трудных подробностей жизни своих земляков и современников противопоставляет идеал добра и красоты, нужный человеку как воздух и ожидаемый им постоянно и вечно.

Сочетание злой беспощадности в наблюдениях над существованием и характерами соотечественников и душевной памяти о некоем реально же существующем в народной жизни идеале красоты и добра, присутствующем всем четырем последним главам «Последнего поклона», может быть, наиболее развернуто раскрывается в главе «Сорока», посвященной еще одной характерной биографии. Герой-рассказчик с вниманием, любовью и насмешкой всматривается в облик еще одного родственника, дяди Васи Сороки, в еще один образец, так сказать, русского народного артистизма. Он предстает

в астафьевском изображении во всем очаровании и избытке своих стихийных жизненных сил, счастливой беззаботности, нерасчетливой рисковости и легкой удачливости. Но не скроет писатель и жестокую, неотвратимую цену, заплаченную за опасное неумение управлять этим избытком, за безалаберное нежелание укрощать беззаботность, за чуть ли не аристократическое пренебрежение (ко времени ли столь феодальные добродетели?) к соразмерности риска с целью.

Дядя Вася Сорока — одно из самых ярких, самых светлых и добрых (после бабушки) лиц в жизни мальчика из развалившейся семьи, из опустевшего дома, из разоренного села, мальчика, «совсем уж отучившегося что-то просить у людей», но без всяких просьб одариваемого дядей Васей — случайно и походя, бессистемно и безответственно, но и бескорыстно, но и щедро, но и без назиданий — то сытным обедом, то неожиданным весельем, то безалаберным временным кровом и, наконец, последним серьезным «прости» перед уходом самого дяди на фронт. Тут-то вдруг оказывается, что у шумного, любимого женщинами, окруженного всегда людьми дяди Васи нет никого, кроме подростка-племянника, с кем бы мог он выпить по обычаю на прощание в вокзальном буфете перед уходом на войну, перед гибелью, кому он передал бы свое простое и жизнью оплаченное завещание: «Не все наше перенимай, много мы наболтали и нашумели. Главное — не пей». Этот-то завет нашумевшего, наболтавшего, много выпившего дяди Васи, завет, сопровождаемый ироническим примечанием автора: «Как и всякий истинно русский мужик, дядя крестился, когда грянул гром», — прямо предваряет в ассоциативно построенном астафьевском повествовании кровавые картины войны, страшную встречу героя с мертвым дядей Васей. Своими руками в чужой земле похоронил герой-рассказчик того, кто так смело-форсисто, весело-безалаберно, щедро и бездумно начинал свою жизнь на берегах Енисея: «Христос с тобой, Вася!»

Прямая отповедь существу ради утверждения исподволь идеала добра и любви, сопровождающая все рассказы о всей «родове» героя, проступает и в прямом авторском слове, в открытых публицистических спорах писателя с некоторыми своими современниками.

Не только отца не пощадит автор «По-

следнего поклона», но и некоторых родных и «святых» обычаев старины, трогательных для более мягких или менее осведомленных, менее битых жизнью соотечественников, но не трогających, как сказали бы мы на привычном литературном языке, сердца данного автора или, как сказал писатель сам, его «нутра», ко которому давно уже выросла «щетина».

В главе «Без приюта», рассказывая об одной из унижительных минут своего тяжелого отрочества, писатель дает собственное толкование и откровенную отповедь одному из старинных сибирских обычаев. Он подробно расскажет нам, как «бабушка из Сисима» с дедом Павлом угостили однажды бездомного внука «супом-вылупком», соблюдая традицию исконного православного милосердия, но и не забывая о благоразумии его границ. И вспоминая о той проклятой для души, но спасительной для тела миске супа (может, ведь и вправду сгиб бы в ту минуту мальчишка без того супа от голода?), писатель с ожесточенной прямоотой и, верно, не сохраняя полной меры справедливости, скажет, что он сам и сегодня думает о традиционном обрядовом благолепии обычаев, в том числе и обычае милосердия:

«Знают они, хорошо знают — кто сирых питает, того бог знает. Заповедь Христову: «Оденем нагих, обуем босых, накормим алчных, напоим жаждущих, проводим мертвых — и заслужим царствие небесное» — помнят, вот и стараются изо всех сил выполнить заповедь-то, только так, чтобы не накладно было... Соорудили в сибирских дворах оконца на воротах, выставляют туесок с квасом, зобенку с солью, каравай хлеба — для «страждущих, нищих и бездомных», умилая этаким «благодатью» «знатоков кондового быта». А по мне — они просто дешево откупаются от беглых каторжников, бедовых людей, чтобы те не вломились под крышу и не унесли больше, как откупаются вон от меня сулишком бабушка из Сисима с дедом Павлом».

Справедливая биографически (почему бы нам не поверить столь обнаженной личной обиде?), эта отповедь, в которой, право же, слышатся отдаленные раскаты голоса неистового протопопа, отчитывающего за грехи и отступничество своих современников XVII века и корящего их текстами из писания, может быть, эта отповедь и не совсем справедлива по общему счету: ведь

не худший же все-таки вид «откупа» от беды представлен здесь? И может, и правда кому-либо из страждущих и сирых этот откуп иной раз спасал жизнь? Да ведь и не совсем же даром давался и тот каравай, что выставлялся за ворота из каких бы то ни было побуждений? Но эта страстная, и как все страстное, не в полную меру справедливая отповедь «знатокам кондового быта» ведет автора «Последнего поклона» к воспоминанию-мысли, имеющей уж во всяком случае не только биографический смысл и выраженной со все той же, свойственной В. Астафьеву горечью, о том, как забыли они, его соотечественники, сами битые и перебитые, голодавшие и холодавшие, о милосердии, но не обрядовом, а сущностном.

«И оцегиненным нутром я не приемлю копеечной доброты, но, мучаясь, недоумевая, изо всех сил пытаюсь и не могу понять, как эта вот самая бабушка из Сиси-ма отправилась в неведомые, полунощные края с малышами, чужими, считай, детьми и как она сама, выросшая в сиротстве, и за одно это благоговел я перед нею, как это она, подкормив себя и семью докторскими обедками, забыла, сумела за абыть день и час, когда, изувеченно ломаясь в поясище, кланялась люду, остающемуся на Овсянском берегу, прижимая вцепившихся в юбку ребятишек, не в силах чего-либо молвить, тыкала в них пальцем, слепыми от слез глазами спрашивала людей и небо, что она станет с ними делать в чужом краю, среди чужих людей?»

Так автор «Последнего поклона» в этой захлебывающейся собственным гневом фразе рассчитался с беспамятливой жесткостью и эгоизмом. Они, верно, не так бы его и беспокоили, если бы наблюдались лишь в одной его «родове», но не коснулись бы более широко его земляков, соотечественников и современников.

И все-таки если и бьет писатель на этих страницах благодарный земной поклон — без оговорок, без издевок, со счетом только к себе, молодому и неразумному, — то бьет он его снова и снова (в который раз в литературе последнего десятилетия!) деревенским бабушкам, в данном случае в лице овсянковской бабушки героя-рассказчика Катерины Петровны. Ее живой, любовью согретый и любовью одаривающий образ проходит через все части и главы этих жестких воспоминаний колхозного

сироты, игарского беспризорника, железнодорожного фезеушника военной эпохи, фронтовика, инвалида войны, русского писателя. Памятью о бабушке, любовью к ней, виною перед ней и желанием загладить вину хотя бы рукотворным ее образом и были вызваны те первые главы «Последнего поклона», которые заканчивались писателем в 1967 году, и заканчивались повинным рассказом о том, как просила одряхлевшая бабушка вернувшегося с войны солдата приехать похоронить ее, закрыть ее «глазньки», а он не смог: начальник отдела кадров не отпустил «с производства» (тут в самом языке рассказа столкнулись два ряда представлений о ценности, как не раз это будет еще у В. Астафьева с его резкой, контрастной речевой палитрой). И словами мольбы о прощении вольной и невольной вины, обещанием ее искупить кончались тогда главы того «Последнего поклона»: «Бабушка, бабушка! Виноватый перед тобою, я пытаюсь воскресить тебя в памяти, рассказать о тебе людям. Непосильная эта работа. Нет у меня таких слов, которые передали бы всю мою любовь к тебе! Согревает меня лишь одна надежда, что люди, которым я рассказал о тебе, в своих бабушках и дедушках, в близких и любимых людях отыщут тебя и будет твоя жизнь беспредельна и вечна, как вечна сама человеческая доброта». Надежда писателя сбылась, «Последний поклон» читают всенародно, читают в тех семьях, где, по ироническому выражению автора, «книга не является, как у нас говорят, «другом семьи». Чем иным, как не родственной отзывчивостью может быть объяснима популярность подобной книги?

А умиленности нет в изображении этой бабушки, этого наиболее близкого к реальному прототипу образа книги, но в то же время, конечно, и собирательного, обобщенного образа. «В любом случае герой — это какой-то вымысел. Даже моя бабушка в «Последнем поклоне»... не совсем соответствует реальной бабушке», — признается писатель, но, прибавим мы, соответствует общим чертам и общим вехам женской судьбы и народного характера из старшего поколения наших современников.

На разных страницах «Последнего поклона» вырастают то в прямом живописном изображении или звуковым отражении живой речи, то в мыслях героя разные облики Катерины Петровны. Вот бабушка-«генерал», крутой, боевой командир большого

семейства, где «не принято было обсуждать бабушкины действия», смело ведущая его через все житейские передряги и исторические перевалы. А вот в 33-м году, когда село Овсянку «придавило голодом», бабушка спасает семью, выменяв на картошку свою единственную ценность — швейную машинку «Зингер», отослав в красноярский торгсин золотые сережки — последнюю вещественную память о дочери-утопленнице. «Бабушка усохла. Кость на ней выступила, а характер ее, крутой и шумный, заметно смягчился... И не голосила она, не причитала, как обычно, а плакала, как-то загнанно, надсадно всхрапывая. Кости на ее большой, плоской спине ходуном ходили, руки, выкинутые на стол, лежали мертво. Крупные, изношенные в работе руки с крапинками веснушек, с замытыми, переломанными ногтями лежали как бы отдельно от бабушки».

А вот зрительный жесткий портрет изработавшей крестьянки сменяется воспроизведением поэтической в своем самобытном словотворчестве самодеятельной молитвы бабушки: «Мира заступница, мати всенежная, я пред тобою, грешница, мраком одетая... Аще человек в дому своем в чистоте содержит, то в том дому будет рабам здравие, скоту прибыток, к тому дому не прикоснется ни огонь, ни тать...» А вот не раз и не два в воображении героя возникает распластанное горем тело бабушки над телом дочери-утопленницы. А вот черный образ нищей, гонимой старухи под окном избы, где лежит больной мальчик, увозимый «веселой семейкой» из родного гнезда: она и здесь не просит, а по-прежнему ищет проявить деятельную, ни с чем не считающуюся любовь к ближним. И, наконец, последнее прощание с бабушкой в том «Последнем поклоне» 1967 года, о котором уже была речь выше.

Но не утихающей ли памятью-любовью продиктованы и новые главы «Последнего поклона»? Они опять вызвали к жизни решительный и ласковый, бранчивый и песенный голос бабушки, похороненной без последнего «прости» внука, замолвившего не только свою, но и многих своих соотечественников вину созданием этого поистине народного образа?

А когда пытаешься собрать воедино, расставить в некоем не только хронологическом (что тоже не совсем просто), но и художественно-смысловом порядке связанных по закону свободных ассоциаций куски

«Последнего поклона», его разновременные, разнотипные, разнохарактерные главы, выстраивается в каком-то особом поэтическом соотношении образ бабушки и образ матери героя: словно плотным маслом написанный и озвученный всеми средствами современной техники портрет бабушки, за которым стоит дар памяти и дар живописного слова, и таинственное, беззвучное, возникающее и уплывающее тело матери-утопленницы, предстающее воображению писателя-лирика.

Все как будто бы просто объяснимо. Бабушка Катерина Петровна, плохо ли, хорошо ли, но как уж было дано ее народу, изжила на земле свою стариковскую жизнь, и жизнь эта предстает на страницах книги в реальности характера, быта, времени и места. Мать-красавица, мать-утопленница, трагически сгинувшая, вечно оплакиваемая сыном, образ, то таинственно появляющийся в местах высоких раздумий героя, то исчезающий из его воспоминаний будто бы насовсем, — что это за образ? Я не берусь перевести его смысл на язык презренной прозы, но нечто глубоко поэтическое и символическое видится мне в нем, и особенно в сочетании с песенными плачами бабушки, его сопровождающими и окрашивающими прозу Астафьева в народно-поэтические тона.

Язык последних книг В. Астафьева — это, пожалуй, то, что при широком интересе к ним вызывает сегодня больше всего споров у читателей самых разных вкусов и интересов. Ведь раньше — свои первые книги для детей и подростков — Астафьев писал совсем ясным и простым языком, а при чтении «Последнего поклона», приходится признаться, не раз случилось обращаться к Далю, любопытствуя, на каких дорогах времени и пространства подобрал писатель то или иное словечко, и какое из них успело, а какое еще нет быть отмеченным в прославленных летописях отечественной речи. «Хлюзда», «клянтый», «хиус», «заворжна», «базлать», «чеча»... А ну-ка, попробуй с ходу угадай, что каждое из этих слов значит? Боюсь, немногие читатели выдержат эти тесты. И кого в этом случае корить: читателя за невежество и бедность языка или писателя за пренебрежение к общенародной доступности? А когда в «Последнем поклоне» речь пойдет о старом деревенском быте, тут откроется мощный поток слов, им порожденных и в нем, понято, и оставшихся: «жалица»,

«слань», «пестеря», «гуня», «обротъ», «кулиги»... И тут уж точно будешь на стороне писателя: это его миссия сохранить в нашей памяти вместе с понятиями и их наименования. Но когда автор «Последнего поклона» скажет не «дыхание», а «дых», не «богатство», а «богачество», не «надежда», а «надёжа», не «обрезки», а «обрезь», не «стеганное», а «стеженное»?.. Необходимо это или не очень? Нет ли тут доли нарочитого щегольства? А в согласии уже не просто с деревенским обычаем, но с давней традицией предков Астафьев еще явно питает пристрастие и к уменьшительным формам существительных в том особом смысле, какой присущ им в фольклоре и древней литературе: «человечишко», «сенёкосишко»...

Так что же это — стилизация, имитация крестьянской речи в ее стародавней форме? В том-то и дело, что нет. Стилизация предполагает оглядку на устоявшиеся, во всяком случае уже опробованные образцы, особо строгий отбор языковых средств, осознанный эстетизм. А тут — никакого пуризма. Ведь у Астафьева рядом с «гунями» и «жюльдой» иногда на соседней странице, а иногда в той же фразе и «манто», и «кадры», и «технология», и «дефект», и «местное распределение», и «пробуксовка»... И с такой же простотой и свободой в соседстве с древним мнимо уничижительным «человечишкой» и старокрестьянским «богачеством» — жаргонизмы, на наших глазах возникшие и пока никакой традицией, кажется, не обросшие: «что-то не таё», «испереживаешся», «мозгой» (вместо «мозгами»), да тут еще и совсем особое, вероятно, собственное словообразование «желдормат», может быть, и шокирующее нежные уши, но, что греха таить, весьма к месту изобретенное.

И как же ко всему этому вместе надо отнестись? Как хотя бы я сама к этому относиться? Признаюсь: еще не знаю. Пока не знаю. И не скрою: иногда словесная раскованность (а, может, нарочитость?) Астафьева вызывает и во мне сопротивление, идущее от привычки к устойчивым (а, может, дистиллированным?) формам литературного языка. А иногда — невольную улыбку одобрения хлесткости, пренебрежения шаблоном. Но иногда, но в лучшие избранные минуты — ответный стук сердца на высокое звучание речи, то негодующей, то куда-то зовущей. И тогда прощаешь и то, что коробило, что определенно можно отнести к излишествам, рожденным сопротивлением

писателя выхолащенной общедоступной гладкописи. Тогда понимаешь, несмотря на издержки этого сопротивления, неотторжимость частных от целого, если это целое — живое, ищущее, тоскующее, восхищающееся и зовущее. И потому не стану спешить с окончательным суждением. Слишком хорошо знаю, что язык писателя — самое верное зеркало сущности его творчества, и такая это тонкая материя, что для точного его анализа требуется специальное место, а для его оценки — время. И эта важнейшая работа с огорчением, но вынужденно оставляется нами на неопределенное «потом».

А пока ограничимся самым приблизительным и общим суждением: хотя и вызывает порой внутреннее сопротивление, кажется иногда искусственным безмерное наигнание в прозе Астафьева потока изысканных диалектизмов (изысканных, потому что не всем и не везде понятных), все-таки сложная стилистическая амальгама этой прозы в целом, и без оговорок, но как направление поисков очень точно отвечает смыслу последней книги писателя. Стихийная пестрота ее языка и стиля, в общем, органично выражает страсть и искренность ее лирического напора, ищущего отразить многое и разное из жизни писателя как части жизни народной и потому черпающего и словесный материал из всех пластов этой пестрой жизни. Традиционные плачи, старинные причитания, присловия и поговорки, молитвы и частушки, диалектизмы и уходящие в даль времен простонародные грамматические формы языка — все это резко-контрастно сочетается в прозе Астафьева с деловым словарем современности, с плодами его грубых жаргонов — то уличных, полублатных, то даже таких, что недавно еще считались непечатными. И сами эти сочетания свидетельствуют о быстроте протекания социальных процессов в нашей стране, безобманым зеркалом которых служит подобный язык. В нем совместились, смешались, слились не полностью, не гармонично, но слились следы столь иногда далеких друг от друга времен и нравов.

И, кажется, именно этому свойству прозы Астафьева, в первую очередь его пестрому, вздыбленному, ощетиненному, опускающемуся на дно жизни и поднимающемуся в небесные выси языку, и дано осуществлять ассоциативную связь разных пластов повествования, дано поднимать жесткие, грубые, беспощадные картины реаль-

ного бытия до высот истинной поэзии: точность исторических подробностей народного существования, жесткая прямота рассказа о горьком и больном, надрыв и самоиздевка, выраженные отнюдь не нежными литературными средствами, непостижимо просто и быстро переходят в пафос самого высокого и чистого лиризма.

Эти свойства прозы В. Астафьева были заметны и раньше, в первых частях «Последнего поклона». Но кажется ли только мне или в самом деле они, эти свойства, приобрели некий иной, более общий смысл в последних главах воспоминаний писателя, опубликованных в 1978 году.

Впрочем, оговорюсь: самую последнюю главу последней публикации в «Нашем современнике» — «Соевые конфеты» — в целом, хочешь не хочешь, а приходится исключить из этого ряда, нового по набранной высоте астафьевского лиризма. Много и здесь интересного, точного, оживляющего нашу общую память, а то и раздражающего душу. Но много и такого, что, прибавляя еще и еще сведения об индивидуальной биографии героя, так точно совпадающей с биографиями его современников, все-таки при этом не становится высокой поэзией общего смысла.

Как же определить, где кончается биографический фактографизм и начинается поэзия или, напротив, где именно происходит спад в обратную сторону — от общего к частному? По каким приметам отделяется одно от другого?

Приметы такие существуют, и отделить одно от другого, конечно, можно, только для такой работы нужно много места и времени. Пришлось бы тут придирчиво разобрать слово за словом всю главу (не журнальное дело!), чтобы доказать, что многие любопытные подробности, вероятно, безукоризненно точные как свидетельства причуд личной биографии (зачем бы такое придумывать?), в общем строе «Последнего поклона» не оказываются, однако, ничем большим, чем записью замысловатых фактов частной жизни. К числу таких подробностей, по-моему, относятся и рассказ о необычном доме сержанта Феда Россохина, живущего в городской нестандартной роскоши, а говорящего деревенским языком, и неизгадлимы из сердца героя воспоминания об еще более необыкновенной сестре этого сержанта, и портрет профессора — футбольного болельщика, и речь этого чудака-спасителя, да и рассказ

о пирате Фоме-ягненке, некогда пленившем воображение героя как читателя.

Обидно, но к концу «Последнего поклона» иногда чувствуется некий спад повествовательной энергии автора, видимо, злоупотребившего штрихами своей собственной биографии, обширностью запасников своей памяти, а, может быть, и благодарной отзывчивостью читателя за его предшествующие воспоминания (благодарность, любовь, преклонение — это всегда так соблазнительно и опасно). Однако не все тебе самому понятное и дорогое становится дорогим и необходимо другим людям. Как много для этого надо условий! И рецептов для их соблюдения готовых, увы, нет. Только чувство меры, строгость самоограничения, и я была почти готова сказать «скромность», если бы не знала, что это-то прекрасное человеческое качество, столь драгоценное в жизни, с процессом творчества, а тем более творчества лирика по преимуществу, почти и несовместимо. Поэтому ограничимся простым сожалением о возможном недостатке строгости отбора.

А вот о трех других последних главах «Последнего поклона» — «Гори, гори ясно», «Сорока» и «Приворотное зелье» — напротив, можно смело сказать, что в качествах их лиризма, в тоне их изложения, в самом их построении появилась некая иная степень художественной законченности и обобщенности, чем в более ранних частях того же многоступенчатого сочинения.

Читая названные главы, приходишь к мысли, что части эти были вызваны к жизни далеко не только распространенным чувством, когда нет сил расстаться с прошлым. Нет, тут видна и устремленность писателя к опробованию на старом материале постепенно обретенных новых качеств собственного стиля. То есть, рассказывая примерно о том же самом, о чем и раньше (о детских деревенских забавах, о причудливых характерах и судьбах односельчан и родственников), или добавляя иные пропущенные звенья из жизни героя-рассказчика (картины войны, картины военного тыла во время службы на железной дороге, два пеших паломничества в родную Овсянку), автор добивается большой обобщенности лирического чувства.

И довольно ясно, откуда новые качества астафьевской прозы взялись: на этих страницах чувствуется опыт создания их автором «Царя-рыбы» — сочинения высокого пафоса мысли и гражданского чувства.

Да и как бы он мог не ощутиться? Могло ли такое пройти незамеченным для его создателя и создания?

Попробуем рассмотреть попристальней построение последних глав «Последнего поклона»: на пересечении каких размышлений писателя его «этнографизм» и «биографизм» переходят в обобщенную мысль и взлетают на волю высокого лиризма?

Хотя бы вот и первая глава о забытых на Руси играх, о которой уже шла речь. В замедленном темпе описаний всех подробностей, сопряженных с этими играми, проступают две линии образов-размышлений: обнаженная жестокость жизни недавнего прошлого наших современников и противоречия русского народного характера — одновременно и как следствия и как причин этой жизни. Эти две линии и суть главные предметы данного сочинения, а, может быть, и творчества данного автора.

Описание одной игры в бабки кончается насмешливой и недвусмысленной авторской сентенцией: «Поживи вот в таком селе!» А эти слова-вызов служат только вступлением для описания поистине страшной игры в кол, по характеристике писателя, «угрюмой, мрачной, беспощадной игры, придуманной, должно быть, еще пещерными людьми», где «голящий» (погородскому «водящий») — «самый честный и тихий человек», и его-то обречение сверстниками на безысходную долю козла отпущения вспоминается писателю как подобие ожидания смертной казни. По мере углубления читателя в дальнейшие главы «Последнего поклона» и по мере сравнения их с написанным Астафьевым ранее, открывается и смысл признания автора в том, что и сами подробности всех этих деревенских забав заинтересовали его как писателя, потому что он увидел в них «слепок» с будущей жизни этих детей, «пусть не обожженным еще в горниле бытия». А повторяя игры отцов и дедов, готовились эти дети на едва протаявших енисейских берегах к будущей войне, и вынести то, что они вынесли, и победить в той будущей «игре» можно было только при такой «подготовке». Ничего этого, конечно, не сказано прямо художником (на то он и художник), но проглядывается сквозь подробности и характеры, и тем яснее и точнее, чем дальше углубляется читатель в страницы «Последнего поклона».

А сама первая глава об играх «Гори, гори ясно» неожиданно кончается светло,

нежно, высокой нотой чистой грусти, безошибочно обозначающей удивительную границу в каждой человеческой жизни между детством и юностью, на какой бы миг истории они ни пришлось. Описание игры в горелки превратилось в высокий взлет лиризма, сопрягающий жесткое земное существование с красотой летнего вечернего неба, с заманчивым и обманчивым очарованием жизни («дурманностью» — на языке Астафьева), под которое на тот или иной продолжительности миг попадает каждое рожденное на этой планете существо, с грустным состраданием к краткости женской судьбы, воплощающей в себе очевиднее всего для человеческого глаза общий закон расцвета, увядания, смерти и забвения — закон, которому противостоит только чудо человеческой памяти и человеческого слова.

И отныне для всех четырех глав «Последнего поклона» 1978 года подобное построение окажется общим: впечатления собственного бытия во всей их прозаической конкретности и жестокой обнаженности (и по фактам и по словесному выражению), а под конец — волна высокого лиризма, сливающая мысль и чувство.

И, конечно, нельзя не заметить, что сам Астафьев награжден тем же избытком сил и артистизма и тем же отсутствием чувства меры, которые он умеет так зорко увидеть в своих соотечественниках. Уже прозвучали в главе «Сорока» слова прощания: «Христос с тобой, Вася!», но писатель снова и снова клянется и прощается. И вот он через много лет на месте давних боев ищет безвестную могилу, но не встречает ничего, кроме яркой стрекочущей сороки, птицы, носящей то же имя, что и погибший родственник. Несколько, я бы сказала, искусственное, если не безвкусное совпадение? Но в тоне рассказа о поисках могилы такой неподдельный трагизм, что чувство читателя сопротивляется собственным же придиркам к возможному недостатку вкуса. До вкуса ли нам?

Но что же неуклонно ведет астафьевского героя от жестокой житейской прозы к вере высшего предназначения, что поддерживает его на этом крестном пути?

А все то же, чего держится нынешний русский писатель в поисках точки опоры: верность родной земле, обретающая порой метафизический смысл некой языческой, что ли, религии. И вот удивительное дело: такая ненадежная, когда она предстает пе-

ред судом отвлеченного разума, и так легко поддающаяся критике трезвого анализа, в формах подлинно художественного изображения эта опора легко и надежно утверждается в сердцах читателя, смятенного теми же чувствами, что и писатель. И читателю «старшего возраста» ведь понятен и знаком этот проделанный в военную пору астафьевским героем путь за душевной и духовной опорой, что описан в главе «Приворотное зелье».

Трезво, буднично, как в анкете, начинается эта глава описанием житейской неустроенности и «пучины душевного мрака», охвативших со всех сторон семнадцатилетнего железнодорожника, только что окончившего ФЗО и с «сосущей тоской» ждущего поворота не балующей его жизни. Но начав с воспоминаний о мальчишеском зубоскальстве, о продаже казенного белья на базаре, о заботе парня, какие же люди попадутся ему в новом «коллективе», писатель и здесь приходит в конце концов к исповеди-предчувствию, к молитве-клятве самого общего и высокого смысла. И путь к ним лежит по берегу великой реки, по старинной тропе в родную деревню, через встречу с дорогими лицами. И на этом пути для писателя все идет в ход.

Встретилась герою по дороге трава-любка (ночная фиалка), и вспомнилось тут же колдовское свойство этой травы, народный заговор, применяемый к этому зелью:

«Пленитесь его... мысли день и ночь, и в глухую полночь, и в кажен час, и в минуту каждую обо мне вечно. И казалась бы я ему... милее отца-матери, милее всего роду-племени, милее красна солнца и милее всех частых звезд ночных...» Современный писатель, В. Астафьев не обойдет этот старинный заговор своей оценкой: «Как достоверительно, как простодушно-то! Только испорченные, зла за душой не таящие, чистые люди могли желать такого высокого и простого себе и возлюбленному».

Примерно на такой восхищенной ноте останавливался когда-то, в 50-е годы, В. Соколов во «Владимирских проселках» и «Капле росы». Но В. Астафьев тут не остановится, а расширит свою оценку старинного присловья самого общего и злободневного смысла, заговорив открыто как публицист: «Отчего же при такой вере в любовь и добро столько зла и ненависти на земле? «Хочешь жить — убей...» Да я бы ходил и собирал по всем лесам и болотам любку, дни и ночи настаивал бы ее кореш-

ки, и не рюмкой, а черпаком, из ведра поил бы людей, только чтоб одумались они, преисполнились бы уважением друг к другу, поняли бы, что любить и страдать любовью — и есть человеческое назначение, велье божеское или еще что такое...» Однако и эта страстная проповедь еще не конец роли приворотной травы в повествовании Астафьева. Взобрался герой-рассказчик на вершину утеса, увидел простор, от которого у него «и по сей день заходится сердце», где хочется ему «молча сидеть... смотреть и плакать», и вот уж заговорил в полный голос писатель-лирик, чувством сближающий далекое, объединяющий разобщенное, частное делающий общим: «Пуще приворотного зелья мне эта даль и эта близь: леса, горы, перевалы и главное — вот это притиснутое ими к Енисею сельцо, издали, с высоты, такое сиротливое, такое смиренное, такое заброшенное, что стоном стонать хочется от любви и жалости к нему». Вот какой любовью заворочен навсегда писатель: корешками родной земли, что грыз с голоду в деревенском детстве.

Конечно, Астафьев не был бы Астафьевым, если бы и в эту высокую минуту, мысленно спускаясь с горных высей в родное село, он не добавил бы к недавнему умилению — не для прияности, а ради истины — и некую историческую справку и собственное трезвое мнение о «поперечном, нахрапистом, озорном и расхристанном народе», издавна проживающем в этом самом сиротливом и смиренном селении, где «гулеванят» и поныне, как гулеванили и встарь.

Но, несмотря на занозистую правду, ничто не остановит начатого на енисейском утесе высокого подъема чувств. Пока герой спускается в родное село, входит в голодный, сиротский дом тетки, не уставая отмечать все подробности его скудного военного существования («До свежих картошек еще месяц, если не больше. Хлеба в доме нет, муки давно не бывало...»), писатель в то время набирает и набирает высоту обобщающего чувства-мысли. И кульминация этого подъема — разговор героя с бабушкой Катериной Петровной.

Вот тут-то, в этом разговоре нищей деревенской старухи и бездомного подростка, почти как величайшие отечественные мыслители, но следуя логике собственных жизней, бабушка и внук останавливаются перед главнейшими вопросами человеческого бытия. И снова, как и когда-то, в род-

ственном диспуте произносится с неизбежностью слово «бог» и отвергается внуком как ничего не разрешающее и снимающее ответственность с самого человека. И тогда возникает как единственное прибежище вера в слова: «родная земля», поневоле — при такой-то нагрузке — приобретающее метафизический смысл.

Диспут ведет бабушка речью, ей свойственной: «Человечишко, конечно, злодействует, ест друг дружку, как собака собаку, последнего уж черт будет ись, видно... да жив пока тем, что искупает зло мукой. Чё сделаеш? Не нами .так заведено...

— А кем? Богом?

— Может, и богом. Карат он нас за нечестивость, за злодейства наши...

— Чё-то больно здорово карает. И давно... Чего ж детей-то, девушек, матерей?..

— ...Ты экой же грамотной стал. Веру отринул... Чё, она те шею терла?.. Молчишь. Ну ладно, ежели уж без бога обходитесь, гланды, хланды, по норки в крове, так хоть родну землю почитайте — на том и стойте. За ее держитесь, ее и помятуйте... Забудешь родну землю, могилку мамкину да дедушкину покинешь — вовсе тогда завертит тебя смерчем-бурею, ни годов, ни дней не заметишь, осыплешься на землю дряхлой, старой, одинокай, остано-вишьсь над обрывом, внизу ни зги, ни голоса, ни духу живого, ни дна, ни покрышки... Это и будет тебе предел! Своеручнай ад! Какой сотворил — такой получи!

— Да хватит голову-то морочить! И так муторно...»

Но герой и сам замечает, что и бабушка охотно «с умственного разговора сворачивает на привычное», он даже подозревает: «Неужто и она боится запутаться вместе со мной?» Да и мудрено ли?

Нет, не в словесных диспутах разрешение вечных проклятых вопросов, по-новому вставших перед героем Астафьева. Выход из его душевного смятения находится в самой жизни. Образ голодной девочки, щедро протягивающей голодному же гостю кружку молока с земляникой, собранной ее маленькими руками, образ невинного ребенка, доверчиво заснувшего рядом с завтрашним солдатом, оказывается тем разрешением всех загадок и успо-

коением, с которым уходит герой из родного села: «И хотелось мне, чтоб вечно так было: теплый дом, деревенская тишь, малая сестренка рядом...» Мало ли это или много? Мало с точки зрения общих абстракций. Ох как много с высоты и глубины того житейского опыта, который еще предстоит пройти герою («Последнего поклона», но о котором мы уже знаем и по прежним книгам писателя и по старым главам этой книги. Над ней ведь не властна хронология, в ней господствуют другие закономерности. По правде говоря, не всегда они вполне вняты читателю и точно выверены автором. Но здесь-то они во всяком случае побеждают, потому что дают ощутить высшую ценность для человека самых простых вещей: ребенок, дом, природа.

И почему так волнует сегодня эта, в общем-то, бесхитростная сцена: три босые девочки, набравшие горстку первой земляники, кружка драгоценного военного молока, вместе с ягодами протянутая голодным ребенком голодному человеку? Только память о нашем прошлом? О нас самих, босых и раздетых? О наших маленьких братьях и сестрах, голодных и щедрых? Ведь не о сегодняшних же наших детях здесь печаль? Балованных, перекормленных, нарядных (как правило, конечно, не без исключения же). По всем приметам — не о них. Но нет, и о них тоже. Вина бывает разная. Беда приходит и с другого конца. И вот уж девочка с кружкой земляники встает не только прямым воспоминанием о собственном прошлом, а укором настоящему: как же так получилось, что ради забвения своего прошлого мы не научили их бескорыстию, доброте и щедрости? А ведь у них будет, у них уже есть дети.

Образ маленькой девочки (другой девочки), благословляющей солдата, уходящего на войну (другого солдата, но на ту же войну), оказывается завершающим и для всей последней части «Последнего поклона». Последней ли? Кладовая памяти В. Астафьева неисчерпаема, а форма его книги подвижна и емка. Но пока этим благословением ребенка, молящегося о спасении солдата, кончается повествование, нашедшее точку опоры в бескорыстии любви, требующей только ответного движения другой души. Много это или мало?



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Бочаров. За живой мыслью.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Семенов. Вечно живое учение.

Литература и искусство

ЗА ЖИВОЙ МЫСЛЬЮ

Лев Аннинский. Тридцатые — семидесятые. М. «Современник». 1978. 270 стр.
Лев Аннинский. Зеркало экрана. Минск. «Высшая школа». 1977. 152 стр.

В аннотации к первой книге Л. Аннинского «Ядро ореха» (1965) читаем: «Книга посвящена вопросам скорее этическим, нежели чисто эстетическим». В следующем сборнике статей «Тридцатые — семидесятые», вышедшем спустя двенадцать лет, сам критик утверждал, что этический строй для него важнее эстетического, «потому что эстетика в поэзии вбирается в этику как ее выражение». А книгу «Зеркало экрана» он рассматривает как попытку осознать «нравственное становление человека в зеркале экрана, еще раз увидеть, от чего и к чему шли мои сверстники — люди, вступившие в сознательную жизнь во второй половине шестидесятых годов, а в зрелость — в семидесятых».

Как видим, позиция весьма последовательная — от первой книги до последних, от вступления в сознательную жизнь до зрелости. Последовательная и отвечающая идеальной модели критики: первостепенный интерес к нравственности, к судьбе поколения, к этическому строю. Но при этом он чуждается столь принятого в нашей критике прямого соотнесения литературы с реалиями жизни: его больше интересует связь художника с общественными умонастроениями. По аналогии с «эстрадной» поэзией

я поименовал бы его «эстрадным» критиком и по обстоятельствам его прихода в критику, и по острому чувству времени, и по широте интересов — в сферу его выступлений вошла едва ли не все приметные «шумные» произведения, дискуссии, поветрия, — и по напористости, энергии стиля, и по легкой творческой возгораемости, и по ряду иных качеств. Не будем забывать, что понятие «эстрадная» поэзия имеет сегодня реальное историко-литературное содержание (как, допустим, «деревенская» проза для начала 70-х годов). Этим содержанием насыщена, по моему разумению, и «эстрадная» критика, ее достоинства и слабости.

И, пожалуй, он несколько покривил душой — или поддался поветрию, — когда в сборнике «День поэзии 1969» отрекался от «эстрадной» поэзии в пользу «тихой»: «Созерцание и тишина, словно очерченная плывущим звоном колоколов. Все суетное уходит. Остается вечное: мудрость и достоинство. Мне, например, такая поэзия сейчас ближе всего»¹.

Он никогда не уступал суетное вечному, в этом и была сила, привлекательность его

¹ «День поэзии 1969». М. «Советский писатель». 1969, стр. 177.

позиции. Но в суетном для него неизменно существует нечто устойчивое (не вечное, а именно устойчивое): он жаждет целостности. Пожалуй, «целостность» не только наиболее часто встречающееся слово; в прославлении целостности, ожидании целостности, поисках целостности — сердцевина всей эстетической концепции Аннинского, его требований к герою и искусству. Энергия, запальчивость, напряженность его устремления создают энергию его стиля, его интонаций, его рубленых фраз, его афоризмов и риторических вопросов.

Как всякая общая формула, всякий пароль, всякий девиз, заветное слово приобретает самый разнообразный смысл — в зависимости от реальных художнических устремлений и от частных задач той или иной статьи.

Иногда подразумевается внутренняя гармония человека, «целостное самосознание личности». В отличие от «западного варианта», в котором «человек раздроблен, человек частичен», советское искусство в целом ориентировано на «поиск целостной души в индивидуальности», «душевную целостность».

Иногда — осуществленность человека: в идее, в любви, в свободе. «Жажда целостного бытия — разгадка корчагинского характера... Он с детства искал какую-либо настоящую идею, безошибочно чувствуя, что идея соберет его жизнь воедино».

Иногда — гармония личности и обстоятельств, «включенность в структуру». Такая гармония, в частности, предопределила целостность творчества поэтов военного поколения при всем том, что «каждый из них торит к Целому свой путь»; поэт «органической целостности» видит он в Б. Корнилове.

Иногда — как стремление к идеалу, духовности, существеннейшим элементом которой признается способность человека «найти себя, быть собой».

Столь же многолико трактуется им целостность в искусстве — то монолитность самого писателя, то цель художника, то «целостное состояние», рождающее «целостный стиль», то метод самого критика: «Окинем и мы этот путь целостным взглядом».

Уже эти немногие — капля в море! — примеры характеризуют широкий спектр «заветного слова», предполагающего в своем конечном виде свободное, творческое, разумное самоосуществление личности и внутреннюю гармонию произведений искусства.

Идеей целостности пронизана вся книга «Зеркало экрана» — о движении нашего киноискусства за два десятилетия. Главную линию этого движения Аннинский усматривает, подобно ряду критиков, в переходе кинематографа и литературы последних двадцати лет к целостности, духовности: «Анализ проблем медленно превращается в анализ души». В литературе это путь от Овечкина и Тендрякова к Астафьеву, Распутину; в кинематографе — от «Павла Корчагина» А. Алова и В. Наумова, «Сорок первого» Г. Чухрая, «Весны на Заречной улице» М. Хуциева к «Калине красной» В. Шукшина.

Не случайно обе книги заканчиваются очерками о Шукшине, причем в «Зеркале экрана» этот очерк даже выбивается из ритма книги, построенной на критических разборах вершинных фильмов. В Шукшине сегодня для критика — высшее достижение сложности, духовности, целостности и в кино и в литературе: «...именно Шукшину суждено сказать новое слово о человеке 70-х годов». Я лично при всей высокой оценке творчества Шукшина не считаю его вершинным, итоговым на сегодняшний день и в литературе и в кино, но понимаю, что он самая подходящая, самая драгоценная для концепции Аннинского фигура, в которой выразилась неповторимость личности, свободно осуществляющей себя.

Целостность в его концепции не благоратворение, а деятельный порыв, добро, воюющее со злом. Поэтому тон сборнику «Тридцатые — семидесятые» задают статьи об Н. Островском, Б. Корнилове, поэтах фронтового поколения. Оттого же он не анализирует, скажем, «Рожденные бурей»: Островский-художник интересует его значительно меньше, чем Островский — тип личности, запечатленный в литературе. И в Островском, и в Корнилове, и в Шукшине он подчеркивает исчерпанность творческой судьбы при преждевременно оборвавшейся жизни.

И здесь открываются две особенности его творческого метода.

Статьи Л. Аннинского отличает тонкий вкус, умение эмоционально воспринимать художественную плоть произведения, с особой силой проявившиеся в «Зеркале экрана». Порой его наблюдения просто поразительны: о конфликте реальных и символов у поэтов-фронтовиков, о цветовой гамме поэм Б. Корнилова «Моя Африка» и «Триполье», о комических масках «гамлетовского» са-

моанализа в картинах середины 60-х годов, об отсутствии подлинной любви в любовном треугольнике фильма «Девять дней одного года», «потому что ее нет в этической программе Ромма». Но прекрасно чувствуя конкретную художественную фактуру произведения, он обычно вбирает его содержание в некую этическую формулу, подобно тому как в подмеченном им эпизоде в связи с фильмом «Девять дней одного года» молодые очкарики пикируются формулами на доске. Сочетание фактуры и формул — так я назвал бы первую особенность.

А вторую я усматриваю в сочетании общих категорий — духовность, добро, целое — с твердым и многократным напоминанием о том, что нельзя понять личность, беря ее в отрыве от реальной общественной ситуации. Наиболее твердо прозвучало это в статье об Островском: «Корчагинская судьба рождена определенным историческим временем, но она принадлежит вечноности, ибо вечности нужны последние истины и предельная ясность, не увязающая в случайностях момента». И много раз варьирует он эту мысль: «Искусство всегда соотносит человека с обстоятельствами; одно без другого не существует».

И эти особенности помогают ему подниматься над плоскостным рецензированием, обращать мысль читателя к этическим обобщениям, вводить, если угодно, суетное в ранг вечного.

Высота требовательности к герою, художнику, произведению и постоянная искренняя жажда лучшего, более совершенного, более целостного позволили ему на равных, без пиетета и без менторства разговаривать в «Зеркале экрана» с мастерами, увенчанными лаврами многих фестивалей: Чухраем, Хуциевым, Райзманом, Тарковским. Он может сказать о столь почитаемом «Ивановом детстве»: «Тут-то и лежит основа слабости фильма: в духовном составе его нет позитивного добра, имеющего внутри себя точку отсчета»; или: «Условность «Баллады о солдате» была ценой ее гармонии» и т. п.

Да и самим предметом критического — критичного — разбора он избрал в «Зеркале экрана» произведения значительные, можно сказать, этапные. И это придает книге особый аромат: значительность разговора о значительных произведениях.

Вот только напрасно он попытался ввести в систему логической последовательности — даже не последовательности, а какой-то предопределенности — вершинные взлеты в

кино: можно ощущать общий подъем, общую тенденцию, но нельзя объяснить неизбежность появления выдающегося произведения. Конечно, такие объяснения нетрудно давать задним числом: когда уже есть вершины, можно определять азимут движения («близился час Хуциева»), но их нельзя предсказать, вычислить. Для построения таких логизированных схем как раз и оказались пригодны обобщенные формулы целостности: они позволяют передвигать художников, как шашки. Вот только живые поиски и прозрения таланта несколько пропадают, блекнут, после того как критик сначала указывает клетку, куда должна будет встать фигура, а затем называет саму фигуру.

И, может быть, так часто испытываешь чувство несогласия с ним («...я знаю, что мои оценки спорны», — трезво предваряет он «Зеркало экрана») не столько оттого, что он выдвигает дискуссионные концепции, сколько в силу категоричности самого тона. Ну, скажем, почему ощущение истории как глобального, всеосмысленного процесса «тяжестью опыта налилось у Гудзенко, у Наровчатова — завершилось»? За этим больше ощущаешь изящество словесных построений, чем извлечение художественного ядра. То и дело критикуя мастеров за частичность, однолинейность художественных решений, он и сам грешит односторонностями, эманациями (да и «версия человека» для него практически «этическая версия»). Если можно так сказать о критике, то он певец чистых линий. Чистых. Но линий.

Нет смысла спорить с теми или иными оценками или трактовками, например с прочтением «Баллады о солдате» как притчи или объявлением 30-х годов «временем зрелости наших отцов» и «вызревания исторической ситуации, в сущности обусловившей нашу дальнейшую жизнь». Так же как нет смысла говорить, что раздел о фильме М. Ромма «Обыкновенный фашизм» слабее других, лишь темпераментно излагает общеизвестное. Нет смысла потому, что в каждой работе бывают спорные тезисы и менее удачные разделы.

Но одно нужно отметить, ибо это связано с особенностями его метода, в котором так сильно субъективное, эмоциональное начало. Это статья о трех «городских» повестях Ю. Трифонова, напечатанная несколько лет назад в «Доне» (только там она называлась «Неокончательные итоги», а здесь — «Интеллигенты и прочие»). Не лег Трифонов на душу критику, любящему «чистые линии» и

жаждущему «найти цельного человека», — и он разбирает его пристально и произвольно, вплоть до совсем уже непростительных заключений: автор «безмерно сочувствует» герою «Предварительных итогов» и, показывая «хищников» и «жертвы», сам «хочет быть и там, и тут». Не стану затевать полемику — свои взгляды на цикл повестей Ю. Трифонова я уже не раз высказывал: они резко разнятся от позиции Аннинского. Скажу лишь, что в категорическом неприятии «городских» повестей мне не столько жаль непонятого прозаика, сколько не понявшего критика.

По сути своей манеры Л. Аннинский полемист, иногда, впрочем, создающий лишь видимость полемики — уже как прием, а не как метод: полемика с воображаемым оппонентом, композиционно организующая статью о поэтах военного поколения. А основное его оружие — сравнение, сопоставление произведений, манер, мотивов, художников, творческих поколений. В таких сопоставлениях очень тесно сплетаются обычно в критике объективное и субъективное: объективность, основательность сопоставления и непредсказуемая, подчас рождаемая в глубинах памяти или подсознания причудливость, прихотливость.

Довольно часто сравнение у Аннинского бывает произвольным и в этом отношении сходно с приемом мнимой полемики. Скажем, в литературном портрете Луконина критик на протяжении двух страничек сравнивает его с Евтушенко (твердому «да» Луконина противостоит строка Евтушенко о жизни между городом «нет» и городом «да»), Вознесенским (трагизм крушения любви и ужас одиночества у Луконина и ликующий крик Вознесенского «Я — ничей!.. Я — не твой!»), Рождественским (тесный строй вещей, плотность реалий в первом случае и романтическая незаполненность мира во втором). И этими примерами вроде бы подтверждает контраст системы моральных ценностей поэтов фронтового поколения и следующей волны. Но в той же волне у Рождественского не менее твердое да, чем у Луконина, а по плотности реалий Евтушенко, пожалуй, еще и обгонит Луконина. Здесь больше от того, что я называл игрой в шашки, чем от объективной непрекаемости сопоставлений.

Но чаще всего щедро рассыпанные сравнения и сопоставления попросту критичны для контрастного обнажения мысли, тезиса, пусть даже там и главенствует не мотиви-

рованность, а броскость. Из множества ассоциаций он обычно выбирает контрастно-наглядную, а не подтверждающе-аналогичную, и в этом сказывается его бойцовский темперамент. «Для Самойлова мастерство было защитой от суеты. Для Межирова мастерство — сама суета в свете моральной задачи». Я бы сказал даже, что Аннинский — мастер обаятельных натяжек в такого рода сопоставлениях. Именно обаятельных, потому что обычно прощаешь им некоторую, а то и значительную, субъективность за неожиданность, дерзость, наглядность утверждения своей мысли.

А уж самое его любимое оружие — триада. Не та гегелевская тезис — антитезис — синтез, а та, что является логическим развитием сопоставления. Подчас они образуют своеобразный ряд: «...несокрушимо серьезен Слуцкий, пронзительно прямодушен Самойлов, безжалостно распахнут Луконин». Все здесь субъективно, не претендует на научную точность, но остро, резко: скорее мгновенное восприятие, чем исчерпывающая характеристика. Но еще чаще в разлом, в расщеп, образованный двумя крайностями, он вгоняет искомое положение, оптимальный вариант, плодотворное решение — наиболее разумное, идейно зрелое, художественно эффективное: «Ю. Райзман выводит человека непосредственно из социальной среды. Тарковский от среды абстрагируется... Третий путь пробует в ту пору Михаил Ромм».

Иногда он сам запутывается в этих отточенных триадах, противоречит самому себе. Говоря о стихах Самойлова, он подробно обосновывал тезис: «Пафос Д. Самойлова — логика Истории». А дальше в той же статье: «У Луконина, у Слуцкого побеждала истина Истории, у Самойлова — красота Истории. У Межирова есть ощущение моральной правоты Истории». Куда же девалась логика?

И вот здесь мы подходим к самой, может быть, характерной черте дарования Аннинского. Я бы определил ее как парадоксальность. Парадоксальность во всем.

Парадоксально само сочетание логизированных конструкций и тонкого анализа, дающее несомненный критический эффект.

Парадоксально стремление в обеих книгах показать, как мужало, переходило к зрелости его поколение, принявшее эстафету от отцов. Это действительно так: поколение переходило к зрелости, но проходило ли синхронно в те же годы такой же путь искусство? Можно ли полагать, что «Баллада

о солдате» и «Вечно живые» — это молодость, а «Калина красная» — зрелость? Но в самом парадоксе (взглянуть на ход литературно-художественного процесса через возмужание одного поколения) открываются многие интересные грани, чем и не замедлил воспользоваться Аннинский.

И конечно же, парадокс — одно из любимейших средств его критического анализа, ибо способствует форсированию мысли, обнажению ее сути, броскости подачи. Поэтому так любит он обнажать парадоксы, которые не разрушают целостности, а, наоборот, скрепляют ее: «Вот он, корниловский парадокс: невнятное внятное лицо! Логика алогичности!», «Это парадокс, однако накопление добрых дел Алешей Скворцовым обернулось к финалу горечью». А вот о Смоктуновском в «Неотправленном письме»: «Я считаю это уникальным парадоксом: актер сыграл отсутствие человека». Не буду множить примеры, чтобы прием не показался однообразным, ибо в книгах он работает активно и свежо.

Но при этом нужно, разумеется, иметь в виду: парадокс парадокса состоит в том, что у него короткое дыхание. Он обнажает противоречия, но редко дает ход вперед. И это тоже ощутимо в концепции Аннинского: он охотнее расщепляет («У Алова и Наумова этот духовный комплекс... расщепляется натрое»), чем синтезирует.

Живая мысль — казалось бы, разумею-

щееся, но (увы!) не всегда присутствующее в статьях критиков качество. У Аннинского оно обязательное. Страстное, непосредственное ощущение «живой цепи искусства» покоряет, особенно в «Зеркале экрана»: Аннинскому интересно писать о кипящем, трепещущем, сегодняшнем. И таков уж закон критики: не всегда то, что пишут с интересом, интересно читать, но интересно читать только то, что пишут с интересом. Аннинский пишет с интересом, запальчивостью, азартом. Темперамент — его важное достоинство и отличие.

Он выбрал в этих книгах своим объектом преимущественно советскую классику — Н. Островский, Б. Корнилов, В. Шукшин, выдающиеся фильмы, — но и в разговоре о классике остался критиком: потому-то он с таким азартом говорит о фильмах двадцатилетней давности, что в них и его сегодняшняя боль и его сегодняшние раздумья. Это и можно назвать критическим подходом к истории, впрочем истории, пережитой самим критиком. Пережитой в качестве участника, а не наблюдателя.

Страсть и напор бойца, а не рассудительная мудрость стороннего более всего присущи Аннинскому, и это неизменно привлекает внимание к его работам. Не за бесспорностью обращаешься к ним — за живой мыслью.

А. БОЧАРОВ.



Политика и наука

ВЕЧНО ЖИВОЕ УЧЕНИЕ

П. Н. Федосеев. Марксизм в XX веке. Маркс, Энгельс, Ленин и современность. Издание 2-е, дополненное. М. «Мысль». 1977. 638 стр.

Марксизм-ленинизм — вечно живое, творческое, развивающееся учение, устремленное одновременно и к объяснению мира, и к революционному его преобразованию, к решению теоретических проблем в неразрывной связи с практикой. Как подчеркнул Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев, «марксизм-ленинизм — это единое интернациональное учение, это теоретическое достояние и руководство к действию для всех коммунистов, для всех революционеров».

Вот почему вопрос об овладении идеями марксизма-ленинизма на каждом эта-

пе мирового развития, о неизбежности его основополагающих принципов и положений и в то же время о его творческом обогащении на базе обобщения опыта, практики реальной действительности есть коренной вопрос жизнестойкости и всепобеждающей силы этого великого научного и идейного оружия всех борцов за новое общество, за социализм и коммунизм. Анализу громадной и все более определяющей роли идей марксизма-ленинизма в духовном развитии и идеологической борьбе в современном мире и посвящено переработанное издание книги крупнейшего советского обществоведа академика П. Федосеева.

Через все содержание книги красной нитью проходят две главные и взаимосвязанные идеи: марксизм-ленинизм есть творчески развивающееся, непрерывно обновляющееся и потому всегда актуальное и верное учение о быстро изменяющихся обстоятельствах окружающего мира; и именно поэтому он глубоко и бескомпромиссно непримирим ко всем попыткам антикоммунизма, буржуазной идеологии, правого и «левого» ревизионизма, всякого рода новоявленных теоретиков фальсифицировать и извратить марксизм-ленинизм, представить многие его положения устаревшими или приписать им ограниченную сферу проявления, софистически изобразить его существо и важнейшие составные части в искаженном, обедненном, нередко прямо окарикатуренном виде.

Указанные две идеи заложены уже в самом названии книги «Марксизм в XX веке». Вопреки всем стараниям буржуазных идеологов и философов, появившихся в последнее время «критиков» марксизма уверять, будто созданное К. Марксом и Ф. Энгельсом учение относится только к XIX веку и не выдерживает проверки бурными социальными переменами нынешнего столетия, вся реальность XX века начиная с Великого Октября неопровержимо доказывает: именно неуклонно следуя марксизму-ленинизму, международное рабочее и коммунистическое движение смогло одержать столько исторических побед и превратиться в могущественнейшую, влиятельнейшую социальную и идейно-политическую силу современности; и напротив, всяческие отступления отдельных руководителей партий и деятелей от основополагающих принципов марксизма-ленинизма всегда жестоко мстили неудачами, провалами, деформациями в политическом движении и повседневной деятельности. Об этом, например, красноречиво свидетельствует более чем пятнадцатилетний «опыт» гегемонистского, антисоветского и антинародного курса маоистского руководства. «Наши противники, — пишет П. Федосеев, — вот уже много лет твердят, будто марксизм устарел и не отражает запросов жизни. Но стареют и сходят со сцены критики марксизма, а марксизм остается вечно живым, развивающимся и всепобеждающим учением».

Логика построения книги раскрывает три главных этапа в поступательном развитии и обогащении марксистско-ленинско-

го учения. В первом разделе («Создание и развитие научного коммунизма») раскрыта выдающаяся роль Карла Маркса как основоположника нового мировоззрения и огромный вклад Фридриха Энгельса в теорию и практику коммунизма. Марксизм с момента своего возникновения всегда был нацелен на разрешение самых животрепещущих проблем, остро стоявших перед человечеством, таких, как уничтожение эксплуатации и нищеты, ликвидация национального неравенства и угнетения, устранение войн, достижение мира и безопасности народов, создание условий для всестороннего развития личности. Начало практического решения этих назревших социальных проблем было положено в XX веке Великой Октябрьской социалистической революцией, и в этом ее непреходящее всемирно-историческое значение.

Ленинский этап в развитии марксизма, как подчеркивает автор, характеризуется тем, что «ленинизм обобщил опыт и верно выразил объективные потребности всего международного рабочего движения и стал его знаменем в эпоху крушения капитализма и перехода человеческого общества к социализму и коммунизму». Как величайший мыслитель и революционер, непревзойденный теоретик и практик коммунизма, Владимир Ильич Ленин, с одной стороны, гениально развил все составные части марксистского учения — философию, политическую экономию и научный коммунизм, а с другой — непосредственно возглавил борьбу рабочего класса и всех трудящихся России за осуществление победоносной социалистической революции и последующее преобразование общества на социалистических началах.

Всякого рода ревизионистские «критики» и новоявленные «теоретики» ныне нередко склонны обвинять Ленина в самых различных, нередко взаимоисключающих «грехах». Одни упрекают его в «экономизме», другие — в «классовом редукционизме», одни — в объективизме, другие — в субъективизме. Все навязчивее звучат уверения, будто ленинское наследие применимо только к условиям России, Востока и якобы не подходит для Европы, особенно современной. В противоположность ленинской, глубоко научно обоснованной линии в политике выдвигаются лозунги «политического плюрализма» и свободы политических маневров. Отказ от следования объективным закономерностям и философской

научности прикрывается требованиями «отсутствия официальной идеологии и философии».

В книге П. Федосеева показано, насколько последовательно и настойчиво Владимир Ильич Ленин вел борьбу на два фронта: против субъективизма как врага материализма и объективизма — этой идейной основы реформизма. Разоблачая опасности волюнтаризма и фатализма, Ленин дал классические образцы применения марксистского метода познания общественной жизни к новым историческим явлениям, способствовал его дальнейшему развитию и обогащению. Именно потому, что Ленин в новых условиях глубоко вскрыл объективно существующие, общезначимые закономерности перехода человечества от капитализма к социализму и коммунизму, ленинизм является по-настоящему интернациональным учением. При всем многообразии форм движения различных стран к социализму всеобщее значение имеют важнейшие ленинские выводы и положения о закономерностях социалистической революции в условиях империализма: о руководстве трудящимися массами со стороны рабочего класса, возглавляемого марксистско-ленинской партией, о союзе рабочего класса с основной массой крестьянства и другими слоями трудящихся, о ликвидации капиталистической и утверждении социалистической собственности на средства производства, о международной солидарности рабочего класса и всех трудящихся различных наций и стран.

Многие нынешние нападки на ленинизм и марксизм-ленинизм, по существу, призваны прикрывать или узкий прагматизм тактических маневров и сиюминутных соображений, уводящий от научно обоснованной стратегии политических действий, или своеобразный «провинциализм», заменяющий проверенные жизнью, общезначимые направления движения к новому обществу такими методами, которые сводятся лишь к учету особенностей данной, конкретной страны.

Современная ступень развития марксистского учения на его ленинском этапе ярко проявляется в коллективной деятельности коммунистических и рабочих партий. Третий раздел книги П. Федосеева — «Революционная идеология в действии» — раскрывает международное значение исторического опыта Великого Октября и вклад КПСС в теоретическую разработку

проблем построения развитого социалистического общества, его дальнейшего совершенствования и перерастания в коммунизм. В Советском Союзе и странах социалистического содружества современный творческий марксизм-ленинизм выступает в своей наиболее действенной форме — как идейное оружие созидания нового мира и нового человека. Именно в этом и его великая животворящая сила, и в то же время огромная ответственность за выработку научно обоснованных, наиболее оптимальных конкретных путей строительства нового общества.

«Историческая практика СССР, равно как и других социалистических стран, — пишет автор, — показала, что решение сложнейших задач строительства социализма и коммунизма возможно лишь тогда, когда во главе масс стоит опытный рулевой, овладевший законами общественного развития, — Коммунистическая партия». В книге обстоятельно раскрывается важнейшее достижение современной коллективной мысли КПСС и братских коммунистических и рабочих партий — разработка на основе ленинских идей концепции развитого социалистического общества, представляющей крупный теоретический вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма.

Значительное внимание в книге П. Федосеева уделяется вопросам развития социалистической идеологии, культуры, литературы и искусства, проблемам свободы творчества, выработки норм и образцов коммунистического общежития, социалистического образа жизни.

Общество, строящее коммунизм, кровно заинтересовано в расцвете всех форм художественного творчества. Одно из величайших достижений Коммунистической партии в области идеологии и культуры заключается в том, что в социалистическом обществе литература и искусство впервые сознательно поставлены на службу интересам народа. В работе по руководству литературой и искусством партия следует ленинским заветам прежде всего идейного воздействия в этих сферах, опоры на методы убеждения, проявления особо чуткого и внимательного подхода к творческим работникам. Владимир Ильич Ленин не раз предостерегал против торопливости, увлечения администрированием в вопросах культуры. «Авторитет партии среди работников культуры, — подчеркивает П. Федосеев, — зиждется прежде всего на

ее умении вносить коммунистическую идейность в любую сферу деятельности».

Марксистский подход к свободе творчества связан, с одной стороны, с глубоко социальным пониманием свободы как осознания назревших потребностей общественного развития, выражения принципиальной позиции художника в борьбе идей. С другой стороны, он связан с общепсихологическим вопросом об отношении искусства к действительности, об отражении жизни в художественной форме. В условиях социализма и особенно на его зрелой ступени диалектическое отношение к реальности заключается в умении верно выявить главные, наиболее существенные тенденции, направленные в будущее, способствующие прогрессу, движению вперед, и вместе с тем различать преходящие моменты, которые в дальнейшем отомрут, отойдут в прошлое. Проблема творческого отношения к действительности отмечает П. Федосеев, «есть вопрос об историческом подходе к явлениям, о понимании перспективы, о взглядах на жизнь с определенной позиции — передовой или отсталой, прогрессивной или реакционной».

Известно, что литература и искусство выступают как формы общественного сознания и познания жизни, причем выражают они свое содержание в конкретных, чувственно воспринимаемых образах. Но это лишь самый общий, исходный подход к пониманию литературы и искусства. Ведь они не только отражают, но и преобразуют жизнь, социалистическую действительность. Реалистическое искусство обладает высокой активностью и силой воздействия. Причем эта активность всегда связана с принесением в художественное произведение неповторимого личного творческого начала художника, его внутреннего мира, его видения жизни и ее проблем. Рассматривая литературу и искусство во всей их сложности, в различных их проявлениях и гранях, П. Федосеев делает обобщающий вывод: «Искусство — это целый мир идей, представлений, образов, чувств, эмоций, нравственных требований и оценок общественного человека; это художественное воспроизведение человеческих идеалов и размышлений, переживаний и деяний; это, наконец, одна из сторон жизнедеятельности людей, их образа жизни».

Раскрывая глубинную связь литературы и искусства с различными сторонами образа жизни советских людей, автор обстоятельно анализирует проблемы выработки практических норм, образцов коммунистического общежития, характеризует главные черты социалистического образа жизни. К таким новым, социалистическим формам жизнедеятельности наших людей относятся коллективизм и чувство товарищества, гражданственность и преобладание общественных интересов, все более углубляющиеся равенство и справедливость, высокая социальная активность, сплоченность, дружба всех наций и народов страны, высокая идейность и сознательность, нравственное здоровье, гуманизм, патриотизм и последовательный интернационализм. Советские люди все более полно воплощают в своей повседневной деятельности эти передовые черты социалистического образа жизни. Вместе с тем постоянно усиливается борьба нашей общественности со всеми отрицательными, антиобщественными явлениями, такими, как стяжательство, взяточничество, уголовные преступления, спекуляция, хулиганство, тунеядство, пьянство.

В авангарде борьбы за новые формы жизни, против всего, что мешает продвижению советского общества вперед, всегда находятся коммунисты. «Коммунисты — не пришельцы из будущего, но они призваны быть передовыми, наиболее активными и последовательными борцами за светлое коммунистическое будущее».

Как подчеркивается в заключении книги, Коммунистическая партия Советского Союза, верная ленинским заветам и руководствуясь великими идеями марксизма-ленинизма, глубоко научно осмысливает действительность, творчески выявляет новые условия и новые возможности продвижения к коммунизму, находит наиболее эффективные средства для решения назревших исторических задач. В современных условиях все более широкие массы трудящихся в различных странах мира овладевают марксистско-ленинским учением и, вдохновленные им, борются за перестройку жизни человечества на путях социализма и коммунизма.

В. СЕМЕНОВ,

доктор философских наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



ВЕНИАМИН ШАЛАГИНОВ. Кафа. Роман. «Сибирские огни», 1977, №№ 10, 11, 12.

Автор романа «Кафа» — профессиональный юрист. В 1951 году в «Новом мире» был опубликован цикл его новелл «Судья». Вот откуда в романе тщательное, скрупулезное описание судейской машины Колчака.

По поводу нового своего произведения В. Шалагинов писал: «Роман «Кафа»... почти начисто лишен автобиографического элемента, но герои его вышли из среды, мною наблюдаемой... Главное же его тематическое задание — гений и революция».

И эта тема — гений и революция — в ее широком понимании не случайна в творчестве В. Шалагинова. Большой интерес вызвала в свое время его документальная книга «Защита поручена Ульянову». Возможно, тогда и родился замысел названного романа.

Действие романа происходит в небольшом городке в глубине Сибири, который называется Городица. В мрачном железнодорожном пакгаузе, самом вместительном помещении Городиц, идет суд: «Белые судят красных». Колчаковский суд приговаривает руководителя подпольной большевистской организации Ольгу Корнееву Батышеву — Кафу — к расстрелу. Прокурор Мышецкий (в прошлом подающий надежды живописец), потребовавший смертной казни для Кафы, не может не понимать, что казнит талант: он видел рисунки Кафы, сделанные в камере смертника, и теперь пытается найти себе оправдание.

Писатель исследует психологию человека, продавшего свою душу и ощущающего мучительный разлад с собственной совестью; потребовав казни для Кафы, Мышецкий казнит тем самым и себя. За семнадцать дней ожидания конфирмации приговора у «верховного правителя» его человеческая личность распадается до бреда, до белой горячки.

А Кафа и на суде и на свиданиях с прокурором и адвокатом ведет себя гордо и независимо. Даже в камере смертника, когда она знает, что каждый наступающий день и каждая наступающая ночь могут быть последними, ее не оставляют мужество и надежда. Она верит, что ее сестра, ее товарищи продолжают борьбу за свободу, советскую Россию. Мысленно она по-

стоянно с ними и с тем, кого любит всем сердцем. Колчаковская контрразведка пытается опорочить имя любимого, но Кафа знает, что он не мог предать. И в этом тоже проявляются стойкость и сила ее души. Автор романа создает одну критическую ситуацию за другой, для того чтобы понять, донести до читателя истоки этой стойкости. Кафа добилась, чтобы ей, смертнице, дали краски и бумагу. Она работает. Творческое начало рождает в ней мужество, надежду на свободу, на продолжение борьбы.

В этих двух характерах — Кафы и Мышецкого — воплощена суть проблемы, которую исследует писатель. Воплощена убедительно. Все же окружение от самого «верховного правителя» до тюремного надзирателя остается несколько размытым. Многочисленным белоофицерским попойкам и смакованию «дамских прелестей» в романе отведено непомерно много места. Куда ярче и убедительней этих пространных описаний говорят о колчаковской агонии архивные документы, которые автор включил в роман (например, приказы Колчака «для строгого и неуклонного исполнения»).

Основное же достижение автора — убедительность характеров главных героев, носителей интересной и всегда острой проблемы.

Н. Макарова.



НАТАН ЗЛОТНИКОВ. Морозное облако. Книга стихов. М. «Современник». 1977. 175 стр.

Много раз убеждался в том, что каждой поэтической книге присущ свой особый секрет, что ощутить, воспринять лирическую энергию книги в полной мере я, читатель, смогу лишь тогда, когда овладею этой сложной ли, простой ли тайной. Многие страницы «Морозного облака» понимаются иначе и точнее, если читаешь книгу словно лирическую повесть о том, как складывается, растет и крепнет в человеке чувство родины. Конечно, как всякое лирическое произведение, эта книга — о себе, но о себе прежде всего как о сыне своей страны. Страны с ее географией и историей, с ее пространством и временем, с ее людьми и селениями.

Для героя книги родина—праздник. Это ощущение впервые приходит в детстве, которое вовсе не было безоблачным: «Вблизи дымящих труб, среди лесов Урала впервые жизнь моя от счастья замирала».

Праздник, праздничное в контексте книги Злотникова означают не песни и пляски, не шалое ощущение временной беззаботности, но постоянный высокий душевный настрой от некогда дарованного и все длящегося счастья любить свою родину, быть необходимым ей, делить с ней ее заботы, и тревоги, радости и удачи. Счастья быть своим «в суровом и родном краю, где так сильны тоска и совесть». Этот настрой, который сродни блоковскому «трудно и празднично жить», не всегда выходит на поверхность, может быть незаметен в том или ином стихотворении, но он буквально пронизывает книгу, лежит в ее фундаменте.

Сознание крепчайшего духовного родства со страной и ее народом (и не вообще народом, а с конкретными, живыми людьми, олицетворяющими народ: стариком металлюстом Бальмели, командиром батареи старшим лейтенантом Макаровым, безмянным объездчиком из северных лесов, хозяйкой водокачки, женщинами из ночной смены в стихотворении «В цеху фонарь отчаянно коптитесь...») мужало и ширилось и на севере, где проходила армейская юность поэта, и на юге, вблизи Днепра, где обреталась рабочая закалка, и среди полей Подмосквы, где до сих пор «замирает душа от черного крика вороны, от старой траншеи, от блиндажа, где линия шла обороны». Но началось все это в эвакуационном детстве на Урале, где «мерз, голодал, от цинги умирал. В рубле над светлою камской водою рос и взрослея, не смиряясь с бедою. В сердце вбирал и людскую тщету, и окружавших людей доброту». Стихи четвертого раздела книги, рассказывающие о том времени, едва ли не самые пронзительные в ней.

Если военное детство, Урал, грозный для врага мощью своих оборонных заводов и добрый к беженцам, стекшимся к нему («Обогреет, словом ободрит, хлебушком военным одарит...»), сформировали душу человека и поэта и, соответственно, во многом сказались на содержании книги, то Украина с ее «тихой вишенкой» и «тихим светом», со звездами, что «низко висят, как стрекозы», помогла ему ставить голфс, придала многим стихам мягкость, плавность и напевность «украинской мовы».

«Морозное облако» — книга многотемная. В ней и воспоминания о прошлом и обращение к будущему, в ней стихи о нежности, любви и дружеской верности, в ней лесные пейзажи и заводские интерьеры. И если в этой рецензии сказано лишь об одной теме книги, то потому, что эта тема — основная, доминантная. Потому что, когда закрываешь книгу и начинаешь думать о том, что ты в ней прочитал и вычитал, одной из первых в памяти встает строка: «Витаю над родиной милой...»

Загорск.

Юрий Ляхов.



А. КОГАН. Стихи и судьбы. Фронтальная тема в советской поэзии. М. «Художественная литература». 1977. 272 стр.

Книга А. Когана «Стихи и судьбы» необычна по своему жанру и характеру. Ее не назовешь литературоведческой в строго академическом смысле этого слова, хотя предмет исследования автора — поэзия, стихи погибших на фронтах Великой Отечественной войны поэтов. Нельзя сказать, с другой стороны, что это и чисто очерковая книга, несмотря на то, что в ней отчетливо ощущается очерковость и в рассказах о самих поэтах, и в пристрастии автора к документам, воссоздающим атмосферу времени. Особенность книги в том, что два этих начала неразрывны: рассмотрение поэзии как явления литературы становится оправданной точкой для публицистических размышлений о духовном облике поколения, о нравственных истоках подвига.

Название книги — «Стихи и судьбы» — точно передает ее суть. А. Коган показывает паразитическую слитность жизни и поэзии, биографии и стихов. По этому пути и движется авторская мысль: от биографии к стихам, от стихов к поступкам, событиям и снова к стихам, вбирающим в себя пафос всенародной войны, душевный опыт бойцов переднего края.

Идя от поэзии как человеческого документа, исповеди души и одновременно документа времени, сопоставляя стихи разных поэтов, А. Коган в различных находит общее — характерные черты поколения, юношей сорок первого года, которые жизнью и смертью оплатили весомость и значимость своих поэтических строк.

Приведа стихи, написанные в 30-е годы, Павла Когана, Николая Майорова, Михаила Кульчицкого, Бориса Смоленского и других поэтов, стихи, в которых выражены ощущение надвигающейся смертельной схватки с фашизмом, жажда подвига, утверждение идеалов коммунизма, автор выделяет в своем анализе общие черты поколения, его душевную и гражданскую зрелость, прошедшую так рано. Обозначив истоки, так сказать, точку отсчета, А. Коган прослеживает, как в горниле войны, перед лицом смерти закаляется, оттачивается характер бойцов-поэтов, как на смену декларативной, зачастую книжной романтике приходит огневая романтика реального поступка, как готовность к подвигу превращается в сам подвиг. Тяжкий подвиг войны.

А. Коган точно улавливает, как нравственное, духовное возмужание сказывается уже в первых военных стихах поэтов, ушедших на фронт. Да, большинство из них ушло сказать немного, хотя, быть может, и самое главное. Строка, оборванная пулей...

Внимание автора сосредоточено на стихах именно этих поэтов, только начавших свой путь до войны и погибших на фронте, но он также пишет и о поэтах, выступавших в печати до войны, и о тех, кто вер-

нулся с фронта и продолжал работать. Картина получилась широкая, хотя и не всегда достаточно прописанная в отдельных своих частях. Тем не менее А. Коган убедительно решает главную задачу — находит необходимое, важное место в этой общей картине поколению юношей сорок первого года.

Стремление А. Когана показать поэта в контексте времени определяет и характер портретов, представленных в книге, — Бориса Котова, Василия Кубанева, Семена Гудзенко, Павла Шубина. Автору удается найти свой ключ к каждому, хотя, может быть, не с равным успехом... Во всяком случае, к тому, что мы знали об этих поэтах, А. Коган прибавил нечто новое, свое. Вообще в книге ничто не взято из вторых рук. Многое в ней по крупицам добыто, разыскано автором. Благородной работой по сборанию новых документов, стихов, фактов из биографий поэтов, погибших на фронтах Отечественной войны, А. Коган занимается много лет. Книга «Стихи и судьбы» возникла и сложилась как результат этой работы. Она позволяет нам глубже войти в неповторимый мир поэзии, рожденной в огненные годы минувшей войны и запечатавшей ее облик.

С. Смоляницкий.



НИКОЛАЙ ДОБРОНРАВОВ. Вечная тревога. Стихи. М. «Современник». 1978. 79 стр.

Поэт выпустил первую тоненькую книжку, и она разошлась мгновенно. Неудивительно: имя поэта давно известно широкому читателю, многие строки этого автора первой книжки обратились в поговорки, стали крылатыми фразами: «Надежда — мой компас земной», — говорим мы про себя в трудную минуту; «Орлята учатся летать», — повторит современник, озирая небо; «Не расстанусь с комсомолом» — стало утверждением поколений, входящих в пору зрелости; «Трус не играет в хоккей» — услышим мы на стадионе.

С образом Юрия Гагарина сроднилась строка поэта «Знаете, каким он парнем был», и почти как лозунг, звучит: «Слава впередсмотрящему, слава вперед идущему» — или: «Главное, ребята, сердцем не стареть».

Если автор первой книжки Николай Добронравов стал известен не по книжным страницам — его стихи прилетели к читателю, окрыленные музыкой, — естественно, может возникнуть вопрос: ну а каковы поэтические достоинства его собственно стихов, его работы? Ведь песен в наши дни пишется предостаточно, а настоящих удач, как всегда, мало. Стонет эфир от ремесленных поделок, обманчиво схожих с настоящими песнями; подчас примитивность текста заглушается музыкой, кое-как спасается находками композитора.

Тем ценнее, тем дороже нам песни, ос-

нованные на прочном и самостоятельном стихе. Работа Николая Добронравова у всех на виду: от года к году он пишет лучше, все смелее овладевая особыми песенными приемами, и не уступая композитору поэтичности слова — ее ведь не в силах заменить самая искусная мелодия.

Я понимаю, почему Добронравов медлил со своей первой книжкой — ведь она является проверкой стиха на чтение. Могу сказать уверенно, что стих Добронравова такую нелегкую и серьезную проверку выдерживает. Его собственно стихи оказываются «ближайшими родственниками» его песен.

Особый характер дарования здесь лицо: у стихов и песен Добронравова одни и те же достоинства и, к сожалению, одни и те же недостатки — проскальзывают порой в строках гладкость и простоватость. К счастью, неудачных строк не так уж много, а достоинство прежде всего в романтически приподнятом отношении к жизни, к тем ее сторонам, которые достойны романтизации. Поэт умело находит и отбирает их.

Совестливость, постоянный самоконтроль, проверка в сопоставлении со временем, с прошлым и будущим — характерная черта творчества последних поколений. Порой это самоуглубление оборачивается кокетливым любованием собственным образом во всех, в любых его проявлениях. Важно, что Добронравов сумел избежать подобных излишеств. Поэт говорит о себе, не общается личного, а в то же время всегда общает меру гражданской ответственности. Наверное, песенная практика была строгим контролером и помощником поэта. Поэт контролирует свою работу «массовостью». Понимаю, что термин «массовость» не самый точный в разговоре о поэзии, но надеюсь быть правильно понятым. Иные наши коллеги увлекаются поисками популярности, и по возможности скорой, готовы одобрить любую музыку на свои стихи, лишь бы их поэзия пошире звучала. Было бы ханжество утверждать, что любой поэт не жаждет успеха, но, думаю, искать надо не просто успеха, а принятия многими твоих мыслей, твоих образов. Делиться своей убежденностью с читателем — задача достойная, вознаграждаемая успехом.

Зная цену широкой известности и популярности, Николай Добронравов пишет стихи, не забывая, что перед ним широкая аудитория. Пожалуй, герои собственно стихов поэта чуть постарше героев его песен — автор, лирический герой, помнит военное детство, а те, кто поет его песни, может быть, только сейчас вступают в жизнь.

Стихов о военном детстве, о начале пути в первые послевоенные годы создано и опубликовано немало. Количество их может угрожать образованием штампа, но стихи, продиктованные подлинным чувством, счастливо избегают такой опасности. Стихи сборника «Вечная тревога» эмоционально достоверны, хотя, как мне кажется,

не на каждой странице достаточно выразительны. Поэт стремится к простоте, остерегается усложненности (опять же школа работы над песней). А ведь порой сложности проблемы призывает поэта к сложности выражения. Но та же песенная школа придает стихам некую массовую доверительность — качество, как ни суди, драгоценное.

Добронравов не подбирает и не выбирает тему — она сама его выбрала. Его стихи — верные спутники и товарищи создателей сибирских магистралей, молодых воинов, студентов. У нас как-то померк, вышел из обихода термин «комсомольский поэт», а вот к Николаю Добронравову он вполне подходит, точно соответствуя характеру его творчества.

Но если и возрождать звание комсомольского поэта (кстати, только читатель по своему выбору имеет право такое звание присвоить), сначала надо проверить, как соотносится поэзия того или иного поэта с быстротекущим временем. Добронравов — комсомольский поэт годов 70-х. Он не повествует, не просто рассказывает о молодом современнике, он доверительно и заинтересованно беседует с ним как ровесник, но и как старший товарищ. Скажем — человек чуть постарше. Он, правда, не подчеркивает «старшинства», но и не подстраивается под юного добрячка.

Мне видится, что стихам Добронравова молодой (и не только молодой) читатель поверит, так же как и его песням. Для этого поэта не существует двух дорожек, двух параллельно идущих линий — песенной и собственно стихотворной. Хотя в книжку «Вечная тревога» поэт включил минимальное количество стихов, ставших известными песнями, его голос и почерк не раздваиваются.

Евг. Долматовский.



АЛГИМАНТАС БУЧИС. Роман и современность. Становление и развитие литовского советского романа. Перевод с литовского. М. «Советский писатель». 1977. 414 стр.

Читателей, следящих за романистикой, книга литовского критика Алгимантаса Бучиса привлекает глубоким и содержательным разбором произведений Й. Авижюса, Ю. Балтушиса, М. Служкиса, В. Бубниса, Й. Микелинскаса и других писателей, чье творчество в нашей стране и за рубежом пользуется известностью, вошло в основной фонд советской многонациональной литературы. Те же, кто интересуется теорией романа, развитием его современных форм, найдут в этом исследовании ответ на сложные эстетические вопросы, имеющие актуальное значение.

В центре внимания автора находятся процессы жанрообразования в современной советской и мировой литературе наиболее

сложные и наименее изученные. Наблюдения критика, выводы и прогнозы основаны на живой реальности литературного процесса, на анализе художественной практики. Книга написана интересно, просто, хорошим языком. И в этом немалое ее достоинство.

Становление и развитие советского литовского романа А. Бучис рассматривает, опираясь на национальные художественные традиции, на опыт всей советской и мировой литературы. Литовская романистика оказывается в книге включенной в круг общих «забот», интересов и споров, связанных с судьбами мирового романа. Закономерности ее собственного развития, ее индивидуально-неповторимый облик, отчетливо выявленные в книге, многое объясняют в закономерностях и тенденциях всеобщего развития романских форм. И наоборот, мировая и советская романистика, как показывает автор, находят преломление в опыте и достижениях современного литовского романа, по-своему влияют на его рост и преобразование национальных традиций.

Тем самым диалектика национального и мирового художественного опыта, индивидуально особенного и интернационального, служит своего рода двигателем исследовательской мысли А. Бучиса. Благодаря верной литературоведческой методологии книга «Роман и современность» выходит далеко за пределы литовской романистики. Она как бы вбирает в себя многонациональный художественный опыт, к которому автор приобщает читателя, вводя его в круг тех вопросов и решений, которые возникают сегодня перед художественной литературой в целом.

Путь в известном смысле более трудный и менее разведанный, поскольку он пролегает не на поверхности наглядных сравнений и аналогий, а требует проникновения в сферу идейно-эстетических и идеологических процессов современности, питающих многонациональное художественное творчество, объясняющих рост и возмужание или, напротив, вырождение и упадок различных литературных жанров и форм. Но путь, без сомнения, многообещающий и плодотворный, в чем убеждает нас книга А. Бучиса. Без сомнения, ценными с этой точки зрения представляются те части книги, где автор обращается к проблемам формы и содержания, к традициям и их обновлению в новых социально-исторических условиях национальной жизни, показывает широту реализма как метода, его соотнесенность с другими творческими системами и методами. Автор, в частности, ломает многие предрассудки, бытующие в литературоведении, сужающие представление об истинном богатстве реализма, оспаривает утверждения, будто бы форма романа изжила себя, полемизирует с эстетикой «нового» и «нового нового» романа на Западе, рассматривает романы так называемого внутреннего монолога, или потока сознания.

Отлично знающий не только родную литовскую, но и многонациональную совет-

скую и мировую литературу, А. Бучис профессионально и доказательно анализирует сложные перипетии мирового литературного процесса. Критик умеет не только вовремя заметить и поддержать новаторские тенденции, но и почувствовать момент, когда в силу тех или иных причин недавние «открытия» становятся своего рода штампом и, следовательно, тормозом на путях художественного творчества.

Повторяю: книга А. Бучиса «Роман и современность» — полезный вклад в науку о советской многонациональной литературе, в теорию социалистического реализма.

Е. Горбунова.



М. Е. ШНЕЙДЕР. Русская классика в Китае. Переводы. Оценки. Творческое освоенное. М. «Наука». 1977. 270 стр.

У нас все еще мало фундаментальных работ, которые на конкретном материале раскрывали бы благотворное воздействие русской классической литературы на литературу других народов, особенно на литературу Востока. В полной мере это относится и к китайской литературе. А между тем в свете непрекращающихся попыток маоистов принизить значение русской культуры, вытравить ее из духовного мира китайцев этот вопрос приобретает особенную остроту и актуальность. Вот почему заслуживает одобрения многолетняя плодотворная работа востоковеда М. Шнейдера, обобщенная в его книге «Русская классика в Китае».

Из книги М. Шнейдера, вобравшей обширный фактический материал, мы, в частности, узнаем, что первыми русскими произведениями, переведенными в Китае, были басни И. А. Крылова «Щука», «Собачья дружба» и «Лисица и Сурок», помещенные в 1900 году в книге «Общий справочник о строе и обычаях России». Вслед затем появились переводы «Капитанской дочки» Пушкина, «Белы» Лермонтова (под заглавием «Памятник с серебряными пуговицами»), «Черного монаха» Чехова и рассказа Горького «Кани и Артем»...

Первые переводы русских сочинений производились с английского, французского, немецкого и японского языков, причем переводчики порою просто пересказывали их и давали собственные заглавия. Так, повесть Толстого «Крейцерова соната» вышла под заглавием «Страсть и ненависть», повесть «Дьявол» была переименована в «Грань человека и дьявола» и т. д. Но по мере того как рос интерес китайского читателя к России, к русской культуре — особенно после революции 1905 года, — в Китае появились переводчики непосредственно с русского языка. Впоследствии лучшие переводы были связаны с именами выдающихся китайских писателей и переводчиков — Лу Синя, Мао Дуня, Цюй Цю-бо, Чжэн Чжэнь-до, Гэн Цзи-чжи и других. О том, какое

значение имела русская литература для обогащения китайской культуры, писал в 1932 году Лу Синь: «Русская литература раскрыла перед нами прекрасную душу угнетенного, его страдания, его борьбу... мы поняли самое важное, что в мире существуют два класса — угнетатели и угнетенные!.. тогда это явилось величайшим открытием, равным открытию огня, когда... мрак ночи осветился ярким пламенем».

Расцвет в ознакомлении китайских читателей с русской классикой начался с периода движения «4 мая» (1919) и достиг своего апогея после образования в 1949 году Китайской Народной Республики. В эти годы на китайском языке выходят многие произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Островского, А. Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, а также советских писателей — Фадеева, Шолохова, Федина, Серафимовича, Гладкова, А. Н. Толстого, Пришвина, Фурманова и многих других. Между нашей страной и Китаем происходит полнокровный и все возрастающий обмен культурными ценностями. Но с конца 50-х годов и по мере приближения так называемой великой культурной революции число переводов русских классиков в Китае резко снижается, а в конце 60-х годов шедевры русской литературы объявляются «ядовитыми цветами» и во дворах университетов начинают пылать костры...

М. Шнейдер исследует благотворную роль русской литературы в Китае конкретно-исторически, отмечая воздействие русского реализма на процесс развития и обогащения китайской литературы. Такой подход позволяет автору прийти к правильному выводу, что появление многочисленных переводов русских классиков обуславливалось в Китае не личными пристрастиями отдельных переводчиков или издателей, а потребностями самой китайской культуры, глубинными процессами ее исторического развития. Отсюда и вывод, что так называемая линия Мао в области литературы с ее массовым уничтожением книг, необузданным варварством и вандализмом означает насилие не только над русским классическим наследием в Китае, но и над самой китайской культурой.

В целом перед нами интересная книга, впервые в нашем литературоведении воспроизводящая яркую и поучительную картину бытования русской классической литературы в Китае.

А. Шифман.



И. В. КУРЧАТОВ. Ядерную энергию — на благо человечества. М. Атомиздат. 1978. 391 стр.

12 января 1978 года Игорю Васильевичу Курчатову (1903—1960), выдающемуся советскому физико-инженеру и блестящему организатору науки, создателю советской атомной промышленности, исполнилось бы семьдесят пять лет. Этой дате были посвящены собрания общественности и заседания уч-

ных советов ряда институтов, статьи в физических журналах. К юбилейным дням был приурочен и выпущен Атомиздатом сборник работ И. В. Курчатова. В него входит монография «Расщепление атомного ядра», написанная Игорем Васильевичем в 1934 году, на заре «ядерной эры». Эта работа была в довоенные годы настольной книгой исследователей, специализирующихся в новой области науки.

В сборник включено 9 фундаментальных работ по ядерной физике, выполненных Курчатовым и его ближайшими сотрудниками. В последней из них (она увидела свет в 1947 году) отражены результаты важных предвоенных исследований и открытий в области ядерной изомерии.

Вторую (существенно меньшую по объему) часть сборника составляют речи и статьи И. В. Курчатова, посвященные проблемам ядерной энергетики. Он выступал с ними не только на страницах научных журналов, но и с трибуны XX и XXI съездов КПСС, сессии Верховного Совета СССР. Здесь Курчатов предстает перед читателями как ученый и государственный деятель и одновременно как мастер популяризации науки, умеющий разъяснить суть сложных проблем физики и техники простыми и доходчивыми словами. Следует подчеркнуть, что более чем сорок лет, прошедших со времени публикации статей, включенных в первую часть сборника, сделали и их понятными для широкой аудитории, хотя в свое время они были напечатаны в специальных физических журналах и адресовались только физикам.

Таким образом, читатели — студенты, инженеры, преподаватели и научные работники — получили возможность прямого, без промежуточных звеньев знакомства с работами замечательного советского ученого.

Сборник подготовлен издательством и редактором, академиком И. К. Кикоиным (автором содержательного вступления), с большой любовью. Интересны, например, многочисленные фотографии, включенные в книгу. На хронологически первой из них молодой Курчатов заснят в период работы по физике сегнетоэлектриков (конец 20-х годов). Занявшись этой областью физики в первые годы работы в Ленинградском физико-техническом институте, Игорь Васильевич, что называется, напал на золотую жилу, которую отнюдь не исчерпал за несколько лет напряженных исследований, сделавших его имя известным среди физиков СССР и за рубежом. Нужны были немалые вера в свои силы и увлеченность новым делом, чтобы прервать столь успешно развивавшееся исследование, окунуться в совершенно незнакомую область науки! Последний снимок маленькой «биографии в фотографиях»: Игорь Васильевич 6 февраля 1960 года, улыбаясь, разговаривает по телефону из своего кабинета. Трудно поверить, что это последний день его жизни...

В заключение два замечания. Одно из них связало непосредственно со сборником. Три статьи, включенные в него, не пере-

ведены на русский язык, а воспроизведены на французском, английском и немецком, то есть представлены в том виде, в котором в свое время Курчатов направил их в печать. Следовало бы, думается, дать их либо только в переводе на русский, либо поместить такой перевод в качестве приложения. Второе замечание навеяно прочтением сборника. Для увековечения памяти И. В. Курчатова сделано уже очень много. 104-й элемент таблицы Менделеева назван курчатовием. Памятник ученому установлен в Москве на площади перед Институтом атомной энергии, носящим его имя. Работает Белоярская атомная станция имени И. В. Курчатова и есть город Курчатов — в районе строительства Курской атомной электростанции. Хотелось бы, чтобы к этому (неполному) списку были добавлены более скромные по масштабу, но чрезвычайно важные мероприятия. Просто необходимо издать воспоминания о Курчатове — человеке и ученом его коллег, учеников и друзей: что может быть сильней, чем память сердца? И еще: думается, что уже можно сделать достоянием читателей избранные материалы и документы, отражающие научно-организаторскую деятельность И. В. Курчатова в уже далекие от наших дней годы его напряженной, титанической работы по созданию атомного оружия.

Атомиздат сообщил, что готовит второй сборник научных работ И. В. Курчатова. Было бы естественно, если бы издательство взяло на себя инициативу и по выпуску других материалов о выдающемся ученом.

В. Френкель.



ВЛАДИМИР ОСИПОВ. Британия глазами русского. М. Издательство АПН. 1977. 208 стр.

Книга недавно скончавшегося талантливого советского журналиста-международника Владимира Осипова «Британия глазами русского» скоро станет библиографической редкостью, как стала редкостью другая его книга — «Британия. 60-е годы».

...В 20—30-х годах XIX века близкий к декабристам и А. С. Пушкину Александр Тургенев, много путешествуя по странам Западной Европы, написал книгу «Хроника русского». В ней как бы сталкивались два мира: мир тогдашней русской действительности, опыт которой нес автор, и западно-европейский мир, который он наблюдал. В книге В. Осипова «Британия глазами русского», которая переключается с книгой А. Тургенева своим названием, также приходят в соприкосновение два образа жизни. Но если для А. Тургенева Западная Европа, хотя он и видит многие недостатки капиталистической цивилизации, все же «на голову впереди» егo России и, уж конечно, дальше всех вперед вырвалась Англия, которая намного опередила тогда не только царскую Россию, но и всю осталь-

ную Европу да и Америку, то для В. Осипова в 60—70-е годы XX века западный мир все больше отстает от мира социализма, от его родины, а среди великих капиталистических держав, как это ни парадоксально, «быстрее всех» отстает Англия.

Британия уже сейчас «потребляет больше, чем производит, и живет в кредит, займы у будущего», — заключает автор. Сейчас эта фраза стала расхожей, и термин «Британия живет не по средствам» в середине 70-х годов запестрел на страницах буржуазной печати. Но надо отдать должное наблюдательности В. Осипова как журналиста-международника — он к этому выводу пришел еще в начале 60-х годов, когда у власти в Англии стояли консервативные правительства Макмиллана и Хьюма, уверявшие англичан: «Вы еще никогда не жили так хорошо». В отличие от американских или западногерманских журналистов В. Осипов не ограничивался безжалостной констатацией факта: «Британия отстает». Анализируя классовые, социальные причины этого отставания, он приходит к выводу: «Да, Британия могла бы выправить свое положение, если бы резко сократила расходы на вооружение, отказалась от заморских военных баз, урезала экспорт капитала, если бы вела общенациональное планирование. Но каждое из этих «если», выгодное для страны в целом, «наступает на ноги» правящим Британией классам...»

В изображении и анализе правящих кругов Англии Владимир Осипов, пожалуй, пошел глубже и своих советских коллег, журналистов-международников. «Правящие круги, — пишет он в своей книге, — понятие не однозначное, в Британии тем более. Комплекс господствующих групп в этой стране включает в себя родовые кланы наследственных политиков вместе с административно-политической машиной Уайтхолла и Вестминстера, финансовых аристократов и магнатов Сити, крупнейших британских промышленников. Было бы неверно, конечно, противопоставлять их друг другу... Но неверно и брать их всех скопом, рассматривать их как нечто слитое воедино... И нельзя всерьез говорить об этих силах, не учитывая, скажем, хотя бы исторических отличий в формировании комплекса господствующих группировок в Британии и Соединенных Штатах... В США нет аристократии в европейском понимании этого слова. В Британии она есть и располагает большими связями и влиянием, чем, пожалуй, в любой другой крупной державе капиталистического мира».

Жизни этого слоя английских правящих классов и тесно связанной с ними английской монархии посвящены интереснейшие страницы книги. Автор опровергает широко распространенный упрощенный взгляд, что король или королева в Англии «царствуют, но не управляют», что их функции чисто представительские. Нет, за представительством стоят гораздо более серьезные вещи.

«Англичане, — пишет В. Осипов, — узнают о своем монархе с пеленок и потом встре-

чаются с ним посредством радио, телевидения, газет, кинохроники по несколько раз в день... Королеву считают «вторым наиболее информированным лицом» после премьер-министра».

Содержание монархии обходится, конечно, «в копейчку», но в то же время, отмечает В. Осипов, «это не больше того, что ежегодно расходуют «Омо» и «Дэз» (мыловаренные фирмы) на рекламу своих стиральных порошков. И если эти порошки всего лишь отмывают рубашки, корона призвана делать привлекательнее систему власти, что, конечно, куда более важно для людей, этой властью распоряжающихся».

С огромным уважением В. Осипов относится к трудящимся Британии, к той двухэтажной Англии, о которой так редко пишут в буржуазной прессе. Именно они, эти миллионы людей, формируют подлинный характер нации. «Рабочие Англии немало добились за десятилетие напряженной, острой и изнурительной борьбы, в том числе и того, что приучили хозяев к сдержанности и вежливости, хотя бы внешней», — замечает автор.

Сложная и многообразная Англия встает из книги «Британия глазами русского». «С мнением Владимира Осипова, — пишет автор предисловия В. Ломейко, — считались не только его товарищи по ремеслу, но и в других странах. Многие газеты Запада печатали и цитировали его статьи, на его мнение ссылались Лондонская «Таймс», задумавшая дать оценку мира глазами видных деятелей разных стран, поместила взгляд Осипова на своих страницах. Она же отдала ему последнюю дань профессионального почтения в некрологе 9 марта 1976 года. В этом проявилось уважение и еще к одному таланту Владимира Осипова. Он умел сказать правду англичанам о них самих даже самую неприятную так, что она встречалась не с обидой, а с пониманием».

С. Десятков.



Э. Г. ЦЫГАНКОВА. У истоков дизайна (Машины и стили). М. «Наука». 1977. 112 стр.

Сегодня уже совершенно очевидно: старая философская антиномия — искусство или техника? — получила свое окончательное примирение в творческой деятельности, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий (эта не очень благозвучная дефиниция принята международным симпозиумом дизайнеров в Бельгии в 1964 году).

Своими корнями техническая эстетика уходит в глубь веков. И тем не менее выделение дизайна в самостоятельный вид профессиональной деятельности, его утверждение в системе промышленного производства завершается лишь в конце первой трети нашего века. Многие исследователи связывают этот процесс с экономическим

кризисом 1929—1930 годов на Западе, который привел к значительному росту нереализованной товарной массы. Это потребовало изыскания специальных средств оживления рынка, каким и послужил дизайн, вторгшийся вначале в машиностроение, чтобы вскоре распространить свое влияние на всю многообразную окружающую человека предметную среду.

Бытует мнение, что дизайн в его современном естестве «вышел» из архитектуры. Эта точка зрения аргументируется широким использованием в дизайне ее словаря, а главное тем обстоятельством, что в числе «повивальных бабок» этого нового искусства, его первыми теоретиками были видные зодчие прошлого А. Лоос, П. Беренс, В. Гропиус, Ле Корбюзье и другие.

Какими бы точными, однако, ни были датировки возникновения и атрибуции родословной промышленного искусства, его окончательному оформлению, естественно, предшествовало диалектическое накопление творческих потенций, обернувшееся затем новым качеством.

Э. Цыганкова предпринимает попытку проследить на довольно широком историческом фоне за этим процессом, подвергнув историю-критическому анализу развитие машинных форм от эпохи Возрождения до 20-х годов нашего столетия. Исследование ведется на стыке истории техники и истории искусств (мне показалось — с некоторым преобладанием первой), что приносит в работу дополнительную «степень свободы», позволяя более обстоятельно соотносить форму и функцию на различных этапах развития машин.

Эстетика формы прослеживается здесь в ее эволюции от технической практики XIV века, то есть со времени дотеоретического бытования, через первое ее научное обоснование в известных «Десяти книгах о зодчестве» Леона Баттиста Альберти (1404—1472), провозгласившего в качестве главного требования к каждому создаемому объекту органичное соединение красоты и пользы, до работ творческого союза Веркбунд и воспринявшей его традиции школы промышленного конструирования Баухауз (начало XX века).

Обстоятельно рассматривается творчество одного из титанов Возрождения, ученого и художника Леонардо да Винчи, строившего работу над изобретением по методике, не отличающейся от подходов современного дизайнера. Не обойдены авторским вниманием работы в области формообразования в отечественной истории техники, в частности тот большой вклад, который принадлежит выдающемуся русскому машиностроителю А. Нартову (1693—1756), сконструировавшему и изготовившему целое семейство токарных станков.

Хотелось бы выделить мысль автора о преемственности формообразования предметного мира каждой эпохи, развивающегося по общим законам и обладающего множеством общих черт. Это обстоятельство, в частности, объясняет такое легкое восприятие техникой изобразительного языка зодчества, столь пышный расцвет архитектурного стиля в машиностроении уже на стадии мануфактурного производства и особенно в период промышленного капитализма.

Благотворное влияние интеграции искусства и техники в современном дизайне, очевидно, было бы неверно сводить лишь к улучшению потребительских свойств изделий. Формируя систему потребительских предпочтений, дизайн выступает своеобразным регулятором в отношениях человек—вещь. Однако и этой функцией не исчерпывается его значение, хотя умалять ее не следует. Не менее существенно здесь оптимизирующее воздействие промышленного искусства на систему человек—машина, отношения в которой усложняются по мере роста сложности машин.

Справедливо отмечает эту особенность дизайна — «выявление еще одного резерва совершенствования этой системы», — автор отводит ему основную роль. С таким расширительным толкованием роли дизайна, разумеется, трудно согласиться, так как этот процесс обеспечивается системно, воздействием ряда факторов, среди которых не последнюю роль играет учет рекомендаций эргономики при проектировании...

И. Дрейцер.

Кемерово.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТЗДАТ

В. И. Ленин. О государстве. Лекция в Свердловском университете 11 июля 1919 г. 24 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Социалистическое отечество в опасности! — Тяжелый, но необходимый урок. — На деловую почву. — Серьезный урок и серьезная ответственность. 16 стр. Цена 3 к.

А. Борцаговский. Сечень. Повесть об Иване Бабушкине. («Пламенные революционеры»). 367 стр. Цена 1 р. 40 к.

Борьба идей в современном мире. В 3-х тт. Т. 3. Развивающиеся страны: проблемы и идеологические течения. Под общей ред. Ф. В. Константинова. 343 стр. Цена 1 р. 50 к.

КПСС. Справочник. Изд. 4-е, дополненное и переработанное. Под редакцией Д. И. Антюха. 399 стр. Цена 80 к.

Е. Парнов. Секретный узник. Повесть об Эрнсте Тельмане. («Пламенные революционеры») 470 стр. Цена 1 р. 70 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Авраменко. Сладкая чаша горечи. Повести, новеллы и очерки. Перевод с украинского. 383 стр. Цена 1 р. 60 к.

Н. Байрамов. Чудо в пустыне. Стихи. Перевод с туркменского. 135 стр. Цена 45 к.

В. Балтер. До свидания, мальчики. Повесть. 264 стр. Цена 85 к.

В. Баранов. Орудие познания и борьбы. О социалистическом реализме как методе художественного мышления. 199 стр. Цена 45 к.

Н. Вагнер. Багряное солнце. — Русское море. Романы. 542 стр. Цена 2 р. 10 к.

Н. Жданов. Сентябрь в Москве. Роман и рассказы. 319 стр. Цена 1 р. 10 к.

Р. Ивнев. Теплые листья. Стихи. 183 стр. Цена 55 к.

Д. Кугультинов. Зов апреля. Стихи и поэмы. Перевод с калмыцкого. 208 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Мартинкус. Камни. Роман и повести. Перевод с литовского. 447 стр. Цена 1 р. 70 к.

Н. Матвеева. Река. Стихи. 134 стр. Цена 55 к.

В. Миняло. К ясным зорям. Диалогия. Перевод с украинского. 472 стр. Цена 2 р. 20 к.

Л. Мрелашвили. Кабахи. Роман. Кн. 1—2. Перевод с грузинского. 752 стр. Цена 3 р. 30 к.

С. Наровчатов. Мы входим в жизнь. Книга молодости. 255 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Белый. Петербург. Роман. 389 стр. Цена 1 р. 90 к.

Р. Гамзатов. Поэмы. Перевод с аварского. 453 стр. Цена 3 р. 10 к.

Д. Гранин. Собрание сочинений. В 4-х тт. Т. I. Генерал Коммуны. Повесть. — Искатели. Роман. 645 стр. Цена 2 р. 60 к.

Б. Корнилов. Избранное. Стихи и поэмы. 192 стр. Цена 85 к.

Е. Пермитин. Собрание сочинений. В 4-х тт. Том I. Горные орлы. Роман. 671 стр. Цена 2 р. 70 к.

Я. Ругоев. Избранное. Стихи и рассказы. Перевод с финского. 477 стр. Цена 1 р. 90 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Дангулов и С. Дангулов. Легендарный Джон Рид. 223 стр. Цена 85 к.

М. Карим. Притча о трех братьях. Воспоминания. Раздумья. Веселы. 287 стр. Цена 95 к.

Р. Кутуй. Рассказы и повести. Предисловие В. Рослякова. 315 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Маринов. Детский дом. Документальная повесть. Предисловие А. Ананьева. 237 стр. Цена 50 к.

А. Прасолов. Стихотворения. Составление и вступительная статья В. Кожнинова. 188 стр. Цена 65 к.

А. Приставкин. Заботы Алексея Болдырева. Очерки. («Писатель и время») 94 стр. Цена 15 к.

«НАУКА»

Актуальные проблемы сравнительного изучения литератур социалистических стран. Ответственный редактор Ю. А. Кожевников. 311 стр. Цена 1 р. 90 к.

В. Виноградов. Избранные труды. История русского литературного языка. 320 стр. Цена 2 р. 20 к.

Советский роман. Новаторство. Поэтика. Типология. Ответственные редакторы Г. И. Ломидзе и С. М. Хитарова. 693 стр. Цена 5 р. 20 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахний, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»

Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 2/X 1978 г.

Объем 18 п. л.

Подписано к печати 4/XII 1978 г.

А 10065.

Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 печ. л.)

Тираж 271.000 экз.

Заказ 3193.

Отпечатано с матрицы ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радяська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94 Зак. 05610.

Цена 70 коп.

70636

8